

**Товарищество писателей в Петербурге
Секция критики и литературоведения
Союз писателей России**

НОВЫЙ РУССКИЙ ЖУРНАЛ

Литературной и Философской критики,
прозы, поэзии
и
истории литературы

№ 2

январь – февраль 2017

Санкт-Петербург
2017

Редакционный Совет

Редактор
В. И. Чернышев

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ПОЭЗИЯ

- Г. Н. Ионин. Яблоня (главы из поэмы) 4
В. И. Чернышев. Стихи о несчастной любви 9

II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

- Вячеслав Овсянников. В тени Водолея (окончание) 14

IV. ЛИКИ, ЛИЦА, ЛИЧИНЫ (литературно-философская критика)

- Г. Г. Муриков. Великая февральская масонская революция. Нина Берберова и русское масонство (*К 115-летию со дня рождения Н. Берберовой*) 68
Г. Г. Муриков. Два поэта 88
Т. М. Лестева. Два «П»: Александр Проханов и Виктор Пелевин. Два романа, два автора патриота России, два поколения... 94
Л. Л. Бубнова. Современный писатель и сопротивление читателя 110
Александр Медведев. Штрихи и строки 115

III ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИЯ, ПОЭЗИЯ

- Маргарита Токажевская. Философская лирика 137

V. ПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

- О. Мальцева. Невольник чести 148
Маргарита Токажевская. Статьи о литературе. 162
Г. Н. Ионин. Судьбы русской культуры 175
С. А. Столбцов. Пушкин по отзывам Никитенка 184
А. В. Осипов. Дело Никитенко (окончание в следующем номере) 197
В. В. Розанов. Статьи о Пушкине 216
Е. Ф. Ковтун. Дух дышит где хочет (В. В. Стерлигов) 234
В. А. Овсянников. О звуках 253

VI. ЗА СТОЛОМ У РЕДАКТОРА (статьи, обзоры, возражения)

- Размышления редактора в связи с столетним юбилеем Революций 258
Н. Н. Браун. Петербургские частушки 260
В. И. Чернышев. Не так как надо живем... Новые записки редактора...
... – вступительная статья. 263
В. И. Чернышев. Переписка о Топоре 301
Переписка с читателями. Критическая статья О. К. 307

VII. ПОСЛЕ ТОГО КАК БЫЛ НАПЕЧАТАН ЖУРНАЛ.)

- Мария Амфилохиева. Статья и стихи 312

І. ПОЭЗИЯ

Герман Ионин

ЯБЛОНЯ

(главы из поэмы)



1.

Для последней поэмы анапест,
Окончательным поводом будь.
Подымайся на крест или накрест
Перечеркивай пройденный путь.

Эти стопы меня, быть может,
Совместят в единый мотив
Или крест мой на крест положат,
Все голгофы мои скрестив.

Апокалипсис тут объявлен,
И с объявленной высоты
Золотые веточки яблонь
Повторяют мои кресты.

Над собою усилие сделай,
Ибо ты не успел до сих пор
Все, что поднято жизнью целой,
Заплести в единый узор.

Совмести и о том поведай,
И страдания объяснены
Искушением или победой,
Апокалипсисом весны.

Золотой искуситель меток,
Им отмечены я и ты.
Но в сплетении яблочных веток
Вижу снова одни кресты.

В этой кроне живут упруго
Многолетия, времена,
Золотые и друг на друга
Перемноженные сполна.

Угадай умноженьем этим,
Сколько времени протечет,
И крестам, и десятилетиям
Понемногу теряя счет.

И, твою голгофу состарив
И состарив порядок твой,
Сколько новых вечерних зарев
Будет скрыто густой листвою.

Но, преградою не ослабься,
Без меня и в моем окне
Оживет заревой анапест,
По слогам взбегая ко мне.

2.

Неизведанное коротая
В ипостаси моей иной,
Вижу – яблоня золотая
Понемногу становится мной.

В молодой кривизне и прями
Сколько времени протекло?
Приникает к оконной раме
И, как птичка, стучит в стекло.

Открываю, и прежний вызов
Откровения и любви.
Докрасна в лиловатом вызрев,
От ветвей меня ответви.

И неслабо или слабо ты
Понемногу отъедини
Осознание полной свободы,
Небытийное в наши дни.

Эти ветки – руку пожать им.
Но единственная из числа
Ответвленных рукопожатьем
Долгожданный ответ принесла.

Опознание в твоем ответе
От листвы под моей рукой.
Неожиданно ветки эти
Отвечают одна другой.

И вдыхалась и выдыхалась
Эта правда из них и про них.
Изумрудный медовый хаос
В опознание мое проник.

И покуда к нашему виду
Переход еще не обжит,
Каждый лист, незаметный с виду,
Напрягается и дрожит.

Не объявлен и не ослаблен,
Созерцателен и упруг,
Неосознанный разум яблонь
До меня достучался вдруг.

И синхронно с этим рассказом
И деревьям и всем плодам
Я сегодня мой бедный разум
Передам и совсем отдам.

3.

От слепого дождя и от ветра,
Под рыдание синих осин
Эта яблоня скажет ответно.
Где Россия и где мой сын.

Только яблоня, в шквал и ярость
Погруженная, так добра.
И свидание состоялось,
И ответить уже пора.

То, что было России радо,
В результате всего труда
Стало точкою невозврата
И отсюда ушло туда.

А мой сын изначально занят,
И о том, что благо дарит,
Он справляться не перестанет
И Россию благодарит.

И хотя переход неведом,
Эту яблоню возврати.
Он согласен за мною следом
Незаметно в нее войти.

А она, и смеясь, и целясь,
Принимает его вдвойне.
Изумрудный медовый шелест
Сам собой пробегает по мне.

Пробегает, и нет в помине.
Перепробован и предвзят
Исповедуемый поныне
Возвращенный мой невозврат.

Оживай и плодись во имя
Золотых возвращений двух.
Так Россия плодами своими
Сквозь меня пропустит мой дух.

Но во имя близости кровной
Опознания моего
Непроглядной зеленой кроной
Удержи и меня и его.

И ответ мне знаком и явлен,
И его произносит сын
В изумруде медовых яблонь
Под рыдание синих осин.



В. И. Чернышев

СТИХИ О НЕСЧАСТНОЙ
ЛЮБВИ



* * *

Я провалился на ровном месте,
 Все стало скушно, уныло, хмуро
 Пусты уверения лживой лести,
 Разуверенья Рока и Чура.

Разбито небо в зигзагах трещин,
 Пустые окна глаза таращат.
 Нет в мире больше поэтов вещей,
 Есть только те, кто тащат и тащат.

Так что нам делать, поэтам нищим?
 Забытым всеми, почти ненужным?
 Да в старой лодке с дырявым днищем
 Грести на небо, хотя и трудно!

Пока стихами взимают плату
 За право жить и любить тревожно
 Поэту, даже и небогатому,
 На жизнь, как птице, пенять не должно!

* * *

– Может быть, познакомимся, говорю я одной.
 Она посмотрела искоса, и улыбнулась.
 Не скоро еще весна и тоскливо, но –
 Маленькая надежда в сердце моем проснулась.

– Может быть, погуляем, сходим в кино?
 – *Надо же ты какой, скажи на милость!*
 Я бы и согласилась, впрочем, но –
 Другому, он мне звонил, я уже снилась.

– Ну, так, хоть выпьем кофе, немного вина?
 – Нет, дорогой мой, другой – дороже.
 Вот только если грянет во мне вновь война, –
 Вынырну к тебе я из плоти, души и кожи!

Если ты постоишь у развилки дорог,
 Если ты переждешь капризы и бури, –
 «Миленький, скажу я тогда, ах, как ты продрог!
 Верю теперь, что верен ты мне, дуре!»

* * *

Плохо сплю, не сон, а грипп,
Словно я с болезнью слит.
С неба вдруг и стук и скрип:
– Эй, тут есть кто? Жив, убит?
– Вам видней, смотрите, там
Есть ли я? Коль нет, так здесь.
Я не лучше знаю сам,
Где я ночью, где я днесь.
Как известно, не стремлюсь
Я на небо.

– Так вставай!

Дверь плотнее прикрывай,
А не то простынет Русь...
Впрочем, ладно, спи пока,
Все покойно, хорошо.
Льется сонная река,
День еще не подошел...
29 января 2017, воскресенье

* * *

Я ползу, как улитка, упрямо наверх,
Обдирая свой панцирь о каменный склон.
Что влечет меня? Слава, признание, успех –
В этом мире, не более ценном, чем сон?
Но ползу и не слушаю умных речей,
Оставляя внизу то, что дорого мне.
В вышине ослепительней отблеск лучей –
Солнце ближе ли, ярче ли сон мой во сне.
4 февраля, суббота,

* * *

Перебирая имена и даты,
Страницы книг, события, дела,
Я спрашиваю: "*Жизнь моя, была ты?!*"
И всматриваюсь в память: "*Да, была!!*"

"*Но что в ней важно, что ее сложило?*
За что, – счастливый, спрашиваю всех, –
Не я ее, она меня любила?!"
"*За страсть души, за самый смертный грех!!*"
21 февраля

"Мысль изреченная есть ложь..."

Ф. И. Тютчев

"Стихи лишь чудное расположение звуков..."

В. А. Овсянников

Разбавлю сомнением то, что здесь сказано,
Хотя примирюсь с воркованьем без смысла!
Пусть важно, как частное в целое связано,
Слова же отменим, и фразы и числа, –

И все же, меняя реченья на звуки,
Стихи ли пишу, когда молча бледнею?
Когда даже имя промолвить не смею,
Целуя в волненьи холодные руки?

Пусть верно сочтем мы за стих даже лепет,
Кружение в небе и птиц бессловесных, –
Мой взгляд не стихами ль растерянно лепит
Твой облик бесстрастный, но все же чудесный?!

И то ли поэзия, что не свершилось,
Что тайно в душе полуспит до рожденья?
Не слово, не мысль, не забота, не милость, –
Шум ветра, скрип ставни, – без чувства, без зренья?

Еще не познавшие трудность усилия,
Еще не стиравшие пяток в дороге,
Еще не вдохнувшие воздух и крылья –
Мы живы ль во сне – нерожденные боги?!

Поэзия – боль непосильной работы!
Мешая огонь, исключенье и норму,
Мы ищем одну безупречную форму
Для синтеза тяжести, воли, полета!

4 февр 2017

* * *

– Может быть, познакомимся, говорю я одной.
Она посмотрела искоса, и улыбнулась.
Не скоро еще весна и тоскливо, но –
Маленькая надежда в сердце моем проснулась.
– Может быть, погуляем, сходим в кино?
– *Надо же ты какой, скажи на милость!*
Я бы и согласилась, впрочем, но –
Другому, он мне звонил, я уже снилась.
– Ну, так, хоть выпьем кофе, немного вина?
– Нет, дорогой мой, другой – дороже.
Вот только если грянет во мне вновь война, –
Выньрну к тебе я из плоти, души и кожи!
Если ты постоишь у развилки дорог,
Если ты переждешь капризы и бури, –
«Миленький, скажу я тогда, ах, как ты продрог!
Верю теперь, что верен ты мне, дуре!»

* * *

То ли еще ночь, то ли встать пора.
Сердце как ни спешит, не успевает биться.
Может, просто так положить до утра
Тело мое с душой как натюрморт или пиццу?
Некогда и умереть, пишу на бегу.
Тленное вещество в основе плоти,
Вот отчего, сколько ни берегу,
Трещины и язвы в каждой ноте.
Может быть, причина в том, что я центр?
Вселенная антропоморфна,
Черти в меня всматриваются как в цель,
И слабо помогают молитвы и морфий.

Но под ропот дождя, в шуме ветра ночном,
В дребезжаньи окна и в шагах половичных,
В обнимающем плоть томном жаре ночном,
Я читаю тебя как роман постранично...

II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Вячеслав Овсянников

В ТЕНИ ВОДОЛЕЯ

(окончание)



Разбудили когти на крыше; ходят и ходят, скрежеща по железу. Четыре женщины в синей лодке, за черникой, звонкий голос и смех. Читаю по-спартански, лаконизм: как писатель пропускал то, что надо пропустить, не писать, читаю пропуски, паузы, умолчания, звонкую пустоту в кувшине, и душа радуется, дыша гулом этих пустот. Гончар, Амма, книга мира из глины, семь страниц света и семь – тьмы. Любовь к земле; пробудясь, слышу: поскрипывает эта древняя, святая ось. Инвалидное кресло на колесах в саду. Черные маки, эти кивки молчаливых чудовищ. Хор мух, рев рек, мост, плотина, ржавые рычаги, блеск полдня, непрорубная тоска, лопухи, заросли. Толпа на берегу, кого-то ждут с той стороны. Нарастающий гул. Вот он – железный дракон в черно-желтых полосах, поднял ветер, вихрь крутит траву. Крушения, обломки, пузыри. Ураган в Москве, вырванные с корнем, поваленные деревья. В Чили снег. Зодчество облаков. Вещие зеницы во все небо. Колокольчики у железнодорожной насыпи, раскаленные рельсы. Мозг плавится, не вспомнить ни одного имени. Ночью – обмылок. Луна. Магические стекла снов. Испепелен. «Новое поколение не могло почувствовать себя творцом, пока не отвергло, не насмеялось над поколением учителей». Давид Бурлюк. Паучок живет один и тклет из своей одинокой жизни тончайшее кружево, чудо мира. Маленький-маленький паучок, совсем незаметный. День Военно-морского флота, парад на Неве, корвет «Стерегущий», хлопки выстрелов. Зной, марево, ни ветерка. Опять рельсы. Финн в спортивных трусах приезжал на велосипеде. У него дача в Новолисино. Душно-лилово. Лилипут в стране вулканов. Аномальная жара в наших широтах, огнедышащая радость с восхода до заката. В Москве + 40. Илиас, чернобородый гигант, пришел красить крышу. В стекле веранды мигнул корень неизвестного растения. Речь в тысячу вольт, высокомерие небесного глагола. Что ему я? Важнее сказать, чем говорить. Август, роса, красный стул в саду. Письмо, слова размыты, не прочитать. Ржавый гвоздь, Роджер Бэкон, Темза, Тауэр, дрожащие жерди мостика через лесной ручей, сон Сципиона, бесследность. Чосер умер в шестьдесят лет от старости. Совесть мучает, спящий орел, нет кипенья, поникли перышки. Поехали в Вырицу за краской. Ночью, наконец-то, прорвало – гроза, ливень. Укол чуда – в сердце. Я вздрагиваю или сад? Блеск стрекозы, стук яблока, испуганное лицо, предсмертные записки мгновенных жизней. Их лавры, их венцы. И вдруг чувствую: сердце-то молчит, замерло от непонятого страха, и вот я кричу ему: ау! ау! А оно не отзывается, далеко ушло или затаилось, нарочно молчит. Сердце у меня – раковина странной, ни на что непохожей формы, таких в мире нет, единственный экземпляр. А внутри кто-то невидимый, неизвестный, дышит, вдох-выдох, прилив-отлив. Успею ли я поймать эту петляющую, ускользающую от меня золотую змейку глубоко-глубоко под веками на зеркальной глади какого-то сумеречного моря (ведь я не сплю, я бодрствую, я только всматриваюсь в свой закат, повернув глаза внутрь). Нет, опять исчезла, испарилась, бесследно, Психея, оставив тревожно дрожать, как лист, в ночном саду.

Илиас покрасил крышу. Он мастер на все руки, сделает нам и душевую кабинку на дворе. Жара. Пробую писать, буквы тут же сгорают, превращаясь в пепел. «Стиль всякого писателя так тесно связан с содержанием его души, что опытный глаз может увидеть душу по стилю, путем изучения форм проникнуть до глубины содержания». Блок. «В конечном счете все сводится к душе автора; пустота или содержательность зависят в большей мере от субъекта, нежели от объекта». Шиллер к Гёте. «Для художника лучше один крик журавля, чем тысяча чириканий воробья. Один цветок лучше, чем сто, передает великолепие цветка». Ясунари Кавабата. «У сердца есть свой разум, которого разум не знает». Паскаль. Письма Шостаковича. Шостакович ненавидел мемуарную литературу, переписку свою не берег, уничтожал. Не хотел, чтобы о нем писали воспоминания и опубликовали его письма. На завтра обещают ураган, град. Европу затопило, бури, смерчи, ливни, сносит дома, люди не успевают выбежать наружу.

«Горе – это мрак, радость – это свет, и когда свет достигает предельной высоты, рождается мрак. В этом судьбы людей, идущих по кольцу». Ляо Чжай. Музыка запахов. В Японии слабый, едва уловимый запах ценится больше, чем сильные, пронзительные запахи. «Вы рисуете ветку и слышите, как свистит ветер». Цзинь Нун. Корень глубокий, а тайна – вот она, шелестит веткой. Видится и не видится, слышится и не слышится. Незаметное сделать заметным, неясное ясным. Следуй кисти. Дзуйхицу. «Наверное, я постепенно лишился того, что называется инстинктом жизни, животной жаждой. Я живу в мире воспаленных нервов, прозрачный, как лед... Меня преследует мысль о самоубийстве. Только вот никогда раньше природа не казалась мне такой прекрасной! Вам, наверное, будет смешно, покажется парадоксальным: человек, очарованный красотой природы, думает о самоубийстве. Но природа потому сейчас так прекрасна, что отражается в моем последнем взоре». Акутагава Рюноске. Предсмертное письмо.

Рисунок – ритмическое изображение внутренней силы, ци. Ци состоит из цзин и цу. Цзин – тончайшее духовное начало, цу – грубое, материальное. Во Вселенной существует первоначальное ци, и только! Оно проявляется то как инь, то как ян. В живописи следует сторониться шести духов: 1. Дух вульгарности. 2. Дух ремесленничества. 3. Горячность кисти. 4. Небрежность, в искусстве мало изысканности. 5. Дух женских покоев, кисть слабая, нет силы. 6. Пренебрежение тушью. Цзоу И гуй. Ненамеренность, непринужденность, душевный порыв, игра воды. Незнание глубже знания. Тогда незнание – это знание? Разве есть внутреннее и внешнее в прозрачной воде? Разве есть внутреннее и внешнее в пустоте? Когда сочиняешь стихи, не думай, что сочиняешь их. Сайгё. Глядя на луну, я становлюсь луной. Луна, на которую я смотрю, становится мною. Где живут другие, я не живу. Куда идут другие, я не иду. Когда стихи написаны, они становятся клочком бумаги. Басё. Прекрасное рождается само, в нужный момент. Важно почувствовать этот момент. Кёрай. Стихи, которые мы сочиняем, разве это истинные слова? Когда пишешь о цветах, ведь не думаешь, что это на самом деле цветы. Когда пишешь о луне, не думаешь о луне. Мы создаем только подобие того, что нам

хочется, к чему нас влечет. Упадет красная радуга, и кажется, что бесцветное небо окрасилось. Засветит белое солнце, и пустое небо озаряется. Но ведь небо само по себе не окрашивается и само по себе не озаряется. Вот и мы в душе своей, подобной этому небу, окрашиваем разные вещи в разные цвета, не оставляя следов. Сайгё. Если не знаешь неизменного, не имеешь основы, если не знаешь изменчивого, не обновишь стиль. Басё. Истине тесно в словах. Истина вне слов. Пустые места на свитке исполнены большего смысла, чем то, что начертала нам кисть.

Ночной дождь. Обещанной бури нет, чистое небо. «Я не считаю, что лишенное «повествования» произведение лучше всех остальных. И все же с точки зрения «чистоты», т.е. с точки зрения отсутствия вульгарной занимательности – это художественное произведение в наиболее чистом виде. Вульгарной занимательностью я называю интерес к происшествию как таковому. Существует другой, более высокий интерес. Произведение, лишенное «повествования», почти полностью лишено вульгарной занимательности». Акутагава Рюноске. Выхожу в сад на рассвете. Свежесть утра, и это Нечто, в воздухе, как в незапамятные времена, миллионы лет назад, весточка оттуда, от древней Земли, Геи, от ее бессмертных, вечно юных уст, дуновение ее могучего дыхания, великой Матери всех живущих. Жучок, паучок, травка, улитка, воробышек устремлены к этому Нечто, к этой туманной свежести. Жара нарастает. Конец света. Купались, облако. Письма Шостаковича. В 30 лет уже жалобы, что стареет, что близка старость; что возникают паузы, перерывы в работе. Не сочинял день или два – и он в ужасе, паника. Ему надо сочинять музыку беспрерывно. Сочинение музыки – вроде недуга – преследует меня. Не спи, не спи. Настрой струну на смертный бой. Георгий Победоносец. Великий Змей, стерегущий сокровище. Художник-химера. Неизящно и немелодично. Фрак, инфаркт, обрыв струны. Приутих наш круг веселый. Правая рука, как плеть, не сыграть даже «чижика. Следопыты в дебрях. Гостя из Сиверской.

Чистое утро. Стою на крыльце, лицом к солнцу. Петушок, тоненький, ломкий голос из-за железной дороги. Десятилетие гибели атомной подводной лодки «Курск». Погиб весь экипаж, 48 человек. Салют, алые гвоздики на океанской воде. У соседней маляры красят дом, узбек и узбечка. Змеистое небо, хвосты энергии. Формо-содержательно, джин в кувшине. Сломалась какая-то пружина в мозгу. Печальная привычка изъясняться знаками. Пишу: «ночь», и мне из-за стены отзывается Что-то, чему нет ни имени, ни названия, и просит меня молчать. Беззвездно. Жара, кремнистый запах раскаленных пустынь. Луч за лучом, штык за штыком; ясная сталь, твердый шаг, верный путь, роковой. Мы забыты, одни на земле. Мы с тобой старики. Только стены, да книги, да дни. Страшной памятью сердце полно. Только вышли за калитку – потемнело, черно, вихрь налетел, закрутил пыль на дороге, деревья зашатались. Нет уж, лучше вернемся в дом, закроем форточки. Повалены столбы, оборваны провода, сидим во тьме, без электричества. Легли. Фары бьют в окна. Рука грозы рисует молниями с нечеловеческой быстротой, миллионы линий в секунду. Что она хочет сказать? Этот замысел недоступен.

Друг, друг, я ведь Дух. Слышу шаги дождя по листьям в саду, легкие-легкие, нежные-нежные, лечащие. Соль языка испаряется под одиннадцатым знаком зодиака. Как узнаешь об этих утратах на страницах пресноводных книг? Петрарка, стерто, груз имени, библиофилия, монастыри, старые пергаменты, безвозвратно утраченный трактат Цицерона «О славе», был в его руках, единственный экземпляр, не переписал, дал почитать другу. В Вырицу, купили растворитель, гвозди, хлеб, мясо, рыбу, творог, сметану, масло. Ждем поезда на мокрой платформе. Опять дождь. И ночью. Барабанит по крыше водяными палочками. Разбудил голос за стеной. Ее мать, несчастная, слепая старуха. Сидит на лавке, скелет, смех сумасшедшего, похожий на плач, говорит, что у нее сегодня первая брачная ночь. С трудом уложил в постель. Хохочет беззубым ртом, слепые бельма.

Голос забытых книг. Матово-красный камень, ртутная руда. Да мы с тобой теперь миллионеры, друг Томми! Циклон-дракон, ледяное дыхание из космоса. Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Брюссельское кружево, узор, воздух, проколы, глаголы. Демон чтения, зверь в шкуре письмен. Пляска шамана, солью опалены волосы. Отключилось электричество, полгорода без света. Встали поезда, электрички. Люди в метро добирались до выхода по туннелю. Петрарка, спасаясь от бандитов, упал с седла, сломал руку. Его домик-садик в Воклюзе под Авиньоном. Его «Тайное», «Секретум». Нашел в монастыре, в Парме письма Цицерона, отсыревший, заплесневелый пергамент, гниль. Книга, о которой давно бредил. Единственный экземпляр. Какое счастье! Опоздай на год, на полгода – и книга бы пропала навсегда. Переписывал три месяца. В полном блаженстве. Библиотека Петрарки – несколько сот книг, древние античные авторы. Из современных писателей – ничтожная часть. Вообще их не читал, и знать их не желал, не прочитал ни одной книги из современной литературы, ни одного писателя, как будто их и не существовало, с презрением о них отзывался. Не смог дочитать Данте, его «Божественную комедию», скука. К схоластике – ничего, кроме отвращения и ненависти. Отрицал Аристотеля и предпочитал ему Платона. Но из Платона у него был только «Тимей», вот над ним и горбился. Писал с пультом, по краям которого торчало два спиленных бычьих рога, в одном черные чернила, в другом красные. Пучок гусиных перьев и свинцовый грифель – линовать пергамент. Петрарка писал каллиграфически. Все писатели того времени были каллиграфы. Сам переписывал свои книги, а также и чужие, из любимых античных авторов. Увенчан лаврами на Капитолии. Европейская слава. В Вырицу, купили крестовую отвертку, гвозди, помидоров, лука. Ветер. Яблоки падают со стуком, как железные. Одноразовый организм, миражи, дуновение чумы. Все, что есть сейчас в мире, и все, что когда-либо было и когда-либо будет – присутствует здесь, в этом месте, в этот миг, в блеске этой паутинки в саду. Собака лает на дороге; луна, желтая, жуткая. Не уснуть. Она и ее слепая мать, их громкие голоса за стеной, крик и плач. И поднял я глаза мои, и увидел: вот, появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста. Кто ты, Гора? Взор объемлет всю землю.

Петрарка, Милан, Венеция. Том Цицерона, тяжелый, как железо, фолиант, ни с того, ни с сего упал на ногу, два раза. Нога распухла и загноилась, слег в постель. «За что ты меня бьешь, Марк?». Путь к морю, Неаполь, там друг Боккаччо, бедняга Джованни. Ди Чертальдо. Монах напугал, требует сжечь рукописи и думать о спасении души. Петрарка уничтожил все свои письма на итальянском, оставил только написанные латынью, отредактировав, чтобы предстать перед потомством в героическом виде, и ни в коем случае не обнаженным, а если уже обнаженным, то как древнегреческая статуя. Петрарка умер над книгою с пером в руке. Голова лежала на раскрытой странице. Кончить писать и умереть в один миг. В мае 1630 года монах фра Томмазо Мартинелли украл из саркофага правую руку Петрарки. Эта рука очутилась в Мадриде и теперь хранится в музее в мраморной урне. Петрарка был высокого роста 1.83, правая нога на один сантиметр короче левой. Крупный нос, большой череп. Мозг намного превышал средний вес. Уехала в город. Остался с ее слепой матерью за стеной. Посреди ночи проснулся от страшного вопля: «Помогите!». Вхожу. Сидит на постели и пытается снять через голову ночную рубашку. Ей мнится, что ее душит ворот, все туже и туже сжимая шею.

Полнолуние. Вслушиваюсь: звучит ли еще тот первоначальный звук, которым всё создано, та чистая нота? Тень сарая, черные доски, угрюмый час. Вхожу в дом. Ее мать сидит на стуле. Слепая старуха под 90 лет. Говорит, повернув голову в мою сторону: «А вы мне нравитесь. Вы высокий, плечистый. Настоящий мужчина. Мне предложили выйти за вас замуж, и я согласилась». Ей кажется, что она юная девушка, мечтает о замужестве. Я для нее незнакомец. По моему голосу представляет, что мне лет тридцать, что я сильный, высокий, смелый. Она в восхищении от моих достоинств. В Нижнем Тагиле однорукий инвалид-пенсионер застрелил из ружья трех чиновников пенсионного отдела. Много лет добивался, чтобы ему увеличили пенсию. Потерял руку по вине завода, на котором работал. Суд постановил выплатить ему 250 тысяч рублей и втрое увеличить пенсию. Он предъявил постановление суда чиновникам. Разговор не получился. Двоих убил, одну тяжело ранил. Потом застрелился сам. В Смоленске в 2001 году маньяк-убийца убивал, изнасиловал, высоких девушек блондинок, душил черной шелковой лентой, затем завязывал ее бантом на шее задушенной жертвы. Десять девушек. Из-за несчастной любви: изменила, пока он служил в армии. Высокого роста блондинка. Утро, бреюсь. Морщин прибавилось. Позвонила, не придет. Соседка, латышка, светловолосая, просит лестницу – чинить крышу. Вздымалась грудь ее волною. Краткодневен и пресыщен. Ранневизантийский поэт Нонн. Гарсиласо де ла Вега. Фернандо де Эррера. Тереса де Хесус. Чертоги, замки, крылатые мосты, скоропись, смутен, тысячеуст. Всю ночь барабан дождя. И пошел пророк, и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли; слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, – великий сонм возвратится сюда. Сизу, мыслишки. Книгу пишет гроза внутри автора, книга – шаровая молния,

раскаленная сфера с температурой, превышающей температуру солнца, в ней герои и персонажи, идиот, Лев Мышкин, перед грозой, его предчувствие, состояние, жуткий накал, напряжение, нарастание, насыщенный электричеством воздух... И вот она – гроза! Разразилась! Разряд! Припадок падучей на лестнице в гостинице. Нож Рогожина, занесенный над ним, молнией во мраке. Автор внутри грозы или гроза внутри автора? Имею ли я мировое право не творить ужасного? Блок. Садовник, цветок себя; сила древнего семечка, из пупа Вишну вырастает невыразимо прекрасный, небесный лотос, а на лотосе восседает Брахма. Ночь духа. Ничто. Чтобы всем обладать, не имей ничего; чтобы сделаться всем, будь ничем. На титульном листе первого издания «Дон Кихота» латинский девиз: «После мрака ожидаю света».

Пьяный велосипедист на дороге. Пусть забудет его утроба матери; пусть лакомится им червь; пусть не останется о нем память. Снилось: куда-то едем, с вокзала, несущая бутылку шампанского в кастрюле. Выронил, шампанское разлилось. Хорошо, что в кастрюле, можно выпить и так, с осколками. Попробовал: нет, не получается, губы порежешь. Идем, Фонтанка, черно, чугун. Негде ночевать. Постелила в лодке. Благодарю вас. А, может быть, есть другой выход из этого прискорбного положения?.. Опять в городе. Холод, мрак, фонари, наплыв беспричинного ужаса. Страшно взглянуть на горящие электричеством окна. Тарковский, «Сталкер». Свист поезда, стук колес, стол дрожит, стакан с недопитым чаем, как живой, рывками движется к краю. Сын погибели. То ли девочка, то ли мальчик. Помылся под душем. Спать. Судороги в ногах, боль, волком вой. Валокордин. Невский, в книжном, максимы Наполеона, грудастая, преградила путь: что у вас в кармане? Верю в гармонию сфер. Они так красиво поют! Ангельскими голосами! Их семь, из горного хрусталя, в руке Пифагора. Столпы небесные прострошася и ужасошася. Пастернак в Чистополе, зима, Шекспир, патефон весь день на кухне у хозяев. На Марсе открыли метан. Два спутника Марса, Фобус и Деймус, страх и ужас. Последний листик августа. Все тот же холод. Борей сорвался с цепей в пещере. И восплещет нань рукама своима и возьмет с шумом его от места своего. Кит и его рыбка прилипали. Не мог вспомнить имя. Лёг спать. Нет, не уснуть, мучает, что не вспомнить. Встал, нашел в книге: Магритт. Успокоился. Твердя, Магритт, Магритт, заснул.

21-я годовщина нашей свадьбы. Молилась, стоя на коленях у гробницы Серафима Вырицкого. Ждал снаружи. Холодно, солнце, пирожки с луком. Чувство, что я в любой миг свободен от всего и вся, от всего приобретенного. Гол сокол. Сброшенная шкура. Один, сам по себе, с зияющей пустотой в сердце. Ничего у меня и во мне нет. Я в нуле. Я всегда в нуле, в начале и конце всего, в ускользающей точке свободы. Непоколебим. Неуловим. Низкий и нищий. Нерожденный. Дождь, буря, дух. Молния взлетит в землю. Я Вас любил. Анна под поезд. Книга гор и морей, Шань хай цзин. Змейский шелест этих страниц из «Героя нашего времени». Прояснение. Навяу или во сне. Блеснет золотой волосок – единственно верный путь. Паутинка в осеннем небе. И вот я иду по этому волоску. Кто-то меня ведет. Вэнь чан. Это

называется – путь паутинки. И я знаю: этот ускользящий из-под ног путь-паутинка на Страшном суде слова будет Верховный судья, он–то и будет решать: кому направо, кому налево. А его уже и нет, паутинка-то пропала. Паутинка-волосинка. Темно кругом, тучи, беспутье, распутица. И я опять один, сам с собой, и не знаю, куда идти. А кто-то мне говорит: да ты не сомневайся! Иди туда, не знаю, куда; найди то, не знаю, что. Один в доме. Жарко натопил печь. Ночь. Тихо, глухо. Глаголы уст Его храню. Хмель-хмелина, зверь-зверина, лоб-лбина, пес-псина. Из-за решетки слов глядит Кто-то орлиным взором. О, страшных песен сих не пой, про древний хаос, про родимый... Слово сферично, мы всегда внутри Слова, всегда в центре Слова. Мы всегда меньше Слова. Слиться со Словом, стать Словом. Молния из центра на один миг соединяет нас со всем Словом. О, лебедиво! О, озари!

Уж небо осенью дышало. Утром нашел на дворе около умывальника мертвого воробышка. Похоронил в саду под сливой. Кому ты говорил эти слова и чей дух исходил из тебя? От духа Его – великолепие неба; рука Его образовала быстрого скорпиона. Вот, это части путей Его; и как мало мы слышали о Нем! А гром могущества Его кто может уразуметь? Силою своею волнует море и разумом Своим сражает его дерзость. Бреду по лесной дороге; тепло, облака, листья летят, рябина красная. Бабье лето. Большие цели, большие примеры. До трагедии ли нашему черствому веку? Размагниченность. Доколе еще дыхание мое во мне и дух Божий в ноздрях моих. Зеркало около умывальника во дворе, чуть запотелое, я в синей рубашке, волосы зачесаны назад, седоватые у висков, слегка развеваются в дуновении ветра, сад, изгородь, высокие желтые цветы колышутся. Автопортрет мгновения. Восплещут о нем руками и пошвытат над ним с места его. Пушкин в русской красной рубашке, подпоясанной ремнем, с палкой, в шляпе, на ярмарке. Вульф пишет, что так он нарядился один единственный раз и этим скандализировал весь бомонд. При его-то светскости и байронизме. Ткацкий станок, Гёте. Ценная монетка, профиль стерт. Сад после дождя, краснобокие яблоки в каплях. Сжаться в точку, вернуться в центр, там прячутся ритм, имя и форма, и не желают выходить наружу, под дождь и ветер. В местах, забытых ногою. Всё драгоценное видит глаз его. Но где премудрость обретается и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит: «не во мне она», и море говорит: «не у меня».

Чехов, его восхищение «Таманью» и «Капитанской дочкой». Подводное свечение этой прозы, сумеречный, серебристый отсвет. Заячий тулупчик, Гринев, кавалер де Грие. Грация – изящная краткость; точность чарующего. Художник бедный слова, чан Диониса. Мастер, выйдя из центра Желтого, движется сразу в четыре стороны – к Зеленому, Красному, Белому и Черному. Уста его замкнуты, в правой руке циркуль, в левой отвес. Многоглавое дерево, корни в сердце первопретка. Адам Кадмон. Проснулся посреди ночи от звука, как будто что-то треснуло. Тихий такой треск. Что бы это могло быть? Лопнул какой-то шовчик на другом краю Вселенной? Плюс ищет свой минус. В яйце брезжит зародыш. Кто ты, птенчик?.. Заблудился в сумрачном

лесу. Туманный день, козы на дороге, с фермы, их таинственное «ме» из Шумера. Молочница, филология, родом с Волги, ее семь дворов и семь ворот. Чтобы пройти, надо снять с себя всю одежду и украшения. В полнолуние встань голый на перекрестке с круглым зеркалом в левой руке, увидишь свою смерть. Не забудь, Аристотель, очищение, шестая глава, жалость и скорбь. И сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло время. В стране теней они пробуют призрачный звук на вкус. Осенний лес летит за окном вагона. Все мы умираем неизвестными. Слава – солнце мертвых.

Опять в городе. Утро, забытое молоко на подоконнике. Пишет в манере доселе неизвестной. Собачка наша разродилась. Пять щенков, два желтых, три черных, еще слепые, сосунки. Создание с девятью отверстиями. Эти узоры проступают изнутри солью изморози на панцире, на скорлупе, на камнях, на листьях травы, на странице. Они от меня не зависят. Рыцарь бедный, под броней только сердце. Помолиться о форме. Слова столпились в кучу, не видно леса. Вар, Вар, верни мне мои легионы! Боль в виске. Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась. Таинственная... Какое длинное и бесконечно чудесное слово. Ни одного «р», и – «печально», и «обнажалась». Лесов –инст-сень-аль-лась. И еще эти – а-а-а – такие долгие, так долго и печально обнажалась. И – ложился на поля туман. Так просто, так обыкновенно, и так дивно. Опять ни одного «р». Эти ло-ился-ля, эти на-ан, и – а-а-а. Именно – «ложился», именно – «на поля», именно – «туман». А это «туман» – какое туманное, большое, плотное, емкое слово, как оно, туманно клубясь, опускается, опускается, на поля, на поля... И – гусей крикливых караван тянулся к югу... У! – какое длинное-длинное и тонкое-тонкое «тяну-у-у-у-ля к ю-ю-ю-гу...» Эта бесконечная ниточка, и это гу-гу, в начале и в конце – гусей-югу. Безумно красиво. Именно это сочетание звуков, рисующих именно эту картину. И – приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора. Ведь именно – ноябрь. И не оттого что – по смыслу. Тут дело не в смысле, а в том, что – «довольно». Есть это «но», значит, надо, чтобы было еще одно «но», там, дальше, через некое пространство и время, то есть именно «ноябрь». А поставь вместо «ноябрь» «октябрь» – и все рухнуло, вся эта красота. От одного неверно взятого (в строке, строфе) звука рушится весь мир. Не метафорически, а буквально, физически. Также, как рушится снежинка, утратив свой узор, свою кристаллическую красоту, свое хрупкое чудо, а вместе с ней, всякий раз (с гибелью одной снежинки) рушится и всё мироздание, весь космос. Потому что всё это – одно Создание, создано одной Рукой, одна плоть. У слов та же плоть, и эта плоть слова – такое же хрупкое чудо, как и у снежинки. И каждое слово создано той же Рукой. И живая плоть фразы, строки, стихотворения, поэмы, книги. Узор, взън, мир-книга. И в этом Узоре, в этой Книге, в этом Кристалле мира нельзя произвольно менять ни звука, ни буквы. Я слышу: всякий раз при неверно взятой, фальшивой ноте содрогается и вскрикивает от внезапной боли весь мир, как смертельно раненый, и я содрогаюсь и вскрикиваю вместе с ним. И как же мне не страдать – ведь это же для меня единственное, чем ценен мир, чем он диво и чудо, из-за чего я еще здесь и не спешу уходить.

Показать, скрыв. Показать, не показывая. Спрячь белое в черном. Сквозь маску – звезды. Твердое слово «дорога». Прокрасться, вычеркнуться. Лермонтова должны были назвать Петр или Юрий. Так было принято называть мальчиков в роду его отца, в роду Лермонтовых. Бабка переселила, назвала по роду Арсеньевых, по деду, Михаилом. Троица: резец, ряса, рынок. Погибе память его с шумом. Возносяй мя от врат смертных. Проснулся в семь. Мглисто, листья. Лишь паутинки тонкий волос блестят на праздной борозде. И действительно: как блестят эти два «з» в этой паутинке. Прекрасная пора, очей очарованье, приятна мне твоя прощальная краса, люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса. Тут ведь шелест – эти п-р-с-ч-щ-ш. А в конце «б» и «з» дают блеск. И преклони небеса и сниде, и мрак под ногама Его. (Наклонил Он небеса и сошел – и мрак под ногами Его.) И взыде на херувимы и лете, лете на крилу ветреню. (И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра.) Вот и сравни. Имеющий уши да услышит. Что происходит при переводе. Изменяется тело слова, плоть и кровь слова. А с ними – и душа и дух. А с ними – и смысл и суть. Меняется плоть – меняется и суть. Потому что каждая фраза, каждая строка – это единое Слово, единая Плоть. Имя Бога, змей, Нирах, Номмо, Фанес, сияющий, неизменный. Слово, змея, спираль, нить, узор, взнь, первый язык мира. Утешься, друг Петрушка, погибай в балагане. Понедельник, дождь, буря, вихрь. В Пушкинский Дом, любомудры. Укиё, быстро текущий. Студенты на остановке, Нева, Исаакий, золотой сон. Пятница. Щенков увезли. Пусто в квартире. Грустим. В ЦГАЛИ, сдать архив. Гора с плеч. Дождь, холод, листья, осень, Нева, машины, шум этот, ремонт, огорожено, фасады в «лесгах». Нащупать нить. Ломоносов, новые слова: маятник, чертеж, насос, созвездие. Карамзин: человечность, сердечность, трогательный. Карл Брюллов: отсебятина. Достоевский: стушеваться (очень этим гордился). Крученых: заумь. Игорь Северянин: бездарь. Хлебников – летчик. Лезем в потайной карман языка за словом. Режиссер Ростовский. Печорин – Ивашёв, слепой – Бурляев, ундина – Светличная. Идем в аптеку, сумерки, пруд, мост, утки. Между домов, желтые клены. Вдруг зашуршало. «Что это? Дождь?» – спросила. Смотрю: нет, снег! Крупа. Так и сыплет, так и сыплет! Уже вся дорожка у нас под ногами белая. И как всё осветилось вокруг!

Четверг, писец, Набу, грифель из Шумера. Эта рыба не умещается в море; умаяясь, она превращается в знак на стене катакомб. Сокрушительная свежесть вулканических извержений. Рим, арка Адриана. Что ты унываешь, душа моя, и что смущаешься? На выставку Ю.Медведева. Васильевский остров, Большой пр. 62. Мрак, дождь. Алексеев, Тропников. Бокалы с вином на столике. Ее тревоги. Пятница, прялка, изгибы, извивы, тонкие дела, веретено. Брось в колодец. Все складывалось так, чтобы убедить его самого в полной своей бездарности. Волошин о Богачевском. Звонил Алексеев. Святой в венце вина. 140 лет со дня рождения Бунина. Ночью буря. Дух пишет, где хочет, перышком вороньим на полях. Сжатый кислород. Не уснуть. Стук часов на столе, это он нагоняет страх и ужас. Заостренная стрелка секунды, пульс ночей и дней, душа в пятках. Эх ты, Ахиллес! Среда, котельная,

Шельвах. Костя Крикунов, посмертный том. Артистический жар, повышенная температура, как всегда, как всегда. Андрей Белый, 130 лет со дня рождения. Ни букета, ни портрета. Метро Чернышевская, песнь творити. Северная Аврора, Лукин, свет в окне, проблеск, выстрел с моей публикацией готовится не за горами.

Ноябрь, дождь. Дом Державина, концерт. Вышли, темно, брусчатка во дворе. На Фонтанку, через мост, лицо Ларисы при свете фонаря. Твой день и твоя ночь. Собрание пишущих вилами на воде, плетущих корзины извилистых витийств. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Приснился Оредеж, лето, яркий солнечный день, сижу на берегу, быстро-быстро пишу в текучем, сияющем свитке, и поток уносит мои письма. А я пишу и пишу, нельзя не писать, нельзя перестать записывать ни на минуту. Так велит мне мой Повелитель. Я должен писать до последнего вдоха. Московский пр., Парк Победы. Блок, 130 лет со дня рождения, концерт. Галина Дюмонд. «Незнакомка», юноши и девушки из театральной студии. В квартире грусть. Хризантемы на столе. Снегопад, в церковь, память Марии Афанасьевны. Запах из пекарни. Николай Харита, автор романа «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Красавец, высокий, стройный, сердцеед, женщины его обожали. Жил в Киеве. Убит каким-то бароном-ревнивцем, застрелен на выходе из ресторана. Ночью буря, дождь. Лев Толстой, сто лет со дня смерти. Писатель, двуликий, раздвоение личности, пропасть внутри, а мостика нет. На кладбище в Красное Село. Память мамы. Голые, черные клены, земля, дождь. На обратном пути поссорились. Опять предложила расстаться. Вот уже третий год твердит как заклинание: расстаться, расстаться. Ее слепая мать снова кричала ночью. Подняли с пола. Одна и та же галлюцинация: как будто она лежит на улице, на рельсах, и ее сейчас зарежет трамвай. И нам никак не убедить ее, что это ей только грезится. Так у нас теперь чуть ли не каждую ночь. Метель, экстремально, эквилибрист на шаре. Яблочко, куда котишься? Играй на одной струне. Сестричка смерть. Мороз. Нарвские ворота, канцтовары, лента для пишущей машинки. Тротуар перед магазином оцеплен оранжевыми флажками; три узбечки орут, чтоб шел прочь, пока цел. С крыши сбрасывают снежную лавину. Умерла Белла Ахмадулина. Звонок судьбы: начнет печатать мою книгу в своем журнале.

Концерт в университете. Чернышев с женой, шампанское. Лыжи, метель, сумерки, колючки репейника в белых шапочках, решетка ограды, шахматисты в тулупах под синим навесом, спортплощадка, турник, шум шоссе. Вечером к Старовойтовым, вино. Обратно через парк; нес на плече две пары подаренных нам новых лыж, Лариса – мешок с лыжными ботинками. Адская ночь. В квартире под нами опять оргия. Концерт в музее театрального искусства. Чернышев с женой и мы. Флейтистка. Мороз, метель, переулок Крылова, продувная труба. Оглянулся: Пушкинский театр, в метели, озаренный фонарями. Рух: разруха, проруха, старуха. Украинская газета. Можно ли трезвой то высказать силой ума, что опьяненному муза прошепчет сама? Злая лающая Парка. Оттепель. Идем в аптеку на Дачный проспект, буря, снег в

лицо. Большая очередь, человек двадцать. Говорят: это еще что, бывает, и на улице стоят. На рынок, купили рыбу, пикшу, картошки 4 кг., из Волосова, морковь, груши. Книжный вагончик у метро, продавщица в тулупе, занесенные снегом книги. Умер Коля. Запой. Пил десять дней, никому не открывал дверь в квартиру. 43 года. Всю ночь буран. Дом писателя, вручение премий молодым поэтам и прозаикам. Н.Н.: «Надо почаще упоминать обо всех вас, чтобы что-то сдвинулось». Лыжи при месяце. Ветер сдувает с ветвей седые космы. Ушла на собрание жильцов, расселение «хрущовок». Мастер игры в го, проиграл последнюю партию и, не вынеся позора, умер, в 64 года. Письма А. Белого, вопли черного отчаянья. Места силы, Жар-птица в волшебном саду, феерия искусств. Магические заклинания, начертанные древними иероглифами внутри бронзовых кувшинов. Вся земля моя и мне дано пройти по ней. Аполлоний Тианский. Поехала в СОБЕС. Звонок, забыла документы. Нарвские ворота, жуткие, зеленые, филоновские. Толпа, тускло, собаки на снегу. Зашли в кондитерскую у метро; а коврик, каких ей хочется, нет. Приходите завтра. Дом писателя. Набросились: мозаист, пуантилист. Я был спокоен, как лед на Эльбрусе. Болевой писатель, закрученный. И показала рукой вверх, смерчеобразно, как я закручен. Мороз, фонари. Смотрю в безрадужную мглу. Лунное затмение в ночь на 21 декабря. Смерть и живот в руце языка... Вода глубока – слово в сердце мужа. На Невский, ей хочется посмотреть, как украшено к Новому году. Лиловенько, в сосульках. Заглянули в Книжную лавку. Книги мои лежат железно, как в саркофаге, до Страшного суда. В Пассаж, она скоро. Жду снаружи. Полнолуние, мороз, толпа. Александр Тихомиров, художник, одноглазый. Магнитная стрелка указывает на неизвестную звезду на Дальнем севере. Ацтеки. Золото – испражнение богов. А вот будет время, когда каждый человек, чтобы услышать одну ноту из моих творений, будет скакать с одного полюса на другой. Скрыбин. Купил елку, колочая, ах, как пахнет! Слава Божия крыет слово. Погряз в книгах. Закат. Прощай, уголек! Безрадостные дни, от года-то хвостик остался. Огни, мрак, дома, брести куда-то, месить эту кашу. Все равно не хватит силы дотащиться до конца. Игрушка-погремушка над ухом. Слава мира. Иди домой и ничего не жди. Пиши, пиши, червячок, стар и страшен, провидец божьих чудес. Тускло, мороз. Звонил Алексеев. В кондитерскую за тортом, Саша, пьяненький. Новый год вдвоем.

Январь, читаю, душа автора, след тигра в зимнем лесу. В начале был голод. Придет новый чародей, накроет наш стол скатертью самобранкой; тяжелы эти черно-белые чаши, чуют срок и черед. Творити книги многи несть конца. Гуляли в снегопаде. К церкви, пекарня, пирожки. Ей плохо, давление, лежит. К перемене погоды. Оттепель. В Манеже выставка, Ю. Медведев, Чернышев, Алексеев. Шестеро в лодке. Повторы, копии. Мокрый снег, слякоть из-под колес. Опять мороз. Сел за стол. В заутри сей семя твое, и в вечер да не оставляет рука твоя. Юлиан отступник, речь «К царю Солнцу», написал за одну ночь; речь «К Матери Земле» – за две ночи. Проводил в поликлинику. Бледная, похудела, на грани отчаянья. Непосильная ноша для ее хрупких плеч – этот крест. Джек Лондон, 135 лет со дня рождения. «Морской

волк», одесская киностудия, 1990 год. Волка Ларсена играет известный актер, литовец. Понедельник. К Нарвским воротам, снять ксерокс с моей повести «Рак на блюде». Там подешевле, скидка для пенсионеров, на рубль с листа. Для сборника «Повести петербургских писателей». Метель, мутно, метро. Вышел на площадь. Ворота триумфальные, зеленые. Вороньи лавры. Толпа, скользят, гололед. Ужас этот снегом припорошен, дьявольское коварство, долго ли шею свернуть. Вечером к Старовойтовым. Коньячок. Косноязычие мастера черных солнц. Утром к метро, розы. Вот и ей 65. Небо голубое, мороз, а я еле тащусь, на ногах гири. К вечеру метель. Гулял в парке, вернулся, стол уже накрыт. Опять оттепель. Мокрые хлопья вьются. Поехали на Литейный, приемная, полковничиха, рыжая, заявление.

Февраль, таянье, серо, тускло, сыпется мокрый снег. Мне 64. Нелепая поездка на Васильевский остров, Михнов, выставка, не нашли. Проболтались четыре часа. Промочила ноги, сердитая. У метро Гарнин, нос к носу. Вечером Лена с Мишей. Напились. Мнози суть высоци и славны, но кротким открываются тайны. В Дом писателя. Алексеев: ты мне тем больше всего нравишься, что не делаешь лишних движений. Отзыв в «Литературной газете». Сергуненков, юбилей. Почто гордится земля и пепел. По всему миру мрут пчелы. Ученые говорят: из-за химикатов и телефонов сотовой связи. По предсказанию Эйнштейна, если на Земле вымрут все пчелы, человечество погибнет. Мороз, солнце, медицинский институт на Садовой, у цирка. Чернышев, Лебедев-Серб, Тропников, Алексеев, Константин Иванов, Сорокин. Шампанское. Алексеев: Как пишет Овсянников? Вот так: Ночь, улица, фонарь, аптека. Пришел, увидел, победил. Ужасный, мрачный, отвратительный писатель. Ужасная отвратительная поэтика. Лебедев-Серб: Что в народе говорят об Овсянникове – что он белее Андрея Белого. Выставка Константина Иванова, пл. Чернышевского. Вино, скука, ушел. «Поэтический гений есть истинный человек, а тело или внешняя форма производна от поэтического гения». Вильям Блейк. Снегирек на клене, каждое утро прилетает клевать семена. Пишу плотно. Сократи слово, малыми многая изглаголи. Концерт в Капелле, дирижер из Канады. Дебюсси, Равель, Дворжак. Среди говорящих тварей есть боги, есть люди, а еще есть Пифагор. Феллини, «Джульета и духи», смотрели до часу ночи. Только стал засыпать – зовет, у нее ужасная боль в спине. Растирал мазью, плачет, хочет жить. Утром солнце, яркость. У соседнего высотного дома-башни ослепительно блестят стекла.

Март, мокрый снег, березы за окном. Скрябин. Если бы Бог не любил музыки, я не мог бы ее писать. Я только поднимаю завесу, делаю скрытое явным, я только переводчик. Я ничто, я только то, что хочу. Я бог, я вселенная, я игра. Искусство – это светящиеся звуки. Ничего не создается, все только игра. В кабинете Скрябина перед его пианино висел на стене портрет восточного мудреца, мрачное, дьявольское лицо, работа его друга художника. Скрябин сочинял музыку, сидя перед этим портретом. Рисунок Леонардо да Винчи – голова девушки (для картины «Мадонна на скалах»). И высказывание Леонардо под этим рисунком: «То лицо, которое на картине смотрит прямо на

художника, его делающего, всегда смотрит на всех тех, которые его видят». Смысл сказанного словами (в словах) и смысл видимого глазами (в смотре, когда смотришь) – между ними пропасть. И я слышу: «Или смотри, или говори. Что-нибудь одно». В Мексике выбросило на берег кита, гигант длиной 10 метров. Сто человек сталкивали его обратно в океан. Некоторые астрономы утверждают, что в 2012 году у нас в небе загорится второе солнце, сверхновая звезда. На Земле будут белые ночи. Это и есть предсказание майя о конце эры в 2012 году. Вечером вызывали «Скорую помощь». Лидия Андреевна потеряла сознание, повалилась со стула. Думали – смерть. Нашатырь к ноздрям. Пришла в себя. Мои самые сокровенные, самые дорогие для меня чувства и мысли чужды миру и не стремятся быть понятыми читателем. Франсис Понж. На грани сходства и несходства. Полное сходство вульгарно. Полное несходство – обман. Избегай вульгарности. Также избегай и обмана. Древние египтяне при мумифицировании сохраняли все внутренние органы тела, как необходимые для будущего соединения с духом. Кроме мозга. Мозг они просто выбрасывали, как совершенно ненужное для человека в потусторонней жизни. В филармонию, Лист. В Японии землетрясение, 18 тысяч погибших. Разрушена атомная станция. Взрыв реакторов. В Южно-приморский парк, давненько мы здесь не были. Талый снег, светлая березовая роща. Демьян Бедный, настоящая фамилия – Придворов. Возможно, незаконный сын К.Р., Константина Романова. На столе Демьяна Бедного стоял портрет К.Р. Известно, что К.Р. ему покровительствовал, помог поступить в Московский университет. У Демьяна Бедного был свой личный вагон, подаренный Лениным. Громадная библиотека, собранная из библиотек, реквизируемых ЧЕКА. Лариса ушла в поликлинику. Тревожно. В Доме писателя, женский день, читали три писательницы: Жорж Санд, Эмилия Бронте и Вирджиния Вулф. Звонил Алексеев, говорит мне: «Ты же самурай!». Гулял, ветер. Плеск талых ручьев, льющихся с крыши школы. Иду, опустив руки. Пустота. Исайя. Четыре крыла земли. Гюго, предисловие к «Кромвелю». Художник – внутренний строй, присущий всей природе. А раздражитель – тварь дрожащая на всех ветрах. перевели часы на летнее время. Утром чистое небо, но вот, уже заволакивает, будет, как вчера, буран. Сизо-темное небо в борьбе туч. Во всех сих не отворачиваюсь ярость Его, но еще рука его высока. Забыл, где живу. Забываю вчерашний день. Беспамятство, сырой снег. Скрипим перышком. Осталось лет пять: чудить в этом чаду. 70 – это уже ятаган в тучах. Жалобы турка. Будь самим собой, старая подошва, дырка от бублика. Толпа толкает меня внутрь себя, а там Карамзин с «Бедной Лизой». Поскольку переживания – фундамент моего искусства, я не подлежу изучению. Сезанн. Седем, грецкий орех, ум за разум. Динамическая, речевая конструкция, Тынянов, чудище-юдище. Оскудеет слава сынов кидарских.

Апрель, клики чак, проспект Стачек. Купили резиновый коврик под стиральную машину. Солнце в лицо, печет, жарко. У церковных ворот ручки блестят. Пекарня, проголодались, пирожки горячие, с луком. В квартире душно, топят, как зимой, раскаленная батарея. Старый фильм «Изящная

жизнь», немое кино. Перемена погоды, дождь, сырость. В приемную депутата, продуктовые пособия для инвалидов. Крупа, макароны, консервы, подсолнечное масло. Тащим на тележке. Ослабели мы с ней, истощение, тяжелая была зима. Шатает, ноги скользят и подкашиваются. Горе венцу гордыни, на версе горы тучная, пьянии без вина. И ногама поперется венец гордыни. Система вогнутых зеркал. Если стоять в ней, станешь ясновидящим, тебе откроется прошлое, настоящее и будущее. Болгарская провидица Ванга предсказала 3-ю мировую войну в 2012 году, сохранится только Россия. Россия будет ковчег всего мира. Столицей мира будет Петербург. Звонил Алексеев: мою книгу читает Москва. Поехали за торгом. Яркий день, грохот, приставленная к стене лестница, рабочие снимают вывеску, то ли Саргон, то ли Сайгон, все как во сне. К Нарвским воротам за подстилками для Лидии Андреевны. Там очередь, много таких, ухаживающих за лежачими, у кого муж парализован, у кого жена, у кого что. Обратно троллейбусом, груз громоздкий. Сухо, мутно, дико. Это уже не просто слова и мысли, напечатанные на бумаге. Это вещь, такая же реальная, как хрустальный пузырек для чернил, стоящий передо мной на столе. Кажется, эти стихи, ставшие вещью, можно снять с бумаги и бросить в окно, и окно разобьется. Вот что могут сделать стихи! Хармс, из письма. Красота – это торжество порядка. Фома Аквинский. Вербное воскресенье. Надо идти от себя, и как можно дальше. Пиза, Галилей, площадь Чудес. ЛЕНЭКСПО, книги, злато слово, речь в микрофон. Оказался в каком-то неизвестном месте, дома кругом, детская площадка. Никак не могу понять, где я. Расспрашивал, как мне попасть на улицу Лени Голикова. Да тут недалеко, говорят, автобус ходит, пять остановок. Добрался до дома в десятом часу.

Цветы, птицы, майское, синее. Мама видится, в ватничке, в платочке. День Победы, Марсово поле, по набережной, Нева слепит. Лица, лица. Изнемогли в толпе, толчее. Грибоедов с отстрелянным пальцем, клен в цвету. Монетка 10 копеек, клейкая, кто-то ее потерял среди разбросанных по земле чешуек и хвостиков. Ветер, мгlisto, дождь. Поворачивает к теплу. В Эрмитаже выставка, из Прадо. Тициан, «Венера и клавесин». Устали наши ноженьки кружить по залу. Где бы присесть? Черемуха! Запах донесся еще на дороге, когда еще ее не видел, там, в переулке. У, мировая! Размахнулась во всю Вселенную! Кукушка, туманный голос с того берега. Два рыбака, солнце садится. Упорная строгость, *hostinato rigore*, – девиз Леонардо да Винчи. Проснулся среди ночи, мешала спать какая-то мысль, которую надо додумать. А проснулся и забыл – что за мысль, о чем. Лежал на спине, слышу: первая электричка. Голова болит, виски сдавило. Отчего эта боль? От забытой мысли? Что я ее забыл? Вот и мучает, мучительница. Ведь мысль – женщина. За окном светло. Сад в зеркалах после дождя. Скворец, блестя мокрой угольной спинкой, гуляет по грядкам, клюет червяков. Живу тут один, тяжелые сны, время сажать и сеять. Вид жаберных, человеко-рыбы, нулевой уровень узнавания. Дух времени в ноздрях моих. Оглянулся: синий купол Троицкого собора. В Екатерининском саду – сирень.

Оредеж. Сижу в лодке, опутив руку в воду. Блеск этот, листья тополей

трепещут, такие еще молодые, зеленые. Голос кукушки из леса, гулкий, звонкий. Так и сидел бы тут в безмыслии до скончания веков. Ветер, веранда, книга. Закатные лучи озаряют страницу; шрифт резкий, как зубья, страшная ясность смысла вонзается в мозг. Вагнер, маленького роста, щуплый, с орлиным носом, очень подвижный, вспыльчивый, непререкаемый, не терпел никаких возражений, тиранический характер. Умер в 70 лет в Венеции от внезапного сердечного приступа, посреди работы, мгновенно. Ходил по комнате, писал статью, вдруг удар в сердце. Успел сказать: «доктора». Упал, агония, смерть. Опять сижу в той лодке, приложив к уху раковину. Вслушиваюсь: внутри зарождается звук, растет. Брахман. Рядом купаются две старухи. Выходят из воды, одна говорит: не пугайтесь, кому мы теперь нужны. И смеется, веселая. Ночь, по дороге кто-то бредет, шатаясь, то ли пьяный, то ли старый. Abussus abussum, бездна бездн. Двуликий быколев сеет в космосе новые знаки. В Вырицу, квитанции за электричество. Жарко, с ног валось, частичка бытия, покой и воля. А кто огород будет поливать? Луи Ламбер?

Дождь с утра и, кажется, на весь день. Лук Геракла. Скучно стреле в колчане, состояние неписьма. Лежу, сложив на груди руки, как покойник, тишина мертвая, только электричка прошумит глухо, и опять эта, глубокая, как бездонный колодец, тишина. Но я не верю ей, я знаю, у нее есть голос, и этот голос мне говорит: встань, садись за стол, возьми ручку и пиши. Все равно – что. Пока не начал писать, ты не знаешь – кто ты. До письма ты – никто. Начни писать – и узоры и формы с отпечатка пальцев, которыми ты сжимаешь пишущую ручку, перейдут в слова и фразы на листе бумаги – твой автопортрет. Эти узоры – с отпечатка титанических пальцев, пишущих Книгу чернилами древней крови предков. Это Он, Водолей, водит моей рукой, это его диктант. Жаждающая смысла рассудочность, Юнг. Дождь весь день, как я и предполагал. К вечеру стих. Оредеж в тумане, влажно, матово. Шлепки капель о воду. Полнота, Плерома. С каждой каплей восстанавливается целость мира. Каждое слово земли и воды пишется изнутри мира, всем миром, всем мирозданием. Так в каждое мгновение восстанавливается мир.

Понедельник. Из соседнего дома пьяный вопль. Сок отравляет шумны мозги. Ставь на проигрыш, поражение – это и есть победа. Поэт начинается там, где кончается человек. Ортега де Гассет. Магическое превращение. Опять стоял на горе, созерцая закат. Что внутри, то и вовне. Во всем видно грустное нутро мира. Лариса, растрепанный голос. Облака, тополиный пух, вой пыли. Он может нести на голове Великий круг, ступать по Великому квадрату, глядя в зеркало Великой чистоты. Стоит ли пожертвовать хоть волоском со своей голени ради пользы Поднебесной? Вещи правильной формы. В городе, день темный, дождь, на Разъезжую. Троянский конь, авторские экземпляры, и черный рак на белом блюде. Никольский собор, облачно, день душный. Тревожное ожидание. Крюков канал, этот антрацит в масляных бликах, колеблются складки, тополиный пух летит. Черный чугу

решетки. Весь день на ногах. Екатерину Васильевну привезли из больницы, 94 года, сломанная шейка бедра. Санитары вносят на носилках, громко стонет. Канал, Аларчин мост, музыка из машины на набережной. Спрашивает: что видно в окне? Отвечаю. Она, не расслышав моих слов, просит говорить громче и помедленней, прямо над ее ухом. Низкий полет стрижей, их круженье, как много, как темно. Снова тучи собрались над моею головой. Не знает, что сообщает ему глаза и уши, сквозь пальцы пропускает тьму вещей. Бродить у начала и конца. Странствовать сердцем в пустоте.

Июль, сны. Чжуань-суй правил, используя магическую силу воды и давая по названиям вод названия должностей. Небесный узор. Ян рождается в знаке цзы, инь рождается в знаке у. Жаркое утро. Сложно-образованные формы облаков, высокая рука Мастера создала эти неведомые шедевры не для моего восторга. Они прячут свою тайну, их превращения мгновенны. Вот, они уже расплываются, распадаются, их форма рушится. Где они? В запасниках каких музеев? Роскошь крошеной ромашки в росе. Четыре «ро», три «ш», семь «о» и «е». Чудо-строка. Такая, может быть, одна во всей мировой поэзии. Гулял. Господин Люй. Томление. Дева на дороге, отвернулась от моего пронизательного взгляда. Только путешествующие во временах способны владеть этим искусством. Грань приобретения и утраты глубока и тонка, неясна и темна. Дух обитает в сердце и управляет формой. Пошел купаться. Уже темнеет. Оредеж обмелел, спустили плотину. Танец привидений в тумане вокруг призрачного центра. Кто познал одно, тот знает всё. Кто не способен познать одно, тот не знает ничего. Обнимает корень Великой чистоты и ничем не обременен, вещи его не тревожат. Поехали на Английский проспект, получить пенсию Екатерины Васильевны на почте по доверенности. Ждал снаружи, ветер, чахлая трава газона. Екатерина Васильевна третий день не ест, не пьет. Пришел священник, соборовать. Душный день. В Русский музей, выставка Бориса Григорьева. «Улица блондинок». Лариса похудела, измождение, усталое, замученное лицо. Оредеж. Туман. Без руля и без ветрил. Грибоедов в Тифлисе при венчании уронил кольцо (трясла лихорадка). Дурная примета. Пушкин тоже уронил кольцо при венчании. Путь в Персию, свадебное путешествие, пышное, радостное, цветы, песни, всадники гарцуют. Обратно – гроб, ночь, факелы, черный Тифлис, траурные полотнища, вопли рыдающих грузинок, Нина Чавчавадзе, мертвый ребенок, мертвый муж. Пушкин, какая встреча, песни Грузии печальной.

Опять один. Един есть Бог, един – Державин. В саду под яблоней. Дао дополняется умом, и от этого возникают заблуждения; сердце обретает глаза, и теряется ясность зрения. Каждый стоит на страже своего дела, не вступая друг с другом в соперничество. Тот, кто постиг корень, не заблудится в верхушке. Великое совершенство похоже на несовершенное, постигается без слов. Сдерживая сиянье, можно устоять. Учитель говорит: «Струна права, это в звуке ложь». Форма – это то, чем соприкасаешься с вещами, чувство же остается скрыто внутри, и тот, кто захочет вывести его наружу, если увлечется формой, то погубит чувство, а если излишне отдастся чувству, убьет форму. Только когда чувство и форма проникают друг друга, является

нам Феникс и Цилинь. Мелочью легко нанести урон сути, а это тут же отзовется в форме. Ум мудреца в умении по началу судить о конце и говорить намеками. Если ценить вещи за то, что в них ценно, то все вещи будут ценны; если презирать вещи за то, что в них презренно, то все вещи окажутся презренными. Пружина духа глубоко скрыта, резец не оставляет следа – таково тончайшее мастерство. Недостижимо высокое не может быть мерой для людей. Чувства приходят в движение внутри нас и обретают формы в речах и звуках. Господин формы, хозяин звука, узор – вьнь. Резной дракон. Молния в пепле. Звук есть маленький листок дерева Земли и звезд. Вторник. Умерла Екатерина Васильевна.

Встали в семь. Морг у Троицкого собора. Голубой купол в золотых звездах над нами, солнце, яркий день. Отпеванье, попик в рясе пел перед гробом вечную память. В вагоне душно, Мейстер Экхарт, в переводе Сабашниковой. Надо еще додумать кое-что. Хвостики мыслей. Длань незримо-роковая, металла звон, скрежет тормоза, платформа. Для звуков жизни не упадти. Слышно страшное в судьбе русских поэтов. Приехала, бледная, унылая. Луна-льдинка, холодно, жутко. Как дальше жить, спрашивает. А я не знаю, что ей ответить. Не знаю, не знаю. Жить-тужить. Ничто из ничто создал ничто, как говорит Василид. Идем в Вырицкую церковь Казанской Божьей Матери, пешком по шоссе, жаркий день. В церкви прохлада. Девочка некрасивая бежит. Толстый поп в черной рясе, очень энергичный. Когда мы подходили к церковным воротам, этот поп брызгал святой водой на богатый лимузин, освящал. Сверху с купола стук молотков. Ремонт. Поставили свечку за упокой Екатерины Васильевны. Грибоедов, слова по-кудрявее – это для поэтов. Доколе слово российское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь. Если умолкнет оно, то и слава твоя угаснет. Лестно, лестно так умереть. Радищев «Слово о Ломоносове». Из леса, с черникой, радостная. Вышел: ночь теплая, ни ветерка, сад-Вий, на западе бледно-розово. Мотылек порхнул у самых ресниц, как молния, в пепельных пятнышках, мучнистое тельце. Трепетность, хрупкость. Идем, слышим: гром! Туча черная-пречерная! Скорей обратно. А до дома далеко, не успеем, гроза застанет на дороге, вымокнем насквозь, и спрятаться негде. Гром все резче, страшной, туча все черней, небо закрыла. Вот и змея в глаза, вспышка электросварки. Первая капля клюнула в голову. Бежим, только в калитку и – дождь. Сначала робко, потом разошелся, хлынул ливнем. Стихло, глядим: радуга! В полнеба на сизо-темном небе. Ах, красота! И тает, тает этот цветной пояс. Вот уж ничего и нет. Воскресенье, купались, замерзли, пили водку. Даосская книга «Льюнши Чуньцю». Облако в виде человека в лазурном одеянии с красной головой и неподвижного. Имя ему Небесный Враг. Облака, как висящее знамя, красное. Душно. Проводил, уехала. Пена дней. Твари в панцирях, нота – юй, число – шесть, вкус – соленый, запах – гнили, жертвы – входу. На дороге, голоногая, загорелая, в коротеньком, черном платьице на тесемках, посмотрела на меня долгим взглядом. Глаза цыганские, жгучие. Угрюмый тусклый огонь желанья. Лет шестнадцать. Хрупкий свет, на западе розово-пепельно. Ночью гроза. Все небо вспыхивало, как будто гигантский

ночной мотылек бился серебристым крылом. И гремело, и вспыхивало долго, час за часом, молнии чертили ослепительные зигзаги неизвестных письмен на пиру Валтасара, а дождь все не начинался. Вот что-то зашелестело в саду, вот гуще, шумней. Долгожданный.

Константин Леонтьев, роман «Река времен», сжег будучи монахом, чтобы победить соблазн литературы и славы. На Волге потонул лайнер, почти все погибли, сто человек команды, более двухсот пассажиров. Перевернулся по неизвестной причине. Спаслись только те, кто был на палубе, и несколько человек, кто сумел отдраить иллюминаторы в каютах. Иллюминаторы по приказу капитана были все задраены. Она в унынии, говорит, что ждет смерти. Ушла за молоком. Длинная шерстяная безрукавка, резиновые калоши. Томик Огарева. «Или в лиловой мгле сияния луны». «При блеске солнечном их яркой белизны». «Досадно нежному слуху», как говорил Третьяковский. Холод, ливни зарядили, неистощимые, неисчислимы. Что-то невесело нам живется в последнее время. Пора к Свидригайлову в Америку. Третьяковский разбирает оду Сумарокова. «Что то за диковище? или лучше, что то за сумбур? и толь страннейший, что он здесь прилеплен, как горох к стене. Мне в сочинениях толика важности не любви ни Нимфы, ни Нептуны, ни другие подобные сумасбродные тени: ибо можно без всех сих пустошей обойтись. Автору надобен токмо звон, а кроме того ни что». Не спится, колесо в мозгу. Топчу тоску. Озарение, откровение, слияние. Поэзия тебе любезна, приятна, сладостна полезна, как летом вкусный лимонад. Автор «Фелицы». Потопилу между учениями словесными надобны стихи, поколику фрукты и конфеты на богатый стол. Автор «Деидамии». «Коль бы стихи с рифмами не гремели, в начале своем и средине, мужественною трубою; но на конце пищать токмо и врещать детинскою сопелкою. Согласие ритмическое отроческая есть игрушка, недостойная мужеских слухов». Он же. Четверг, туман, накрапывает. Проводил до платформы. Потухший взгляд. Уехала.

Мглисто, Фрейд, подавленность. Ты пьешь волшебный яд желаний. Один в доме. Поднялся по лестнице и – ночь. На печной трубе играют причудливые узоры отраженных листьев, мятущихся в ветре. Иван Крылов, начал писать свои басни в 40 лет в подражание Лафонтену. Слава и тираж изданий больше, чем у Пушкина. Сербский эпос, битва с турками на Косовом поле. И долго сердцу грустно было. Если бы кто-нибудь проносил передо мной картину неизвестного мира в текущей раме сна, одну минуту, хотя бы одну минуту, – может быть, я успел бы ее запомнить и при пробуждении записать? Нет, навряд ли, навряд ли. Мечты и звуки. На почту, платить за электричество. На шоссе машина обрызгала грязью из-под колес, летела, как сатана. Джакобо Леопарди, библиотека 20 тысяч томов, одна из самых больших частных библиотек в мире. Собрал его отец, потратив на книги почти все состояние. О, как писали в мощны годы!

Идем к Троицкому собору. Синий купол в золотых звездах на фоне темной дождевой тучи. Поставили свечки, за здравие и за упокой. Вышли – тротуар мокрый, дождь был. В кондитерскую, пирожные. Опять дождь. Бежим под зонтом до метро. Дома распили бугылку сухого красного вина

«Фанагория». У нас, говорит, теперь новый период – старость. Прожили вместе уже 32 года. Метро Чернышевская, встреча, люди у них напряжены. Понедельник, месяц в окне вагона, огромный, красный, сентябрьский. Он звуки льет – они кипят, они текут, они горят, как поцелуи молодые. У Аничкова моста расстались: до связи. Сырой ветер в лицо, темно, фонари. Трезвость. На Фонтанку, Антон Рубинштейн. Художнику необходимо признание, иначе его творчество иссякнет, подавленное горечью сомнений в собственном таланте. Богом быть не могу, королем не хочу, я – артист! Две книжных полки с Гражданского проспекта. Облака. Древние индийские трактаты на санскрите, летательные аппараты, виваны. Древний город Мохенджо-Даро (Холм мертвых), уничтоженный взрывом атомной бомбы. Спираль истории. Все уже было и забылось. Хемингуэй, прочитав рассказ Андрея Платонова «Возвращение» в переводе на английский, воскликнул: «Вот мой учитель!». Полнолуние. Заяц толчет в ступе волшебный корень бессмертных слов. Все лишь ступог к имени, даже ночная Вселенная. Среда, ветер, голос горестный: «Когда же ты вернешься?». Две черных собаки у обочины, нехотя встав, отошли в сторону. Ночь, умный череп. Ибо из тварей, которые дышат и ползают в прахе, истинно в целой вселенной несчастнее нет человека. Музей Ахматовой, стихи читал, взвизгивая, глухой. Подскочил какой-то: вы автор этой книги? Тютчев за границу взял томик Державина и там сочинял стихи: сей, сея, сии. А вернувшись через 20 лет в Россию, стал писать только: этот, эта, эти. Стучит кулачком по столу: почему у немцев в Мюнхене есть памятник Тютчеву, а у нас в Петербурге нет? Высокая сосна, выставка графики, набережная Робеспьера. Красный свитер, одряхлел. Примирение. Кепочку потерял, не помню, где. А ведь я в ней так симпатичен был и нравился женщинам. На радио, Петроградская, Карповка 43, проливной дождь, еле нашел. Закон скупых чернил, рукопись мира, этот темный, черный, очень черный путь. Ташусь с гирями на ногах. Пятница, ночь темная, одна единственная звездочка подмигивает, подбадривает. Испугал какой-то странный шорох. Как будто что-то внезапно обрушилось около меня в тишине сада. Оказывается, это слива решила стряхнуть с себя все капли, что остались на ней после дождя. Есть еще чудеса на земле.

Солнце, залив, мы одни. Масонский треугольник, Адмиралтейство, сияющая дельта. Санкт-Петербург или Санкт-Питербург? Купили пуховик, китайский, с меховым капшоном. Именно такой она и искала. Пушкин носил два перстня, верил в их магическую силу. На портрете работы Кипренского эти два перстня есть. Один – с изумрудом, талисман, хранил его от всех бед. Второй – с сердоликом, подарок Воронцовой, с караибской надписью, хранил от предательства. На все свои дуэли Пушкин надевал перстень с изумрудом, и всё заканчивалось благополучно. Отправляясь на дуэль с Дантесом, он снял с пальца перстень с изумрудом и оставил его дома. На его место надел перстень с сердоликом. В Эрмитаже Вермеер Дельфтский, «Любовное письмо». Выходим, во дворе листья летят, кувыркаясь, сдуваемые ветром с высоких вековых дубов. Золото в лазури. Николай Аполлонович. Невский проспект – прямолинейный проспект. Угол Садовой и Римского-

Корсакова дом № 5. В этом доме она жила до 23 лет. Теперь тут отель в 9 этажей. Просит девушку в баре разрешения посмотреть из окна на то место, где был дом. Уже темно, фонари. Вот, говорит, как молнией ударило. Моя жизнь тут. А вот – и жизнь прошла. Поэтесса, финка, слепая, 16 лет живет в Петербурге, стихи пишет по-фински. Переводчица привела ее сюда за руку. У осьминогов голубая кровь и три сердца. Может быть, они жились с другой планеты. Ныне труп искусства, размалеванный натурой, положен в гроб и запечатан черным квадратом. Похороны Малевича по-супрематически: в ногах красный круг, в изголовье – черный квадрат.

Мойка, мглисто, антрацитная вода, веточка, выросшая из щели в граните; дрожат на ветру листочки, еще зеленые. Жизненная сила. Искали выставку, галерея на пр. Бакунина д. №5, около пл. Восстания. Радиопередача, а мы и забыли. Что ты грустишь? Не грусти. Вот у тебя уже в окно новый день смотрит. Малая Посадская, мечеть в утренней мгле, зелено-голубая шапочка. Едем, Шпалерная. Всех скорбящих радость. Помолиться о книге. Вонми, о небо! Что реку. Земля, услышь мои глаголы! Дом Державина, столпотворение. Здесь все, чьи имена внесены на страницы вечности. В зале, где проходили собрания «Общества любителей Российской словесности». Речи составителей Словаря. Битов, плач Иеремии. Вино на подносах. У леопардов рисунок шкуры индивидуален, так же, как отпечатки пальцев у людей. Рюмка водки, поперхнулся, закашлялся. В голове замутилось. Лариса не видела, была занята разговором с вдовой. Вышли, Нева, свинцово, мать, мглистость эта ноябрьская. Чайка на голове сфинкса, мост. Бледная, истомленная, морщинки. Какие же мы с ней уже старые. Ужас. Катимся, катимся. Кто-то крутит калейдоскоп, и мир каждое мгновение предстает в новом, невиданном порядке. А мне не успеть – побыть, пожить в этом новом, другом мире. Калейдоскоп крутится слишком быстро. И вот он уже так завертелся, что все слилось, черно-белое, день-ночь. Светает в половине десятого, фонари еще излучают свое безотрадное электричество. Жду – погаснут, и будет легче. Никого, ничего. Поехали на ул. Декабристов, в жилконтору, оттуда пешком по каналу Грибоедова, дом Екатерины Васильевны. Лариса говорит, что, как только она попадает в эти места, на нее наваливается тоска, готова расплакаться. К Троицкому собору. Пока шли, стемнело, отражения фонарей в мутно-серой воде, вот уже в черной. Через Троицкий вещевой рынок, тряпки, грузины. Белеют титанические колонны. В соборе пусто, тихо, просторно. Помолиться перед иконой Богоматери Скоропослушницы. Молился о книге.

Снятся ящерицы с зашитым ртом и веками. Пришла девушка, морить клопов и тараканов. Все вокруг меня говорят о своих тайнах, но я не слышу, что говорят мне эти голоса. Спрашивать не умею. Я не знаю, о чем спрашивать. Да и вообще у меня никогда не возникает никаких вопросов. Безразличие. Кто ты, человек во тьме, легкий и текучий, лишенный чувства собственной важности? Мглистый день. Рабочий в куртке, низко нагнувшись, режет газовым резцом что-то железное, из-под ног брызжет златогривая струя. Смутно. Этот мир – место, исполненное тайн, особенно в сумерках. В

это время существует только сила. Узор силы. Слушай свою силу и иди на ее зов, не колеблясь. К травнику на Черную речку. Мокрый снег, слякоть. На обратном пути, Владимирский собор, аптека, Кузнечный рынок. Достоевский сидит, мокрый, сутулый, черный. Текст «Варяга» сочинил австрийский поэт пацифист Рудольф Грейц. Мы, футуристы, увидели, в каком жидком состоянии находится язык в русской литературе. Василий Каменский. Постель из струн, Караваджо с лютней. Это антихрист, который явился, чтобы погубить искусство. Он пришел в мир, чтобы разрушить живопись. Так говорил о нем Пуссен. На корабле плыл в Рим, вез свои картины; корабль попал в бурю, затонул, картины погибли. Умер в 39 лет. Даосский трактат «Тайна золотого цветка». В молчании утром ты улетаешь вверх. Шекспир ввел в английский язык 1200 новых слов. Лексикон современного Шекспиру англичанина в среднем 2000 слов. Лексикон современного нам английского интеллектуала – 4000 слов. Кто был Шекспир? 54 версии. Елка у метро, старик в varejках. Светает, ураганный ветер. В парикмахерскую. Стригла девушка с раскосыми монгольскими глазами. Куст у церкви, воробы расширились, как весной. Школа, водяные струи низвергаясь с крыши, рушатся с шумом на бетонное крыльцо и перила. Иду, понурый. Грусть, Вагенгейм, полускульптура дерева и сна. Пятница, пьянство. Потерял шапку. Эх ты, Эккерман. Серенько, бесснежно. Не грусти. Ты написал книгу. Новый год грядет; дракон, его ледяные когти уже над нами.

Январь. Мир не рухнул. Внутри круга, очерченного острием неумолимого циркуля. Поднимаю бессонные взоры и луну в небеса вывожу. Песня как бритва, от этих песен весь рот в крови. И мы от Рюрика. Люблинский переулок, фабрика диаграммных бумаг, чтение нараспев, псалмопевцы. Моисей, взойдя на небо, увидел Бога сидящим и учащим Талмуд. Бог-Книга. Верно, но нервно. Пирамида – огонь внутри. Поехали на Авангардную улицу. Врач спросил: а вы муж? Вы с женой похожи. Когда долго вместе живут, делаются похожи. Ведь у вас, наверное, больше тридцати лет совместной жизни. Вышли, сумерки, снег, больничные корпуса, огни. Шаткая фигура под фонарем. О винопийца с взорами пса. Пела: гори, гори, моя звезда. Подвернула ногу, разрыв связок, довел до травмпункта, наложили гипс. Удачное начало, ничего не скажешь. Это ты виноват, Аристотель, твой смех сквозь века слез. Младенец начинает смеяться на 40-й день жизни. Февраль, незнакомцы, останавливают на улице: «Вы автор? Разрешите пожать вам руку за то, что вы написали такую прекрасную книгу». Невероятные миры в сверканье белом. Блестящие речи смывают грязь с души и сообщают ей чистую и воздушную природу. Михаил Пселл. Поэзию на другой язык с такою же красотой перелить не можно. Державин – Капнисту. Лук натянут, стрела летит. Звезда севера, явь! Готовится сенсация. Сказала, что моя речь была яркая и точная. Обратно пешком, по Гороховой до Сенной площади к метро. Сумерки, мост, Мойка, ее бывшая «Володарка», теперь Дом Торговли, башня, две ярких звезды над зданием, Венера и Сатурн. Суббота, сырой снегопад, слякоть. В «Борей», выставка Ю. Медведева. Алексеев, Михайлов, за столиком. Фотографировались. Генрих фон Клейст, «Марionетки». Грация

и интеллект. Интеллект – враг грации, ее губитель. Всякий язык – ловушка для мысли. Вопросы, на которые нет ответов. Плоскость и вертикаль. Мир устроен музыкально, на вибрациях, поэтому музыка – и высшее из искусств. Дуновение губ из-под Гамбурга. Один из оставшихся в живых воинов, 15 из 15 тысяч, это он автор той песни Игореву того внуку. Тарковский, «Жертвоприношение». «Гибель Титаника», потонул 14 апреля 1912 года. Шел от метро, дворами, ломбард, звездная ночь, два ярко-красных огненных цветка летят в небе, чудное сиянье, что такое? Долго не мог понять, стоял, зачарованный. Догадался: самолеты! Теперь они так освещают себя ночью. Кисть танцует, а тушь поет. Прием рисования кистью, особый мазок – чтобы в картине мог проявиться дух, изобразить дух. Круглый стол, Петербург – морская столица России; военные моряки, писатели-маринисты. Флота нет, разгром флота. Тягостное впечатление. Ты же карел, колдун, шаман, из дебрей вышел, магический человек, у тебя же символы выскакивают, как у Кастанеды. Нина Берберова, ее ненависть к семье, к гнезду, к новгородным елкам, к мишуре. Ураганный ветер. Бесплодная поездка на Васильевский, в Гавань, к закрытым дверям. Солнечно, ветер, трепещущие флаги, зеленая травка. Поехали в Южно-приморский парк; еще прозрачная березовая роща; две девушки, у одной на плече ручной беркут, учат летать.

Гийом ди Вентре, мистификации. Вишвакарман кует в пещере бронзу нового утра. Приснилось, будто я поднимаюсь в гору все выше и выше, и вдруг замечаю в воздухе какую-то блестящую ниточку. А воздух мгlistоголубой, в дымке, и я не вижу, куда тянется эта ниточка. Вот она совсем близко, поймал за кончик. Вокруг меня все сверкает, радостно трепещут тысячи листьев на утреннем ветру, птицы весело поют, встречая восход солнца. Все играет и переливается, все словно соткано из танцующих цветных лучиков. Внизу закричали: «Хватит! Спускайся!» Ниточка выскользнула из моих рук, и все исчезло. И тут я проснулся. В парикмахерскую. Стригла девушка, серебряный браслет на руке, кольца в ушах. Высоко подняла кресло, так что я сидел, не доставая ногами пола, колени под простыней дрожали от напряжения, и я сползал с кресла. Взглядывал на себя в зеркало – лицо старика, ничего не попишешь. Вот и старик. И ее юное лицо в этом же зеркале. Уехал. Цветущий сад, черемуха, соловей. Гул пчел, солнечно. Молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда. Не для меня придет весна. Призрачно, бег по гребню. Григорий Сковорода. Мудрая игрушка утаевает в себе силу. Гуляли на закате. Бунин, «Темные аллеи», писал в 70 лет, прощался с жизнью. Склероз легких, слабое сердце, задыхался. Сижу под яблоней. Червячок ползет. Зеленая линия объемлет все вещи, всю Вселенную. Я ее вижу каждое утро, когда выхожу в сад. Она сестра всех, сестра солнца и ветра. В Вырицу, рынок, мрачно, цыганка в черном, зеленые тапки без задников на босу ногу, пятки-кувалды, орет у прилавка, слова страшные, непонятные. Лидия Гинзбург, черная тень от нерожденных вещей. Ощущение: да, это то самое, это похоже на то, что есть на самом деле, да – достоверно. Бездействие превращает силу в яд. Колокол в лондонском тумане. Приснилось, голос сказал: пойдём со свечами. О, если б без слова...

Июль, едем в троллейбусе, душный день, Купчино, Будапештская улица. Нашли тот дом. Потемнело, туча черная-черная, будет гроза. Только поднялись на шестой и – ливень.

Пятница, облачно, раскрыл наугад. С первой же строчки – узнаваемость этого котья. Переживание энергии, данной тебе на срок, то, что ты и называешь – жизнь. Истерика страха у юного Тургенева при пожаре на корабле, ему было 19 лет. Бегал по палубе, отталкивая детей и женщин, моля пустить его в лодку, и кричал: «О Боже! Умереть таким молодым! Спасите, спасите меня! Я единственный сын у матери!» Пошел встречать. Вышла из вагона, качаясь, лицо измученное. Божий зародыш. Родиться внутри вихря. Учиться свободе. Да, надо учиться свободе. Идем в церковь. Годовщина смерти Екатерины Васильевны. Праздник, день Петра и Павла, толпа, поют, золотые ризы. В церковной лавке словарь, церковно-славянский, запах смолы и ладана. Рассказала свой сон. Приснилось, что у нас родился ребенок, девочка, назвали Машенькой. Идем по улице зарегистрировать новорожденного, я несу нашего ребеночка на руках, прижав к груди, нашу Машеньку. Входим вслед за другими, несущими своих новорожденных. Внутри в честь каждой входящей пары оркестр начинает играть туш. Когда входим мы, чей-то грубый голос из оркестра говорит: «Ну, этим играть туш не будем». Она возмущенно воскликнула: «Как это – не будем! Ну, конечно, раз родила в 66 лет, то и не будем!» Тогда оркестр грянул туш с таким мощным громом, как никому до нас. Не спится. Используй в тайных вещах луну под лучом не прибывающим, а убывающим. Потерял документы, паспорт и пенсионное удостоверение. Плохо, прерывистый пульс. Когда дрожит тело и болит голова у тех, кто кутил, им нужно окунуть яички в холодную воду или помыть их уксусом – это лучшее лекарство. Агриппа Неттесгеймский. Попался старый номер «Нового мира». Мореплаватель, витийство. Загадочный, таинственный голос в русской литературе. На платформе ждал поезда, жарко, снял пиджак. Мысли в мозгу живут годами, всю жизнь, добрые и злые. Вечером собирали малину. Ее самоистязания, перед всеми виновата. Растущий луч чудес. Скажи: «солнце» – и солнце явится. Наша основа.

Под кустами какая-то фигура в красном, голова повязана белым платком по-крестьянски. Бродяжка. Увидев меня, притаилась. Я вернулся за калитку, чтобы ее не пугать. Она, подождав минуты две, пошла по дороге в сторону шоссе, волоча за собой большой белый мешок. Лариса под кустом жасмина поет романс: «В лунном сиянии». Ее лицо в прозрачных ночных тенях. Светло. Чудно блестит трава и влажная, черная решетка ограды. Не хочется уходить в дом. Стоять бы тут всю ночь, смотреть на это лицо, слушать этот поющий голос. Многогранное слово. Сила, которая развяжет этот мир от его законов и превратит его в то, чем он сам хочет быть, по чем он сам томится и каким хочет его иметь человек. Одержим демоном своего дела. Холодный мгlistый день, циклон из Арктики. Напала собака, белая в черных пятнах, на левом глазу бельмо. Вот уже второй раз. Этого зверя выводит гулять женщина в меховой коричневой безрукавке. Едва удержала за поводок. Чем-то я не

понравился. Свет не заменить блеском. Умер Капица, очевидное, невероятное. В полночь звонил Алексеев, жаловался: «Я несчастный и забытый писатель». Мать языка, дает неведомому дом и имя, во сне в летнюю ночь, тень Шекспира. Странники мы перед Тобой и пришельцы, как и все отцы наши. Тройной сон, тройное эхо в горах Кавказа. Скажи им, что навилет в грудь я пулей ранен был. Бетховен – любимый композитор Лермонтова. Знаменитая реплика Бетховена. Исполнитель пожаловался на трудность скрипичный партии в бетховенском квартете. Бетховен ему на это ответил: «Неужели ты воображаешь, что я думаю о твоей несчастной скрипке, когда со мной разговаривает дух!». Огарев Герцену: «Я не могу еще взять те звуки, которые слышатся душе моей, неспособность телесная ограничивает фантазию». Собинов: «Был я вчера очень в голосе и в ударе». Полнолуние. Озарена дорога за калиткой, трава, решетка ограды. Равновесие. Иду из леса с полной корзиной, сентябрь, закат, лучи пульсируют. Старый двухэтажный дом, ржавые тополя. Любовь к солнцу, ушло и не оглянулось. Ночь грядет, еще одна.

Умер Петр Кожевников, инфаркт, 55 лет. «Не выдержал такого роста горя и жалобно заплакал». Обыкновенный писатель написал бы: «Не выдержал такого горя». Платонов прибавил «роста». Или: «Наступил вечер, комната остыла, потускнела и наполнилась вздыханием неясных лучей тайного и захолустного неба». После «потускнела» фраза становится необыкновенной. Или: «В Епифани из немцев остался только женатый Форх, как любивший свою супругу человек». Обыкновенный писатель написал бы: «... только женатый Форх». Точка. Но Платонов добавляет: «как любивший...». И фраза обогащается большой, широкой жизнью, мощно дышит. Или: «Перри одичал сердцем, а мыслью окончательно замолчал». Обыкновенный писатель написал бы: «Перри одичал и ни о чем не мог думать». Или: «Перри одичал и жил бездумно». У Платонова найдено необычное выражение для этого состояния. Необычное, потому что расширяет, углубляет мысль дальше и глубже обычного, многократно увеличивает тот общедоступный смысл, который первым просится на перо. Платонов въедается в каждую мысль о жизни, жарко, жадно, напряженно, заряженный тысячевольтным электричеством своей пытливости. Каждая мысль у него взрывает, чревата грозным разрядом, устремлением развернуть в себе неизвестные, скрытые стороны. В каждой фразе к обычному он добавляет какое-то, расширительное, могучее измерение. Он не чернилами, а серной кислотой пишет; он всей болью и мукой своей упорной зоркости въедается в каждый атом жизни. «Епифанские шлюзы», в конце жутко: «У палача сияли диким чувством и каким-то шумящим счастьем голубые, а теперь почерневшие глаза». К вечеру опять пошел в лес, набрал грибов. Шел по дороге, вечер чудный, теплынь, на западе золотистое сияние. Шел и думал: исчерпаны денечки, а вот на доньшке еще что-то светится, жить-то еще хочется. Пятница. Все еще один тут. Поезд дождя мчится, шумя и гудя, всю ночь. Не спится, молно: дайте мертвой водицы! Нечем тебе, дружок, помочь, нечего тебе и воду в ступе толочь. Пошел к реке, музыка где-то играет. А небо такое широкое, огромное,

манящее. Раскинул крылья и полетел в этом просторе, восторг в сердце, орел молодой. Собрал сливы, с тележкой под дождем. В городе тьма, фонари, Витебский вокзал, иголочка в небе, тучи, сырость. Происхождение Вселенной, начальная точка взрыва. Организация вещества в этой точке перед взрывом была наивысшей. Дальше – расширение, рост, регресс. Разжижение, рассредоточение. Арабы жгут американские флаги, убили американского посла в Ливии. Теплый вечер, блеск травы, зеленой еще, пронизанной огнем заходящего солнца. Стою на дорожке, смотрю, не шевелясь. Наваждение. Понедельник, купили платье, ей очень к лицу. Нельзя повторить – изгиб тела, поворот головы, тон ее голоса, улыбку, смех, грацию жеста, как она поправляет на себе платье перед зеркалом. Туманные дни, рыцарь бедный, Копенкин, пролетарская сила. Проснулся, мышшь скребется в углу. Что ты, сердце? Опять за свое? Бежать за уходящим поездом, с болью в ребрах, с тоской, задыхаясь, хрипя, без сил, пасть на рельсы... Черно и пусто. На Сенную, под арку, «Роза мира», дождь хлещет. Буквы-муравьи, черненькие, непонятные. Засекречены эти вести. Змеиная изворотливость языка.

Оглядываюсь через плечо: огненный шар, полая, летит низко над горизонтом. Буйной музыки волна. Мумии крокодилов, набитые папирусами, вопросы к крокодилу. Крокодил – ясновидящий. Аз же во дни глаголах и нощию не молчах. В Пушкин, выставка Николая Гриццока, багрец и золото; шорох шагов в парке. О поездке в Испанию, Рибера, Сурбаран. Приятная новость: издавать мою книгу они отказываются. Звезда во лбу не горит. Рижский проспект, мглисто, морось, толпа, машины. Андрей Романов, 2 этаж, «Медвежий песни». И я там был, мед-пиво пил. Балтийский вокзал, оркестр стариков играет «Прощание славянки». Шум взлетевшей голубиной стаи. Наука открыла, что мозг человека сам может сочинять, вне воли и контроля сознания, так что человек верит сочиненным внутри мозга событиям и фактам, как действительно существующим или существовавшим, воображаемую реальность принимает за действительную. Мнози же будут перви последни, и последни первии. Зализняк, доказательство подлинности «Слова о полку Игореве», белым по черному, яркоглазый, юношески летучий, в отблесках берестяных грамот. Яша Хейфиц: «На вершине одиноко, но чтобы оказаться там, надо пожертвовать очень многим. Я не знаю, кто я. Я знаю это только тогда, когда в моих руках смычок». Гуляли в темноте, сырой снег.

Терпение. Цвет времени клоповый. Утром лейтенант, следовательно, огромный, в форме, фуражка. Ночью кого-то выкинули из окна, этажом ниже, под нами. Звонил Алексеев: «Будь стойким. Что нам осталось: только любовь к литературе». Понедельник. В сберкассе очередь. Мутный день, брызги дождя, сырость. В квартире шум, сантехники чинят трубу в ванной. «Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем». Возвращение этого ужаса, подстерегающий удар. У Саши Старовойтова обнаружили рак пищевода. Замерзшая трава, лужи во льду. Залив; буры

стебли камыша, озаренные низким солнцем, клонятся под ветром. Ночью плохо, задыхался, открыл окно настужь, дышал мраком и холодом с улицы. Воскресенье. Слава Божия – облекать тайною слово. Вовек слово Твое стоит в небесах. День смерти мамы. Снег слетает на землю при всех. Принесла из ателье переделанную шубу. Шуба испорчена, носить невозможно. Говорит: кругом стена, нет просвета. Таврический дворец, конгресс писателей, посвященный Чингизу Айтматову. Выступления, концерт, вино, коньяк. Азиатки, пышнотелые, декольте, браслеты, кольца, бриллианты. Сестра Айтматова, высокая, седая. Сфотографировались. Истина в красоте, красота в истине, акробатика. Знать, чтобы не знать. Сороконожка задумалась: как это она бежит и не пугается во всех своих сорока прелестных ножках. Умер Борис Стругацкий. По завещанию прах развеют с самолета. Гениальны только замыслы, а делать картину – рабство. Я пишу картину, только пока она мне интересна. Если она перестает быть мне интересна, я не пытаюсь ее закончить и бросаю работу. Поэтому у Леонардо так много незавершенных работ, незаконченных картин. Записи Леонардо – более 15 тысяч страниц. Писал всю жизнь до самого конца. Во всем, к чему он проявлял свой интерес, он быстро становился мастером. Осьминоги всё видят в фиолетовом цвете. Каракатицы видят 12 цветов, в отличие от человеческих глаз, которые видят только 3 основных цвета и их производные. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства? А ты иди к твоему концу и успокойся, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. От избытка бо сердца глаголют уста его. Вторник, мутно. Пара гнедых, запряженных с зарею. Этнолингвистика. Сестра, диабет, в больнице на Литейном. По Ньютону конец света – 2060 год. Армагеддон. В год, когда будет в третий раз заново отстроен древний Иерусалимский храм. Сейчас на этом месте мусульманский купол, место, где вознесся на небо Мохаммед. Мыслью измерить поля, канитель, форма сапога у Канта. Фантазия, лишённая разума, порождает чудовища, а в сочетании с разумом, она – искусство и источник его чудес. Гойя оглох в 50 лет. Библия Коблин, о космической катастрофе. 17 глава «Египетской книги мертвых» – о том же. Замок Гауска в Чехии, под ним вход в ад.

Буран, серебряные змеи, инки, Макчу-Пикчу, старая гора. У шумеров на глиняных дощечках 4 тысячи лет до н.э. написано, что с неба прилетели боги с телом змеи, и они сделали первых людей. Гены у людей и змей на 70% совпадают. Где-то под землей в тайной пещере хранится магический кристалл Логос, который дает всемогущество и власть над Вселенной. Бай-ди, причал солнца. И будет день один. Свиток войны, сыны света против сынов тьмы. Едем в Красное Село, медицинский полис. Мутно, снег, ночь, пьяные глаза месяца. Молчим, нет в речах никакой потребности, забыли, что вообще существует язык, как будто его и нет. Да, вот ведь какая у нас с ней история, как будто его и нет, языка, и мы всю дорогу молчим, и туда молчим, и обратно. Отвернулись друг от друга и смотрим в разные стороны, она направо, я – налево. Близится Армагеддон, уже совсем близко, несколько денечков осталось. Среда, «Скорая помощь», у Лидии Андреевны, бедной ее

матери, опять обморок, без сознания. Пришла малярша, штукатурила, белила. А мне библиотеку перетаскивать из комнаты в комнату. Зачем я собирал столько, книжный червь? Пирамиды на Марсе. За солнцем прячется неизвестная, невидимая нам планета, во всем схожая с Землей, ее двойник, Глория. На ней точно такая же жизнь, те же дома, те же люди. Следят за нами, у нас за спиной. А мы и не знаем. И мой двойник, где-то тут, рядом, я его чувю. Дуновение Неизвестного в раскрытую форточку, перья бурана, черно-белый орел, разбуженный, пожирающий мятущиеся в вихрях души умерших. Священная гора Кигилях в Якутии, северная Шамбала. Полнос холода, температура воздуха зимой понижается до - 72. Стой, Фалес, в этой твердой точке, из нее увидишь Ось, вокруг которой все вертится. В сумраке щели и трещины мира, скважины, сквозь них брезжит нечто. Неусыпный Страж, зрак Надзирателя. Сергей Аверинцев. «Чтец» – так он просил написать ему эпитафию на надгробной плите. Подводное солнце стилия. Встали рано, мрак, фонари. С ней в поликлинику, УЗИ. Через парк, холод, резкий ветер в лицо. Сидел в коридоре, ждал, когда выйдет. Вячеслав Иванов, прадониисийство, Арей, пьющий кровь перед битвой. Мороз, идем в мебельный магазин. Шкаф да не тот. Обратно, ярко-красное солнце между домов. Весь вечер переставлял книги. Дерево языка, слова-листья. Лес символов. Теория струн, десять измерений. Гравитационные волны, сжатие-растяжение. А говорят, есть и другое, совсем другое в этом темном космосе, там твои законы трещат по швам. Истинно есть свидетельство мое, яко вем, откуда приидох и камо иду. Шел от метро, мороз, месяц. Рожденик – книга рождений, по которой гадали о будущем младенцев. Едем, троллейбус, начало сумерек, мимо сада в снегу, уже горят золотые шары фонарей среди черных деревьев, жутко, странно. Пешком до Нарвских ворот, уже темнеет, город украшен к Новому году, в арке Нарвских ворот устроены из огоньков часы, стрелки ходят по круглому голубому циферблату. В поликлинику за углом, к психиатру, таблетки для Лидии Андреевны, дорожка в колдобинах, ледяная, голову сломать. К психиатру очередь, сидим на скамье перед дверью, кабинет №12. Конец света, землетрясения, цунами, сдвиг полюсов, потепление, грядет новый потоп, в 2030 году затопит все города на побережьях, волна океана поднимется на 6 метров. Пищу, индус, под пером расцветает небо, земля, трава, древняя Индия, летающие колесницы, виваны, брахмашастра. Звездный час; струна внутри, туго натянутая, поет. Повторяюсь, путаюсь, кружу в зеркалах, в словарях. Живешь-то один миг, играющая в себе волна, всплеск одинокого слова. Вот так встреча! Тетива звенит, стрела летит. Готовит к печати. А мы-то с ней уже и вовсе отчаялись. Ларьки у метро, колбаса, масло, сало, из Белоруссии. Понедельник, бессонно, мутно, в черном небе кружит рука строительного крана с красным дьявольским глазом. Конец этого года.

Мрак, огни, тающий снег, жижка, еле тащились. Выстрелы. Башни-небоскребы. Моя миссия на земле еще не закончена. Трамвай №6, по Наличной улице в сторону Гавани. Красный огонек в черном беззвездном небе. В языке есть другой язык, тайный, жало мудрых змей. Смерте страшна,

замашная косо! Кто ж на ея плюет острую сталь? Идем по Стачек, мимо церкви, виффлемская звезда горит, вечереет, снег, трамваи, огни, шум города, стеклянная громада-небоскреб перед нами. Козья тропка над обрывом, скользим, хватаясь за прутья решетки. Тьма имен, бесконечны, безобразны, надрывая сердце мне. Размять ноги. Зимние струнки дрожат на снегу. Феллини «Амаркорд». С ней на Моховую, к главному. Вечером в музей Ахматовой. Юрий Казаков, «Осень в дубовых лесах». Хрустящая плоть этих историй. Хамдамов, кинорежиссер, яркие кадры. Синайский кодекс, предок всех библий, написан в 3 веке в Египте на тончайшем пергаменте, хранится в Англии. 27 тысяч поправок и исправлений. Ужасы сгущаются. Врач так прямо и сказал: «Будет медленно умирать». Белое на белом, Вейсберг. В капеллу, фортепьянный концерт, пианист Лау. Лыжи, шахматисты, решетка, смутно, метелочки эти на ветру. Зов неизвестности, дверь открывается внутрь. Сказали учителя, что человеку следует всегда наблюдать себя, словно весь мир зависит от него. Книга Зогар. Стравинский, плотность. Мутно, Магеллан. Ворона со сломанным крылом борется за существование, где-то она умудряется добывать пищу. То ковыляет, волоча крыло по снегу, то взберется на березу и сидит на ветке, нахохлясь, одна одишенька. Каждое утро смотрим в окно: здесь ли наша героическая ворона. Так уже третий месяц, с начала зимы. Вот с кого надо брать пример.

Запах изморози в раскрытой форточке. Лидия Андреевна весь день бредит. Владыка центра Хуан-ди, желтый дракон. Родился от молнии. Выставка авангардного искусства в Русском музее. Норман Макларен, анималист-новатор. Пещера Тайос в Эквадоре, металлическая библиотека, книги на металлических пластинах 20 кг весом, выгравированы неизвестные письменные знаки. Эти пластины – из металла, неизвестного на земле. Гигантские подземные лабиринты, вход в пещеру под водой. Самое главное не записывается, священное держится в тайне. Возле Челябинска упал метеорит, сила взрыва, равная атомной бомбе, в домах выбило стекла. Статья Томаса Манна: «Достоевский, но в меру». То, что может быть понято дураком, меня не интересует. Уильям Блейк. Снег идет. Казакевич, «Звезда», «Двое в степи», «Павшие и живые», «Весна на Оudere». Отрывок из дневника, «Разговор с Богом»: «Оттиснуть очертания своего лица на огромном, железном, изменчивом лице времени. Так удавалось всем большим художникам». Умер в 49, рак. Звон путеводной ноты, Набоков. Надо рисовать плохо, тогда будет выразительней. Шагал. Надо писать не точно, а похоже. Лучше писать левой рукой, а не правой, потому что правой будет точно, а левой – только похоже, и, значит, выразительней, интересней. Нестеров. Реальность зависит от того, где ты. Микрочастицы играют в невероятный футбол, нарушая все законы физики: бьют по мячу, чтобы забить гол в ворота, в которых стоит наготове вратарь. Все уверены, что мяч полетит в одном направлении. А мяч после удара, вопреки ожиданиям, летит не в одном, а сразу во всех возможных направлениях одновременно. Алексеев, мультипликатор, создатель игольчатого экрана, соединил технику гравюры и кинематографа. Лучший фильм «Ночь на Лысой горе» по мотивам музыки

Мусоргского. Андрей Линде, астрофизик, предложил новую модель Вселенной: она состоит из разных кусков, которые живут своей жизнью, по-своему устроены и со своими физическими законами, а мы живем только в одном из этих кусков и думаем, что это и есть весь мир. Куски «Неведомого шедевра». Мировой Дух в шотландской юбочке играет на волынке, наполняя мир духовностью. Пятница, тускло, сырой снег вьется. Писал рецензию. Поехали в Троицкий собор, поставили свечи, молился о книге. Обратню по каналу Грибоедова, мимо дома, где жила Екатерина Васильевна. Печальная, воспоминания.

Идем по льду залива, солнце, мороз, голубая дымка, простор, лыжники, гуляющие, дети, санки. Пазолини «Мама Рома», в главной роли Анна Маньяни. Переломный возраст: я прав, а весь мир не прав. Юрий Казаков у физиков. Они его спросили: «У физиков есть критерий истины: если теория подтверждается экспериментом, значит, она верна. А каким критерием вы руководствуетесь в своей работе?». Казаков ответил: «Если я знаю, что могу предстать перед Господом и сказать: «Господи, это я писал» – значит, написано хорошо». Талант – самая ядовитая вещь на земле. У Лидии Андреевны высокая температура, вызвали врача. Дневник одна из самых прекрасных литературных форм. Думаю, что в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие. Тут жизнь, как она есть – всего насовано. Нет ничего лучше дневников – все остальное брехня. Бунин. Привезли холодильник; два грузчика, один приземистый, средних лет, худой, крепкий; другой – громада, с пузом, рыхлый, старый, краснолицый, кучерявый. Холодильник огромный, едва протаскали в дверь. Из нас, как из древа, – и дубина, и икона. Идиот Полифемович, о времени и о себе. Сделано несвободной напряженной рукой. Письма Чехова. Я ведь все еще ядовит. Бунин. Болею, бронхит, пятый день. Мартынов, композитор, фольклорист. Для народа важна звуковая культура, а не смысловая. Культура звука. Младенцам, качая колыбель, поют колыбельную песню, которую веками пели младенцам в колыбели, древнюю народную русскую песню. Младенец не понимает ее слов, ее смысла, он воспринимает эту песню не на вербальном, а на звуковом, ритмическом и мелодическом уровне, на уровне звука, на уровне чисто музыкальном. А у каждого народа свои звуки, ритмы, мелодии, своя музыка. И младенец впитывал это в себя с младенчества, это входило в его кровь и становилось его кровью и плотью. Теперь перестали петь эти колыбельные песни над младенцем. Звук народа, музыка народа, песнь народа пропали. Пропал и народ. Все стало смысловым, словесным, идеологическим. На Васильевский. Солнце, высокое голубое небо в клочках облаков. Пронизывающий морозный ветер. Музей современного искусства Ерарта, перед входом скульптуры, нечто черное и жуткое. На стенах кошмары. Долг художника – создавать новое. Увидел себя в зеркале: серо-зеленый после болезни, из гроба встал. Иду по солнечной стороне, сухой асфальт, яркость марта, яшень во дворе у детской площадки, в бахроме сухих семян, провисевших всю зиму. В шесть утра умер Саша Старовойтов в больнице. Все эти дни пронзительный ветер. Мороз. Едем, солнце, яркость, блеск в автобусном окне. До больницы шли

пешком, замерзли. Отпевание. Саша в гробу, бледно-пепельное мертвое лицо, нос заострился, птичий клюв. Кладбище, шествие старух по дороге. Кресты, клены, мутный поток справа, талый снег. Утром приходила сиделка, ухаживать за Лидией Андреевной. Соцслужба. Непременно должно описывать современные происшествия, чтоб могли на нас сослаться. Анастасия Вяльцева, блоковская «Незнакомка». Пела романсы. Умерла в 42 года, в зените славы и красоты. Днем у балетной школы, благая весть. Яркий весенний день, солнце, блеск тающего снега. Белая полярная сова, распушив перья, летит над Арктикой.

Литейный, через двор, ступеньки вниз. Что я тут ищу, роясь в иероглифах? Подножие Китайской стены? Только совершая абсурдные действия, достигнешь ты невозможного, о совершенномудрый. Две сросшиеся птицы на одном крыле. Объективно измеряемые при помощи приборов параметры, которые мы приписываем микрообъектам, вовсе не являются «объективными», но возникают лишь в сам момент наблюдения и не существуют вне его. Само наблюдение делает мир таким, каким мы его видим. Тот, кто думает о себе просто как о наблюдателе, оказывается участником. Это является участием в создании Вселенной. Сознание шумит в мироздании, широкошумная дубрава. Четверг. В девятом часу утра умерла Лидия Андреевна. 92 года.

Пробирались по сугробам, проваливаясь по колено. Надгробная плита из черного гранита. Плачет, кается, просит прощения. Ее сны, страхи. Полярный холод. Северное сияние, оно ведь еще и слышно, оно что-то шепчет на ухо замерзающему путешественнику, что-то утешительное и чудесное. Патрик Демаршелье. Уроборос, верь в Невидимое. Обручальное кольцо широковатое, сваливается с пальца. Проснулся в поту, сердце колотится, еще не рассвет. Кто боится Вирджинии Вулф? Элизабет Тейлор? Сикорский на вертолете. Мертвым не больно. Мы окружены мертворожденными «шедеврами», получившими успех и широкое признание. Удиви себя, постоянно удивляй себя. Виктор Косаковский, «Павел и Ляля». Лев Толстой, письма. «Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость. Мне только одного хочется, когда я пишу, чтоб другой человек, близкий мне по сердцу, порадовался бы тому, чему я радуюсь, позлился бы тому, что меня злит, или поплакал бы теми же слезами, которыми я плачу».

Ветр с цветущих берегов. Иисус воскрес. Клаус Дона, артефакты, древние предметы, найденные в разных местах мира. Камни с загадочными письменами, 6 тысяч лет д.н.э., эпоха неолита. Пирамида с глазом над ней, глаз горит ярким желтым сиянием. В южной Африке найдена скульптура женщины из гранита, 140 метров, самая высокая скульптура мира, лицо неизвестной расы, не белой, не черной и не желтой. Возможно – атланты. Потеплело. Начало белых ночей. Черная речка, трамвай №48, улица Савушкина, длинная-предлинная, бесконечная, храм из Тибета блеснул золотой башенкой. Яхтенская, 8 этаж. Нас уже ждут за столом четыре

женщины. Рядом, за стеной неведомый говорящий океан, вещие голоса волн, струны-руны. В налоговый центр. Жаркий день, канал Грибоедова, блеск этот, тяжелый, мутный, старые тополя. Опять плакала, терзается виной, покаяние. В Красное Село, форма номер девять. Перепутали, до открытия еще два часа. Гуляли в парке, сирень, жарко, ветер. На выходе из подземного перехода – нежный взгляд юности, брошенный на меня мимолетно. Чудное мгновенье в блеске майского дня. Сегодня я хорошо выгляжу, коротко пострижен, лицо загорелое, черные брюки, белая рубашка. Метро Приморская, жара, Лариса в красном платье. Гуляли у канала под лиственницами, залива не видно, надстройки кораблей.

Оредеж обмелел. Тоска. Всё вспоминает мать, плачет, казнит себя. Говорит мне: «Вот, мы любуемся рекой, природой, а наших матерей уже нет в живых, они уже ничего этого не могут видеть, что мы с тобой видим. Тебе не пришла в голову такая мысль? Какой ужас, эта жизнь! Как она жестока!». Гуляли, радуга, зыбкая душа белой ночи, призрачно. Сиверская, Оредеж какой-то не тот, берега высокие. Девушка в купальнике, загорелая бронза, колет дрова на дворе. Узенькая щелочка, в ней мелькнула жизнь, розовый конь. Видел пять цветов, слышал пять звуков, читал пять книг, знал пять человек. Вагнер умер за фортепьяно, играя свое «Золото Рейна», разрыв сердца. Книга вот-вот появится на свет, уже и ножкой стучала в чреве, и головкой повернулась к выходу. Услышаны наши молитвы. Сижу под яблоней. Блажен, кто посетил сей мир. В городе шумно, душно, знойный блеск на Мойке. Квадрат двора, июльское небо, яркость. Вперед, вперед, к Сенной. С новой думой на челе. Смотри на медного змея на скале и спасешься. «Чудовище природы». Сервантес о Лопе де Вега. Дионисий Галикарнасский «О соединении слов». В саду под сливой. В церковь, крещение младенцев, плач, молодой священник в белом, свечи. Равенство души и глагола. Летний сад, Эвтерпа, песнь военна. Тот, кто связывает и развязывает, время-то позднее, пора возвращаться. Хогарт, это его змеевидная линия, влюбленная в красоту. Гуманный Альбион, Темза, златокипящая Мангазея, сугробы Вологды. Парфений юродивый, псевдоним Ивана Грозного. Парфений – святой, девственник. Юродивые не писали, а только говорили устной речью. Цари тоже не писали, только диктовали писарю. Нет ни одного автографа Ивана Грозного. Теодор де Банвиль, сотворенное не нуждается в переделке. Черное солнце алхимиков, Сол Нигер. Развоплощение, переход, преобразование. Ляпунов, основатель кибернетики: «Философы – это те, кому что-то попало в живот, не побывав во рту». Ему возразили: «Но ведь философия – это прослойка между наукой и действительностью». Ляпунов ответил: «Да, прослойка. Что-то вроде презерватива». В городе холод, ураган. Дали отопление. Ссоримся. Говорит, пора расстаться. Твердит, как заклинание: расстаться, расстаться. В Петербург пришли с дружеским визитом два норвежских военных корабля, крейсер и фрегат.

Книга застряла в типографии. Печатник ушел в отпуск. Другой в запое. Печатная машина сломалась и до сих пор ее никак не починить. Происки

дьявола. Литература – мои штаны, что хочу, то в них и делаю. Смердит голубушка. Бесплатно только птички поют, как любил говорить Шалапин. Первый заморозок, ледок на лужах похрустывает. Школа, клены, золото увяданья. Петергоф, замирающий плеск фонтанов, до мая. Пятница, дние лукави, снег с дождем. Ангел смерти, слетающий к человеку, чтобы разлучить его душу с телом, весь покрыт глазами. Иногда ошибается, слетает раньше срока, тогда дает тому человеку, кроме его глаз, еще два своих глаза. Тот человек становится непохожим на прочих. Кроме того, что он видит своими природными, как у всех, глазами, видит еще и глазами ангела: то, что недоступно прочим. Видит не как люди, а как существа иных миров, столь противоположно своему природному зрению, что возникает великая борьба в человеке, борьба между двумя его зрением. В океане в 10 раз больше животного мира, чем на суше. Океан производит 85% всего кислорода планеты. ДНК, гены построены по речевому принципу: информация хранится по принципу речевой структуры и обладает своим сознанием и разумом, разумна. Слова «начало» и «конец» от одного санскритского корня: «конедло». Праязык. Ученые зафиксировали послание из космоса, некий шепот, структурно напоминающий речь, фразу, предложение. После чего в космосе загорелась новая сверхзвезда. Мишна, мир создан десятью реченьями. Вред слов, обет молчания, аскеза, молчалники. Не допускать слова в ум. Речь – энергозатрата и вред организму, его разрушение. Воздержание от слов. Пересвет и Ослабя перед Куликовской битвой приняли обет молчания. Вышел погулять. Полнолуние, сосны, и этот неумолчный шум машин на шоссе. В Турции археологи нашли под землей святилище первобытных времен, 12 тысяч лет назад; огромные, хорошо обтесанные каменные монументы, на них мастерски вырезанные фигуры зверей. Встал в восемь, темно, дождь. К зубному. Бессонница. Тамплиерские кресты на парусах Колумба. Учитель и ученик. Истина в бровях учителя. Среда, встречи, ул. Рылеева. Позвонил издатель, поздравляет: книга вышла!

Казанский, вечерет. Скорее смерть, чем усталость. У сердца самые простые слова. Красота одинокой печали. Встреча в подземном мире, яркость ламп, шум толп. Ждал, сидя на лавочке. Ускользает от нас эта змейка, ускользает, только хвостик мелькнул во мгле, в туннеле. Прощай, прощай... Тлетворный ветер, клубок фикций. Одно Слово на весь мир, только Оно подлинное, единственное и нераздельное. Заветное. Все прочие – не те слова, не те, не те, их произносят тени, прикованные в пещере. А ты знаешь то Слово? Ты с Ним знаком? Гипсовая маска полнолуния, страшная, слепая. И также лежит человеком единою умрети, потом же суд. Переливают из сосуда в сосуд, из черепа в череп, из книги в книгу. Осуждены вечно переливать. Лучше быть буханкой черного хлеба, чем переводить монологи Гамлета зимой в Чернобыле, быть или не быть. Мы пишем, а время стирает. Булов о Малере: «Если это музыка, то я ничего не понимаю в музыке». Родиться язычком огня. О небо, если бы хоть раз! Мозг, мешок нейронов. Найдите самое необычное и исследуйте его. Пчелы способны различать картины разных художников, например, Пикассо и Матисса. Искусственно связывая

нейроны в мозге, можно создать новый субъективный опыт, которого в реальности человек никогда не переживал и не имел. Я жажду сразу всех дорог. Ушла к врачу. Один в квартире. Провожал уходящее солнце, переходя от окна к окну, из которых оно поочередно, отблестав, исчезало, пока этот пылающий диск окончательно не скрылся в последнем четвертом окне в комнате, где лежала умирающая Лидия Андреевна. Мистическое действо. Книга заката. Моя книга.

Клубок разматывается, ниточка тает, снег сырой, рукав метели. В зеркало нельзя смотреть больше семи минут. Заберет твою силу, твою душу, твою жизнь. Нельзя спать при зеркале, отражаясь в нем. Зеркало влияет на судьбу человека. Личные зеркала Ивана Грозного строго хранились от чужих глаз. Мастера, изготовившие для него зеркала, ослеплялись. Астроном Козырев утверждал, что с помощью системы зеркал можно мгновенно передать весть в любую точку Вселенной. Зеркала съедают время, в один миг соединят прошлое, настоящее и будущее. Нарцисс, эхо, дева за холмом. Провожал в Пулково, помахала ручкой. В Бухару лететь пять часов. Телевидение, Якимчук, том с моим именем. Кирпич призрачных руин. И видех мертвецы малыя и великия стояща пред Богом, и книги разгнушася; и ина книга отверзеся, яже есть животная: и суд прияша мертвецы от написанных в книгах, по делом их. Проснулся в восемь, шум за окном, ураганное утро, мрак, спящие фары в переулке. В новый Кировский, бывший Дворец Пятилетки, «Иоланта», современная постановка, пиджаки, сапоги. Метро Владимирская, А. Медведев, мастерская, высоконочь забрался, летая умом под облака. Кисточки, перышки, тушь, гуашь. А это – для веселия сердца, на калине, за книгу. От зубного. На трамвайной остановке, стоял, смотрел на солнце, этот сияющий диск, уже низко, между домов, на закате. Русский музей, Малевич, вход с Мойки, мокрые хлопья в лицо. Концерт Мирей Матье в Олимпии. В большом коллаидере ученые обнаружили микрочастицу, назвали божественной, божетрон. Из этой частицы создана вся Вселенная. Эта частица во всем; она, развиваясь, создает миры и организмы. Она создала и нас. Она в наших генах, в ДНК. Информация о жизни в ДНК записана в виде слов, буквами, лексически. Это слово Бога. Муть рассвета, небоскребы-призраки, вертикальная цепь желтых огней. Огонь и жупел, и дух бурен чать чашы их. В Доме книги купили календарь с лошадыю.

Дождь хлещет. Горе мне с тобой, сердце темное мое. Во тму идет, и во тме имя его покрывается. Платоновы тела, кристалл Земли, силовые линии. Хичкок. «Птицы», по новелле Дафны дю Морье. Манускрипт Войнич, растения, которых нет на земле. Аннуаки с планеты Ниберу, глиняные таблички, оставленные пришельцами. Частица времени хрон. На рисунках шумеров человеческие фигуры изображены с часами на запястьях. Вавилон, древние места силы, время там останавливается или замедляется. Свастика на стенах Трои. Снегопад. Снятие блокады, парад на Пискаревском кладбище, возложение венков. Самое большое в мире захоронение жертв Второй мировой войны, 700 тысяч человек. Мороз, сплю, Тихуту, тот, кто дарует дух, шаманы с Кольского полуострова. Этим занимался Бехтерев. Венера,

выжженная пустыня, ядовитый туман из капелек серной кислоты, не пропускает солнечный свет, всегда тусклое багровое освещение, как в аду, не видно ни солнца, ни звезд. Вращается в противоположную сторону, против часовой стрелки, медленно-медленно, вот-вот остановится, и протрубит седьмой ангел. Мне 67, ребро, жизнь. Талон на место у колонн. Александрийская библиотека, 700 тысяч папирусных свитков, возглавлял Зенодот, грамматик. 10 тысяч этрусских текстов в Ватиканской библиотеке. Письменность этрусков до сих пор не расшифрована. Этрусское не читается. Остатки древней цивилизации, черты и резы. Горизонт ожидания, воздушная громада, Аваддон. Открытие зимней олимпиады в Сочи. Оттепель, сырой снег, упадок, апатия, нет веры в свой пуп. Бессонная ночь. Фигурное катание; юные, гибкие, летящие на коньках тела. В Пушкинский дом, мировой дух на коне. Чудно имя Твое по всей земле. Стараюсь быть кратким – делаюсь темным. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Малевич с черным гимназическим ранцем на спине удаляется по снежному полю. Нуль форм. Ехидство и коханье, горсть иглока. Голый раб бьет в серебряный гонг. На Земле живет 900 тысяч видов насекомых. Стрекоза делает крыльями 50 взмахов в секунду, развивает скорость до 36 км. в час. Креветка мантис обладает самым сложным зрением из всех живых существ на Земле, ее глаза видят во всех диапазонах спектра, оптическом, инфракрасном и ультрафиолетовом. Производит самое быстрое движение в мире животных, и самое точное. Скорость удара – свыше 20 м. в секунду. Удар ее клешни разбивает раковины. Паук Дарвина плетет самые большие сети на Земле. Катя Десницкая, жена сиамского принца. Якуты жгут конский волос – отогнать злых духов. Девять крутых дорог, священный путь. Дух земли, дух огня. Во всем есть свой дух. Смотрю в окно. Вроде бы и посветлей стало. Да, все-таки посветлей. Зима позади.

Теперь мы с ней вдвоем в квартире. Но как будто здесь ощущается чье-то незримое присутствие. Боится входить в комнату матери, ей все кажется, что мать еще там, лежит на кровати, живая. Солнечно, вербы, наконец-то погулять выбрались. Не будем заглядывать в будущее.

Полярный капитан Кучиев, романтик Арктики, завещал похоронить свой прах в водах Ледовитого океана. Ночью пожар в Академии художеств. Анжелика Бозио, и слепая ласточка упала на горячие снега. В 26 лет, воспаление легких, простудилась на пути из Москвы в Петербург. Посмертный писатель, посмертные книги. Провалились все середины, нету больше никаких средин. Зело вознесошася. Хорошо жил тот, кто хорошо скрывал. Благонамеренные люди благоразумью отданы. Не им, не им вздыхать о чуде, не им – святые ерунды. Он был существом, обменявшим корни на крылья. Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно и величия чего-то непонятого, но важнейшего. Наши ближние нам не помогут, и умрем мы в одиночестве. Не у себя дома, неясно, на какой станции, на какой поляне. Если быть, то быть первым. Чкалов в кожаном шлеме, пролетая над Северным полюсом. Федор Конюхов, кругосветное путешествие в лодке на веслах, еще половина пути, через Тихий

океан. Великий мастер молчания. Любимое слово Цветаевой – «Рок», всегда писала с заглавной буквы. Черкасов – Иван Грозный: «Не дадим в обиду Русь!» Ураган в Новороссийске, срывает крыши. Пропал «Боинг», из Малайзии в Пекин. 270 пассажиров. Пятый день ищут. Поэзия состоит из нигилизма и музыки. Я ничего не изображаю, я творю. Фальк, раздраженно. Тайна живописи на кончике кисти. Мнение зрителя его не волнует, а существенно лишь то, о чем думал художник во время работы. Преображающая сила тоскующей памяти. Пролетаю в поля умереть. Нижинский: «Я рисовал Бога в виде кругов, ведь Бог – это движение. Я хотел продолжать танец, но Бог сказал мне «довольно», и я остановился». Последний танец Нижинского «Война и безумие». На полу были разостланы полосы черного и белого бархата в виде креста, в вершине этого креста перед танцем встал Нижинский с распростертыми в стороны руками, как распятие.

Зима вернулась, опять снег, слякоть. Каждый день вспоминает умершую мать. В Якутии погружение аквалангистов в самое холодное озеро в мире, на 60 метров, мировой рекорд. Гоя, черная рука из-под могильной плиты, Ничто. Я почел бы себя безумным, если бы у меня в голове оказалось больше одной мысли. Чаадаев. Согласно Талмуду неуч не может попасть в Царствие Небесное. Невский, площадь Искусств, в Филармонию, пианист Мишук. Георгиевский зал в Кремле, воссоединение Крыма с Россией. Всенародное ликование, салют. Предсмертное прохождение через полное одиночество. Колдовская власть буквы. Весенний день, пушистые облака в голубом небе, заснеженное кладбище, черные сучья высоких кленов. Медленное шествие по длинной-длинной дорожке, парами и поодиночке, с цветами, могила Саши Старовойтова, годовщина смерти. Встали рано, метро Обухово, к черту на кулички. В 20.30. по всей Земле на час отключат освещение, в знак экономии энергии. Час Земли.

Землетрясение в Чили. Пруды, чайки. Авария на Стачек, прорвало трубу, дорога залита, клубы пара. В библиотеке Льва Толстого было 14 тысяч томов. Предсмертное, записанное дочерью Александрой Львовной изречение Толстого: «Бог не есть любовь». Умирая, Толстой повторял: «Искать, все время искать». День детей аутистов, сосредоточенность на себе, в своем внутреннем мире. Неспособность к общению. Таких детей рождается с каждым годом все больше. Ужас призраков времен отошедших. Пасть мертвым перед неуязвимым призраком. Реальность креста. День холодный, ветер, тучи, замерзшие лужи. Камбоджа, Ангкор, город, затерянный в джунглях. Каждую ночь король поднимается на вершину храма, чтобы соединиться с девятиглавой змеей, дочерью бога. Так поддерживается благополучие государства. Если девятиглавая змея не появится навстречу королю, государство погибнет. Недоверие к слову; мысль тускнеет, исходя из уст. Каждое слово вздымает прах степных дорог. Глас бездны, ему нет толкователя. Рассылал визитные карточки с надписью: «Кит Китович Кентавров. Напророчил себе смерть. Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел. Думой века измерил, а жизнь прожить не сумел.

Противостояние Марса. Марс в середине апреля приблизится к Земле на максимально короткое расстояние 92 тысячи км. Сейчас светится в 10 раз ярче, чем самая яркая звезда первой величины. Поздно встал. Поздно мелют мельницы богов. С ней в Обухово. Ждал на дворе. Солнце, ледяной ветер, спрятался за угол здания. А все-таки весна. Припекает. В Южной Корее затонул паром, недалеко от берега, корпус торчит над водой. Триста погибших, остались внутри. Умер Маркес, 87 лет. Лесков, как писать: пиши вдоль, потом поперек. Возраст, когда все силы в сборе. Лесков называл смерть: «интересный день». Пасха, крестный ход. Ул. Генерала Симоняка, яркий день, солнце. Стою на балконе, в раскрытое окно ветви черемухи со свернутыми трубочкой зелеными бутонами листьев. Люди на улице идут в легкой одежде, с непокрытыми головами.

Одесса, огонь попадающий. Дождь, град. Стоял на балконе, зацветающая черемуха, градинки бьются о стекло, отскакивая; люди, застигнутые грозой, лужи, две старухи, одна закрыла голову зеленой миской. Мужчина с георгиевской ленточкой. Библиотека древних рукописей в Армении в Ереване, перевод с древней египетской рукописи и карта, на которой изображен Марс и два его спутника. Как древние могли знать об этом? Ведь спутники Марса были обнаружены только в 19 веке. О двух спутниках Марса упоминали и Галилей, и Свифт в своем «Гулливере», глава о Лапутах, и Вольтер. «Не трудно написать что-нибудь, а трудно не написать». Л.Толстой. В Турции авария на шахте, погибло более 300 шахтеров. А встона, бо, братие, Киев тугою. Донбасс, кровь. Земля наклонена к своей оси на 21 градус, поэтому сезоны года, весна, лето, осень, зима, в разных полушариях наоборот. Четыре миллиарда лет назад Земля столкнулась с другой планетой, поменьше, Теей; Тея разрушилась, из ее осколков возникла наша Луна. Авария при запуске спутника «Протон» на космодроме «Байконур», сторел в верхних слоях атмосферы. Наводнение в Сербии. Чаплин, всемирная слава, ревущие толпы поклонников, встречающих на вокзалах и пристанях. Вот уже неделя, как я здесь один. Ветер сдувает лепестки с яблонь. Смотрю, смотрю: чудо из чудес! Бреюсь утром у умывальника на дворе: в зеркале старик, голова седеющая. Старик, старик. Чаплин о писателях, с которыми он был знаком: Стейнбек писал не меньше 2 тысяч слов в день, Томас Манн в среднем – 400 слов в день, Фейхтвангер надиктовывал 2 тысячи слов в день, Сомерсет Моэм – 400 слов в день, чтобы только не потерять темпа письма. Уэллс – тысячу слов в день. Английский журналист Хеннен Суоффер писал до 5 тысяч слов в день. Жорж Сименон писал роман за месяц. Не хочется в такую жару ехать в город. Сажу на веранде у раскрытого окна, Велесов внуче. Род человеческий – Книги читатель, и на обложке имя творца, имя мое, письменна голубые.

Пьяный старик лежит под сосной, в рваном свитере, на ноге резиновый сапог, другой сапог валяется далеко в стороне; громко сам с собой разговаривает. Когда возвращались обратно, он уже был в канаве у железнодорожной насыпи, кричал: «Эй, девушка! Где я нахожусь? Это какая улица?». Разбудил мотоцикл, гремел на дороге перед домом, как апокалипсис. Оса на окне гудит в свою воинственную трубу. В Москве авария в метро, 21

человек погиб. Обломки «Боинга» под Донецком, погибло 298 человек. Собирают трупы, везти в Голландию. Чистое утро. Сияльны неба голубели. Гиляровский «Мои скитания». Чехов о нем: «Человечина». Вечером долго стоял в саду, смотрел на уходящее солнце. Гипноз заката. Солнцеклонник. Вот и стемнело. Засохшее дерево, рогатое, страшное. Твой есть день и твоя есть ночь. Понедельник. Извержение вулкана в Исландии. Семикрылый путь в котгах трескучих плоскостей. Триумф головы Вселенной, арфа и бокс; все языцы, восплещите руками. 1-го сентября объявят лауреатов, хлопки и вспышки. На стенах детские рисунки, хороводы лодок в море на восходе веселого, горячего солнца. Восточка из Баку. Лариса, глаза в слезах. Ее тревоги, ее молитвы.

Косые рифмы, перезвон событий. Сердце речаря обнажено в словах. Улетим в Никогдавь. До реки. Солнце уже скрылось, похолодало, ни ветерка. Студеная дымка, трава на берегу покрыта ржавчиной осени, лес черный, вода замерла, матовая зеркальность, тишина, всплеск рыбы, и опять тихо. Утром восход солнца. Вышел за калитку, приветствовал, воздев руки. Орфический гимн Солнцу: «Услышь меня, благословенное, чьи глаза видят всё, услышь мои слова и открой радость жизни посвященным!». Вот для этой радости и живешь, еще день, еще вечер, еще ночь, чтобы опять встретить утро, новое утро, увидеть это чудо восхода. Проводил до платформы, тяжелая сумка, кабачки, яблоки, уехала в город. Говорит, чтоб не грустил, вернется в четверг. Начались дожди, всю ночь стук по крыше, просыпался, опять засыпал. Слезы людские, о слезы людские.

Прижимаю к груди мою книгу. А зал кричит: «Распни, распни его!». О мне глумляхуса сидящий во вратех, и о мне пояху пиюиции вино. Умер Любимов, режиссер. В метро девушка уступила место. В тот год, когда девушки впервые прозвали меня стариком. Ветер осени золотой развеял меня на родине красивой смерти – Машуке. Старый фильм, Печорина играет актер Ивашев. В разбитое стекло врывался морской ветер. Уверенность, что пройдешь по водам, не замочив подошв, как призрак. Холодный октябрьский день, яркость солнца раздражает, тоска, нервы, вагон, еду, куда, зачем, абсурд, дурость; ромашки у трамвайных рельс проносятся мимо, гнутся на ветру. Еще не увяли, живые ромашки. Умереть с пулею в груди – стоит агонии старика. Что-то сбывалось над ним. Встал в половине седьмого, в Автово, оттуда на машине, за Лугу, за Кингисепп, деревня Малое Кузмичево. Просторный сельский дом. Библиотекари, краеведы, поэты, писатели. Пели хором: «Выхожу один я на дорогу». Потихоньку вышел, по старым деревянным мосткам, к реке, через заросли камыша, сухого, выше человеческого роста. Возвращение, ночь, город, наша Лени Голикова, сияющие ореолы в черном небе, пьяно улыбаясь, убегают вдаль, к Стачек. Потеплело, дождь. Леонидов, гений архитектуры, где твои чудо-здания, где твой город солнца? Миражи, построенные на песке. Шнитке – человек, запрограммированный на бесконечное сочинение музыки. Как только прерывалась работа, он заболел. Он болел только в периоды отдыха. «Мы благодарны искусству за то, что оно показывает нам то, что логически

сформулировать невозможно». Смотрю, пруд, утки плещутся, хрусталь, ясность, грусть, пустота в сердце, близость зимы, и всё это, всё это... На Южном Урале археологи обнаружили страну городов, загадочная цивилизация, 3,5 тысячи лет д.н.э., множество печей для выплавки железа. Похолодало, мглисто. Делакруа, прочитав русские новеллы, «Дубровский» Пушкина и «Фаталист» Лермонтова, замечает у себя в дневнике, что эти новеллы написаны в подражание Мериме. Как будто сам Мериме и написал, взяв русские имена и декорации.

Мглисто. Лиана Кавальери. Горчичное зернышко, верь, верь в свою горькую истину. Первобытный человек сначала нашел окись меди и железа для того, чтобы сделать краску и создавать свои наскальные рисунки. Чтобы рисунки дольше сохранялись, их рисовали на большой высоте. Для этой цели изобрели лестницу. И только значительно позже стали выплавлять медь и железо для мечей и утвари, а лестницу использовать для строительства. Тускло. Ньютон стоит на плечах титанов. Голые столбы, черная вода. Старый дом в псковской деревне. Туман, сырой снег. Вот он, на пригорке. Окна заколочены, двор в бурьяне, гнутся на ветру сухие стебли репейника. Сколько же лет прошло, как я тут был последний раз? Тридцать? На похороны Татлина пришло семь человек. Умер через три месяца после смерти Сталина. Утром сажусь за свой стол, снежная равнина безбрежно ясна. Что-то вроде многоярусной пирамиды, наполненной стоящими людьми. Основание, самый нижний ярус, самый большой и широкий, там стояло очень много народа, несметные толпы, и я заметил, что все они слепы, у всех вместо глаз тускло мерцали свинцовые бельма. Толпы слепцов. Чем выше ярус, тем он уже, и тем меньше на нем людей, и тем больше они зрячи, тем яснее и пронизательнее их зрение; я видел, как всё светлее, всё чище становятся их, направленные на мир, взоры. И, наконец, на самом верху этой загадочной пирамиды, на ее острие, как на утесе, стоял один единственный человек; только он один и мог там, на этой высоте поместится; его глаза сияли, как два солнца. Это существо смотрело вокруг себя во все стороны, и видело всё, видело все ярусы пирамиды до самого подножия и всех людей, толпящихся на них, его же не видел никто. Он был Невидимка. Киты, ослепнув, кончают самоубийством, выбрасываются на камни. Врубель ослеп. В больнице для умалишенных подолгу стоял у окна. Уверял, что если он простоит здесь 10 лет перед Богом, то Бог вернет ему зрение, даст новые изумрудные глаза, он начнет новую жизнь и опять будет работать, рисовать картины. Третий глаз Шивы. Лучше быть первым в аду, чем вторым на небе. У папуасов – если племя изгоняет кого-нибудь, то по нему поют зауспокойную песню, и изгой умирает. То же – у сибирских народов, когда поют такую песню шаманы. Конные монголы охотники с прирученными беркутами на правой руке в зимних горах. Охота на волков. Два беркута нападают на бегущего волка, накрывая его крыльями, он борется с ними. Тут поспевает монгол охотник; спешась, поражает волка ножом.

Умерла Елена Образцова, на 75 году жизни. Кармен, золотой сон. А боги и во сне, как кони, белозубы. Блейк, призрак блохи, тигр во мраке,

Иерусалим, гимн Великобритании, заклинатель сов. Глубина, мать тьмы, застольные беседы с мертвецами, рисунок мира на обратной стороне этой скатерти. Стасов Серову: «Правда ли, что вас не интересует содержание?». «Не интересует» ответил Серов. «Меня интересует только художественно написанное». Монах Авель, предсказатель бедствий и войн. Вавилон, ворота бога. В Вавилоне жило 180 тысяч. Ворота Иштар из синего кирпича. Прихожу во двор; у подъезда стоят кони-львы, сами вороны, а гривы рассыпные, шерсть как дорогой атлас лоснится, а заложены в коляску. Лесков. Чертогон. Румыния, книги на золотых пластинах. 400 золотых пластин с древними письменами, сантии Даков. Записаны славяно-арийскими рунами. Миртград. Орий из Ирия. Рукописи Леонардо в библиотеке Милана, 6 тысяч страниц. Леонардо писал всю жизнь, каждый день по 2-3 страницы. Не имел ни университетского, ни даже школьного образования. С иронией называл себя необразованным и безграмотным человеком. Не знал латыни, поэтому не мог прочитать многие научные книги. Умер в 67 лет Мрамор проходит через резец Микеланджело, чтобы превратиться в скульптуру. Когда Микеланджело указали на недостаток сходства его портретов с Юлием и Лоренцо Медичи, он гордо ответил: «Кто заметит это через тысячу лет!». Большая книга, большое несчастье, Каллимах. Бедные художники, они погибают, если о них не говорят. Моя госпожа Меланхолия, моя Эгерия, мой злой гений. Встреча Сатурна и Луны в созвездии Скорпиона. По ночам воздух сгущается и это вызывает печаль. Громада невидимого, дождь со снегом. Поэзия – это вино заблуждений, поднесенное пьяными наставниками. Они плывут в челне безрассудства и обитают в роще безумия. Учился у творящих превращений, черпал в источниках своего сердца. Писал книги и прославил свое имя в мире. Отличался изысканными замыслами, потомкам передал свитки.

Кто-то внутри меня то ли говорит, то ли поет, не дает спать. В Политехнический, путевки. Холод, дождь. Дух искренности, узор письмен. Велика сила Вэнь – вместе с Землей и Небом рождена она! Человек – налитый зерном колос пяти стихий, он поистине сердце Земли и Неба. Когда же сердце рождается, появляется речь, а речь появилась – и вэнь становится ясно видна. Проясняется узор и являются письмена. Узор же речей – сердце Неба и Земли. Речь и письмо обнаружат разницу между благородным и подлым. Солнечно. С книжной ярмарки. Велес, его стада и струны, табуны и свирель. Посидим на скамейке в Екатерининском садике, мороженое, зацветающий каштан. Ницше, впад в безумие, подписывал свои письма: «Распятый Дионис». В ювелирный, выбирали серебряные ложки, в подарок на серебряную свадьбу. Весь май ураганный ветер. Извержения вулканов на Галапагосских островах в Тихом океане, вулкан за вулканом. Такого еще не бывало. В Перми неслыханный ливень, затоплены улицы. Родственные души не растут на деревьях. Григ Чайковскому. Старая съемка, парад Победы в Москве на Красной площади в 1945 году. Льет дождь, толпа под зонтами, солдаты в касках, воины-победители. Жуков и Рокоссовский на лошадях, белой и вороной. Сталин над всеми, вожь народов. Женщины в шляпах того времени, счастливые лица. Вечером салют. Великая Победа.

Полнолуние. Окликает по имени. Федра, Фрейд, голова Орфея. Пушкин, более 50 автопортретов, молодой, в Кишиневе, в Одессе, носил длинные волосы, кудри до плеч. В Михайловском в сссылке отрастил баки. Рост Пушкина 166, 64 см. Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Посвящено жене, Гончаровой. Пруд, закат, тростники. Я один, всегда один, даже когда с кем-то, и глубоко-глубоко в душе – один одишешенек, всегда, всегда. Рильке о Родене, отшельничество, «Башня работы». Еду, за окном вагона ливень с градом. Витебский, город затоплен, люди ходят по пояс в воде. Число Фи построило всё живое на земле, божественная пропорция 1,618, резец Фидия, циркуль Творца, золотое сечение-свечение, звон позвонков. И опять Ом, первоначальный, творящий звук. Книжная галерея у Михайловского замка, жаркий день, сiena на солнцепеке, просят выступить с речью о Книге. Велес играет на свирели в полуденный зной на лугу. Я в Киеве, в Софийском соборе, тайна моя всегда со мной, всегда со мной, она во мне; но за мной следят, непрерывно, неотступно следят и подслушивают; с рождения до смерти, до последнего вздоха.

Красил забор. Солнечно, царский знак, фарн. Роза мира, Велга, Звента-Свентана. Подходит к калитке, после бани, счастливая. Зари румянец дальний шевелит мерцанье свеч. Аграфия, отвращение к письму, весь день, не могу взять перо, не могу видеть чистый лист бумаги. Поцеловала в лоб и ушла, в цветастом летнем платье, веселая. Ночью гроза, странная, бесшумная, вспышки сквозь пелену туч, со всех сторон, кругом, а молний не видно. Потом молнии стали сверкать зримо, ослепительные, огромные, через все небо. Таких мы никогда не видели. Гроза бушевала часа три. Феерия. Мы стояли у окна на веранде, она у меня за спиной, трепеща и вскрикивая при каждой вспышке. Утром тучи. Опять в депрессии, говорит, что ей никак с собой не справиться, все время ждет какого-то несчастья. Говорит, что погибает. В страхе: приближается день отъезда. Страх растет. На смерть ехать. Завтра же сдаст билеты. Тяжелый разговор. Так жить невозможно. Меня интересует только моя Книга, а больше ничего на свете не интересует. Книга заменила мне жену, заменила всё. Вся моя любовь и нежность обращена на Книгу. Предлагает расстаться. Ее затверженная пластинка: расстаться, расстаться.

В море медузы. Клод Лоррен, закат в золотой дымке. Вечером после ужина пошли в армянскую церковь на горе над бухтой. Уже темно. Грегорианский крест. Библия на древнеармянском, на пергаменте. Луна, оранжевая, над горой. Фотографировались. Вернулись в номер. Бессонно. Всю ночь грохот, рев и вой. Танцплощадка, половецкие пляски, визг нимф в бассейне у нас под окнами. Сад пыток. Гуляли по набережной, тот же оглушительный рев и грохот, кафе, бары, аттракционы, тиры, воющие певцы, шашлычный дым. Девушка в кабинке, сидит, опустив ногу в аквариум с рыбками. Рыбки облепили ее изящно очерченную, белокожую ногу. Уже приближается ночь, покориться и ночи приятно. Старинная греческая крепость Никоптия на горе над морем, копченые сардины, вино. Крутятся и танцуют, Амма создал все спиральные миры Вселенной, звезды и зерна.

Бледный Лис прилетел с Сириуса, изготовил маски и научил говорить. В день нашей свадьбы нам подарили яблоко из оникса. Оникс избавляет от печали и меланхолии, укрепляет дух, вселяет оптимизм. Полезен пожилым людям. Все пройдет, все пройдет. Сердце шире мира, разрыв всех узлов.

Октябрь, вечер, бреду по дороге. Фонари зажглись. Вокруг каждого фонаря очарованный рой заблудших душ. У Тютчева: «бродит сиянье». «Бродит», а не «брезжит», что, казалось бы логичнее, для непоэта. Веберн, число 23. всю жизнь не расставался с книгой Гете «Учение о цвете». Перед нами художник, который самые высокие идеи выражает минимумом слов. Свет глаз. Для меня нечистая нота – что-то ужасное. Веберн весил около 50 кг., рост около 160 см. Убит американским солдатом 15 сентября 1945 года. Ему было 63. Кто такой Веберн, сам Веберн не знал. Шёнберг страдал трискайдекафобией (боязнь числа 13). Он родился 13 числа, что всю жизнь считал дурным предзнаменованием, и 13 же числа умер. Боялся дня, когда ему исполнится 76, потому что в сумме эти цифры составляют пресловутое число 13. Умер 13 июля 1951 года именно в 76 лет в 11.47 вечера за 13 минут до полуночи. Язык, вдохновляй разум! Форма – значит красота. Жить – значит отстаивать свою форму. Разбирала при мне старые письма, записки, поздравительные открытки. Заплакала. Память умерших. Он писал силою Пишущего Имени и отдавал людям. Мудрецы воссияют сиянием небес. Оборванная последняя фраза второго тома «Мертвых душ»: «Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва...». Курские помещики хорошо пишут. Ты равен духу, которого созерцаешь. Когда придет Бог, смотри вниз и записывай сказанное. Суббота. К Земле приближается огромный метеорит, прогнозы ученых неутешительны. Мглисто, высокий шаг облаков. Вишну на белом коне в конце времен. Одежда первой четы, знак Каина, радуга и скрижали. Вошедшие во дворец круга и квадрата испортили точку. Во тьме они оборачиваются в образ змея с двумя головами, летят в бездну и плавают в великом море. Сияние посеяло семя, красу мира. Каждому началу видел я конец. Будет день один, он известен Господу, ни день и ни ночь. В мире существует 45 оттенков огня. Понедельник, солнечно, ходили платить квартплату. Блеск еще зеленой травы на газоне. Кошмары. Иоганн Генрих Фюсли, ночная кобыла. Только там затихнет Лилит и найдет себе покой.

Зачем-то понесся на Невский, бес в ребро. Лариса осталась дома, истерзанная своими черными мыслями. Гостиный двор, через подземный переход, афиша: Ингмар Бергман, неделя ретро фильмов в кинотеатре «Аврора» с 13 по 17 ноября. Фонтанка, мрак, дождь, фонари, толпа. Гул гигантских городов. Жутко, дико. Мое одинокое, бессмысленное блуждание в этот вечер, поступки, достойные сумасшедшего. Что я тут ищу? Число, букву, звук, этих троих серафимов, создающих нового Адама? Магазин «Порядок слов». Моя Книга лежит среди других книг на прилавке. Сделав вид, что интересуюсь новинками, беру мою Книгу, держу в руках, листаю. Вечер безумных действий. Мое лицо убрано навсегда, безвозвратно из ниши времен.

Умер Мамлеев, 84 года. Полночь. Луна в голубом круге. Лариса встала рано, уехала в бассейн. Бэр, биологический момент. В Египте разбился самолет с туристами, возвращался в Петербург. Погибло 224 человека, все, кто был на борту. Призрачно, Лейбниц. Мнимые числа – это поразительный полет духа божьего, это почти амфибии, пребывающие где-то между бытием и небытием. Книга – письмо к себе, написанное тенями и отблесками на голой стене. Сорвался с облака, злоба дня, то да сё. Трамвайная остановка, солнце между домов, почернелые листья блестят утренним серебром. Воскресенье, пошли заказывать для нее очки на дальность. Наладим ли мы опять нашу жизнь? Тебя любить, обнять и плакать над тобой. Листва мерцающий лед этих страниц. Что ж, очень интересный, своеобразный писатель, о нем еще обязательно вспомнят. Семь книг облачной библиотеки. Кодекс Гигас, библия дьявола, на пергаменте из ослиной кожи (потребовалось 160 ослиных шкур), высота 90 см., ширина 49 см, толщина 22 см., весом 75 кг. Самая большая и самая тяжелая книга на земле, (сдвинуть можно только усилием двух человек) написана монахом-писцом в бенедиктинском монастыре в Чехии в начале 13 века. Писал 30 лет в затворничестве, посвятив этому всю свою жизнь. Свод средневековых знаний. Изображение дьявола во всю страницу. Имя писца неизвестно. Скрытая мощь, идущая от этой книги, притягивает к себе людей. Кодекс Гигас находится в королевской библиотеке в Стокгольме. Язык ветвей. Имя в шуме волны, плеснувшей в берег дальней, мое, не мое.

Бесснежно. Древний ужас. Седой опыт художников всех времен. Ну вот, выбрались хоть куда-нибудь. Выставка буддизма в Эрмитаже. Число Будд бесконечно, и у каждого Будды своя Чистая Земля. Проклятие девятой симфонии, несущее композиторам неминуемую гибель. Три ноты в такой последовательности вызывают тревогу и страх. «Мрачное воскресенье», песня-убийца – вызвала сотни самоубийц в Венгрии. Шумерский гимн богу Зла. Белое на белом, черное на черном. Что-то там светится изнутри. Она, Гармония, Мелюзина, прекрасная змея моих вещей снов, трепетание крыльев бабочки на грани исчезновения. Ищу опору в себе самом, в пустом сердце, где огни и мрак. Вслушиваюсь в несказанное, люблюсь невидимым. Бритвенная ясность. Декабрь, в метро, старик и старуха, совсем дряхлые, дремлют на сиденье, он – с седыми, обвислыми усами. Вышли, шагаясь, держа друг друга. Луна все в том же голубом ореоле. Ольга Розанова, зеленая полоса. С рождения я имел на душе черное пятно, которое росло с годами и чуть было не зачернило всю душу. Я плыл, но с бурей вдруг предстала смерть ужасна. Стихи говорят о воле. Передай волю в словах. Эта сила поистине велика, родилась вместе с землей и небом. Уши созданы для того, чтобы слушать музыку. Глаза созданы для того, чтобы видеть красоту. Уши и глаза – дверные створки сердца. Поэтому уши должны слышать гармонию, глаза – видеть прекрасное. Понедельник, приморозило. Куда-то едем, троллейбус, страшный мир. Что ж, все в наших руках, и этот крепко затянутый узелок. Мир не имеет по отношению к нам никаких намерений, ясно как нож в руке убийцы. Миром правит молния в электрическом уютке. Я меж всеми и вся,

потерянная иголочка. Где голова Гойи? Ул. Кузнецова, бесснежно, мороз, мрак, утесы многоэтажья. Ураганный ветер с залива. Идем, сцепясь, нагнув голову. Конец этого года.

Спутник Юпитера «Европа», ледяной кокон, подо льдом вода, океан, испускает звуки, писк дельфинов. У всех геометров глупый вид. Маркiza де Помпадур. Стою на дороге, искорки снега вьются, блестя на солнце. Искал станок для бритвы. Афина, вещий ворон в шлеме. Что уму позор, то сердцу красота. Мороз. Эпидемия свиного гриппа, все в марлевых повязках. Полнолуние, Офаниэль, блюстител лунного круга. Зинаида Волконская, царица муз и красоты, северная Коринна, в волшебном замке музыкальной феи. Умер Виктор Львович, инфаркт, 70 лет. Гулял, гололед, солнце, голубое небо, ручьи, как весной. Грустные мысли. Пусть разрушается тело – душа пролетит над пустыней. Смотрю на мир сквозь магический кристалл, октагон, восьмигранник. Совиные глаза слов. Лежу с женщиной, у нее на лице трагическая маска, Мельпомена. Отдернул штору – метель. Манчжурия. По степи скачет всадник на мохнатом коне, древний воин с трезубцем на шлеме, сын Великой Матери. Украсил себя шрамом на подбородке, бреясь новой бритвой. Спасительная чуточка безобразного, как любил говорить Дега. В театр, «Травиата», Рене Флеминг. Я был на зрелище: какие ощущения во глубину души прельщенные влились!

Оттепель, февраль, голос арфы отзвучал. Жуковский умер в 69. Как мне сейчас. Достать чернил и плакать. Уехала куда-то за Финляндский вокзал, в военкомат, по траурным делам, насчет покойного Виктора Львовича. Тусклость, гаснут угольки в крови. Печальна плоть, и книги надоели. Мы – буквы магической книги, и эта вечно пишущаяся книга – единственное, что есть в мире, вернее, она-то и есть мир. Читаю или пишу, ниже, выше, мне уже не отличить, где я, где они. Когда я пишу, я узнаю, что я хотел написать. Ну вот, теперь-то я знаю, что хотел написать о священной горе Меру в Индии. Мир существует, чтобы войти в книгу. В мою Книгу! Кому это непонятно? Погасшему вулкану? Вернулся с прогулки, ей плохо, давление подскочило, дрожит, руки и ноги ледяные. Солнечный день, почти весенний. Трепет тех метелочек во льду, там, у ограды. Стоял у дороги, перед тем горбатым мостиком, полянка в снегу блестит на солнце, куча свежесрезанных черных сучьев. Их горьковато-нежный запах. Невский, вечер, огни, небо в сторону Невы темно-голубое с фиолетово-розовыми полосами, в сторону площади Восстания – темно-синее. Шел от метро домой, луна в двойном ореоле: жемчужном и с краю – коричнево-красный. Жозефина Бейкер, танцовщица, мулатка, покорила Париж, изображая обезьянку и исполняя дикие танцы. Под конец танца влезала на пальму. Вирджиния Вулф, 4 тома дневников, 5 томов писем. «Этот туманный мир литературных образов, похожий на сон, без любви, без сердца, без страсти – именно этот мир мне нравится, именно он мне интересен». Слуховые галлюцинации перед приступами безумия, слышала голоса птиц на оливах древней Греции. В Капеллу. Гуго Вольф. Сколь тяжела участь художника, если он не в состоянии сказать что-либо новое! Умер Умберто Эко. В тот же день умерла Харпер Ли, «Убить

пересмешника». Метель, струнки на ветру, их трепет, всегда, всегда, белое, черное. Сосны поскрипывают, постанывают. Это мой истерзанный мозг стонет, распятый на кресте бессонницы. Агония Христа длится вечно, и в это время нельзя спать. Приходил сантехник, поставил счетчик воды. Домоуправ, подписать акты. Ясность свидетельств. Голое слово правды, холодно и страшно ему одному в мире. Бегущий Апис с мумией на спине.

Затерялся в зеркалах, в отражениях отражений. Из ненаписанного. Тот, кто увидит в небе призрачный город гандхарвов, того ждет несчастье и гибель. Время убийц с голубыми глазами. Великое произведение с неизбежностью должно быть по своему смыслу темно для всех, кроме горстки тех, кто подобно его создателю, приобщился тайн. А оттого вполне достаточно, чтобы у него нашелся всего один понимающий читатель. Снежная лавина в горах, Мечислав Карлович, пропавшие без вести, их тени бродят вокруг нас по ночам, но никто их не узнает. Неузнанные, уходят с рассветом, растворяются в воздухе. Возможно, они живут на Луне. А мы с Венере. Откуда же еще? На Венере красно-красавый, раскаленный песок, скорпионы и раковины. «Принцесса «Турандот» в Мариинке в новом зале. Час поздний, бежим на автобус, «шестерка», заворачивает. А остановка-то вон где, едва видно, на краю земли! Скользко, промозгло, по-мартовски. Продрогли на ветру. Минута тоски когда-то давным- давно выбрала нас, а жало ее до сих пор в нас живо; мы с тобой, пронзенные в тот далекий вечер, все еще трепещем на этой игле. Двуетное, сросшееся существо, куда же нам друг от друга деться? Некуда, некуда... «Мальчик и девочка», фильм шестидесятых годов по сценарию Веры Пановой. Врубель о Серове и Коровине: «У них нет натиска и восторга». «Вон из-под роскошной тени общих веяний и стремлений в каморку, но свою – каморку своего специального труда – там счастье!» Последние слова Врубеля: «Николай, довольно мы здесь полежали, поедem в Академию». Проснулись посреди ночи от какого-то ужасающего грохота за окнами. Семь кузнецов куют счастье для всех людей на земле. Вавилонская башня уже возведена до небес, достраивают последний этаж. Скоро нам туда переселяться. Три года со дня смерти Саши Старовойтова. Кладбище, горсточка пепла в урне. Рядом могильщики жгут костер из веток спиленного тополя. Огонь пляшет, разметав алые космы, такой веселый, буйный. В Ростове на Дону разбили «Бонинг» из арабских эмиратов, все погибли. Писать становится все труднее и труднее. Смысл жизни, когда я не работаю, сразу мельчает и теряется. Вирджиния Вулф. Трехмесячный младенец в утробе слышит, как стучит сердце матери, слышит ее дыхание. Умиравший Розанов в розовом женском капоре. Голос из мрака: «Ноты молний! Читай ноты молний!». Артур Рубинштейн, старый, седой, маленький, с крючковатым носом, как попугайчик, пальцы сморщенные, лапки краба, летают по клавишам. Яков Черников, архитектурные фантазии, слово заменить знаком. Язык графики станет международным языком. Солнечно, голубая дымка, пруд, горбатый мостик, неизвестность. Навстречу девушка с кошкой и попугаем.

День смерти Павла Первого. В этот день Павел в Михайловском замке,

идя в свою спальню, взглянул в зеркало, которое было кривым и искажало отражение: «Посмотрите, какое смешное зеркало – я в нем с шеей на сторону!». За полтора часа до своей гибели. Часовой у ворот Михайловского замка кричит Петербургу: «Император спит!». После этого все в Петербурге должны лечь спать, и никому не позволено выходить на улицы. А с Невского и Марсова поля спешат Пален, Зубов, Бенингсен, ведут гвардейские батальоны. Вином и злобой упоены, идут убийцы потаенны. Зубов ударил Павла золотой табакеркой в висок. Павел упал. Все кучей на него навалились, задушили шарфом. Человек рождается с полностью готовым правым полушарием мозга и не готовым к работе левым полушарием. Правое полушарие – живописные, образные, музыкальные способности, танец, все художественное, творческое. Левое полушарие – язык и логическое мышление, начинает работать только с двух лет. Также и в истории: человечество сначала мыслило только правым полушарием, только образно, и так истолковывало мир, только через искусство и религию. Вначале были искусство и религия. Немецкий ученый Клаудио Шмидт открыл в Средиземноморье древние храмы, которым 11 тысяч лет. И случай – бог-изобретатель. Каждый миг подсовывает всё, что есть в мире. Ах, опять Египет, пирамиды, боги, цари! Семь раз повтори «ах» и улетай в свой рай, хохлатый ибис! Идем, начинает темнеть, холодный ветер, новостроечные колоссы, близко залив, дымящаяся башня слева. Уверяет: что это ядовитый газ, хлор или сера. Ее терзает тревога, говорит о ненадежности этих новых домов, долго ли они простоят, ей кажется, что они уже шатаются под напором ветра и вот сейчас на нас рухнут. Из-за этого не спит уже третья ночь. Плачет: завтра день смерти матери. На Стачек по жилищным делам, насчет протечки сверху. В кабинете у чиновника разрыдалась. Нервы у нас. Ты, говорит, все-таки покрепче, молчишь, в себе держишь. Вторник, Дюрер, меланхолия. Скрыть мастерство в тумане над рекой. О тленности, река времен. Голый человек на голой земле. Каждый раз. Начну на флейте стихи печальны. Шмель и две бабочки с голубыми глазами на краях крыльев, серафимы. Встреча в солнечном луче. Слова и перстни. Брожу неприкаянный все эти апрельские дни. Не понимаю, чего же еще я жду от себя? Звездоносного ниспадения с невозможного неба? Девятого вала? Седьмой беды? Чужд границ, слеп и нем. О как божественно соединение извечно созданного друг для друга! Дышу-пишу, звуки-знаки возникают из вибрации этой жизнестойкой спирали, у нее 70-й виток. Верь в чудеса, и они придут.

Ночью дождь. И сейчас. В вазе на столе распустились листочки тополя. Бальмонт в сюртуке с пышным шелковым галстуком, ромашка в петлице. Поэзия как волшебство. Непонятный странный шепот – шепот капель дождевых. Как весело, как горестно весной. Пауль Целан, рифма к Незримому. Непременно буду в этом аду, где они все, в кроватной луже оскользнусь. Не могу написать «поскользнусь», хоть режьте. Протестующий вопль пера: не могу я так написать! Не могу! Это самый страшный, смертный грех писателя. Вечность буду в гробу биться без права на помилованье.

Цветаева – зеленоглазая рысь, не признавала никаких депрессий, только экспрессии. Ветер желаний надувает паруса языка. Подходим к Михайловскому замку, теплынь, нам жарко, ров, свежая травка зеленеет на откосе. Она в своем сиреновом пальто и берете. Все уже собрались, расселись за огромным овальным столом, звучит Державин, его могучий глагол: «Я здесь умру, – но и в эфире мой глас по смерти возгремит!».

Чудеса-любеса, зеленое солнце, новооперное. Забытая страна, без конца, без края. Едем навестить родные места, сто лет выбирались. Все те же старые лиственницы, грачи строят гнезда, хлопанье крыльев, крики. Ржавый шпиль школы, где мы с тобой когда-то учились, в давние-давние времена, не в этой жизни. Деревянный сарайчик на пригорке, храм святой Ольги. Сергей Прокофьев в ответ, что его музыка непонятна: «Я родился гением, и мой слух слышит то, что никто не слышит, мой слух опережает время». Александр Прохоренко, героическая гибель, похороны, поселок в Оренбургской области, шествие, солдаты несут гроб. Залп из автоматов. Жизнь камышовок. Болотные камышовки – наилучшие имитаторы певчих птиц. Ни одна из птиц не сравнится с ними в этом таланте. Перенимают песни любых птиц, которые они слышат, соловья, зяблика, овсянки, жаворонка, ласточки, иволги, всех. После зимовки в Африке приносят более 80 песен разных птиц, которые они там запомнили. Не просто имитируют, а импровизируют, творят из чужих песен свои, свою музыку. Действуют как настоящие творцы. Перенимают чужие песни по принципу эмоциональности. Их привлекает эмоциональность, накал, страсть чужих песен. Камышовки живут три года. Русский язык – самый верный аналог песен певчих птиц: также свободно комбинируются слова во фразе. Утром, раскрыв окно, вижу: журавли! Летят клином высоко в чистом, голубом небе, курлычут. Поехали на пл. Стачек, танк на постаменте, дзот в цветах, в георгиевских лентах. Концерт, песни, участники шествия «Бессмертный полк» с портретами на древках. Часы неба и часы души не повторяются. Если зажечь свечу у себя за спиной, а перед собой поместить кристалл кварца, чтобы свеча его освещала, и сосредоточить взгляд на освещенном кварце, то в голове возникнут все книги, которые тебе необходимо написать, и все мысли, которые тебе надо написать в этих книгах. Майский ветер, колышутся шатры чисто-пennых сил. Сокар, сокол на холме, у некрополя, покровитель мертвых. Смотрю в корень, а из него тысяча лучистых дорог в разные стороны. Читаю, печалюсь, фиолетовый занавес отделяет от леса потусторонних растений. Поднимаюсь по ступеням, бесшумно, без перил. Наконец, настало мгновение, звезда безутешных открывателей в ручке Ковша. Последняя ступень, но она рушится под ногой... И лечу вниз головой, лицо – каменный кулак, щели глаз, приносящих клятву. Сияние, боль, имя. Гаснущий кусок грозно-звездного неба в голове. Отцветающая роскошь, пройти через все коридоры, по обеим сторонам двери, как в гостинице; за каждой дверью другая, неизвестная моя жизнь. Прямое, как струна, соединение. Поющая струна, ее союз с каким-то неизвестным, потаенным словом. Без этого слова не поется и ничего не понять. Но как только приближаешься к нему, оно тут же ускользает, разветвляясь на тысячи

лабиринтов, все запутанней, все сложнее. И я вижу: это лабиринты моих же нервов, через них бежит ток первоначального, творящего Звука. Австрийский архитектор и живописец Хундертвассер строил дома-цветы, рисовал непрерывную линию, желая закончить ее спиралью, устремленную в неизвестность. Завещал похоронить себя в Новой Зеландии, без гроба, без одежды, под деревом, чтобы его тело питало это дерево. Земля – святое. Роберт Флат, «Великая тьма», черный квадрат масонов, дракон Китая. Оливер Мессиаан, «Квартет на конец времени», сочинил в концлагере. Я хорошо помню эту ночь: сияющую Прагу, какие-то мосты, сады, свое одиночество. Фиксация взрыва сердца на бумаге, проявленность бури, эти гравюры писем, глубоко врезанных в медную доску времени, эта стая из двадцати зигзиц, зовущих князя на Дунае. Ухожу один, не прощаясь, не оглядываясь. Белопенные шатры цветущих яблонь над обрывом, этот благовонный угол на незнакомой земле, и соловей щелкает, где-то совсем близко, и эта теплая мглистая, облачность, ветер. Четверг, фронтовик, Забежинский, 95 лет, поет, солдаты – белые журавли. «Вот, все, с кем воевал, никого уже из них нет, я один остался, и сам не знаю, зачем я еще живой». Суббота. Уехал – от себя. Куда мы идем? Всегда – к родному дому. Цвет отчаянья – белое. Всплеск перед занавесом. Из каждого моего слова глядит череп. Звон крови гаснет, вечер. Там, по ту сторону зеркала – тьма, крошечная, ничего там нет. А здесь и сейчас идет дождь, тихий, теплый, майский дождь, и каждая капелька – зеркальце, и в ней, дрожа от счастья, отражается весь мир. Дуновение новых душ из будущего. На каком лепестке оборвется разговор? Чёт и нечёт, самозарождение.

Звук стеклянной бутылки о камень, из ниоткуда и в никуда, шумерская песня «Гильгамеш и Небесный бык». 27-е, праздник города, 313 лет с основания Петербурга. Медный Всадник – мы все находимся в вибрации его меди. Петербург лежит почти на 60 параллели. Эта параллель – критичная для самого существования человека. У живущих на ней состояние психики все время напряженное, тревожное, сон сбивается. Границы реального и потустороннего размыты. Невротическое состояние, напряженное ожидание неизвестного, неопределенность границ возможного и невозможного порождает пограничные феномены психики, близкие к галлюцинациям. Подходим, белая сирень у парадной. Нас ждут, мать и дочь. Стол накрыт. Жизнь двух женщин.

Во сне явилась строчка, боялся забыть. «Вошел в лес: клещи, пауки, змеи». Ну и зачем мне она? Мелькнуло что-то за стволами, что-то невыразимо чудовищное, будто бы вдруг увидел изнанку всех вещей, их неизвестную, всегда скрытую оборотную сторону. Больше одного мгновения видеть «Это» невозможно, человеческий мозг не выдерживает: умрешь или сойдешь с ума. Уехала куда-то, ничего не сказав. Грядет похолодание, температура снизится сразу на десять градусов. В Европе наводнение, Париж затоплен, из Лувра вывозят картины. Вышел в сад, ветер, петух поет, где-то далеко; или поезд, жалобный голос, печальный труженик железных дорог. Вот я стою тут, в этой случайной точке, а ко мне летят со всех сторон, отовсюду, со всех уголков

Вселенной всякие звуки и разные мысли. Это я их притягиваю, я чем-то их привлекаю. Наверное, какое-то излучение, дрожь, вибрация. Какая-то потаенная косточка светится. Времечко-семечко. Демокрит, атомы и пустота. Титанические тела облаков. Запах персидской сирени на пустынной улице с неизвестным названием. Брожу весь день, то молчалив, то весел вновь, музою взлелеян. Шиповник у реки, алые всплески, гул пчел, своеструнно. Есть слова как бы и не слова: полуслова, полущорох, полусвет. Тоска осужденных планет. Полурыба, полуптица. Мрамор форм, пробегают голубые искорки, расколотые куски сахара в темноте. Поэты пишут не для зеркал. Бар в Фоли-Бержер. Гуляли в Михайловском саду, холод, дождь, фигуры из цветов, замерзли. Вы никогда не видели красного цвета, а я вам буду говорить о нем. Из дневника Достоевского. Бальмонт, весь мир есть изваянный стих. В 70 лет умопомешательство, психиатрическая больница, буйные припадки, вдребезги разбивал мебель, гнул переплет железной кровати. Отвращение к еде, еле могли уговорить съесть ложку жидкой каши. Забыл все языки, которые знал, забыл все свои стихи, утратил все свои огромные знания, забыл всё. Потерял способность писать и читать. Полнолуние, мать всех живущих. Сломать закоренелую привычку жить, перелом, крушение, катастрофа. И семь воздушных ступеней моих надежд не оправдали. О белая Леда, твой блеск и победа! Не я мыслю словами, слова мыслят мной. Слова говорят что-то без слов, чем-то несловесным. Это они говорят душой, это душа слов говорит. Душа слов бессловесна. Душа слов – это Душа мира, мировая Душа, Anima mundi. У шумеров истинная ученость – знание заклинаний, искусство магии. Загробная жизнь жалка и бестелесна, мрак и уныние. О сестра моя, посмотри: я лежу в прахе, и мне никогда не подняться с этого черного ложа. Все труды шумеров анонимны, неизвестно имя автора ни одного из дошедших до нас великих произведений. Подражание образцам, копирование древних текстов – вот что шумеры считали задачей писателя. Оригинальность и новизна их не вдохновляли. Шумерский художник не стремился к свободному творчеству, его заветной целью было скопировать образец до мельчайших деталей. Он – ремесленник, его личность ускользает от него самого. Шумеры устанавливали статуи в таких местах, где их невозможно было увидеть, зарывали в основание храма. Достаточно того, что их увидят боги. Человеку их видеть незачем. Маска быка с бородой, найденная в городе Ур. Когда вверху. Энума Элиш. Нашествие улиток, весь сад заполонили, большие и маленькие, и совсем крохотные, с букашку. Лариса в ужасе. А мне они нравятся, божьи создания, как ими не любоваться. У них такие нежные, беззащитные тельца и чуткие рожки. И они носят у себя на спине свои изысканно раскрашенные, витые домики и кибиточки. Я бы отдал все на свете за то, чтобы хоть раз взглянуть их глазами. Но мир не стоит на месте, завтра уже все изменится, опустеет сад, и мы уедем, забыв наши заветные желания, забыв что и как, и откуда, забыв всё. И кто-то крутит калейдоскоп злополучных историй.

Стол в саду, день жаркий, душный. Встреча. Столько лет! Седея, а глаза те же, смеющиеся карие вишенки. Время золотое. Когда же жизнь прошла? Едем, а там-то что делается, посмотри! Ураган разыгрался, дождь хлещет в

стекла вагона. Любая попытка анализа и истолкования произведений художественного творчества вульгарна и отвратительна. Карл Блум. Где-то я слышал это имя, цветок, певец. Все как-то устроено и в то же время никак не устроено, а только как-то неизвестно строится, может быть построено или само построится, непредсказуемо. Ничего мы не знаем, а знает пчелка и цветок акации; они из масонов, когда они встречаются, то один говорит: «Бояз», другой отвечает: «Яхин». Третий день непрерывный дождь с ветром. Сад залит. Крыша протекает, подставили тазы. Молчим, как будто у нас обет молчания, кольцо во рту. Голый по пояс, в одном башмаке, с закатанной по колено штаниной на левой ноге, глаза завязаны, грудь исколота циркулем до крови. Ляг в гроб и полежи в нем часа три, мертвым, и тебе дадут новое имя. Проснулся посреди ночи от внезапной боли, сердце как будто шилом пронзило. Это мой зеркальный двойник смертельно ранен в грудь на другом краю Вселенной. Глубокая еще дымится рана. Эйнштейн, близнецы кванты. Боже, как все запутано, перепутано в твоём мире! Есть ли в этом хоть какой-то музыкальный или ритмический смысл? Тогда бы я еще мог утешиться, проснуться от мертвого сна в долине Дагестана и написать стихотворение, от которого бы содрогнулись сердца. Встречал на платформе. Вышла из вагона, усталая, сугулится. Говорит, что едва уговорила себя уехать. Так бы и осталась в городе. Гром гремит устрашающе, туча наползает, черная-черная. Лежу мертвый. Мимо проносятся, гремя, вихри ночных электричек. Ты взшел на корабль, совершил плавание, достиг гавани: пора сходить. Или промысел, или атомы. Скоро ты забудешь обо всем, и все забудут о тебе. Брезжит во сне лунный корень слова. Пробую писать изнанкой языка, но все рассыпается, не та алхимия. Жди ясного на завтра дня. Идем к реке, стала жаловаться: «Скажи, что мне делать? У меня постоянно тоска, жуткая тоска, я с ума схожу. Может быть, я уже сумасшедшая, и мне нужно лечь в больницу? Принимать какие-то успокоительные лекарства для психически больных?»

Приснилось, что не могу вспомнить имя шотландского поэта. Пробудясь, вспомнил: Роберт Бёрнс. Подходим к церкви, зазвонили колокола, праздничный перезвон. День святой Ольги. В церкви венчание. Новобрачная пара. Последнее слово Нижинского: «мамаша» – обращаясь к жене Ромоле, или же звал свою мать. Смерть – отказали почки. Когда заболел, лежа, в бессознательном состоянии танцевал пальцами, изображая танцевальные жесты из балетов. Левой рукой стал исполнять пор-де-бра вокруг головы, как делал, танцуя «Призрак розы». Всего Нижинский танцевал 10 лет, в 29 лет сошел с ума, 30 лет – сумасшествие. Вся жизнь – 62 года. Ученые определили, что человек выражает свои эмоции словами только на 10%. Всё остальное – взглядом, мимикой, жестами, интонацией. Поздно вечером пошли прогуляться к реке. Розовая полоса меркнет. Укорочена струна дня. Беспесенно. Кто даст ми криле яко голубине; и полещу и почую.

Самоощущение. Капниста я прочел и сердцем сокрушился: зачем читать учился. Кюхельбеккер, десять лет в одиночной камере, изучил древнегреческий, читал Гомера в подлиннике. Изучил английский и читал

Шекспира. «Никогда не буду жалеть о том, что я был поэтом. Утешения, которые доставляла мне поэзия в течение моей бурной жизни, столь велики, что довольно и их, и я считал бы себя неблагодарным, если бы требовал от поэзии для себя еще другого чего. Поэтом же надеюсь остаться до самой минуты смерти, и признаюсь, если бы я, отказавшись от поэзии, мог купить этим отречением свободу, знатность, богатство, даю тебе слово честного человека, я бы не колебался: горесть, неволя, бедность, болезни душевные и телесные с поэзией я предпочел бы счастью без нее». Из письма Кюхельбеккера. Дрожащие напевы. Блеск той жемчужины, недоступный ничьим глазам. Тень и тело, Ахайя, Геликия, море не вернет своих мертвецов. Олимпиада в Бразилии. Всю ночь ливень, потоп. Открыл окно, шум, несмолкаемый, в темноте. Почто ж печальная распространилась мгла? Говорили о повторяющихся снах. Ей долго снился один и тот же сон: будто бы она взбирается по лестнице в старом доме на Римского-Корсакова, а лестница вдруг оказывается без ступенек, какие-то обрывки, обломки, и она в ужасе, никак не добравшись до квартиры. И часто снилась та старая квартира. Умер Эрнст Неизвестный, на 96 году жизни. Будут ставить памятник в Екатеринбурге. Приснилось молодое женское тело, я его обнимал, а оно было холодное и безжизненное, как мрамор, и у него не было головы. Четверг. Полнолуние. «Что до меня, я не только догадываюсь, но могу сказать твердо – уверен, что Луна и все тела небесные обитаемы: мне кажется, что это и быть не может иначе». Кюхельбеккер. И думал я, подобно Оссиану, блуждать во мгле у края гроба стану. Горька судьба поэтов всех времен. Вышли смотреть на звезды. Ученые говорят, что такой звездопад – величайшая редкость, впервые за всю историю человечества. Звезды падают дождем, по всему небу, звездный ливень. Феерия. Елизавета Кульман. Сегодня счастье, завтра счастье, помилуй бог, когда-нибудь должно же быть и умение. Суворов. Дай мне себя обнять, добрая, старая летопись, ты, что так уже давно ходишь рука с рукою с временем. Заря-обманщица, два утра персов, фальшивый и настоящий рассвет. Наказание художников, в День Страшного суда они должны будут вдохнуть жизнь в свои творения. Там пишут белым огнем по черному огню, для бессмертия двадцатитрехлетних, Шиллер, трава блестит после дождя, ртутные капли. Моя единственная звезда – смерть, бедняга Нерваль, безумец, принц дураков, повесился на улице Старого фонаря. Ночью свело ноги, судороги, хоть кричи. Тони Крегг в Эрмитаже, скульптуры из стекла, завихрения. Толпа китайцев под аркой Казанского собора, впереди высокий китаец с красным флажком в руке. Гюисманс, рак языка. Карл Юнг, «Красная книга». Еду, за окном летит ржавый лес, конец лета. Создание химер, скрещивание генов мухи и человека. Гены слышат нашу речь и фиксируют в генетическом коде, передавая мутацию дальше по цепочке поколений. Записки Патрика. Жутко кричала в третьем часу ночи. Ей приснился кошмар, будто бы она в гробу, пытается приподнять крышку и никак не может. Зовет на помощь, а никто не отзывается. Третий день в городе. Дождь начался, ночной дождь, его всхлипы и вздохи за окном. Сокровища Мьянмы. Созрело ли ты, ячменное зернышко, для вечной

разлуки? Менделеев, мастер чемоданов, бог химии шагает через семь ступеней. *Werde der du bist*. Но не дается, как назло, твое заветное число. На заливе шторм, водород с кислородом разбушевались. Ольха, вывернутая ладонь, это потаенное серебро, и шелест, шелест. Скрытые сокровища на каждом углу, скрытые навсегда.

Отворяю калитку, она на дворе у рукомойника, в своей толстой шерстяной безрукавке; увидев меня, улыбается. Идем, мглисто, тихо. Вьется путь золотой и крылатый. Церковь в цветах, белые лилии, гладиолусы, розы, хризантемы. Какие мы с тобой непростые, непутевые, все-то у нас трудно и сложно, совсем запугались. А здесь чистые молитвы, и бремя легко. И опять летим, разрывая сердце. За окном вагона закат, пурпурные столбы на горизонте. Говорит, такой закат – к ветру. Вот и проверим завтра. В городе дождь, фонари, мрачно. Еле дотащились с двумя тележками. Возврат в точку. Сплю. Бескрайнее поле знаков-знаков, колеблемое золотыми волнами спелой ржи, их колышет дыхание Бога. И каждый колос полон спелых значений. Наводнение в Приморье. Купили зеленый коврик, в прихожую, положить у порога. Идем обратно, а солнце-то уже зашло, и стало темно и холодно. А час назад, когда сюда шли по Стачек, какой роскошный закатище пылал-сверкал, какое сияние! На прощанье! Ничего, ничего, не будем грустить. Завтра вернется, всё вернется. В божьем мире нет атома, в котором бы не играла радуга и не пел петух, возвещая утро. Разговариваю сам с собой, а кто-то подслушивает, тысячеглазый и тысячеухий. Прячусь от ветра у вокзальной стены, солнце слепит, струна внутри дрожит и сотрясается, отзываясь на какие-то неслышные голоса. Весь я – эта струна, вся моя жизнь – в ней. Мозг состоит на 80% из воды, это в нас Вода мыслит. Тот, Кто создал мрак покровом Своим. Буквы бессмертны. Можно сжечь свиток, но буквы неуничтожимы, они поют на устах Набу, бога писцов. Письмо – это рассеивание букв, из них прорастут новые песни и новые гимны. Снится черная вода, кто-то в халате, с левой полы капает кровь. Дует другому через бараний рог из рта в рот, целитель. Одноглазый сильнее двуглазого. Проглотишь глаз – воскреснешь. И они также пойдут туда, где им написаны дни и времена. Я, Енох, писец Бога, за посмертным столом, передо мной Книга жизни и смерти, прошлого и будущего. Я должен быть здесь, за столом, в полном уединении, только при Боге и слушать Его голос. Пишу в этой Книге то, что мне диктует Бог. Узоры письма возникают на границе двух миров, этого и того, потустороннего. Наша галактика сближается с галактикой Андромеды. Через 4 миллиарда лет мы столкнемся. Тогда ночное небо будет представлять фантастическое зрелище. Приснилось, что я упал в гигантский водопад, низвергающийся с высоких скал. И – чудо! Остался цел! Знаю, висел я в ветвях на ветру девять долгих ночей. Руны найдешь и постигнешь знаки. Явились 18 рун, как только схватил их, умер. Проснулся, пятница, ураганный ветер. Сел за стол. Страшно писать! В каждом слове столько горя и боли, накопленных в мире, что бьет током, как будто попал под провод скорбного и грозного напряжения. Как только я прикасаюсь острием пера к бумаге и начинаю выводить первое слово, так во мне уже

кричат все слова со всего мира, всех времен и народов, всех живущих и когда либо живших, зывают ко мне, стена и рыдая. Они разрывают мне сердце. Невозможно, невозможно сегодня писать!

Клювик уже пробует прочность скорлупы. Скоро вылупится, ураганно, огонь и жупел и дух бурен. Духом бурным сокрушиши корабли фарсийския. Мать-молния держит над головою два зеркала, освещает молнией сердца людей, рождает отмеченных вещим даром. И это она же, мать умерших, ведет их на суд, в зал взвешивания сердца. Соль морей и пыль дорог у нас за плечами. Одетый в Имя щелкает меня по носу, и я, просыпаясь, опять забываю все, что знал. Да, забываю всё, что знал. Собрав с миру по нитке, я опять с пустыми руками, опять ни с чем. Понедельник, едем, оса, Эпиктет, осеннее, желтый центр наших унылых мыслей. Железный запад. Кто-то разматывает два клубка ниток, белый и черный, справа и слева от нас, день и ночь. Мозг – это орган, которым мы думаем, что мы думаем. Барс, пропавший без вести в мексиканских лесах. Тускло, постригся, пошли платить за квартиру. В Орле поставлен памятник Ивану Грозному. Пятница. Умер Алексеев, инсульт. В рай ведет мост Сират, тонкий, как волос, острый, как меч. В сторону он отошел и сел на песок, перед морем, весь красотою светясь. И в Аркадии я, Пуссен. Население Земли – 7,2 миллиарда. Похороны Алексеева, Северное кладбище. Ждем автобуса, замерзли. Смотрим – высоко-высоко в небе летят журавли, два клина, один за другим, их удаляющиеся голоса: «Прощайте, прощайте!». Напротив нас, через дорогу – дуб, еще не опавший, сияющий, еще держит все свои золотые листья. Темная энергия космоса, ничего мы о ней не знаем. У речи четыре степени, они от Брахмана, который мудр и познал их: три степени – тайные и неподвижные, а четвертая – это человеческая речь. Тот, кто искренен в каждом слове, будучи тем, что есть. Эти звуки ускользают от произнесения и начертания, их можно услышать только в глубочайшей тишине души, в молчании. Вечер, сумрачно, дождь, снег, безлюдная улица, лохмотья листьев. Три кошки греются на канализационном люке. Узнаю тебя, Сатурн, глагол времен, пожирающий своих детей. У Слова широкий зев, все поместимся. Франц Кюсс, «Амурские волны», в подземном переходе, слепой трубач. Калека у метро, на обрубке ноги прикреплено зеркало, в нем он видит всё, что происходит на свете, все скрытое и тайное. В Иерусалиме археологи вскрыли гробницу Христа; найден папирусный свиток, датируется временем первого храма. Сенсация. Свиток выглядит, как комок черной грязи. Проснулся посреди ночи, боль в виске, задыхаюсь, не хватает воздуха. В темноте мерцает стол, лунный кварц, суровый повелитель, призывает к жертвоприношению. Сажусь, начинаю писать на каких-то призрачных листах из тусклых мерцаний. Всё, что я пишу, тут же стирается и исчезает. И я понимаю: всё, что я пишу – это только попытки восстановить целостность, свою и мира. Воссоздать целостность. А она не воссоздается, она опять и опять распадается у меня под пером. Но я не оставляю своих попыток. Я упорен. Мое упорство сокрушит все преграды. Погибну за этим столом, но не оставлю поле сражения. Нет, не оставлю!

Понедельник. Пошли искать поликлинику на Стачек, дом №142. Метель в лицо. Сюда поплыла Лейли, семь струн у нее в руках, морской конь везет ее, и чистая струя подымается, как знамя. К Элизе, нотная запись, обнаруженная через 40 лет после смерти. Ибо вселенная эта простирается до пределов, до которых простираются слово и образ. Имя и Форма, две великих силы Брахмы. Тот, кто знает эти две силы, сам становится великой силой. Климат, наклон, Гипарх. Метет третий день. Что за звуки!.. аль бесенок в люльке охает, больной. Бес скуки мучит душу. Сегодня ночью гигантолуние, поминание предков. Не пригласить предков за стол – наихудший проступок перед духом. Сядем за этим столом, а стол наш – вся земля, и споем в едином хоре, все живые и мертвые, древнюю песню, сочиненную ветром в поле и волной в море. На этой лютне играют только один раз в жизни. Генрих Восьмой, зеленые рукава. Узнай же себя, испытай себя крепко! Заратустра, не говори, а пой! Умер Фидель Кастро, 90 лет. Вечер, фонари, запорошенные листья на земле, шелест сыплющегося снега. Лицо Олега Когана, бледное, трагическое, с опущенными веками, со скрипкой в безвольно повисшей усталой руке. На дереве Фусан десять золотых воронов, десять солнц. Посланный с небес стрелок И поражает из лука девять лишних солнц-воронов. Среда, снегопад. Просит сопровождать ее, иначе ей одной будет не справиться со своими страхами. С Невского на Малую Конюшенную. Пока шли, и стемнело; мрак, фонари, снег опускается, опускается, как занавес, мягкий, пушистый. Четверг. Ушла на концерт, пусть развееся, а я один побуду. Костер из соломы на льду пруда, танец с алыми гиацинтами. Стою, смотрю на это зрелище в сумраке зимнего вечера. Только бы в эту ночь не мучиться, не думать о безвозвратном и спать спокойно. Мозг в спокойном состоянии голубой, во взволнованном – красный, как кусок раскаленного железа. Кристалл человека, октагон, меркаба, служитель священного воображения. Просветление во облацах. Красота в деснице твоей, Гермес. Тибет брезжит, свод из цветного стекла, белый луч вечности. «Книга о развязывании узлов». Что ж, пора нам, времечко-семечко, развязать эти узлы. Вижу перед собой образ другого себя. Этот другой стоит на последней, седьмой ступени; он смотрит на меня с высоты лестницы грустным взором. Он прощается. Он говорит: книга написана. Книга для всех и ни для кого. Твоя и моя, наша с тобой книга. Поворачивается спиной и уходит в нее, в книгу, в ее призрачную, мгlistую даль, и там исчезает.

IV. ЛИКИ. ЛИЦА. ЛИЧИНЫ
(литературная и философская критика)

Геннадий Муриков

**Великая февральская масонская
революция**



**Нина Берберова и
русское масонство**

*(К 115-летию со дня рождения
Н. Берберовой)*



Статьи о поэтах нашего времени

Виктор Ширали и эротика.

СЧЁТЧИК ВКЛЮЧЁН

(О книге С.В. Кистерского «Небесный счётчик», СПб, 2016)

Нина Берберова и русское масонство

(К 115-летию со дня рождения Н. Берберовой)

Современный читатель знает Н. Берберову как талантливую поэтессу, романистку, автора замечательных мемуаров – «Курсив мой», «Железная женщина», – исторических исследований о композиторах Чайковском и Бородине, но, на наш взгляд, самым ценным в её творчестве стала её последняя книга – исследование о роли масонов в русской революции «Люди и ложи. Русские масоны XX столетия». Первое зарубежное издание – 1986 года (в то время автору было 85 лет). Единственное пока русское издание состоялось в 1990 г.

Ни в этой книге, ни в различных своих статьях Н. Берберова не упоминает о своей причастности к масонству. Между тем и она, и её муж В. Ходасевич, по-видимому, были масонами весьма высокого градуса, о чём имеются некоторые сведения в публикациях некоторых исследователей масонства. Однако её эрудиция может быть объяснена и тем, что она, будучи современницей тех событий, лично хорошо знала многих масонов той поры. Над этой книгой, которая стала итогом её творчества, Н. Берберова работала несколько десятков лет. Наша цель сопоставить опыт и размышления Н. Берберовой о роли масонов в русской революции с тем, что известно об этом на сегодняшний день из современных источников.

В самом начале книги Н. Берберова пишет: «Мой интерес к русскому масонству начался в тот день, когда началось моё личное знакомство с русскими масонами, не потому что это были исключительные люди, а потому что они были люди исключительного времени и играли в нём исключительную роль» (с. 5).

Далее автор пишет, что она познакомилась с масонами уже в эмиграции в 20-х годах XX века, но серьёзно заинтересовалась этим вопросом позже – в 30-х – 40-х гг. Ключевым моментом стало её знакомство с русским масонским архивом, который был вывезен из Парижа накануне его оккупации немцами и сохранился до настоящего времени. Ей удалось ознакомиться с этим архивом в начале 1960-х годов. Она составила картотеку о шестистах масонах, участвовавших непосредственно в подготовке февральской революции, и с 1983 года начала работать над книгой «Люди и ложи».

Выводы автора впечатляют: «Масонство нашего столетия (т.е. XX-го – Г.М.) объединяло великих князей Романовых и социал-демократов, генералов царской Ставки и членов Государственной Думы “прогрессивного блока”, людей, известных в своё время всей России, и людей, чьи имена и отчества которых (но не фамилии) остались никому неизвестными...» (с. 10-11).

Обратим внимание, что этот вывод полностью соответствует приведённому в примечаниях письму известной масонки Е. Д. Кусковой эмигранту, исследователю масонства Н. В. Вольскому (псевдоним Н. Валентинов). Вот что пишет Кускова в ответ на его запрос:

«... 3. Цель масонства – политическая, работать в подполье на освобождение России.

4. Почему выбрана была такая? Чтобы захватить высшие и даже придворные круги... Князьёв и графьёв было *много*. Вели они себя изумительно: на Конгрессах некоторых из них я видела. Были и военные – высокого ранга.

Движение это было *огромно*. Везде были “свои люди”. (...)

До сих пор тайна *огромна*. К Февральской революции ложами была покрыта вся Россия» (с. 274).

Берберова считает, что «возрождение масонства в России было вызвано тремя важными событиями: поражением Росси в японской войне, революцией 1905 г. (и открытием русского парламента) и буйным ростом интеллигенции (с. 17).

Это отчасти так, но не совсем. Основатель русского масонства в XX веке М. М. Ковалевский, долго живший во Франции, по заданию Великого Востока вернулся в 1906 году в Россию для организации и распространения масонских лож. Но следует сказать, что он же, ещё в 1901 году открыл в Париже так называемую «Русскую школу общественных наук». По некоторым сведениям в ней учились некие будущие большевики. «Ковалевский принадлежал к французскому масонству. К 1906 г. 15 русских были при его содействии введены во французское Послушание Великого Востока. Среди них: В. В. Маклаков, Вас. Ив. Немирович-Данченко, А. В. Амфитеатров, В. О. Ключевский, изобретатель П. Н. Яблочков, кн. С. Д. Урусов» и др. (с.22).

Обратим внимание на то, что главный организатор масонского движения в России был родственником знаменитой русской женщины – математика Софьи Ковалевской. По воспоминаниям Ф. Ф. Раскольников¹, будущего видного российского революционера большевистской ориентации М. М. Ковалевский преподавал в Политехническом институте, где тот учился, курс экономической и политической истории современной эпохи. Нас интересует вот что: Ковалевский в одной из лекций сказал, что некоторые идеи ему внушил лично Карл Маркс. Раскольников-Ильин был очень удивлён, когда узнал, что Карл Маркс, которого он причислял к некоему сонму богов, оказался вполне реальным человеком, с которым беседовал его учитель. Но знал ли будущий красный командир, что М. М. Ковалевский – агент международного масонства, нам неизвестно. Во всех сочинениях большевиков, кроме Троцкого, слова масоны и масонство никогда не употребляются, хотя вся символика, начиная с серпа и молотка никогда не упоминается

¹ «Фёдор Раскольников о времени и о себе. Воспоминания, письма, документы». Лениздат, Л., 1989, 576 с.

Как пишет Н. Берберова, не то, что при советской власти, но и на Западе разговоры о масонах казались своеобразной литературно-художественной игрой. Впервые о роли масонов в революции заговорили только в начале 1960-х годов. Преследование масонов при Гитлере вроде бы даже укрепило их репутацию в первое послевоенное время.

Характерна судьба одного из деятелей Русского Зарубежья И. И. Фондаминского (Бунакова). Он был членом партии эсеров и её боевой организации, а также комиссаром Черноморского флота во время гражданской войны. В эмиграции он стал одним из редакторов журнала «Современные записки», в котором печатались почти все русские эмигранты. Во время немецкой оккупации Франции он был арестован *как масон* особой антимасонской службой гестапо, но после проверки был выпущен. Однако через некоторое время его снова арестовали *уже как еврея*, и он погиб в одном из концлагерей.

Развитие масонства в России в начале XX века происходило так: руководство Великого Востока Франции после революции 1905 года предложило М. М. Ковалевскому вернуться в Россию, что он и сделал в 1906 году. На родине он был избран депутатом в Первую Госдуму и начал организовывать различные масонские ложи. Были образованы такие ложи: «Северная Звезда», «Возрождение», «Феникс», «Космос», «Железное Кольцо» и особенно «Военная ложа» (членами которой были А. И. Гучков и генерал Василий Гурко), а также ложа «Малая Медведица», которую возглавлял Керенский. Масоны наполняли Государственную Думу второго и третьего созыва. А в 1912 году был создан «Верховный Совет Народов России». Его генеральным секретарём был избран Керенский.

Эта терминология современному читателю ясна: вот откуда взялись при советской власти Верховные Советы и генеральные секретари. Однако у современного постсоветского исследователя масонства В. И. Старцева эта организация названа «Великий Восток Народов России». Кто из этих авторов более прав, мы не решаемся сказать, однако дальнейший ход событий показал, что дело не в названиях, а в их сути.

Уже в 1916 году «Верховный Совет Народов России» поручил всем Досточтимым Мастерам русских лож на территории Российской Империи составить список будущего правительства» (с. 31).

Обратим внимание на то, что «действовало правило: никогда *публично* не спорить о политике. Было запрещено говорить о коллективизации “и в результате, в конце 1930-х гг. московские процессы остались для масонов не освещёнными”» (с. 80). Иными словами, Н. Берберова как бы признаёт, что между большевиками и масонами была некая связь.

Есть тайные связи, а может, просто художественные: знаменитое в своё время издательство «Сирин» финансировал известный масон Терещенко, впоследствии – член Временного правительства. В этом издательстве вышла в

свет пьеса А. Блока «Роза и крест». Сам Блок, может быть, и не понимал сущность масонской идеологии этой пьесы, но...

Некоторые собрания масонов происходили на квартире Горького в Петербурге. Интересно отметить, что лучшей подругой первой жены Горького Е. П. Пешковой была именно Е. Д. Кускова, письмо которой процитировано выше.

Часто говорят, что масоны Гучков и генерал Алексеев в своих действиях руководствовались масонскими указаниями, что привело к разрушению Российской империи. Уточним этот факт. В 1918 году Гучков и Алексеев отошли от масонства по внутренней нерасположенности к этой организации. А внутри неё были подвергнуты «радиации». «При окончательной радиации даже имя бывшего “брата” оказывалось под запретом и никогда больше не упоминалось. Братьям давалось право клясться именем Великого Геометра, что такой-то не состоит и *никогда не состоял* в членах тайного общества» (с. 46). /Любой читатель вспомнит роман Дж. Оруэлла «1984», где то же самое, а особенно, кто такой Старший Брат – масонское братство./

Н. Берберова подробно описывает деятельность русских лож в эмиграции за границей. Сразу же открылись ложи «Космос», «Северная Звезда», «Три Глобуса», «Аврора», «Астрея» и т.д.

Дело в том, что окончание Первой мировой войны состоялось в соответствии с масонскими представлениями. Мы не знаем о точных результатах масонского Версальского договора, но так называемая Парижская мирная конференция 1919 года в основном состояла из масонов. От России были приглашены три депутата: князь Львов, Сазонов и Н. В. Чайковский. Но самое интересное, что их не допустили на собрание, потому что российское масонство считалось выпавшим и даже «усыпленным».

Из первого состава Временного правительства (11 человек) – десять были масонами, а один – П. Милюков не был, хотя Милюков по некоторым сведениям был масоном каких-то тайных французских лож. На это указывают масонские документы. Сам факт того, что Милюков никогда не был масоном, может вызвать удивление, но, тем не менее, это правда, и суть её состоит в том, что Милюков, будучи убежденным позитивистом, внутренне был чужд тайным организациям, основанным на мистических представлениях. В последнем составе Временного правительства масонами были все, кроме А. В. Каргашёва. Самое интересное, что на заседаниях масонского Конгресса в годы Первой мировой войны обсуждался мировой порядок после войны, в том числе и судьба России. Никакого участия России в послевоенном будущем не предполагалось. Мы ставим перед собой вопрос, до какой степени большевистское, якобы не масонское правительство адекватно исполняло утверждённые международным масонским правительством задачи. Пока ответ в существующей масонской литературе нам неизвестен.

Участовавшие в заговоре, приведшем к Февральской революции А. Гучков и генерал М. В. Алексеев отошли от масонства и были подвергнуты в 1918 году так называемой радиации.

Масонство широко было распространено в среде творческой интеллигенции начала века, хотя и воспринималось несколько пародийно. Например, Берберова не без основания пишет, что так называемое шутовское общество, организованное А. Ремизовым под названием «Обезвельволпал», то есть «Обезьянья великая и вольная палата» была пародией на масонские порядки присуждения тех или иных должностей, титулов, грамот и т.д. Нельзя забывать и то, что издательство «Сирин» финансировалось масоном Терещенко, впоследствии членом Временного правительства. Любопытен и такой факт, что «на IV Конгрессе Коминтерна в 1922 году было в всеуслышание объявлено, что большинство французской радикал-социалистической партии принадлежит к ложам Великого Востока» (стр. 80). В неё же входил и основатель французской компартии Марсель Кошен.

Н. Берберова, касаясь вопросов культуры, приводит и такие сведения. Знаменитый художник и скульптор Микель Анджело Буонаротти, будучи масоном, в скульптуре Давид в одном из вариантов) изваял его с масонским жестом с прижатой к плечу рукой (с. 118). Но, что самое интересное, – этот жест повторил советский вождь Н. И. Бухарин, приветствуя аудиторию на одном из коммунистических собраний в Праге в 1936 г. (с. 141). Берберова не сомневается, что перед войной во Франции «на 90 процентов правили масоны» (с. 99).

И ещё один интересный факт, который, возможно, разъяснит давно поставленный вопрос, почему пленные русские солдаты и офицеры были выданы англо-американскими властями Сталину на расправу. Суть в том, что французские масоны «прочно стояли на позиции насильственного выдворения пленных русских на родину, как и других, вывезенных немцами из России, а также тех, кто ушёл с родины вместе с отступающей немецкой армией» (с. 112).

Известная масонка Е. Д. Кускова «с читала, что необходимо отправить их («перемещённых лиц» – *Г.М.*), хотя бы и насильно, обратно, т. к. Сталин их, конечно, простит» (с. 269).

Казалось бы, какое отношение имеет заявление французских масонов к деятельности англо-американских союзников СССР? Оказывается, имело. Мне представляется, что решение Ялтинской конференции по этому вопросу не обошлось без масонского влияния. Ещё один исторический факт: «28 ноября 1940 года /в уже захваченном Париже – *Г.М.*/ Альфред Розенберг произнёс в Париже речь и дал исторический очерк масонства, его роли в революции 1889 года и преступлений, которые были совершены в результате его действий, в частности и войны 1914 – 1918 гг.» (с.121).

Обратим внимание на то, что жена Лаврентия Берии Нина Грегечкори была двоюродной племянницей Евгения Грегечкори, видного масона и члена так называемого Верховного Совета русских масонских лож. Характерен сам термин «Верховный Совет» – 70 лет советской власти он был высшим государственным органом в СССР.

Н. Берберова приводит ряд цитат из воспоминаний бывших масонов. Вот

что пишет князь Д. О. Бебутов (1859-1916 гг.). «Масоны были в России давно, но они всегда преследовались, т. к. правительство всегда боялось упускать из своих рук власть. Александр I был сам масон, и сам же, в конце концов, испугался их, и предал их. Страх правительства настолько был велик, что при Николае I в присягу была введена фраза не принадлежать к масонам. Все декабристы были масоны» (с.239). Важно отметить, что в своё время «Бебутов вёл переговоры с Плехановым» (с. 255), так что большевистские и масонские ветви растут из одного корня.

Есть подозрение, что так называемое «евразийство» имеет те же масонские корни. Обратим внимание на то, что дочь Гучкова Вера вышла замуж за лидера евразийцев П. П. Сувчинского, а также была членом французской коммунистической партии.

Ещё любопытны такие факты. У видного члена французской ложи «Астрея» Д. С. Навашина почему-то «хранились международные фонды троцкистов» (с. 267). Его друзьями были неизвестные советские функционеры Пятаков, Сокольников и Серебряков. Всех их расстреляли в 1937 году по процессу троцкистско-зиновьевского антипартийного блока. Сам Навашин был убит неизвестным террористом в этом же году.

Известный писатель Гайто Газданов, автор романа «Вечер у Клэр», начав свою эмигрантскую жизнь парижским таксистом, во второй половине ее работал на радиостанции «Свобода». «Брат Газданов, вышедший недавно в Тайные (3^о) Мастера, пишет Маклакову, что никто вокруг него не знает, о чём писать, чтобы получить следующую степень» (с. 320).

Это написано уже после войны. Нас удивляет, что «брат» Газданов, ставший вскоре сотрудником радио «Свобода», толком не понимает, о чём ему надо писать, чтобы подняться в более высокий градус, а современный исследователь творчества Газданова С. Кибальник заранее знает, что «брат» Газданов – великий и непревзойдённый писатель.

Но самое интересное с точки зрения истоков февральской революции – это суждения Н. Н. Берберовой о деятельности А. Ф. Керенского.

«Первый касается цитаты, приведённой Керенским из книги воспоминаний французского агента Ф. Гренара, друга английского агента Роберта Б. Локкарта, «La Revolution gusse»: Гренар оставался в России до последней минуты – т. е. до начала октября 1918 г., когда его, со всеми союзными дипломатами, какие еще оставались в Москве, выслали через Торнео в Европу.

Вот эта цитата:

«Союзники России были ослеплены своим желанием держать Россию в состоянии войны, не заботясь о том, сколько это будет ей стоить. Они были неспособны судить, что было возможно, что было невозможно в это время. Они только помогали Ленину в его игре с целью изолировать главу правительства от народа все больше и больше. Они не могли понять, что насильно

удерживая Россию в войне, они тем самым обязаны принять и последствия этого: внутреннее недовольство в стране, отсутствие стабильности в этот переходный период. Настаивая без передышки на своих требованиях, почти приказах, обращенных к Керенскому, о том, чтобы страна вернулась на нормальный путь, они не принимали во внимание обстоятельства, в которых ему приходилось работать, и фактически локкокарт еще усиливали тот хаос, с которым ему приходилось бороться. Брюс Локкарт, работавший во время войны в Английском консульстве в Москве, был такого же мнения о политической роли союзников, которую они играли в России в то время».

Этого абзаца в книге Гренара «La Revolution russe» нет, и имени Локкарта – тоже нет. Откуда Керенский взял этот абзац, из чьей книги – неизвестно. В книге Керенского она напечатана на стр. 385-386. Перевод мой».

«Иностранным дипломатам было известно о его масонстве, как, конечно, и царской агентуре. Уже упомянутый Локкарт знал, что Керенский с 1912 г. состоит в «Малой Медведице». Он писал в своих воспоминаниях:

«Он выжил бы только при одном условии: если бы французское и британское правительства летом – осенью 1917 г. дали ему возможность заключить сепаратный мир...»

Чтобы скрыть свою связь с масонами и сдержать клятву, данную Великому Востоку, Керенский говорил после 1918 г. в Лондоне, что он потому хотел продолжать войну, что якобы царский режим хотел сепаратного мира. Мельгунов считает, что царский режим этого никогда не хотел, но выдумка Керенского очень удобно помогла ему скрыть действительную причину желани продолжать войну во что бы то ни стало: связь с масонами Франции и Англии и масонская клятва». («Two Revolutions»). 1967, с. 88, 113).

Бывший секретарь царского посольства в Лондоне, К. Д. Набоков, несмотря на то, что оба они были масонами (разных Послушаний), относился к Керенскому крайне отрицательно:

«Еще в 1918 г., когда он приехал в Англию, он говорил, что у него мандат «Союза Возрождения России», и что Франция и Англия обещали ему поддержку». (К. Д. Набоков. «Испытания дипломата», с. 226).

Локкарт возражал ему:

«В 1917 г., когда лейбористы приезжали в Россию, Керенский говорил О'Грэдди, что у него, Керенского, есть документ, из которого ясно видно, что царь хотел заключить сепаратный мир 2/15 марта 1917 г. Керенский бережет этот документ, чтобы судить царя и реакционеров» («Two Revolutions»).

Но Набоков настаивает на своем:

«Керенский и Терещенко продолжали до конца лгать англичанам и французам» («Испытания дипломата», с. 152).

Любопытно сопоставить с этими двумя мнениями – третье: в первом «Письме из далека» Ленин из Швейцарии писал в марте 1917 года:

«...Войну ведет и германская и англо-французская буржуазия из-за грабежа чужих стран, из-за удушения малых народов, из-за финансового господства над миром, из-за раздела и передела колоний, из-за спасения гибнущего капиталистического строя путем одурачения и разъединения рабочих разных стран.

Весь ход событий февральско-мартовской революции показывает ясно, что английское и французское посольства с их агентами и «связями», давно делавшие самые отчаянные усилия, чтобы помешать «сепаратным» соглашениям и сепаратному миру Николая Второго (и будем надеяться и добиваться этого – последнего) с Вильгельмом II, непосредственно организовывали заговор вместе с октябристами и кадетами, вместе с частью генералитета и офицерского состава армии и петербургского гарнизона особенно для смещения Николая Романова ^[109] (Собр. соч., М., 1970, т. 31, с. 12-21).»

«Тер-Погосян – Керенскому. 22 декабря 1962» ^[124].

...Я показал Ваше письмо Я. Л. [Рубинштейну] и мы с ним дважды виделись и обсудили положение. Мы согласны с Вами, оно теперь представляется иным, чем три года тому назад.

Теперь покров прорван. Существование Организации ^[125] удостоверено Ек. Дм. [Кусковой], которую никто не заподозрит во лжи. Фактические данные имеются в руках лиц, правдивость которых не вызывает сомнений. Если некоторые из этих лиц пока молчат, то молчанию этому наступит конец, и если не при жизни, то в посмертных записках они поведают то, что им было известно. Все они знают мало. В сущности, и материала много меньше, чем того хотелось бы любителям сенсационных разоблачений. В Февральской революции Организация не играла руководящей роли. Если она облегчала сотрудничество некоторых членов Врем[енного] прав[ительства] и, в частности, Вам служила подсобным орудием в Вашей работе, то не она поставила Вас на то место, которое Вы заняли в 17 году, и не она определяла Ваши действия. Между тем: на узкой базе разглашенного заслуживающими доверия лицами, пользуясь именно тем, что эта база бедна и узка, безответственные писаки в угоду охочей до сенсаций публики будут сочинять всяческие небывлицы. Доброе имя О. от этого пострадает. Тем, кто добросовестно будет стараться выяснить эту главу истории обществ[енных] движений, разобраться во всем этом вранье будет нелегко.

В этом вся суть дела. Что касается личного выпада Г. А[ронсона] на стр. 120 его книжки, то он не заслуживает внимания, и просто неумен.

По нашему мнению – а Вы просите нас откровенно Вам его высказать, задача Ваша заключается единственно в том, чтобы Ваше свидетельское показание в будущем защитило доброе имя О. и повело о ней правду.

«Новое русское слово», 7 марта 1945 г. стр. 1-2.

МИТРОПОЛИТ ЕВЛОГИЙ И В. А. МАКЛАКОВ ПОСЕТИЛИ
СОВЕТСКОГО ПОСЛА БОГОМОЛОВА

(От парижского корреспондента «Нового русского слова» Я. Я. Кобецкого)

Русская политическая эмиграция в Париже в лице ее наиболее авторитетных представителей вступила на путь полного примирения с советской властью.

12 февраля советского посла Богомолова посетила делегация, во главе которой стоял представитель Эмигрантского комитета, В. А. Маклаков.

В делегацию, помимо В. А. Маклакова, входили следующие лица:

Председатель «Союза Советских Патриотов» проф. Д. М. Одинец, А. С. Альперин, А. А. Титов, М. М. Тер-Погосян, В. Е. Татаринев, Е. Ф. Роговский и А. Ф. Ступницкий. Одновременно, по другому приглашению самого полпреда прибыли на рю де Гренелль адмирал М. А. Кедров, заменяющий ген. Миллера на посту председателя Обще-Воинского союза, и адмирал Д. Н. Вердеревский^[130].

Делегация была принята послом Богомоловым и первым секретарем посольства А.А. Гузовским.

Со слов двух лиц, присутствовавших при свидании, передаем содержание речей, которыми обменялся В.А Маклаков с Богомоловым.

Речь В. А Маклакова

– Я испытываю чувства глубокого волнения и радости, что дожил до дня, когда я, бывший русский посол, могу здесь, в здании русского посольства, приветствовать представителя Родины и принять участие в ее борьбе с врагами-захватчиками.

Далее Маклаков подчеркнул, что за 27 лет существования эмиграции, существовали определенные предубеждения, создалась особая психология. Нужно время, чтобы исчезла несогласованность, чтобы сгладились все шероховатости и чтобы на основе любви к общей Родине вернулись взаимный контакт, понимание и доверие”.

Что пишет Берберова о своих встречах с А. Ф. Керенским? Керенский ей якобы сказал: «Союзники России были ослеплены своим желанием держать Россию в состоянии войны, не заботясь о том, сколько ей это будет стоить. Они были неспособны судить, что было возможно, что было невозможно в это время. Они только помогали Ленину в его игре с целью изолировать главу правительства от народа всё больше и больше. Они не могли понять, что, насильно удерживая Россию в войне, они тем самым обязаны принять и последствия этого: внутреннее недовольство в стране, отсутствие стабильности в этот переходный период» (с. 282-283). Нина Берберова отмечает, что этот текст, приведённый в воспоминаниях Керенского, отсутствует в других изданиях.

Теперь перейдём к комментариям и суждениям современных исследователей масонства, которые не могли быть известны Н. Берберовой.

В первую очередь надо подчеркнуть, что масонская тема и особенно влияние масонов на ход развития мировой политики в СССР была под строжайшим запретом. Почему это было так, оставляем догадываться нашим читателям. Но, например, в полном с/с В. И. Ленина, отредактированном ИМЛ КПСС, слово масон не упомянуто ни разу. Что, Ленин ничего не знал о масонах и даже не знал этого слова? Или его редакторы считали, что ни о каких связях большевизма и масонства не могло быть и речи?

Между тем на Западе уже с 1960-х годов масонская тайна стала

приоткрываться. Немалую роль в этом сыграла сама Н. Берберова. Стали более ясными масонские идеи в государственных символах США, принадлежность к масонским структурам практически всех президентов США, начиная с Ф. Д. Рузвельта, Трумэна, Джонсона и др.

Во время написания книги Н. Берберовой многие из этих фактов были неизвестны. Но в чём её заслуга? Она полагала, что «если она не напишет о сотнях и тысячах только ей известных фраз, намёков и других мелочей, об этом не напишет никто» (с. 388).

Мы догадываемся, насколько велика роль масонства в американской администрации и в экономике США. Но нам важно не это. В год столетнего юбилея февральской и октябрьской революции в России мы стремимся понять роль международной закулисы в этих событиях.

Дело в том, что к около масонским кругам были причастны многие деятели русской культуры. Характерно признание А. Блока («Дневник», 1911 год): «23 декабря. Я пробыл у Мережковских от 4 до 8, видел и Зинаиду Николаевну, и Мережковского, и Философова. Согласие во многих думках с Зинаидой Николаевной (она велела записать о сходстве дум об «общественной бюрократии» – М. Ковалевский и др.)» (стр. 93).

Из этой записи следует, что Мережковские не входили в круг масонов, но отчасти разделяли масонские устремления М. Ковалевского. Ещё важный факт: «В “Сирине” Разумник (Р. В. Иванов-Разумник – писатель – Г.М.) рассказал удивительную историю. В “Заветы” прислан еврей из Парижа и откровенно заявлял, что “Натансон” и еврейские банкиры не станут субсидировать “Заветы”, пока в редакции не будет хоть один еврей и пока еврейские интересы не будут представлены надлежащим образом; пусть погибнут “Заветы”, говорил он, мы сделаем толстый журнал из “Северных записок”. Таковы кулисы русской журналистики, я думаю, что всей. “Страшновато”, – говорит А.М. Ремизов» (стр. 193).

«Национализм, даже кадетизм мне по крови» (стр. 230).

Обратим внимание на то, что Блок в «Дневниках» уже в последний год жизни с удовольствием цитирует статью венгерца Холличера, коммуниста, сотрудника немецких и американских газет: «Из всего этого (т. е. из ваших слов) я вижу, что нужно 2-3 поколения (чтобы сменились)...». «Коммунизм не политическая экономия только, это – метафизика и мистика.» (стр. 314).

В конце жизни Блок помирился с Чулковым (их ссора была, когда Г. И. Чулков неожиданно для себя стал любовником Л. Д. Блок, о чем я писал в одной из предыдущих статей). Блок пишет с воодушевлением: «Чулков негодовал на Горького по поводу его презрения к русским и обожания евреев» (стр. 340). В последние годы Чулков был постоянным другом Блока.

Материалы к статье

Современные, то есть постсоветские, исследователи масонства настроены к книге Н. Берберовой скорее отрицательно. Первым теме масонства, не считая Н. Яковлева с его романом «1 Августа 1914 года», был В. И. Старцев. Обратимся к его книге – она переиздавалась под разными названиями – «Тайны русских масонов», СПб, 2004. Автор первым из отечественных «масоноведов» ознакомился с архивами Гувверского Архива по масонству в США. Его концепция состоит в том, что масоны играли важную роль в подготовке русской революции. Ограничимся некоторыми цитатами, хотя они и приведены им «из вторых рук». Вот что пишет князь Д. И. Бебутов: «Если бы мы имели людей, тесно с нами связанных, в разных учреждениях, мы могли бы быть лучше осведомлены, мы во время знали бы, что готовят господа Столыпины, Рачковские и им подобные, мы могли бы многое предупредить, многое, может быть, изменить или смягчить» (стр. 172 со ссылкой на Б. Н. Николаевского). Здесь речь идёт о роли масонов в первой русской революции. Тогда она, по мнению Бебутова, была ещё незначительной, но, конечно, речь шла о влиянии масонства на высшие правительственные круги.

В. Старцев считает, что в политическом масонстве начала XX века было как бы два направления: более умеренное, связанное с именем Бебутова, и радикальное, стремившееся к уничтожению русского государства, связанное с именем Н. В. Некрасова.

В 1912 году русские масоны решили выйти из подчинения Великому Востоку Франции и образовать свою собственную независимую организацию. Особенно резкий спор разгорелся на первом конвенте масонов в 1912 году. Вот что вспоминает участник этого конвента А. Я. Гальперн (цитата из его интервью с Б. Николаевским): «Подавляющее большинство конвента стояло за название “Великий Восток России”. Грушевский же требовал, чтобы в названии ни в коем случае не было слова “Россия”. Он занимал в этом вопросе совершенно непримиримую позицию, отрицая вообще за Россией как государственной единицей право на целостное существование» (стр. 88).

Обо всём этом я писал в своих статьях по русскому и украинскому вопросу несколько лет назад, правда, ссылаясь на другие источники, но масонская ориентация современного украинского правительства, о которой теперь помалкивают, тем самым становится ещё яснее. Нельзя забывать, что первые лидеры украинского государства П. П. Скоропадский и С. В. Петлюра тоже были масонами.

Интересно суждение автора о деятельности известного масона – большевика И. И. Скворцова-Степанова. Он считает, что его принял в масонскую ложу в Москве ещё до войны (по свидетельству Н. Б. Николаевского) известный масон С. Д. Урусов, а его роль состояла в том, чтобы осуществлять посредническую связь между капиталистами-масонами и большевиками для финансирования их деятельности за границей (стр. 121).

И вот, пожалуй, самый интересный момент о подготовке и организации Февральской революции (автор ссылается на Гувверовский Архив по масонству).

«По словам Н. Д. Соколова во время встречи с А. М. Крымовым в Кишинёве уже после Февральской революции Крымов сказал ему, что 9 февраля 1917 г. он участвовал в заседании в кабинете Председателя IV Государственной думы Н. В. Родзянко, на которое были приглашены лидеры Думы и генерал Рузский. Решено было, что откладывать переворот больше нельзя, что в апреле 1917 года, во время очередной поездки Николая II в Ставку в Могилёв во время проезда через расположение армий Северного фронта, которыми командовал Н. В. Рузский, царя задержат и заставят отречься от престола» (стр. 35).

Так и произошло с той лишь разницей, что Николай выехал на фронт на полтора месяца раньше. А волнения из-за недостатка хлеба в Петрограде заставили думцев действовать оперативнее.

А при формировании Временного правительства, как утверждает откровенный мемуарист А. Я. Гальперн, хотя и не без доли кокетства: «Известное влияние мы оказывали, и это чувствовали наши противники, почему тогда приводили слова Милнокова, который заявил, что “над правительством начинает тяготеть какая-то тайная сила”» (стр. 134).

Вот так и совершилась великая Февральская масонская революция.

Обратимся к творчеству самого известного современного (из ныне живущих) историка масонства А. И. Серкова, автора книги «История русского масонства XX века» (т. 1, СПб, 2009 г.).

В отличие от Д. Старикова А. Серков не работал в американских архивах и потому его почти что детские нападки на своего научного конкурента выглядят мало убедительными.

«Сведения о работе лож Свободная Россия и Юпитер содержатся в крайне субъективных воспоминаниях Р. Б. Гуля. Вступив в масонство ради “нужных” связей в среде французов, уйдя из лож, недовольных отсутствием в них антисоветской борьбы, Р. Б. Гуль не приобрёл в русских мастерских одного из главных качеств вольного каменщика – терпимости к чужому мнению. (...) Р. Б. Гуль умышленно, с целью оправдать свои поступки, преувеличил влияние просоветских настроений в русском Париже. (...) Впоследствии точку зрения Р. Б. Гуля о доминантном положении в русских ложах “советских патриотов” активно поддерживала Н. Н. Берберова» (с. 27-28).

Глядя их XXI века, я думаю, насколько отчасти были наивными эти рассуждения масонов и тогдашних политиков между собой. Известнейший французский славист Ренэ Герра прямо сказал, что советская власть, по крайней мере в 70-х – 80-х годах прошлого века, активно препятствовали его исследованиям в этой области. Как говорится, вопрос поставлен, ждём ответа.

Квази интересно суждение историка А. Серкова о творчестве С. П. Мельгунова: «...профессиональный историк и талантливый публицист, он заявил, основываясь исключительно на слухах, что накануне 1917 г. в России существовал масонский заговор. (...) Февральская революция /была/ реализацией этого заговора» (с. 37).

Дальше автор ссылается на статью Г. Аронсона «Масоны в русской политике» (1959 г.), где поставлен вопрос о связи масонов и большевиков (с.55).

Но больше всего удивляет в этом исследовании то, что именно Н. Н. Берберову, впервые поднявшему вопрос о роли масонства в русской революции, автор обвиняет во всех смертных грехах. Особенной злобой, непонятно почему, отличается отношение В. Серкова к исследователям этого же вопроса:

«Подход рецензентов (Р.Б. Гуля, Т.А. Осоргиной, Евг. Бешенковского, Л. Б. Хасса и др.) к сочинениям Н. Н. Берберовой представляется поэтому неверным: нельзя говорить об ошибках и искажениях в книге, которая из них только и состоит» (с. 57).

Тот же самый автор якобы поясняет концепцию Н. Берберовой так: «До революции масоны делали всё для продолжения войны, тем самым, играли на руку большевикам, в эмиграции – способствовали “признанию” советской власти» (с. 56). Автор считает, что такая позиция была далеко не у всех ‘масонов, и в чём-то он прав. Дело в том, что задачей масонов в промежутке между февралём и октябрём было сплотить силы оппозиции, не допустить их дробления. Как это происходит, например, в настоящее время. После сталинских репрессий масонство в России ослабло, и поэтому крошечные партии разного рода оппозиционеров никак не могут объединиться...

Ещё в XIX веке «Женевская секция Первого Интернационала пользовалась помещением местного масонского храма Temple Unique» (с. 78). Там же заседала и русская секция Первого Интернационала во главе с Г.В. Плехановым.

«Во французских научных изданиях высказывалось предположение, что масоном Великого Востока Франции был и небезызвестный В. И. Ульянов (Ленин). Дело в том, что один из друзей “вождя революции”, анархист и шансонье Гастон Мордахей (Монтэгю 1872 – 1952) был членом ложи L' Union de Delleville в Париже» (с. 173 – 174).

Конечно, Гастон Монтегю, о котором Ленин не раз высказывался с одобрением, не мог быть врагом социалистического и коммунистического движения.

Вот что ещё важно в вопросе о связи большевизма и масонства: «Нельзя не упомянуть о том, что видные меньшевики, например А. Н. Потресов, были членами масонских лож. Именно А. Н. Потресов с апреля 1900 г. заключил с В. И. Ульяновым (Лениным) соглашение с целью издания общепартийной газеты» (с. 174).

Нам остаётся только гадать, кто из тогдашних денежных мешков – нашему олигархов – стоял за этой сделкой. Кое-что отчасти нам раскрывает автор этой книги. Например, он свидетельствует, что масон и банкир М. Ф. Шпенцер был двоюродным братом Л. Д. Троцкого и отцом советской поэтессы Веры Инбер (с. 186).

Все специфические советские термины – верховный совет, генеральный

секретарь – появились в масонских кругах ещё до февральской революции, а позже были полностью укоренены.

Вот что писал об одном из лидеров масонства периода Временного правительства Н. В. Некрасове генерал А. И. Деникин: «...наиболее тёмная и роковая фигура среди правивших кругов, оставлявшая яркую печать злобного разрушения на всём, к чему он ни прикасался» («Очерки русской смуты», с. 199).

Дальше излагается свидетельство меньшевика Н. С. Чхеидзе: «И в ложах, и в Верховном Совете встал вопрос о политическом перевороте. Ставился он очень осторожно, не сразу. – Переворот мыслился руководящими кругами в форме переворота вверху, в форме дворцового переворота» (с. 207).

И дальше: «Планировалось захватить царский поезд и заставить государя отказаться от престола в пользу сына. В сентябре 1916 года прошла тайная встреча лидеров Прогрессивного блока, на которой также было решено заставить Николая II отречься от престола в пользу сына» (с. 208).

Обратимся к книге С. Брачёва «Русское масонство XX века» (СПб, 2000). Этот историк, с которым я был знаком лично, ясно говорит о том, что русские масоны вели себя крайне осторожно. Вот, например, что пишет А. Ф. Керенский в своих мемуарах: «Не вели никаких письменных отчётов, не составляли списков членов ложи. Такое поддержание секретности не приводило к утечке информации о целях и структуре общества» (идёт ссылка по тексту стр. 6).

Нас интересует, прежде всего, полемика между С. Брачёвым и А.И. Серковым. Последний, судя по всему, более широко владеет масонской литературой, в частности ему (единственному из наших исследователей!) были открыты масонские архивы в Париже.

Цель наших рассуждений состоит в том, чтобы пояснить непредвзятому читателю ценность книги Нины Берберовой «Люди и ложи». Эта книга интересна не только тем, что она была почти первой в теме исследования послевоенного масонства, но в её основной тенденции: «Особое недовольство, причём не только у Т. А. Осоргиной, вызвала концепция Н. Н. Берберовой, которая сводится, по словам А. И. Серкова к следующему положению: до революции масоны делали всё для продолжения войны и тем самым играли на руку большевикам, в эмиграции же – способствовали признанию советской власти» (там же, с. 8).

То, что масонское правительство утвердилось в России, по крайней мере с конца 1918 года, ни у кого сомнений не вызывает. Но что из себя представляли большевики?

Обратим внимание на такую терминологию: что означают термины генеральный секретарь и Верховный совет? «Генеральным секретарём Верховного Совета на съезде был избран А. Ф. Керенский. Впервые об этом со всей определённостью поведал миру Леопольд Хаимсон в опубликованной в 1965 году “Проблемы социальной стабильности в городской России”» (стр. 70).

Но не следует забывать, что кроме политических лож в России существовали и ложи оккультного направления. Это были ложи филалетов, то есть любителей истины (от греческих слов *фило* – любить и *алетейя* – истина), а также ложи «Пирамида» и «Карма». Они были учреждены при покровительстве Великого князя Александра Михайловича ещё в 1898 году (с. 111).

Об этом же упоминает Виктор Пелевин в своём последнем романе «Лампа Мафусаила или крайняя битва чекистов с масонами. Большой полифонический нарратив» (М., 2016). Пелевин пишет о том, что в России существовали два направления в масонстве: политическое, которое боролось за захват власти, и мистическое, состоявшее преимущественно из высшей аристократии, которое было полностью уничтожено большевистской властью. Что же касается политического масонства, то, по словам Пелевина, им удалось захватить власть на некоторое время, и именно благодаря ему большевики пришли к власти.

Но вернёмся к ложам под патронажем Великого князя. Дело в том, что между «политическими» и «оккультными» ложами существовала большая разница. Политическое масонство стремилось к свержению существующего режима и, в конце концов, добилось этой цели, хотя и ценой собственного самоуничтожения. Люди оккультного направления, даже близкие к масонству, думали по-другому. Андрей Белый в своей статье «Штемпелёванная культура» пишет: «Во время национальной культуры оказываются чуждые этой культуре люди... Чистые струи родного языка засоряются своего рода безличным эсперанто из международных словечек... Вместо Гоголя объявляется Шолом Аш, провозглашается смерть быту, учреждается международный жаргон... Вы посмотрите на списки сотрудников газет и журналов в России: кто музыкальные и литературные критики этих журналов? – Вы увидите сплошь и рядом имена евреев... пишущих на жаргоне эсперанто и терроризирующих всякую попытку углубить и обогатить русский язык» (с. 136). Рать критиков и предпринимателей в России пополняется «в значительной степени одной нацией; в устах интернационалистов всё чаще слышится привкус замаскированной проповеди самого узкого и арийству чуждого юдаизма» (цит. по изданию «Весь», 1909 №9, с. 74- 76, 80).

Вот что ещё писал о еврейском вопросе Н. А. Бердяев: «Вы не способны проникнуть в интимную тайну национального бытия... Вы готовы были признать национальное бытие и национальные права евреев или поляков, чехов или ирландцев, но вот национальное бытие и национальные права русских вы никогда не могли признать» (Из книги «Философия неравенства»).

Масоны продолжали существовать и после Октябрьской революции. Цитируем одно из заявлений масона 1920-х – 30-х годов Б. В. Астромова: «Я удивляюсь, как рабоче-крестьянскому правительству раньше не пришло в голову воспользоваться этой старо-рабочей профессиональной организацией, захваченной буржуазией. Конечно, реформировав её и очистив её, согласно духу и заветам ленинизма (ведь позаимствовали же рабочие организации идею скаутизма и завели у себя отряды пионеров). Тем более, что Соввласть уже взяла масонские символы: пятикон(ечную) звезду, молоток и серп.

Наконец, сама пропаганда ленинизма, благодаря масонской конспирации и дисциплине, могла бы вестись успешнее, особенно в странах Востока, где так склонны ко всему таинственному» (с. 161-162).

Известный масон Г. П. Федотов говорил, что в числе общеизвестных прав человека на свободу, равенство, гражданское самоопределение есть ещё и право на отечество, как самостоятельную ценность (с. 181).

А один из советских масонов 1920-х годов А. А. Мейер писал: «"Единство трудящихся всех стран" базируется на национальном обезличивании, на ослаблении любви к нации, на угасании пафоса к личному и является полным отрицанием национального лица» (с. 181).

Среди масонов была распространена мысль о том, что «к началу XX века организация Русской православной церкви себя в достаточной степени дискредитировала: подчинённостью бюрократической машине государства, догматизмом, а порой и малой культурой» (с. 201). Дело том, что как церковную организацию РПЦ в то время критиковали очень и очень многие деятели. И даже теперешнее её возрождение посредством администрации Ельцина и Путина никаких серьёзных решений в богословском и политическом отношениях не несёт. Так называемая ересь сергианства (по имени первого назначенного Сталиным патриарха Сергия Страгородского, – кстати, бывшего всегда председателем религиозно-философских собраний, организованных Д. С.Мережковским в начале XX века. *Г.М.*) до сих пор не осуждена.

Вот что писал в 1932 году председатель Архиерейского Собора Русской православной церкви за границей митрополит Антоний: «Под знаменем масонской звезды работают все тёмные силы, разрушающие национальное христианское государство. Масонская рука принимала участие и в разрушении России. Все принципы, все методы, которые большевики применяют для разрушения России, очень близки к масонским. Многолетние наблюдения над разрушением нашей Родины воочию показали всему миру, как ученики подражают своим учителям и как поработители русского народа верны программе масонских лож» (с. 221).

«Самое любопытное, что общность конечных целей масонов и большевиков не отрицают и сами масоны» (с. 221).

Для информации из диалогов писателя Феликса Чуева с Молотовым:

«Сейчас много разговоров идёт о масонстве. Говорят, что у нас в стране тоже есть масоны, – заводит разговор Чуев.

«Наверное, есть. Подпольные. Не может не быть», – отвечает Молотов.

«И про вас говорят, что вы тоже масон».

«Масон давно. С 1906 года», – улыбается Молотов, имея в виду время своего вступления в РСДРП.

«Существует мнение, что масоны есть и среди коммунистов», – не отстаёт от него Чуев.

«Могут быть», – допускает Молотов.

«И вот говорят, что в Политбюро Молотов был главным масоном».

«Главным, – отзывается Молотов. – Да, это я между делом оставался коммунистом, а между тем успевал быть масоном». («Сто сорок бесед с Молотовым», М., 1991, с. 267. Из дневников Ф. Чуева)

Чрезвычайно интересно исследование о масонстве недавно скончавшегося В. С. Брачёва «Масоны и власть в России» (М., 2003). В ней В. Брачёв уже на первых страницах пишет: «Непосредственная же задача масонского сообщества – тройкого плана. Первое – сохранение и передача потомству так называемого тайного знания. Вторая – нравственное очищение, прежде всего братьев по ордену, конечно, а в принципе и всего человечества. Третья же и конечная цель братства – достижение человечеством “Златого века Астреи”, века мира, счастья и процветания на земле» (с. 79).

Нетрудно догадаться, что это и есть отчасти развитой социализм в СССР, а отчасти – демократическое общество массового потребления в США и некоторых западных государствах.

Примерно об этом же писал и Н. А. Бердяев: «Масонство есть чисто буржуазная идеология, причём, в сущности, очень плоская. Это есть самая банальная вера в прогресс и в гуманность, непонимание глубокого трагизма мировой истории. Масоны неатеисты исповедуют плоский деизм» (Бердяев Н. А. «Жозеф де Местр и масонство»).

В. С. Брачёв несколько слабават в том вопросе, что для него идейное направление и организационные структуры представляют как бы единое целое. Поэтому он, не моргнув глазом, записывает в масоны богоискателей А. Белого, А. Блока, В. Брюсова, и даже М. Горького. Очень интересны его рассуждения о масонстве в рядах НКВД-КГБ, но это находится за пределами данной статьи.

Теперь обратимся к интереснейшему многотомному сборнику документов по масонству, опубликованному О. А. Платоновым под общим названием «Терновый венец России. Тайная история масонства. Документы и материалы.» (т.), М., 2000).

Ещё раз напомним, что нас интересуют только материалы, относящиеся к русскому масонству XX века и предыстории масонской февральской революции. Книга О. А. Платонова ценна тем, что в ней опубликованы не частные размышления неких современных историков, а подлинные документы тех времён, перепечатанные из малоизвестных, и отчасти архивных материалов.

В своё время историк масонства В. Ф. Иванов в 1936 году прочитал в Харбине курс лекций, позже опубликованных там же в Харбине очень маленьким тиражом, в книге «Тайная дипломатия». Книга В. Ф. Иванова – это публицистический обзор тайных ходов масонства и международного финансового еврейского капитала, которые привели к разрушению государственных образований Германии и России в ходе Первой мировой войны.

«Масонство – это всемирный тайный союз, стоящий выше всяких различий, религиозных, расовых, национальных, сословных партийных, и стремящийся объединить всех людей на основах свободы, равенства и братства для достижения светлого царства Астреи, земного Эдема» (с.6).

Казалось бы, что же тут плохого? И свобода, и равенство, и братство, и царство Эдема, то есть социализм, коммунизм и демократия – всё есть. Однако не всё так просто. Дальше В. Иванов ссылается уже на цитированного выше лорда Бенжамина д'Израэли: «Мир управляется совсем не теми людьми, которые кажутся вершителями судеб, но теми, кто находится за кулисами» (с. 14).

Собственно, вся книга В. Иванова посвящена тому, как с помощью разных закулисных интриг подготавливалась Первая мировая война, которая имела своей целью под влиянием английского масонства разрушить, или хотя бы ослабить, оба крупнейших геополитических противника Великобритании – Россию и Германию, что и было осуществлено.

Из числа интересных масонских трюков В. Иванов приводит следующие, например, по поводу возникновения так называемой Парижской коммуны 1870 года: «Объявление Коммуны масоны встретили с полным сочувствием. 26 апреля 1870 года масон Флоке заявил “Коммуна есть наивеличайшая революция, которую когда-либо созерцал мир: она является новым храмом Соломона, и долг масонов её защищать”. “Цель масонства и Коммуны одна и та же”, – в тот же день заявил масон Лёфрансе» (с. 75).

Напомним забывчивому читателю, что то же самое говорил о Коммуне небезызвестный Карл Маркс.

Рассуждая о целях Первой мировой войны, которые преследовала Америка, вступая в войну, тогдашний президент США, видный масон В. Вильсон говорил так: «Борьба с неограниченной властью за уничтожение или ограничение; право каждого народа на самоуправление; согласие всех народов регулировать своё поведение относительно друг друга; учреждение международного трибунала, которому должны все подчиняться и который будет функционировать при решении всех международных конфликтов» (с. 111).

Нетрудно заметить, что все эти цели были достигнуты отчасти после Первой мировой войны и полностью после Второй мировой войны, включая масонскую организацию объединённых наций с центром в США и Международный трибунал в Гааге. Его объективность наглядно проиллюстрировали события последних лет.

Известный историк Дмитрий Галковский, ссылаясь на книгу Г. М. Каткова "Россия, 1917 год. Февральская революция" (Лондон, 1967 г.) приводит ещё такие факты: «Однако при этом не говорится, по крайней мере, следующее:

1. Взаимоотношения между немецким Генштабом и масонами были достаточно крепкие и разветвлённые, так что версия о масонах "невольных пособниках" Октябрьского переворота (то есть прихода к власти прогерманской партии) смехотворна.

2. Кроме германской разведки в политические дела России в не меньшей степени были замешаны разведслужбы стран Антанты, которые не только инспирировали Февральский переворот, но и довершили дело разрушения

России после разгрома кайзеровской Германии. Немцы начали, англичане и французы доделали.

3. Самым непосредственным образом в весь этот клубок заговоров и интриг были включены еврейские организации. Их роль в тогдашней английской, французской и германской политике, как бы ни была она велика, меркнет по сравнению с влиянием на ход русских событий.

4. Вся философская, историческая и политическая литература, издававшаяся в России представителями левого лагеря, является литературой исключительно агитационной и в научном смысле не существует. Что касается литературы "правой", то, по крайней мере в смысле элементарной фактографии, она заслуживает определенного доверия.

5. Страны Запада несут тяжкий груз ответственности за произошедшее в России 1917 года. По крайней мере на 3/4 Февральско-октябрьская революция есть форма геополитической диверсии.

Но об этом ничего не говорится. Да, были масоны. Через 50 лет после революции "мы уже знаем". Говорится это в серьезных исторических трудах, подаётся как плод колоссальных научных изысков. Вот как сделали! Серьёзная, серьёзнейшая европейская работа! Тут противник серьёзный. Это вам не какие-нибудь золотушные "немецко-фашистские захватчики". Тут опыт столетий.

И борьба должна вестись по-настоящему. Месть тоже должна быть рассчитана вперёд на века. Скажем (как историческая иллюстрация), в 1905 году всех милюковых и гессенов аккуратно вырезать по седьмое колено. А потом, лет через 50, когда два-три поколения сменятся, всех, хе-хе, "посмертно реабилитировать". Да, были и ошибки, перегибы. Ненужные эксцессы. "Мы теперь уже знаем". "Установили". Милюков был и неплохим историком. Даже книжку издать его. С комментариями. Тут с заглушками, с заглушками надо. "Срезать на поворотах". Плюнуть в рожу, а потом сказать: "А я сложный, противоречивый. У меня личности раздвоение". Тут главное всегда иметь в виду, что это не есть люди. Шути, услуживай, "будь полезен", "признавай свои ошибки". И все шутки, шуточки-ухмылочки. "Анекдотист и канканёр", "душа общества". А в критический момент проводок какой-нибудь в автомобиле подрезать и – "в путь-дорогу". "Благословить вас в ад далёкий сойдёт стопами лёгкими Россия".

Тут важно не перебарщивать только, не срывать, не суетиться» (Интернет, Виртуальный сервер Дмитрия Галковского). Это тоже, возможно, будет интересно читателю.

Примерно то же самое предлагал Молотов Ф. Ф. Раскольникову, о чём написано в его воспоминаниях.

Перейдём к Февральской революции. «Как вспоминал М. С. Маргулиес, "С самого начала Совет /Великого Востока – Г.М./ ставил задачу "обволакивания власти" людьми, сочувствующими масонству"» (См. Брачёв, с. 104).

Виктор Ширали и эротика.

Представлять Виктора Ширали советским и постсоветским читателям не нужно: его все знают великолепно со времён Сайгона 70-х годов. И не только, конечно, как поэта, а как испытанного женолюбца и ловеласа. Хотя поэту уже семьдесят лет, но это качество в его творчестве остаётся неизменным. Я не так давно уже писал о его книге избранных стихов «Избранные возлюбленные», в которой стихи были сгруппированы по именам его девяти «муз» – назовём их так. Этот сборник имел успех, разумеется, в узких кругах.

И вот теперь В. Ширали представляет читателю новую книгу «Флейтисточка» (СПб, 2016) – ассорти из новых и старых произведений.

Начнём с авторского предисловия:

«Читать Экклезиаста надо в юности, “Песнь Песней” – в старости.
Я пропел свою, с чем и прихожу к вам. Виктор Ширали, 2016 год».

Вот и пришёл к нам Виктор Ширали с его старческой «Песнью песен», подобно престарелому царю Соломону и, кстати, в его же возрасте.

Нужда задуматься о том, что смерть близка,
Сегодня вечером и через полстолетья.
Но жизнь моя не более, чем искра... (стр. 7)

Царь Соломон, как известно, сочинил и Экклезиаст и знаменитую «Песнь песней».

Также и Виктор Ширали:

Я люблю,
И цветут поцелуи твои
Ладони моей посредине. (...)
Я люблю. Я ласкал твою грудь.
И соски,
влажные, словно щенячьи носы,
Целовали ладонь мою. (стр. 12)

Вновь и вновь возникают библейские аллюзии: «... два сосца твои – как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями» («Песнь песней»).

Но Виктор Ширали многообразен. Судя по всему, в этой книге он подводит некоторые итоги своей поэтической деятельности. Поэтому наряду с библейскими ассоциациями и авангардными изысками прежних лет он включает в сборник и простые стихи, написанные в самой традиционной манере. Но посвящены они той же ключевой для поэта теме – теме любви. Чувствуется, как дорога автору героиня его послания:

Чернеют деревья, глаза мои осени.
Чернеют деревья, души осенний вид.
Чернеют деревья, дни певчие пропели,
И голубь на карниз осенним днём прибит.

Прости меня, моя весенняя невеста.
Как бы хотелось мне женой тебя назвать!
Но надо ли тебе в душе осенней место?
И стоит ли тебе женой осенней стать? (стр. 127)

Это лирика уровня Боратынского, и тем удивительнее, что В. Ширали одновременно соединяет в своём творчестве и обращение к прежним мастерам поэзии, и внимание к современности:

У поэта трупный возраст тридцать семь... (стр. 130).

Я не знаю, кто раньше это написал: В. Высоцкий («С меня при цифре тридцать семь в момент слетает хмель// Вот и сейчас как холодом подуло// Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, // И Маяковский лёг виском на дуло») или В. Ширали. Если Ширали подражает Высоцкому, то это некрасиво – надо хотя бы сослаться на первоисточник.

Но всё же главное в творчестве В. Ширали – это его любовная лирика, хотя подчас она бывает экстравагантной:

И когда я входил в тебя,
Как входит в шлюз Большой корабль,
То есть впритирку,
Тщеславный образ... (...)
Можно жить уже и своею топкой,
И своими огнями,
Впрочем, я никогда не брал
Огня напрокат. (стр. 142)

В этом весь Виктор Ширали – он входит в женщину, как большой корабль, и не берёт огня напрокат, поскольку в его «топке» всегда горит божественная «искра».

Закончить эту рецензию всё-таки хочется новым обращением к библейским сюжетам, постоянной теме этого сборника:

Царь был прав, крутя колечко, –
Всё на крути как вода
Только Суламифь сердечко
Не вернётся никогда. (стр. 158)

Конечно, поэт далеко не молод, но творческая божественная искра, о которой мы упомянули, его не оставляет.

Санкт-Петербург Февраль 2017 года

СЧЁТЧИК ВКЛЮЧЁН.

О книге С.В. Кистерского «Небесный счётчик» (СПб, 2016)

Перед поэзией (разумеется подлинная) в каждую историческую эпоху стояли две проблемы: *что* сказать и *как* сказать. В некоторые исторические периоды многие поэты шли проторенными дорогами, не мудрствуя лукаво, подражая тем или иным мастерам, признанным классиками. Иногда поэзию подменяли откровенной риторикой, а то и демагогией. Но проходило время – и снова возвращался «спрос» на бунтарей и экспериментаторов как в поэтической форме, так и в содержании. Их вначале обычно отвергали, а то и преследовали. А потом некоторые из них тоже становились классиками...

И в нашу, явно «антипоэтическую» эпоху происходит то же самое. Кажется, ещё лет 15 - 20 назад Д. Воденников, И. Жданов, Д. Пригов считались революционерами, хотя бы и на стезе постмодернизма. А сегодня они уже мирно соседствуют на книжных полках с «шестидесятниками» и авангардистами 1910 - 20-х годов.

Сейчас мы переживаем интересное время, когда круг читателей (особенно поэзии) практически сомкнулся с кругом самих поэтов. Я не вижу в этом ничего странного, поскольку культура (и литература в том числе) полностью оторвалась от жизни общества, занятого добыванием денег, и витает в некоем безвоздушном пространстве, образовав загадочную область «искусство для искусства», хотя и в несколько ином плане, чем это было полтора - два века тому назад.

Разного рода поэтические находки и достижения волнуют, главным образом, самих поэтов, а для широкой аудитории останутся попросту неизвестными, да и неинтересными. Как мы говорили, «поэзия наживы» перевесила «поэзию в собственном смысле слова».

Думаю, что всё вышесказанное относится и к новой книге Сергея Кистерского. Это хорошая, добротная книга, о которой есть смысл поговорить, но прочтёт её ограниченный круг, едва ли больше 50-ти - 100 человек. Причём суть дела не в том, что автор ставит перед собой какие-то сложные задачи или выражается запутанным, нарочито сложным языком, а просто в том, что катастрофически упал интерес к литературе вообще и особенно к поэзии. На глазах исчезает даже сама потребность в чтении, если не считать сочинения А. Марининой, Д. Донцовой, Т. Устиновой, не говоря уже о просто жёлтой макулатуре, которой завалены прилавки книжных магазинов. Причина тому – разрушение культуры, идущее на глазах, хотя оно началось, конечно, далеко не сегодня, и формирование «одномерного человека», о котором прозорливо писал Д. Маркузе ещё более полувека тому назад.

Это, возможно, длинноватое вступление необходимо для того, чтобы и автор, и его возможные читатели не забывали, что (как было сказано давным-давно) «...узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа», – а вот «*проспало* их дело» или «*не проспало*», сказать может только весьма отдалённое будущее.

Сразу обратим внимание на одну интересную особенность стиля С. Кистерского. Он пишет трёхстишиями, подражая японским хокку (или хайку), но объединяет эти трёхстишия в большие поэтические циклы. Их в книге восемь, чего японские поэты не делали. Сама по себе такая поэтическая форма, конечно, не нова в русской поэзии, ей, по меньшей мере, больше ста лет, но у С. Кистерского она приобретает весьма оригинальный смысл: поэт постоянно балансирует на грани острой публицистики и откровенного абсурда, что подкрепляется ещё и полным отсутствием пунктуации. При личной беседе со мной С. Кистерский сказал, что «пунктуация вредна для языка». Я ответил ему, что такой же взгляд проповедовал А. Кручёных почти за столетие назад. С. Кистерский этого не знал, но весьма одобрил эту позицию своего предшественника. Собственно говоря, всем этим удивить современного читателя трудно: посмотрелись ещё и не на такое. Однако свой поэтический голос у автора есть – прежде всего, это сочетание насмешливости с резкостью, а порой и с цинизмом:

Надо кончать с женщинами
А то запишут
В престарелые развратники (с. 6)

Или:

Как жаль
эта паскудная жизнь проходит
об иной не мечтаю как жаль
... ..А перед любителями поэзии
помахать
могучим поэтическим фаллосом
..... Ну нечего писать
пусто
впрочем вот раздавил таракана (с.9).

Впрочем, о своей поэтической манере автор говорит так:

Я не говорю что это хорошо
я не говорю что это плохо
я показываю факты (с. 13)

Но здесь он явно лукавит – как раз «факта» в его книге маловато, а основным поэтическим орудием является интонация, переходящая от личности к сарказму:

Боюсь начальства не потому
что оно страшное
а потому что я его боюсь (с. 25)

И ещё:

Будучи русским
мне дозволено называться россиянином
не иначе (с. 34)

Есть у автора и так называемые «стихи о любви» или, говоря современным языком, – эротические признания, но они написаны примерно в том же ключе с обязательной и неизменной ехидцей:

Загадка женщины
в том что
её хочется (с. 39)

* * *

Высмотреть одинокую курицу
и сложив крылья
камнем вниз (с. 44)

Думаю, что эти мысли и лирические советы будут особенно полезны молодому поколению, а нам, старикам, старым пердунам (по терминологии С. Кистерского) адресованы другие стихи:

От водки болеют
водкой лечатся водкой
дела вершат (с.47)

Не прост С. Кистерский, ой, как не прост! Он и шутит, и заигрывает с читателем, и посмеивается над ним, а сам то прикидывается дурачком, то немножко юродствует, в том числе и над самим собой:

Уже боюсь
если девочка согласится
и всё фантазирую (с. 49),

а то ударится даже в лиризм в цикле трёхстиший «О Лали»:

Хватит
хватит бесстыдствовать моя Лали
осенний луч не согреет твоего тела (с.50)

Моя Лали называет блуд романтикой
а себя
гнёздышком (с.52)

О бесстыдствующая моя Лали
выберусь ли я в этой жизни
из поглощающих лабиринтов твоего гнёздышка (с.53)

Это уже почти «анакреонтические стихи», как говорили об этом в позапрошлом веке, в частности Пушкин и его друзья.

Атмосфера постоянного подтрунивания над так называемыми «общечеловеческими ценностями» – это основной нерв книги, что делает её особенно привлекательной. Автор и не скрывает этого:

Чтобы быть в тонусе
надо настроить против себя всех
что я и делаю (с. 66)

Коммуняки стали иисусовцами
ничего удивительного
это две стороны одной медали (с. 70)

Наши писаки поют Христа
чуют гниды
куда ветер дует (с. 75)

Впрочем, иногда автор и сам подставляется, – может, для того, чтобы всё было совсем уж сладко, но лично мне это неприятно:

Я с презрением
отношусь к гуманитариям
ибо я инженер-кораблестроитель (с.65)

Так и хочется спросить, а чего же вы, инженер-кораблестроитель, в поэты лезете? Поэты и писатели – это ведь не инженеры, хотя Сталин думал иначе. Поэты всё-таки и есть подлинные «гуманитарии». Так что будьте поосторожнее в ваших умозаключениях, а то кто-нибудь и по морде залепит.

Книжка интересная, но выводы могут быть двусмысленными.

Я не согласен с мнением известного петербургского критика А. Филимонова: «При декларируемой отстранённости от классической поэзии, С. Кистерский, тем не менее, вступает с ней в напряжённый диалог – через отрицание, которое на самом деле пристальное взглядывание, переключаясь с Фетом, Мандельштамом, Бродским и, конечно, Пушкиным...» («Невский альманах» 2013, № 3, с. 85). Дело в том, что С. Кистерский бесконечно далёк от традиций русской поэзии, равно как и от большевистского авангарда в стиле Маяковского. Это человек со своим, почему-то восточным взглядом на Россию. Во время личных бесед с ним он подчёркивал, что японская поэзия лишена образности. В ответ на моё замечание, что японская поэзия невозможна без китайской образности, он почему-то ступевался. Автор не знает ни японского, ни китайского языка.

Размышлявший о предыдущей книге «Зебры...» С. Кистерского петербургский поэт и отчасти критик Н. Астафьев, писал так: «Мир, в котором живёт автор, предельно ограничен. Это дом, комната и картины бытия, сменяющиеся за окном (электрички, воробьи, синички и т.д.)...» («Невский альманах», 2012, №3, с. 68). С. Кистерский поэт, хотя постоянно юродствующий, и более того, сделавший это своей поэтической профессией, – всё-таки не Иванушка-дурачок. Его поэзия имеет свой смысл и содержание.

О чём-то мы сказали, но слово за читателем.

Санкт-Петербург

Т. М. Лестева

**Два «П»:
Александр Проханов и Виктор Пелевин.**

Два романа, два автора патриота России,
два поколения...



Александр Проханов и Виктор Пелевин.

Романы «Губернатор» Александра Проханова и «Лампа Мафусаила или крайняя битва с чекистов с масонами – большой полифонический нарратив» Виктора Пелевина я купила в один и тот же день: в первый день, когда Виктор Пелевин 2016 появился на прилавках Книжной лавки писателей в Петербурге. Заклеенная в целлофановый пакет «Лампа...» предупреждала уже на обложке: «Содержит нецензурную брань». Открыв оглавление, я увидела россыпь жанров в этом романе: и производственная повесть, и космическая драма, и исторический очерк и даже... оперативный этюд. Встреча с последним романом Пелевина – историческим нарративом с чекистами и масонами – обещала быть весьма и весьма интересной в её многообразии.

Интеллигент высшей пробы Александр Проханов с его образным восприятием и описанием жизненных событий, с потрясающей метафоричностью стиля, естественно, не снисходил до обценной лексики. От его выбора героем романа губернатора веяло интригой: какого и где. Ещё восседающего в губернаторском кресле или уже сидящего на нарах Следственного комитета? Очень современная тема. Первой я открыла книгу Проханова, оставив творение Виктора Олеговича, как говорится, на десерт.

ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ

Александр Проханов «Губернатор» (М. 2016)

В последнем романе Александр Проханов продолжает ставшую почти традиционной тему власти: героями его предыдущих романов было кремлёвское закулисье. Там фигурировали премьер и президент, кандидат в президенты, советник президента, а в 2016 году автор опускается до губернатора некой Н-ской губернии в глубинке России без конкретизации её географических координат. Губернатор? После ряда уголовных дел, возбуждённых правоохранительными органами страны против губернаторов «от Москвы до самых до окраин», ожидаешь увидеть и на страницах романа нечто подобное. Ан нет.

Главный герой романа – губернатор Иван Митрофанович Плотников – технократ, гордящийся своей простой русской фамилией, строитель, построивший в своей губернии за десять лет 130 заводов, причём, в отличие от периода индустриализации Сталина, не на костях, а с чувством садовника, не лесоруба. Прочитав такую характеристику губернатора на первых страницах романа, невольно задаёшь вопрос, не «губернию ли Солнца» а ля Томмазо Кампанелла хочет построить губернатор. По крайней мере идея губернатора «построить завод, выпускающий лидеров государства» (курсив мой – Т.Л.), мягко говоря, весьма неординарна. Также весьма утопично звучат слова губернатора Плотникова о том, что он не уедет по призыву из Кремля, не

покинет свою губернию ради Москвы. Найдётся ли в России хотя бы один губернатор, отказавшийся от такой чести? Вряд ли.

Впрочем, А. Проханов рисует портрет *идеальных* лидеров государства, которые «... должны обладать чудесной особенностью. Они должны обожать страну, обожать народ. Это обожание не оставляет их в самые грозные и опасные для страны моменты. Такой лидер не предаст, не сбежит, не пустит врага в отчий дом. Такой лидер не оберёт, не обидит народ, не выломает ему руки, заставляя работать». Где же они, эти лидеры. *обожающие* народ? Да и будут ли? Ещё один герой романа – директор завода, Фёдор Ступин куда реалистичнее смотрит на сегодняшнюю Россию: «*Эти* (выделено мной – Т.Л.), в правительстве, никогда производством не управляли. Не знают, как выглядит завод. Только меркантильные схемы. Только менеджеры. Ни одного инженера. (...) Вокруг президента скопились хитрые дельцы и скользкие перевёртыши. (...) Если к власти придёт это лстывное и лживое племя, страны не станет». Но губернатор Плотников уверен, что Россия не погибнет. Он верит в народ. А вот автор, судя по подтексту слова «эти», думаю, согласен с директором завода, человеком слова и дела.

Следует отметить, что ближайшее окружение губернатора не разделяет его веры в народ. Его правая рука, вице-губернатор с украинской фамилией Притченко считает, что наш народ «...– народ предатель. Он предал царя и расстрелял его из наганов. Он предал святое православие и порушил церкви. Он предал Сталина и навалил на его могилу груды мерзкого мусора. Он предал Хрущёва, Брежнева. Предал великий Советский Союз (...) Мы живём в эру предателей...».

Правда, этот «народ-предатель» в романе олицетворяют жители захолустной деревни Копалкино на самом краю процветающей Н-ской губернии с построенными импортными заводами с новейшими европейскими технологиями. Здесь же, в Копалкино, губернатора пытается убить уголовник Сёмка Лебедь, а вдова Анька Сладкая, чтобы растить детишек, вынужденная заниматься проституцией, выражает своё отношение к власти так: «... пьяно пошатываясь, шагнула и вдруг истошно взвыла (...): «Ненавижу! Проклятые вы! Людоеды! Пусть вас черти сожрут!». Губернатор в видении Проханова – человек действительно неординарный: ездит без охраны (очередная утопия!), с нежностью выпускает трещащую у окна бабочку; столкнувшись с злобной ненавистью жителей Копалкино, погружается в сомнения, не чужда ли народу его деятельность. Хотя и ничто «губернаторское» – в представлении рядового читателя – ему не чуждо: великолепная дача на берегу озера (на какие средства она построена, об этом в романе ничего не говорится), его «проект» сын Кирилл – студент, естественно, Оксфорда, который плечом к плечу с отцом будет строить Россию – «страну воплощённой справедливости» и, наконец, его отрада «со свежей и светлой женственностью» – Зазнобушка, Лера Зазнобина на фоне хворой жены в домашних шлёпанцах. Это, конечно, уже ближе к типичному образу губернатора современной России. Не так ли?

Но при этом ещё одна черта – доверчивость и даже наивность (sic!) губернатора Плотникова, уверенного в том, что созданная им команда его

никогда не предаст. Наивность губернатора? Ещё одна утопия! Трудно было бы в таком случае представить его путь – восхождение во власть. Но в романах, в отличие от жизни, чего только не бывает.

В Н-ской губернии по дороге в Копалкино даже церковь, сложенная из чёрных брёвен, не похожа на обычную православную деревенскую церковь, её скорее можно было бы назвать Храмом воинской славы периода Великой Отечественной войны, поскольку в ней красовались иконы, «изумляющие своими необычными изображениями»: Триумф Победы с генералиссимусом Сталиным и маршалами на фоне поверженных фашистских знамён, ангелы битвы под Москвой и Сталинградской битвы, «иконы» Зои Космодемьянской, генерала Карбышева и т.д. Не берусь судить, не впал ли А. Проханов в некую ересь. Устами священника отца Виктора автор утверждает, что, хотя Сталин был грешником, но он «возглавил райское воинство и сокрушил ад. Христос был со Сталиным». Пусть оценку такой трактовки Великой Отечественной войны дают теологи РПЦ, тем паче, что икона «Матрона со Сталиным», действительно, не так давно находилась в одной из церквей под Петербургом.

Но в романе отец Виктор предлагает губернатору исповедоваться. Это вполне реалистично и в духе власть-имущих современной России, когда не только губернатор, но и высшие руководители страны публично истово крестятся в церквях. И вот мысленно перед губернатором проходят его грешки. Нет, это не измена жене, не связь с Зазнобушкой – любовь святое чувство, это не мелкие грешки перед правительством, когда губернатор не выполняет некие постановления, представляющиеся ему несправедливыми... Нет, он вспоминает свой грех времён подростковой юности: хилый, слабый физически еврейский мальчик Зиля – его одноклассник – дал ему списать домашнее задание, а он вместо благодарности вместе с другими ребятами связали его верёвками и издевались над ним, вытолкнув его с четвёртого этажа в окно вниз головой, подтягивая и отпуская верёвку, пока несчастный Зиля не потерял сознание. Этот поступок гнетёт Плотникова в течение долгих лет, и именно в этом грехе он исповедуется.

Почему исповедь происходит перед «иконой» генерала Карбышева? Как символ той ледяной воды, которая обрушится на губернатора по ходу развития романа? Возможно, и так. Пятая колонна в губернском городе весьма активно действует после прибытия в него некоего миллиардера Льва Яковлевича Гловинского, купившего в центре города руину и построившего на её месте фантастический комплекс Глобал-Сити, где были воспроизведены различные достопримечательности мировой архитектуры от Спасской башни Кремля до Эйфелевой башни и Великой китайской стены.

Вот этот Лев Головинский и становится ярким противником и ненавистником губернатора Плотникова, разработав и реализовывая план его физического уничтожения под кодовым названием «Песчинка». Начинается истощающая кампания травли губернатора. Смесь полуправды с прямой клеветой обрушивается на него со стороны щедро оплачиваемой Головинским пятой колонны.

Надо воздать должное А. Проханову: он весьма и весьма глубоко знает мысли и действия либералов современной России, а его остроумная и неуёмная фантазия доводит деяния пятой колонны в Н-ской губернии до гротеска. Приведу только один пример. Во время перезахоронения останков погибших воинов, найденных поисковиками губернии, и открытия Мемориала славы цитирую: «На трассе, истошно сигнала, возник грузовичок. В кузове, на деревянной перекладине, были подвешены три свиных туши. На головах у них были пилотки со звёздочками. Красовались золотые погоны. Были прилеплены ордена и медали. (...) Грузовичок промчался. На трассе возник длинный, чёрного цвета с открытым верхом “хорьх ” времён фашистских парадов. В машине, подражая фюреру, прикрывая ладонями пах, стоял Головинский. Приветствовал взмахом толпу. Беркович играл на саксофоне арийский марш. (...) Плотникову казалось, он слышит, как бьются кости в гробах и оттуда раздаются рыдания». Конечно, Лев Головинский в виде «фюрера» несовместим с идеологией Холокоста, но, повторюсь, в фантастически-религиозных романах и не такие картины можно представить.

Плотников, ещё не сломленный окончательно напастью (его предали все близкие: ушла жена, сын бросил Оксфорд и уехал сражаться в Донбасс, где в чётком соответствии с законами жанра острого политического детектива должен погибнуть, не стала за него бороться и Зазнобушка, уехав из города, сгорела дача, которую он после «журналистского расследования» собирался отдать под детский дом), но уже с резко пошатнувшимся здоровьем слышит рыдания погибших ветеранов. Но почему губернатор не может противостоять этому разгулу «демократического подполья»? Куда смотрят правоохранительные органы? Борется со злом только церковь. Отец Виктор молился, «стремясь запечатать зло. (...) Он отводил от России вихри ненависти, которые неслись из мира. Отбивал клевету, поношение, лукавые посулы и тонкие яды, которыми туманился ум легковерного народа. (...) Запрещал тех, кто клялся в любви к России, а сам замыслил убийство».

Александр Проханов остаётся верен себе, как в публицистических статьях, так и в этом мистическо-религиозном романе: когда наёмник Головинского Сёмка Лебедь пытается поджечь церковь, из «иконы» капитана Гастелло вылетел бомбардировщик и надвинулся на поджигателя пропеллерами, пулемётами и пушками. Образно? Да, конечно. Но реалистично ли? Кстати, в одном из предыдущих романов несколько лет тому назад он предрекал появление в городе двух цариц венценосного юного монарха. Пока пророчество не сбылось.

Но вернёмся к главному герою романа, сердце которого разрушают удары «песчинок» Головинского, методично следующие один за другим. Праздник Дня губернии – это ещё одни реалии современной России, проявление патриотического порыва: день города, села, деревни – заканчивается «демонстрацией солидарности» с Украиной. На площадь вынеслась ватага визжащей и плюющей в сторону трибуны молодёжи с лозунгами вроде: «Правый сектор придёт и порядок наведёт». И технократ, не искушённый в подковёрных интригах, губернатор Плотников «чувствовал, как растворяется его грудь и на

сердце ему прыгает жаба». Апофеозом же дьявольского плана пошагового разрушения здоровья губернатора (аллюзия, как мне представляется, с программой пятисот дней Г. Явлинского) является заказанное – естественно Головинским – убийство журналистки, причём на мосту (как и убийство Бориса Немцова, правда, в Москве), которое приписывается губернатору. И после каждой такой акции пресс-секретарь Головинского Луньков приносит ему для ознакомления с каждым разом ухудшающуюся кардиограмму губернатора.

Головинский делится со своим пресс-секретарём технологией, как убирать неудобного политика: «...не надо тратить миллиарды рублей, чтобы скинуть его выборным путём. Не надо нанимать снайпера с винтовкой. Не надо внедрять в его окружение агента, который кинет в его бокал щепотку яда. Песчинка, крохотная песчинка, она ударяет в гору, и та рассыпается. Мы запустили песчинку. Разрушение горы началось». Ну, что касается агента в окружении губернатора, то тут Головинский блефует. Есть и такой агент. Это вице-губернатор Притченко. Правда, он не только не подсыплет губернатору яд, наоборот, в начале романа он заслоняет его от сёмкиного ножа. Но он тоже предатель, правда, по иным «высоким» мотивам.

Разве мог А. Проханов, дав ему украинскую фамилию, промолчать об Украине? «Моя фамилия Притченко. Я родился в Виннице. Там моя родня, могилы моих предков. Я украинец. Россия напала на Украину. Я хочу поражения России. Хочу, чтобы она скорее рухнула. Плотников и его деятельность – это шанс для России. Я хочу отнять этот шанс». И конфликт в якобы провинциальной Н-ской губернии переходит уже на межгосударственный уровень. Пятая колонна – это не только либеральное мелкое «демократическое подполье» (роман вышел в начале 2016 года, когда либералы бушевали, ещё не предвидя результатов выборов в Госдуму), это куда более серьёзные и более массовые патриоты бывших республик Советского Союза, а ныне государств ближнего зарубежья. На примере Притченко Проханов призывает доверчивых губернаторов, с открытой русской душой, к бдительности. По-русски простодушный, наивный, незащищённый, да ещё и с слабым сердцем губернатор? Нет, думаю, что такие люди вряд ли могут пробиться в высокую политику. А в романе последней «песчинкой» оказываются откровения самого Головинского, с гордостью заявившего губернатору: «... я твой палач!». И этим палачом с мясистым властным лицом оказался ... одноклассник Зилей! «Лицо Головинского источало беспощадную мощь. Глаза круглые, как у огромной совы, переливались рыжим огнём. Нос, словно таинственный отросток, пульсировал, окружённый розовой плазмой. Сила, которую он направлял на Плотникова, была силой ревущего состава, и сердце Плотникова трепетало, ожидая смертельный удар». Извинение перед Зильберштейном и исповедь губернатора перед «иконой» Карбышева бессмысленны. Зилей движет только месть, а отнюдь не прощение. Более того, Головинский-Зильберштейн цинично обманывает и вероломно предаёт и свою «команду», даже основного исполнителя, бывшего разведчика Лунькова, которого якобы он заберёт с собой в Европу, завершив дьявольский план мести губернатору.

Так что финал романа, казалось бы, предсказуем – сердце губернатора должно было остановиться. Но нет. «Отец Виктор молился перед иконами Святومучеников Великой Войны. Он обливался слезами. Ему казалось, что где-то в мире умирает родной человек, изнемогший от злых напастей, от козней искусных злодеев». И, о чудо! Молитвы помогли – губернатор просыпается, возвращается к жизни, и даже трубный завод будет достроен.

Следует подчеркнуть, что роман детективно-фантастического жанра написан увлекательно, очень образно, как всегда у Проханова, с яркими запоминающимися метафорами, причём независимо от того, описывает ли он внешность молодой любовницы губернатора или сборочный цех завода.

Но какова основная идея? Резюмируя, можно сказать так: великая сила политических интриг, развивающаяся даже на губернаторском уровне (хотя очевидно, что это аллегория), понята и освещена автором просто блестяще, не хуже, чем в его романах «Теплоход Иосиф Бродский», «Надпись», «Политолог», «Виртуоз» и других. Но сама мотивация обозначенного в романе конфликта выглядит прямо-таки наивно: еврейский мальчик Зиля, обиженный своими одноклассниками, решает мстить всей стране. Мелковато. Может быть, это месть еврейских диссидентов советского времени? Или шире? Уж не месть ли это Советскому Союзу за его позицию в арабо-израильской войне? Автор рецензии в раздумье. Читателю же самому предстоит найти ответ.

И, наконец, после романа государственника А. Проханова – десерт.

«КОШМАРНЫЙ СОН» ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ВСЕЛЕННОЙ.

Виктор Пелевин. «Лампа Мафусаила или крайняя битва чекистов с масонами. Большой полифонический нарратив » (М., 2016)

Так Виктор Олегович Пелевин отзывается в предисловии о возможных совпадениях с исторической жизнью России на протяжении более двух веков, которые могут возникнуть у российского читателя, привыкшего видеть в «реалити шоу» Пелевина отнюдь не фантастику, а суровую в исторической правдивости жизнь России. «Лампа Мафусаила...» – этот роман без преувеличения можно назвать энциклопедией жизни России XIX – XXI веков. В соответствии с поставленной задачей роман состоит из четырёх частей: производственной повести, космической драмы, исторического очерка и даже оперативного этюда. Сразу возникает аллюзия с «Войной и миром» великого Толстого, с той лишь разницей, что четыре тома Толстого охватывают весьма небольшой промежуток жизни российского общества в 1805-12 гг., а четырёхсотстраничный фантастический роман В. Пелевина – двухвековые события истории России.

I

Начнём не по порядку, а с исторического очерка «Храмлаг». Естественно, что в *историческом* очерке речь должна идти о масонах, одной из самых модных тем в публицистике последнего времени в связи с открытием некоторых архивов НКВД, ФСБ и особенно русского зарубежья. Скептически оценивая «исторические» измышления некоторых авторов Голгофского (уж не Дмитрий ли Галковский скрывается под этим псевдонимом?) и Василия Иванова (Василий Фёдорович Иванов /1885-1944/?), которые связали все успехи построения социализма в СССР с тем, что всегда действия правительства направлялись масонами, *В.О.П.* саркастически замечает, что «в России реальность традиционно выглядит абсурднее любого вымысла, поэтому чем вымысел страннее, тем больше ему веры». Думаю, что последние слова о вере в вымысел в полной мере могут быть отнесены и к приведённой в очерке *В.О.П.* истории российского масонства.

Отмечая, что русское масонство состояло из двух ветвей – политической, которая боролась за власть, и мистической, куда входила высшая аристократия («сборище безвредных чудаков»), автор уверен в том, что обе эти ветви были вырваны под корень террором большевиков. Но по его мысли представители мистического масонства не были уничтожены, в 1918 – 30-х гг. их сослали на север: сначала в Архангельск, а потом – на Новую Землю к Горячему озеру, где по решению чекистов будто бы был создан Храмлаг, который «...возможно, был ближе к нищей северной коммуне, чем к обычной гулагской фабрике страдания». Тяжёлые условия жизни в Храмлаге, даже несмотря на геотермальные ключи, не позволяли заключённым выдерживать там более трёх – максимум пяти лет: «...к бытовой стороне их жизни власть была равнодушна, считая, видимо, что *масоны должны жить в такой же безрадостной мгле, как и все советские люди*» (курсив мой – *Т.Л.* Ай-ай-ай, Виктор Олегович!). Поэтому к тридцатым годам дореволюционных вольных каменщиков на Новой Земле уже не осталось, а «никаких масонов в тридцатые, сороковые и пятидесятые СССР не воспроизводил».

Кем же тогда пополнялся Храмлаг? Первую гипотезу Голгофского о пополнении арестантами из фиктивных лож (типа «Союза меча и орала» Ильфа и Петрова) Виктор Олегович гневно отрицает: «Советская власть могла посадить кого угодно когда угодно – и с удовольствием делала это, подбирая врагов по немудрёным социально-классовым лекалам». *В.О.П.* соглашается со второй гипотезой Голгофского, что со второй половины 20-х годов «... все отправляемые в Храмлаг зэки выглядели по документам “масонами”». Пелевин саркастически замечает, что причин замены интеллигентов на урок было две: урка не будет писать жалобы в вышестоящие инстанции в отличие от интеллигента, который «просто из отчаяния мог бы написать, например, что он не масон, а трюксист».

Во-вторых, уголовник живуч – а интеллигент гниловат, расход человеческого материала во втором случае выше, а значит – больше забот». И далее *В. Пелевин* выносит приговор методам работы работников НКВД: «Весь исторический опыт советской репрессивной машины свидетельствует, что её работникам проще было поддерживать требуемые статистикой цифры в

документах, чем объяснять, почему “масон больше не клюёт”). Приговор чёткий, жёсткий, но, полагаю, справедливый.

Итак, «великую тайну масонов» наследуют уголовники. И далее высоко в поднебесье взлетает неуёмная, расширяющаяся как вселенная, фантазия Виктора Олеговича и рождается памфлетно-ироническое изложение основ учения и действий вольных каменщиков применительно к суровым условиям жизни Храмыла. Ссылаясь на труд Голгофского, автор детально излагает технологию передачи оккультных знаний из поколения в поколение (кстати, поколение в Храмылаге, подчеркну, – это всего лишь три года жизни): у эзков не было письменных принадлежностей и их заменили накладки. *«По мере прогресса оккультных опытов в татуировках фиксировались важнейшие постижения, сделанные очередной сменой каменщиков»*. На коже специально отобранных доходяг выпускалась газета масонских новостей «Под вой пурги». Когда носитель информации умирал, кожу с наклейками с него сдирали и высушивали, таким образом, создавался многотомник оккультных знаний. Из кожи одного из агентов – Мафусаила – был сделан абажур для настольной лампы, которому предстояло сыграть немаловажную роль в истории отношений ЦРУ и ФСБ, но об этом позже.

В. Пелевин, якобы используя методы археологической лингвистики, убедительно и весьма остроумно доказывает связь масонских терминов с позднесоветским уголовным жаргоном. «Пришельцы из Храмылаге, попадая на Большую Землю, навязывали уголовному миру свои представления, ценности и порядки. Они инициировали в масонство (на том уровне, который им был доступен) самых продвинутых и влиятельных уголовников – и именно из этого семени выросла та русская уголовная культура, которую мы наблюдаем сегодня». По-видимому, к грядущему году петуха по японскому календарю он вспоминает о галльском петухе и «формальной инициации во “французы”». Но это к термину о петухах. Знакомство с дискурсом «о петухах и педерасах» оставим читателю. Не ограничиваясь переводом стихотворения Пушкина и лингвистическим анализом известного стихотворения Евтушенко «Идут белые снеги», В.О.П. не проходит мимо и параллелей в жестах вольных каменщиков и уголовников, с сожалением отмечая «быстрое вырождение постхрамылаговских каменщиков» и то, что привитая на материке ветвь масонства оказалась тупиковой. «Можно ли поверить, глядя на кичеватый особняк какого-нибудь московского вора, что перед нами поздняя вариация на тему Соломонова Храма?» – цитирует В. Пелевин саркастические выводы Голгофского, иронически замечая при этом, что автор этих строк «не склонен к историческому оптимизму».

Конец Храмылаге оказался весьма трагичным. Когда на Новой Земле стали происходить чудеса, и в Политбюро поняли, что речь идёт о Втором пришествии – «...через открытый вольными каменщиками Портал проходили тончайшие вибрации любви и света – и становились семеними нового (...) Люди не хотели больше убивать себе подобных и смеялись над теми, кто заставлял их это делать, ссылаясь на свою “идеологию”» – по решению Хрущёва и Суслова в 1961 году на Новую Землю и действующий

там фантастический Храм Соломона была сброшена пятидесяти-мегатонная ядерная бомба. «Их можно было понять, – оправдывает В.О.П. действия властей, – они хорошо помнили роль масонства в собственном вознесении к власти – и не собирались жить под дамокловым мечом будущих заговоров».

Пелевин, разумеется, не мог обойтись без намёка на Холокост, цитируя якобы слова одного из иерархов Храма: «В конце нашего Пути (...) Архитектор Вселенной явится братьям как Изначальный огонь и возьмёт нас всех в своё лоно...». Но, как оказалось, не всех: и если согласно Библии спасутся 144 000 евреев из 12 колен израилевых, то, возможно, ледяные глыбы 22 братьев, отплывших с острова Моржовый, когда-нибудь будут найдены, «прочтут письма на их задубевшей коже – и мир опять почувствует над собой улыбку Бога, ощутит ту же надежду, увидит тот же свет, что озарил его в шестидесятые годы прошлого века». Вот она, ностальгия по оттепели шестидесятых (обратим внимание, что в 2016 году)! А вот что касается прогнозов о судьбе России в наше время, то: «... вот что пугает – над миром сгущаются тучи, и Россию, похоже, опять готовят к её обычной жертве...».

Полно, а не слишком ли долго мы работаем мальчиками для жертвоприношений у этих надменных господ? Стоит ли нашей боли выкупаемый ею мир? И если наши хмурые колонны всё равно обречены маршировать в Вавилонскую печь, не взять ли нам с собой всех тех, кто так бойко её разжигает – вместе с их пёсиками, поварами, яхтами и прочим инстаграмом?».

А ведь это непосредственный ответ современности в историческом очерке: предвоенная обстановка, угрозы ядерного пожара над Россией, политика ядерного сдерживания и, наконец (в случае ядерной войны) – неизбежный акт ядерного возмездия. Говорят, что прогнозы В.О.П. обычно сбываются в течение 4-х – 5-и лет. Утешает одно: эти вопросы ставит не сам Виктор Олегович, а некий мифический автор – Голгофский. Так что надежда на несбыточность Вавилонской печи всё-таки небеспочвенна, тем паче, что «... в эти тревожные дни фейсбуку обещана, наконец, кнопка “dislike”». Пелевин не может не улыбнуться, как всегда иронически!

II

Итак, с масонами советского и позднесоветского времени покончено. На виртуальной «машине времени» перенесёмся в XIX век, когда ещё не было ни радио, ни телевидения, ни мобильных телефонов, ни компьютеров, не говоря уже об Интернете. Золотой век писем, золотой век, когда ещё не было монстра-монополиста «Почта России», но почта из Петербурга в Москву доставлялась за сутки! Можно ли представить такое в наши дни? Увы! Впрочем, в наше время почтовая переписка как-то становится архаичным жанром, когда даже сравнительно юная пейджерная связь уже практически отошла в небытие, а общение сменилось кратенькими эсэмэсками, и электронной почтой. Но представить себе кургузый XIX век без писем и дневников просто невозможно.

Главный герой этого раздела романа – космической драмы «Самолёт Можайского» – Маркиан Степанович Можайский, дворянин, офицер и игрок, пишет Елизавете Петровне, своей возлюбленной, покинувшей его в Баден-Бадене, письмо-дневник с рассказом о совершенно фантастических событиях, которые произошли в его жизни по возвращению в Россию. Баден-Баден, казино, проигрыш, попытка отыгратья «одолженными» из чемодана Елизаветы Петровны деньгами, её «ангельское всепрощение»... Да и сама Елизавета Петровна готова «встать на путь революционной борьбы за народное счастье, ибо все остальные цели рядом с этой ничтожны». Никаких сомнений – Фёдор Михайлович Достоевский в постмодернистском видении В. Пелевина. Впрочем, Маркиан Степанович видит этот народ несколько иначе: «Сам я, сельский обитатель, с младенчества насмотрелся на так называемый народ и полагаю, что в протянутую вами руку он или наплюёт или нагадит. (...) Я не верю в “освобождение народа”, поскольку народ к свободе не готов и не понимает, что это такое». Весьма прискорбная характеристика. Впрочем, можно ли было ожидать чего-либо другого от мелкопоместного обедневшего дворянина, «всем сердцем верящего в европейский прогресс»? Не из его ли потомков явились на свет либералы 1990-х, которые повели Россию «по европейскому пути» и привели её в бездну разрухи?

Но от сегодняшней России вернёмся к жизни и письму-дневнику Маркиана Степановича. После возвращения из Баден-Бадена «... у меня начался запой, столь характерный для скорбного отечества нашего, где человек благородного сердца и ума не может применить своих качеств, чтобы служить прогрессу на достойном поприще. Скоро я дошёл уже до совсем неблагородных напитков, какими спаивают русского мужа корчмари, и часто видел бесов, находя в этом горькое единение с Отчизной». Неблагородные напитки, спаивание русского человека... Уж не на роковые ли 1990-е намекает Виктор Олегович, рассказывая далее (причём на историческом примере!) о занятии «скатившегося в мрачайший шопенгауэровский пессимизм» Маркиана Степановича, который чинит сапог не от нищеты, а «как бы ставя добровольный знак равенства между дворянином и лицами наёмного труда», тем паче, что так отдыхал граф Толстой? Интеллигенции 1990-х годов приходилось не только от нищеты свои сапоги чинить, но и – увы! – не заниматься разработкой новых процессов, новых машин, новых видов оружия, а работать «челноками».

Но вернёмся к тем чудесам, которые стали твориться в усадьбе Маркиана Степановича Можайского, однофамильца Александра Фёдоровича Можайского, русского пионера авиации, изобретателя, спроектировавшего и построившего в конце XIX века летательный аппарат. К нему прибыла группа чекистов из XXI века с важной целью: – за счёт флуктуации – несколько изменить ход истории, чтобы восстановить приоритет России в космической науке и самолётостроении. Для игрока Маркиана Степановича начинается поле чудес, на котором ему приходится сталкиваться с результатами технического прогресса почти за два столетия вкуче с изощрёнными фантазиями Виктора Олеговича при строительстве самолёта

Можайского. Но не только. На этой «усадебке», где группа чекистов-прошловантов таки построила самолёт, накануне его испытания Маркиан Степанович, который должен послужить истории Отчизны, отправляет Елизавете Петровне письмо, в котором пишет: оттого «... *все наши беды, что мы столетиями уповаем на своих государей, думая, что они в своём сердце хранят древнюю Русскую Тайну, в то время как Высшие Лица пузе всего хотят понравиться Европе и сойти там за своих, а как не выходит, обижаются и начинают играть в солдатики. (...) Но Европа не примет нас и никогда не поймёт.*» Гениальное предвидение М. С. Можайского осуществляется уже более полутора веков и особенно обострилось в наши дни, когда и Европа и баракские штаты уже не считают нужным скрывать своих русофобских действий под лицемерными рассуждениями о «дружбе» и «сотрудничестве», а развязали фактически вторую холодную войну против России, правда, куда более горячую по сравнению с предыдущей. Можно только позавидовать Маркиану Степановичу, что он ничего не знал о ядерном оружии. Но вернёмся к драматическим событиям, которые развёртываются на его глазах.

Вслед за чекистами-прошловантами туда же прибывают ... черти, – существа «виду самого неприятного и отвратительного», главный из которых представляется полковником А. Компанию дополняет живое кольцо в виде двух ворот из двух великанов-бородачей и делегация высокопоставленных американцев. Думаю, что не стоит читателя лишать удовольствия самому убедиться во всех хитросплетениях работы спецслужб обеих стран, достигших небывалого прогресса (по крайней мере в фантастических видениях глубокоуважаемого Виктора Олеговича), но вот восприятие будущего России и её окружения Маркианом Степановичем хотелось бы отметить: «Мир будущего теперь представлялся мне банкой с ядовитыми пауками, которые вдруг вывалились на меня все сразу – и ползли по моему телу». Блестящая метафора жизни современной России, не правда ли? И далее. «Про устройство же будущего общества они (чекисты – Т.Л.), видимо, не рассказывали потому, что боялись вызвать у меня отвращение», – так он описал Елизавете Петровне свои впечатления от увиденного будущего мира. Но главное свершилось: ему показали почтовую марку со странной надписью «Почта СССР», на которой был изображён тот самолёт, который был построен в подвале его сарая. Хэпи энд: чекисты победили таки спецслужбы США? Но почему же тогда в романе появляется просьба генерала ФСБ Капустина, чтобы в 1894 году М.С. Можайский отправил письмо следующего содержания некоему Кобе: *«КОБА! МАСОНЫ – ЭТО ВРАГИ! ПРИДЁШЬ К ВЛАСТИ, СОШЛИ ИХ ВСЕХ НА СЕВЕР, ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ. ТАК ПОБЕДИМ! ТВОИ ДРУЗЬЯ ИЗ ВЕЧНОСТИ*». Полагаю, что комментарии излишни.

В. Пелевин остаётся верен себе в саркастически-памфлетном изображении жизни американцев: здесь и движение феминисток и воздействие на избранных президентов неких «зелёных человечков», после которого «... такие хорошие и разные люди, как только их выберут, делают всегда одно и то же», и раздутые штаты спецслужб – только по открытым источникам

«Миллион человек работает в вашей гэбухе (...) Защищают права пидарасов в Саудовской Аравии?», – и пресловутая толерантность с запретом некоторых слов, и размножение в пробирках, и глубокое понимание сути доллара, обеспеченного *только верой в бога*, а отнюдь не золотым запасом США, и убежденность американца с многозначительной фамилией Димкин в том, что доллар – мировая хусспа – залог стабильности и что, «если вера в него иссякнет, мировой порядок рухнет, и... Чего только не узнаешь о реальной жизни», прочитав ультрафантастический роман Пелевина!

Но хэппи энд был бы не полным, если бы Маркиан Степанович не узнал от прощлонавтов, что у него родится сын, который будет назван Мафусаилом, а в своём сарае не обнаружил бы плату за услуги, причём не зелёными баксами, а золотыми монетами николаевской чеканки. Благодатный XIX век!

Хотелось бы также отметить многообразие стилей, которые использует Виктор Олегович в романе: от грубовато-простонародного в словах генерала Капустина до высокого куртуазного в письме Маркиана Степановича: «... всё ваше существование целиком было подчинено моему удобству и приятности. И, глядя на Ваше самоотверженное служение моей неге, я понял многое...». Мастер слова, несомненно!

III

Три представителя рода Можайских проходят на протяжении почти двух веков на страницах мистического романа В. Пелевина: игрок Маркиан Степанович, которому выпала честь отстоять приоритет России в самолётостроении, агент Мафусаил, благодаря донесениям которого якобы сохранились, хотя бы в архивах КГБ и НКВД, сведения об истории и роли русского масонства, об их деятельности по строительству Храма Соломона, и, наконец, через пару поколений – Кримпай (в переводе «пирог со сливками» – термин, заимствованный В. Пелевиным из жёстких порнофильмов) Сергеевич Можайский, специалист по золоту, в голову которого с детства и навсегда вполз золотой жук после прочтения одноимённого рассказа Эдгара Алана По. В. Пелевин воздаёт должное памяти этого американского писателя-фантаста, посвятив ему свой роман, хотя иронически замечает, что в наши дни его бы освистали за не толерантное слово «негр» и изображение «рабской сущности афроамериканца». «Золотой жук» – так называет В. Пелевин первую часть романа; не сочтём это плагиатом, а только данью памяти писателя.

Кримпай зарабатывает на жизнь (как и многие его современники в мире, а особенно на сайтах Интернета) на разнице в курсе золота, но его бизнес приходит к краху, он потерял деньги своего клиента: то ли личные сбережения генерала ФСБ Капустина, то ли «общак ФСБ», что ещё страшнее. Партнёра Кримпая убили, а сам он предпринял после этого попытку добровольно уйти из жизни. Но всевидящее око его высокопоставленного клиента не даёт ему исчезнуть из этой жизни, куда он возвращается после неудавшейся попытки суицида. Мистические и фантастические события проходят в его подсознании (под воздействием некоторых таблеток, изобретённых ФСБ). В том числе и появившийся Золотой жук его детства предсказывает ему отход от весьма нестандартной, как мне кажется, сексуальной направленности Кримпая – тяги

к деревьям – и приход новой любви по возвращении в реальность. Пелевин чрезвычайно искусно, на грани прямого издевательства, обрисовывает сексуальные желания Кримпая, находящиеся в области «дендро-» и «арброфилии». (Для непосвящённых – *arbre* фр., *arbor* лат. – в переводе дерево – Т.Л.). Например, древняя деревянная прялка вызывает у него такие ассоциации: «Это приспособление, чуть похожее на молоденького жеребёнка, приподнявшего попку мне навстречу, сразу показалось мне настолько бесстыдным, сексуальным и запретным, что я даже опустил в смущении взгляд». Сатира, доведённая до абсолюта, если не назвать её просто глумлением. А вот предсказание жука сбывается, у Кримпая вспыхивает любовь, причём в соответствии с нравами современного мира, к «умнику из Фонда Эффективной философии», либералу Семёну: «знаете, эти мужские глаза, в которых ежедневно отражается чужой член, что-то меняется в них навсегда», – цитирует Кримпай слова знакомого гомофоба.

Пелевин страхует себя от нападок натуралов: «...не подумайте, что я занимаюсь пропагандой гомосексуализма. (...) я отчётливо понимаю бесперспективность подобной агитации на суровых российских просторах», более того, он подчеркивает в гомосексуализме множество «скверных аспектов». И выносит ему приговор, так сказать этико-политической направленности, – у Кримпая появляется куратор в органах: «Чекистам ведь надо знать, что творится в голубом коммьюнити. А творится там такое, что поневоле немного станешь гомофобом». Дальнейшие рассуждения Кримпая на эту животрепещущую тему оставим читателю, только отметив, что на западе с точки зрения Кримпая (не автора ли?) однополая любовь лишилась «ауры подполья и тайны», приобретает взамен равноправия «пресыщенность и скуку». В России пресыщение всё ещё не наступило? Полагаю, что на этой теме можно поставить жирную точку – приговор вынесен и обжалованию не подлежит.

А вот обсудить либерализм масона Семёна – читай российских либералов, – полагаю, небезынтересно для широкого круга читателей. Российский либерал – это «...человек, свято верящий, что миром правит всемогущее жидомасонское правительство с энтузиазмом берущий на себя функции и его российского агента (как он их понимает) – но при этом яростно отрицающий существование такого правительства, так как оно, по убеждению российского либерала, желает оставаться секретным». Вот такой «круговорот» в понятии либерала, который порой «...начинает догадываться, что жидомасоны его не озолотят, но всё ещё верит, что это могут сделать чекисты». Пелевин подтверждает как «величайшую Русскую Тайну» бытующую в прессе и сознании многих россиян точку зрения, что чекисты «иногда платят», но исключительно тем, кто верой и правдой служат жидомасонам. Насколько это справедливо при так называемой свободе слова в современной России, с достоверностью могут судить только те, кто имеет доступ к платёжному ведомостям. Имел ли или имеет Виктор Олегович с ним доступ, – не берусь судить из-за отсутствия информации должного уровня. Тем не менее, вопрос поставлен, а ответ за каждым читателем.

Но в заключение этой темы не могу пройти мимо одной, но весьма многозначительной, оговорки Семёна во время его выступления на конференции «Небо Европы» по вопросу о сирийской экспедиции: он «...вместо “CIA-trained rebels”¹ сказал “CIA-trained liberals”². Ай-ай-ай, Виктор Олегович! Да ещё и с добавлением, что «три весёлых буквы могут быть другими». Не слишком ли прозрачные намёки? Хотя... Впрочем, не уточняю, ближайшее будущее покажет.

IV

Последняя часть романа, оперативный этюд «Подвиг Капустина» рассказывает о попытке прогрессивных элементов в ФСБ возобновить связи с международным масонством в ЦРУ и МИ-6 «...в начале десятых годов двадцать первого века». Торжественный ритуал приёма вождя либеральных чекистов Уркинса высшими иерархами масонства, отчёт о котором блистательно в ультра-иронической манере изложен мифическим Голгофским, заканчивается полным крахом из-за незнания посланцем ФСБ особенностей масонского ритуала. «Резкое охлаждение отношений между Россией и Западом, а также все последовавшие кризисы в Европе и на Ближнем Востоке были, по мнению Голгофского, прямым результатом этого события. (...) На Россию опустилась ледяная мгла». Вот развеять эту ледяную мглу и предстояло генералу ФСБ, тёжке великого Достоевского – Капустину. Фёдор Михайлович отправляется в очередную секретную командировку, где встречается с масонами – Солнцем и Месяцем – для решения важнейшей проблемы. Нет, это не борьба с терроризмом, не цена на золото, не духовный вклад России в общемировую культуру... Главная задача, с точки зрения иерархов зарубежного масонства, во избежание глобального ядерного пожара поддержка доллара: «Это наш новый Сталинград», – говорит Месяц Капустину, вручая ему удостоверение уполномоченного Центрального Планового Агентства Хаос. Предупреждение Пелевина однозначно: атака на доллар приведёт Россию к большой и страшной войне, причём: «При хорошем исходе у нас будет новый Бретон-Вудс («Международное соглашение 1944 года, сделавшее доллар мировыми деньгами наравне с золотом» – В. Пелевин, с. 401), а у вас – Новый день Победы. А при плохом... При плохом исходе в этой войне вместе с бухгалтерскими книгами сгорит весь мир. Но выбора нет». «Новый день Победы»? Прямой намёк Пелевина на оголтелую кампанию лжи и грязи, выплёскиваемой в западных странах, на Великую Победу СССР во Второй мировой войне. Чудовищная дилемма, понятно, что от неё пришёл в ужас генерал Капустин. Неужто действительно нет другого выхода? Подождём первых шагов Трампа. Роман был написан до его избрания. А вдруг... найдётся третий путь?

¹ Тренированные ЦРУ повстанцы.

² Тренированные ЦРУ либералы.

Освещённые выше темы отнюдь не исчерпывают всего многообразия данной многоплановой энциклопедии современной жизни мирового сообщества, а не только России. Но у Пелевина практически во всех романах в большей или меньшей степени, но всегда присутствуют ещё две темы.

Во-первых, это восхищённо-сочувственное отношение к женщине, её взаимоотношению с мужчинами. В этом романе он вкладывает его в уста Маркиана Степановича: «Я никогда не задумывался, на какие тяготы и муки женщина идёт, чтобы превратить себя в орудие мужского наслаждения. (...) словом фундаментальнейшее издевательство над своей физической и духовной культурой...». Можайского ужасают корсеты, плечики, грудки, причёски... А если бы он знал о диетах, ботоксах, керамических винерах на зубы и... Пелевин не только знает об этом, но и озвучивает главную цель: «...женщина искусно притворяется мужской игрушкой – но на деле мужчина всю жизнь состоит при ней цепным псом. И в этом странная и прекрасная гармония между нами». Опустим слово странная, а вот за «прекрасную гармонию» – сердечная благодарность Вам, Виктор Олегович, особенно в наш век всемирной поддержки LGBT и прочих сообществ.

Во-вторых, во многих романах, начиная с «Г», всегда присутствует писатель или мемуарист, ведёт дневник Павел Алхимик, пишет даже влюблённая трогательная лисичка А Хули. В «Лампе Мафусаила...» тоже есть писатель. Кримпай Сергеевич, из патриотических соображений сменивший имя на Крым, написал книгу «Золотой жук. Гомоэротический роман», опять же позаимствовав название у Эдгара По. Можно только посочувствовать автору гомоэротического романа – его критиком, редактором и цензором становится сам генерал Капустин. «Минуй нас пуще всех печалей...» – как писал великий наш соотечественник. А вот Кримпаю-Крыму, увы! предстоит радикальная переделка романа, осветление его от мрака. Вниманию писателей: почти отеческий совет Капустина: «...фильтровать в наше время надо всё – что говоришь, что пишешь и что думаешь». Ещё одно предупреждение Виктора Олеговича коллегам по писательскому цеху. Спасибо, конечно, но увы, увы, увы...

Фильтрует ли и сам Виктор Олегович? Возможно да, но даже того, что уже написано, вкупе с тем, что читается между строк, более чем достаточно, чтобы во всех красках палитры увидеть современный мир во всём его многообразии. Или безобразии?

«Лампа Мафусаила» В. Пелевина 2016 года осветила некоторые аспекты российской истории. Над каким «прожектором» работает писатель сейчас? Чем порадует великий сатирик нас в 2017 году? Qui vivra verra.

А по книжным магазинам уже шествует «Востоковед» Александра Проханова.

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ.

Санкт-Петербург

ЛЮДМИЛА БУБНОВА

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink, which appears to read 'Л. Бубнова'.

**СОВРЕМЕННЫЙ ПИСАТЕЛЬ
И
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ**

Серб Юрий

Площадь Безумия. – СПб., – 360 с. – /Современная русская проза/

Умеет автор давать своим романам литературно интересные названия: «Речка Нача», «Площадь Безумия».

Должно быть, интересный роман – нельзя не читать. Коллеги на презентации книги высказывались в основном положительно, но разочарование за словами сквозило. В чём дело?..

Чёткий, ясный вразумительный слог, вполне убедительный стиль воспоминания о времени и людях 1987–1990-х годов, периода, названного в истории «Перестройкой».

Автор и его друг Геннадий Серафимович Салабин, чей дневник он разбирает, – «широко образованные люди», у нас называются интеллигентами, работают в престижном Интернациональном клубе моряков, в особняке на канале Грибоедова, 166 – всё располагает читать повествование с большим интересом. Читатель захлёбывается иллюзией правдоподобности событий, ещё свежих в памяти современников.

Салабин с наслаждением «сидит» на месте директора Интерклуба, «прежние тревоги рассосались», видимо-невидимо людей вокруг суетятся: «Много людей перебивало в Интерклубе... как выгодоприобретателей «перестройки», так и её жертв... и подбирают что плохо лежит» (с. 259, 272).

Особняк – символ морского пароходства и советского государства – постепенно разваливается: «в дискотеке обрушилась дюжина потолочных плиток» и не только. Сходит «смехотворный» директор попросить ремонта у начальства, выслушает отговорки и дальше сидит за чашечкой кофе («Не бывает в Интерклубе хорошего кофе, не бывает... И чашечки шербатенькие.»).

И думает директор Салабин: «...Что за штука – жизнь, и что, интересно, говорится об этом у Нострадамуса? А то и спросить ведь не у кого» – без иронии не читается (с. 229). Когда всё развалено-растасчено, Салабин «увольняется по собственному желанию» и лезет в старый пыльный подземный ход вспоминать библейские проповеди. Да зачем проповеди? Все эти истины давным-давно вписаны в своды законов государств мира – и в церковь не ходи. Другое дело: художники-писатели много веков подряд создавали легенды о рае и аде на библейские сюжеты для послушания людей, чтобы они особо не растекались в собственных мыслях, а то!..

Автор таки загоняет Салабина хвататься за библейские небеса, будто в каком-нибудь Средневековье, а никакого другого, третьего, четвёртого... пути в жизни быть не может.

Конечно, автор пишет слегка иронично, иначе обстановку душевно-духовной расслабленности людей, как они «крутятся» или вальяжно «сидят за чашечками», воспринимать невозможно, писатели давно к тому приучили. Правдоподобно создаётся иллюзия «реальной действительности».

Легко и приятно незабытое читать: и лёгкая ирония, и приём показывать персонажей репликой, жестом, а не описанием внешности. Откроет человек рот, скажет несколько слов – и весь просвечен с его внутренним миром и внешним стремлением – подобное мастерство не слишком часто в литературных произведениях встречается. Автору не откажешь в мастерстве превращать свои идеи в пластичное романное повествование.

Чем можно быть недовольным?

Самым главным: ничего нового – и в этом разочарование.

Я читаю не роман, я Автора читаю: нюансы его души и зигзаги мышления. Наш автор «пристраивается» к своему герою Салабину и уподобляется ему: ни новых мыслей, ни чувств по поводу друга и его «сидения» на номенклатурном посту не выражает. То ли автор у Салабина, то ли Салабин у автора «путаются» под ногами, остроты иронии не добавляя, нарушают цельность повествования. Писал бы уж полностью от себя или положился на «дневник», вместо бесполезного раздвоения личности.

А «беспольный», «безпокойный», «безхитростный» – любой корректор госиздательства обязан выправить согласно правилам языка, а текст с ъ (ять) заключить в кавычки как чужой – Правила языка есть государственный Закон. А каприз автора воспрепятствовать оглушению звонкого согласного перед глухим – неестественно. Новаторство может выражаться в новой мысли или в неожиданном осмыслении. И зачем автору в СВОЁМ произведении писать давно надоевшие банальности: «Умом Россию не понять», «То ли ещё будет!», «сыновья лейтенанта Шмидта» и др.

Описывать правдоподобно действительность каждый грамотный, в общем, умеет, что и делают в основном наши члены литературного сообщества – писатели.

Писатель – не каждый, он выше каждого и зорче любого своего персонажа, строго держит всех в своём кулаке и «каждому-любому-всякому» покажет, чего они сто́ят, – на глаза ему лучше не попадаться! Тем более что в 60-е годы начался в журналистике и беллетристике такой разгул острейшей иронии и наглой эпатажности, что лёгкая ироничность нашего автора смотрится слишком робко. Жёсткая сатира могла бы ещё соответствовать времени. Писатель, переживший российские катаклизмы, «перестройку», социально-политическую революцию 90-х, последующий мор населения, разруху, почти уничтожение страны – всё это сделали явно отрицательные «герои» (положительные создают, а не разрушают созданное веками) – и вышедший живым с «площади Безумия», по-моему, должен быть злым, как чёрт, и, как дьявол, бешеным: никого не щадить от кары. Но в то же время – залюбить до безумия: без энергии страстной любви и страшной ненависти, сейчас представляется, нечего братья за писание. Потому читатель разочаровывается. Автор правдиво «слизал» тогдашнюю действительность, её все знают, потому читают с удовольствием («легко читается»), узнают самих себя (правдоподобно), но недовольны, как я, и автором, и его романом, хотя не такое простое дело писать роман за романом.

Но дело не в этом. Дело в том – как МЫСЛИТЬ о недавно прошедшем. Автор, как и его друг Салабин, – человек непонятный: ни ругается, ни рыдает, ни смеётся – он мыслит в общепринятом русле без всякого напряжения, специально воссоздаёт беллетристическую картину жизни для массового читателя. Чтобы «легко читалось»? Автор ещё более расслаблен, безволен, безынициативен, чем его «герой». Когда всё развалилось, он направляет «героя» к библейским проповедям, – ещё больше смиряться? «Герой» и так

смирный дальше некуда. Автор смирнее любого смиренного. Неужели он не видит никакого другого пути для людей? По-моему, преступное *неуважение* к человеческой личности после "вежа" Просвещения и почти "вежа" Атеизма.

И что наши писатели всё обращаются мыслями назад – подумали бы вперёд, увидели бы больше хорошего: мысли о будущем не портят лицо разочарованием. А мрачное прошлое противно выглядит на всей фигуре.

Душевно-духовная расслабленность пошла от вековой заданности мысли: за смелую мысль сжигали на костре, вешали, четверговали, сажали в тюрьму, загоняли в лагерь. Отучили людей мыслить – зомбировали проповедями. Это вошло и в плоть, и в кровь, и в гены поколений.

Литературе как искусству нет никакого дела до «реальной действительности», она создаёт свою ХУДОЖЕСТВЕННУЮ картину с героями-персонажами – произведение ума, воображения и оригинального осмысления Писателя, поднявшегося над действительностью.

Может быть у нас такой Писатель?

Должен быть! Обязан. Такой великой стране нужны нерушимые сокровища: основательный дом гражданина и цитадель писательского духа для самостояния человека! Как же содержать огромную страну без воли и энергии в людях? Нельзя предавать и сдаваться. Писатель может знать выход из постоянного тупика – путей может быть больше, чем два, три, четыре... Когда же придёт НЕВЯЛЫЙ Писатель?

Этот будущий писатель знает: если своему персонажу покажет для мысли один, два, три пути – значит, снова обманет читателя. В жизни ходов больше, чем на шахматной доске, а в его творческом воображении мыслительных вариантов больше, чем он знал до сих пор.

Не только речь о писателе, любой человек, если он сумеет **ОСТРАНИТЬСЯ** от накопленного в себе количества булыжников из мнимых вер, сомнительных знаний и неудачных опытов, откроет в себе кладёзь **НОВЫХ** мыслей о жизни и о себе, тем и заполнит вечную духовную пустоту.

Собственное мышление должно стать популярным, внушать веру в самого себя.

Мыслей о будущем так не хватает! Пусть идеализм, утопизм, даже присущая нашим писателям наивность могли бы сгодиться для выхода из современной духовной стагнации.

Серьёзное дело писать роман в период, когда читатель не верит, что писатель скажет что-нибудь новое, а прошедшее он давно знает сам. Хочется, чтобы современный писатель был смелее и мудрее любого читателя.

Но, видно, придётся ещё пострадать-помучаться...

14 дек. 2016 г.

СПб

Александр Медведев

ШТРИХИ И СТРОКИ

(Странички из дневника)



Поль Клодель, рассуждая о Голландии, лишённой яркости, экспрессии в отношении линии горизонта, навёл на мысль о неслучайном сосредоточении многих на фантастическом облике Петербурга. Он определён в родстве с Голландией по части проникновения фантастики в реальность без всяких «вдруг». Для «вдруг» нет места, негде затаиться. Горный кряж, ущелье, овраги, обрывы – нет таких кулис для засады. Фантастическое плавно сочится в реальность. Стройный полонез архитектуры XVIII века твистом отражений гримасничает в гранитной раме.

По пути в мастерскую шёл по ул. Достоевского, затем по Свечному переулку. Многие дома испещрены граффити на уровне человеческого роста. Формы, не сообщающие ничего. Тайные знаки об очевидном, об отсутствии почвы и горизонта. Что говорят бессмысленные письма об авторах? «Вот мы». Замысловатость мычания. Агрессивная безглаголица под эвфемизмом *Street art*. В сущности, то же и в выставочных залах.

Человек может опозитивировать всё на свете. В спальном районе увидит он красоту многоэтажных коробов, гигантских ячеистых упаковок человеческого материала. Игра света – солнечного, лунного – великая вещь, свет – тончайший декоратор.

Паника культурного человека, вызванная стремительным падением уровня культуры и искусства 1990-х годов, сменилась оцепенением 2000-х, когда подозрение в необратимости явления стало убеждением.

Культурные произведения сегодня выглядят авангардными в сравнении с анти-культурным «современным искусством».

Интерес к классическому искусству широких масс традиционно под-держивается любопытными сведениями о странностях, чудачествах, перверсиях (половых извращениях) творцов. Художник Зевкис «торговал» Еленой, просмотр скульптуры стоил денег. Пигмалион «по-настоящему» любил статую Галатеи. Леонардо интересен в первую очередь благодаря куратору нижепоясного космоса Фрейду и писателю-декодировщику Дэнэ Брауну. Уайльд, Сафо... И сколько бы ни цитировались строки Пушкина *«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, В заботах суетного света / Он малодушно погружен... / И меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он»* и слова о великом человеке, который, если и подл, то не подлостью черни, публика снова и снова припадает к замочной скважине пикантных подробностей биографий великих.

Изумление перед красотой. Изумление – начало философии.

Профан говорит: самовыражение; профессионал по тому же поводу: отсебятина.

«Кисть, как бы ловка она ни была, должна быть скрытой, – писал Энгр, – в противном случае она мешают иллюзии и всё заволакивает. Вместо изображённого предмета она показывает способ, приём; вместо мысли – она избличает руку».

Лессинг в драме «Эмилия Галотти» писал, что лучшая похвала художнику, когда перед картиной забывают о её авторе. Здесь – о технике, о манере, чего не должно быть заметно или не должно быть много. Толстой определял низшую степень мастерства «техникой».

Красота прежде всего – порядок, целесообразность, а именно их-то и недостаёт в мировоззрении современного человека. Замусоленные цитаты классиков – «Красота спасёт...» – смешны стройным, татуированным с головы до пят, русоволосым и голубоглазым девушкам и юношам с кольцами в носу и кофейными блюдцами в ушах.

«... в 1399 году во Франкфурте матросам поручают избавить город от безумного, который расхаживал по улицам нагишом...» (М. Фуко. История безумия в классическую эпоху)

Через 600 лет в Москве появился человек, не только расхаживающий нагишом, но изображающий собаку. В 2007 году в городе висели баннеры с его именем по-английски, выставка проходила на трёх этажах ЦДХ при пустых залах.

Обычай изгонять безумцев и прокажённых объяснялся тем, что в них видели живое присутствие смерти. Их отправляли в паломничество, символическое путешествие на поиски разума. «Корабль дураков» отнюдь не только аллегория Брандта и Босха, такие корабли встречались на реках Европы.

Люди всегда интересовались чрезмерным, ужасным, безобразным и смешным. Современный шоу-бизнес не ушёл от балагана с глотателями огня, бородатыми женщинами и шутами. Театр тянется к изначальному площадному зрелищу. Софокл, Мольер, Чехов – это в параллель балагану для узкого круга о слишком тонких материях.

Не усердствуй народ в приближении конца света, ему бы не особо помогали в этом, а так – милое дело – подтолкни падающего! И что, художник способен предотвратить падение? Ничуть. От него можно лишь ожидать весёлых песен, как в «Пире во время чумы» Пушкина. Но таких героев не много.

Живопись – это касания. Между предметами, между ними и фоном. Цветовое и тональное касание форм создаёт пространство, даёт понятие о среде: плотная, лёгкая, воздушная. Именно решение вопроса касаний делает живопись живописью. То, что на бумаге акварелью написано – не живопись, – эта прописная истина несостоятельна. Краска и поверхность изобразительного поля важны, но не они решают, живопись ли это. Древнекитайская живопись

сделана тушью на бумаге и шёлке. Кроме того, касание следует понимать и как прикосновение к каким-то темам, традициям, и к вопросам, кажущимся вне традиции, – хотя таковых, наверно, нет... даже самые новые вопросы в своей сути сводятся к изначально неразрешимым.

Бодлер писал, что француз, вместо того, чтобы быть художником, становится философом. Этому искушению подвержены не только французы, философствуют немцы, американцы. Русские? Но у русских нет философии! О, русские начали философствовать с кистью в руках одними из первых. Кандинский, Малевич, Филонов... взрыхлили почву декоративно-философского искусства, засеяли её восхитительными «генно-модифицированными» культурами, взрастили живопись не для глаза, для мозга. Они – живописнейшие философы, грандиозные утописты искусства будущего. Касаясь тем бытия и небытия, они уверяли, что взаимодействуют не с темами, а напрямую с бытием и небытием. И среда... какую среду они создали? Мегаломания строителей воздушных замков – для одних, реальное обогащение – для других. Насмешка над нищими Малевичем и Филоновым!

Желание богатых вложить деньги в живопись известных художников способствует живучести мифа о колоссальной работоспособности старых мастеров.

Не могла Джоконда улыбаться, как рекламные девушки. Звери показывают зубы, предупреждая, не тронь меня, я могу причинить тебе боль! То же и оскал современного человека: посмотри, я богат, значит, могуществен! Джоконда была богата. Однако когда Леонардо писал её, зубов не вставляли, а пломбы делали из твёрдых пород дерева. Они разбухали от влаги и окончательно раскалывали зубы – попробуй, улыбнись экранно. Так появлялись обворожительные полуулыбки.

По радио история супружеской пары. Художники, за восемьдесят, живут в Англии, превратили квартиру в мастерскую и изготавливали предметы, которые их сын выдавал за древнеегипетскую скульптуру, саркофаги... Эксперты Британского музея принимали имитации за подлинники. Каким-то образом фальсификаторов разоблачили (с кем-то, видимо, не поделились), суд приговорил их к году тюрьмы.

Эксперты! Помню рассказ Юрия А., он делал копии различных документов для музейных экспозиций. Чтобы ценная книга или рукопись не выцветала в витринах, не портилась от колебаний влаги и температуры, не говоря о краже, музей заказывал копию в Комбинате живописно-оформительского искусства.

Когда Юрий принёс копию с какой-то газетной страницы, музейщица обвинила его в мошенничестве. Раздобыл подлинный экземпляр газетного номера и хочет получить деньги, выдавая подлинник за копию! Что может быть лучшей похвалой делу мастера, как не её заблуждение? Юрий нашёл соответствующую бумагу, скопировал не только текст, но и воспроизвёл

механические повреждения, сымитировал утраты, словом, создал неотличимого двойника. И только под лупой можно было увидеть доказательство рукотворности, подпись художника среди газетного текста. И сделал он это чудо акварелью «Ленинград» и беличьими кистями фабрики города Подольска.

Переводами звуков в цвет занимался композитор А. Скрябин, художник В. Кандинский. Поэты знают о трудностях перевода стихов на иностранные языки, многие считают это попросту невозможным. Как же тогда переводить язык звуков на язык цвета, если это разные системы восприятия?

В коридоре перед галерейными залами низкий потолок, и табличка: «Берегите голову». Актуально при встрече с продуктами «современного искусства».

Импрессионизм показал, что видит человек, спящий с открытыми глазами. Картинка как таковая, без осмысления.

Коварство – связано с ковкостью; ковалю присуща хитрость, знание. Кузнец куёт, изменяет форму.

Рассказывал Г. Р. После войны пожилой художник говорил:

– Хочешь посмотреть Париж? Чего проще! Вот тебе три копейки, садись на трамвай – и на Петроградскую. Тот же Париж. Художник бывал там до революции.

Сюрреалисты по-своему истолковали теорию психоанализа: из средства лечения психопатических состояний превратили её в составную часть теории творчества. Психопатия, по их мнению, основной элемент творчества.

Экспрессионисты утверждали примат выражения над изображением.

«Он время от времени прикладывался к кувшину, чтобы подумать и при этом выпить, а потом снова выпить, уже не раздумывая». Таким виделся Гейне творческий процесс голландского художника Яна Стена.

Мерило таланта – результат. Это противоречит распространённому мнению, что в искусстве главное процесс.

Старое искусство, новое... Так можно говорить о продуктах – не просрочены ли? Искусство вне времени, ибо показывает возможность человеческого духа и мастерство.

«Искусство говорит новым языком». Можно ли изобрести новый язык? Какое-то наречие, жаргон – да. Изобрели эсперанто. Язык посвящённых. Молодёжный жаргон.

Много страниц русской литературы исписано в ожидании нового человека.

Придут новые люди... А приходят всё почему-то «новые русские», анекдотичные, хищные, злобные, недалёкие. Заходят и в искусство.

У Гегеля: «Предметы пленяют нас не потому, что они так естественны, а потому, что они так естественно сделаны». Это о живописи. Исчерпывающий ответ для способных понять, в чём отличие инсталляции – яблоко на столе – от живописи, *изображающей* яблоко на столе.

Замысловатые каракульки, формообразования из отходов промышленности, продукты жизнедеятельности человека, странные жесты на грани и за гранью хулиганства, всё это есть разновидность арт-терапии. Только особой. Да, её результат – выявление Я в мир. Но если классическая арт-терапия не решает задачу сохранения и развития у пациентов обострённого чувства нарциссизма, то пациенты «современного искусства» внешние методы классической арт-терапии используют для поддержания и доведения до высшей точки чувства превосходства над обществом.

На холсте – человек средних лет, середина колеблется, мазок-другой – и неизвестно, каких лет будет лицо. Самое трудное – собрать воедино детали. В них яркие черты характера, эмоции, мысль, зреющее действие. Но какими ухищрениями подчинить их общей форме, колориту, так собрать и уравновесить, не слишком подавляя и не преувеличивая, чтобы они делали своё дело, подобно шестерёнкам, пружинкам, маятнику в часах, давали возможность стрелкам показывать точное время, чтобы подспудная работа механизма не выпячивалась, не заслоняла циферблат? Так ведь и циферблат – не монолит: цифры кружевные, изгибаются, отталкивают стрелки, будто вёсла опускают в реку времени. И вся эта картина прикрыта прозрачной субстанцией. Блики, отражения, рефлексии крошат поверхность стекла, вздувают, взрывают. Тысяча деталей. Где точка, с которой можно увидеть подлинное время – лицо портретируемого?

Кто-то увидел в деталях дьявола. Действительно, он разводит, разделяет, крошит, не терпит целого.

Поработав в мастерской, пошли со Светланой по Кузнечному на Владимирский, свернули в Графский переулок, вышли на Фонтанку и по набережной двинулись к Неве. Было уже начало десятого, когда мы вошли в Летний сад.

Запах молодой листвы и сирени. Воскресный вечер, много людей, у фонтанов скопление. Светлана вспомнила картины Ватто, глядя на высокие стволы, опущенные листвой, на сочащуюся сквозь неё синеву. Я всматривался в статуи, они особенно белы на тёмной зелени.

У лебединого пруда – пение птиц, глубокая тень в кронах.

На Троицкий мост воскресный вечер привёл велосипедистов, похоже, даже из самых отдалённых районов. Спицеколёсные одиночки и группы оживляют картину потока людей, пеших и заключённых в стекло-металлические шкатулки, часто музыкальные. Правда, и велосипедисты встречаются музыкальные.

В одиннадцатом часу возле метро «Горьковская» струнный квартет, молодые музыканты играли что-то своё. Нехитрые гармонии и приёмы игры тёплым дождиком снимали духоту дневной какофонии города.

Скульптура Павла I в Михайловском замке. Вольно ли, нет, получился более жертвенник, нежели престол. Осанка не императорская, в отличие от изваяния в Павловске перед дворцом. Вероятно, сильно влияние зловещего места, потому и поза раздавленного паука. И, конечно, мощное воздействие освещения, отсюда обилие деталей создаёт впечатление паутины, опутывающей Павла. Сооружение ждёт собственную «медную» легенду. Дождётся ли?

Пётр I посещал Муром, молился Петру и Февронии. Так же, как и легендарный Пётр, царь взял в жёны девушку из простонародья.

Есть люди, выбирающие между Иоанном Кронштадтским и Распутиным – Распутина. Внешняя театрализация, быстрая усвояемость правды подкупает скорее, нежели что-то подлинно глубокое.

О диетической жизни грезит прекраснодушный интеллигент.

Немецких романтиков интересовал исключительно их внутренний мир; смысл жизни сводился к поискам индивидуальности в собственных глубинах, – в этом патетика всего земного, писал Шеллинг. «В нас самих или нигде заключена вечность с её мирами», – уверял Новалис. Шеллинг расстался с философией ради прелестной мистической интуиции. У Шеллинга кончается философия и начинается поэзия, изрёк Гёте и, не в силах сдержаться, пояснял: «я хочу сказать – глупость». И развёл руками: «Но здесь-то он и встречает наиболее громкий отклик у толпы пустомель...»

Немецкие романтики слишком серьёзно относились к расплывчатому вдохновению, смысловым туманностям, энтузиазму одухотворённости, владея лишь химерами смысла. Людвиг Тик принимал растроганность за вдохновение. Прислушаться к Гёте, так немецкий романтизм выйдет программой завязятых дилетантов, прикрывающих прекрасными намерениями нежелание сосредоточиться. Почему в таком случае говорят о загадочной русской душе, о присущем русскому человеку витанию в облаках и о сумрачном германском гении как об исконных противоположностях?

Вспомнилась сентенция: «Как мог народ Гёте и Шиллера, Бетховена и Моцарта дойти до газовых камер, потерять человеческий облик и творить неимоверные зверства?» Жестокость какого-нибудь африканского племени, получается, объяснима: у них не было Моцарта. А жестокость немцев – необъяснимая случайность, внезапное помешательство? И жестокость французов, народа Мольера, Ронсара – также необъяснима (Варфоломеевская ночь, «революционные свадьбы», гильотина, Алжир...)?

Велик соблазн соединить гения и народ, среди которого он жил.

«И можно ли сказать, что всякий немец есть Шиллер? – Спрашивает Гоголь М. П. Балабину в письме из Рима от 18(30) мая 1839 г. – Я согласен, что он Шиллер, но только тот Шиллер, о котором вы можете узнать, если будете когда-нибудь иметь терпение прочесть мою повесть „Невский проспект“». Гоголь пишет, что он описал немцев прежде, чем узнал их. Это были выдуманные немцы, навеянные философией, литературой, искусством.

Попад в Германию, он не обнаружил ~~страны~~ в ней сказочной страны Гофмана. «По мне, Германия есть не что другое, как самая неблагоприятная отрыжка гадчайшего табаку и мерзейшего пива». Можно представить, в каких выражениях и что ещё мог бы добавить Гоголь, не адресуй он письмо молодой особе. Поэтому он не решается развивать тему «мерзейших» германских впечатлений. «Извините маленькую неопрятность этого выражения. Что ж делать, если предмет сам неопрятен, несмотря на то, что немцы издавна славятся опрятностью?»

Зелень насыщается солнцем, загорается. Рыжее, коричневое, чёрное. Почему золотая? Стадии окисления, ржавчина.

В сарае с антресолей достал лист железа, тонкий, звенит. Любуюсь охристыми разводами по синеве. Были протечки крыши, капало на лист.

Подошёл к кусту декоративных ромашек. Цветы шевелятся, пчёлы их начёсывают. Среди оранжево-коричневого бархата садовых ромашек и бурых спинок пчёл – яркой осиною раскраской – шершень. Тоже пыльцу собирает? Не намерен был рассматривать жизнь насекомых в кусте ромашек, а стою, не уйти. Шершень покружил и уселся рядом с пчёлкой. Лентяй, станет её пыльцу подьедать? Шершень пыльцу крыльями смахнул и – хват пчёлку, подцепил и взлетает. Тяжеловато, хоть и здоровяк пред ней. Медленно снялся с куста и к жасмину, тычется в листву, скользко. Перелетает к сливе. Я иду за ним сантиметрах в сорока, всё как на ладони: шершень летит и пчёлку лапами сжимает, не даёт выскользнуть. С третьего раза уселся на сливовый лист и мгновенно пчёлку раскромсал.

Половина сентября, дни тёплые, светлые. Тишина звенит утром. Слышу ли в городе тонкий звон или он заводится лишь в деревянных стенах? И что звучит на шестнадцатом этаже? Этой весной над крышей соседского балкона голубиное гнездо появилось. Просыпаюсь под глуховатое однообразное клокотанье. Городскому голубиному – гул самолётов на даче перекрёстной симметрией. Он не слишком часто оттеняет синичий щебет, карканье, стук дятла, – каких только птах здесь нет! Белка где-то рядом, часто навевается, тут ей и шишки еловые, и косточки сливовые, не знаю, может, и ягоды ей? Красная и черноплодная рябина налитая гнёт ветви.

Говорят – не надо песен! *«Только песне нужна красота, / Красоте же и песен не надо»*. А. Фет.

Созвучие в словах глас и глаз. Говорить, осмысленно звучать – глас – всего на букву отлично от слова, обозначающего орган зрения. Случайно ли созвучье в словах, характеризующих наши инструменты познания мира? Как мы пользуемся возможностью к голосу природы добавить свой? От гласа – звуков, исполненных смыслов, до глоссололий – звучащих чувств, не поддающихся точному словесному выражению. То же самое и с глазом. Можно просто смотреть на мир – набор пятен, или, включая внимание, мысль, интуицию – зреть, отыскивая образ. Зрение для созревания.

Удивительный голос – и удивление. Проникновенный голос – проникновение.

Ведать – видеть.

Дремучий – от «дремать».

Часто многоточия «психоанализируют» текст, намекают на то, что не проговаривается, и даже на то, о чём автор и не думал.

В. Г. нравится моя статья о его книге. Говорит, вначале воспринял критику настрожённо, но, вчитываясь, всё более соглашался с замечаниями. Удивляется, как художник по образованию тонко чувствует филологические аспекты произведения.

По словам Мандельштама, образованность – это школа быстрейших ассоциаций.

Подлинное образование не служит какой-либо цели, его главный смысл в себе самом и, как писал Г. Гессе, оно помогает «придать нашей жизни смысл, истолковать прошлое, быть открытым в бесстрашной готовности к будущему». Он добавляет, что это «одна из важнейших задач изучения всемирной литературы».

И ещё Гессе. «Чтение без любви, знание без благоговения, образование без сердца – наихудшие проступки перед Духом».

Поэт даёт форму, содержание рождается в душе читателя.

Ритм в стихотворении служит своеобразной рамой, отграничивающей произведение от действительности, он – психологическая рама произведения. Ритм как функция обрамления произведения.

Утро дождит. По радио Шопен. На фоне соседского зелёного дома блекнет яблоневая листва. Крыша влажная, а на коньке ворона сосредоточенно выщипывает что-то.

За кофе со Светланой о фильмах А. Тарковского. Он нашёл способ говорить о человеке и о сверхчеловеческом языком Брейгеля и Баха. Музыка и живопись позволяют рассматривать Тарковского режиссёром-философом. Что они в его высказываниях – цитаты? чужие мысли и чувства, становящиеся своими? знаки, заменяющие слова, жесты, мимику, игру актёра?

Поэты похожи на деревья. Этот – резной клён, прямой и хрупкий, та – ива в серебре мельчайшей дрожи-скорописи на ветвях гибких. Поют, шумят, скрипят. Мы по листику берём стихи, строки, сплетаем венки или кладём отдельные листы среди страниц книги жизни, чтобы, листая, остановиться вдруг и прочесть забытое, забываемое.

Андрей Белый. Дионисийствовал в танцах в Берлине, пал, пронзённый стрелой Аполлона в Крыму.

Сначала события, затем слова. Так у людей: слово – это реакция на что-то. У Бога – слово вначале.

А. Б. прислал ссылку на радиопередачу о литературе, в том числе для детей, о целесообразности запретов. Участник Р. К. высказался убрать Салтыкова-Щедрина из школьной программы: у него Россия – Город Глупов. С такой точки зрения разве не Dumbsburg – Германия, а Англия не Idiotstown? Едкий он неумеренно, хотя писатель даровитый. Р. К. гнал и Горького. Ему вменяют благословение Соловкам и Беломорканалу, проданся большевикам... Надо смотреть сквозь покрывало идеологии, надо разобраться, что скрывал, что выставлял Горький. И потом, что Горькому показывали на строительстве канала? В селе Учма под Угличем есть местный музей быта, в нём я видел отдел, посвящённый работам заключённых на стройках народного хозяйства. Там представлены различные документы, отчёты, сметы, воспоминания. Удивительно, но труд зэков оплачивался в начале их использования на стройках. Длилось это не долго, но было. Поэтому, неизвестно, что и кого показывали Горькому.

В 1906 году он критиковал постановку «Бесов» во МХАТе, считал её пасквилом на революционеров. В то же время в статье о Достоевском много дельных мыслей о писателе, о котором чаще всего говорят в превосходной степени из-за его гениального показа русской души. Гений больной души, это увидел Горький и не отвёл глаз.

Думаю, мало кто из героев Достоевского не примкнул бы к большевикам из богоискательства или богоборчества и потому как широк человек. Горький и сам не узок, его «Буревестник» взвился не только до середины Днепра, но бросить вызов бесконечности. Разве среди персонажей Достоевского нет готовых за «слезинку ребёнка» залить кровью поднебесную, как готов был В. Белинский? Царствие Романовых началось с казни «ворёнка», малолетнего сына Марины Мнишек, и закончилось казнью отрока-царевича.

Заговаривают о ком-то – «совесть нации», стоит насторожиться, не большая ли это совесть отдельного человека, которую готовы приписать народу, сделать её отличительной особенностью народной души. И народ как будто не прочь её принять?

По теме запрета книг детям, юношеству. Кто-то сказал: библейская история началась с запрета вкушать плодов с древа познания.

Статья Горького «О Карамазовщине» начинается фразой «После „Братьев Карамазовых“ Художественный театр инсценирует „Бесов“, – произведение ещё более садическое и болезненное».

Очевидно, качка революции 1905 года заставила Немировича-Данченко присмотреться к Достоевскому, тогда как ещё недавно, пишет Горький, «„Бесы“ считались пасквилом», из одного ряда с «Панурговым стадом» Вс. Крестовского и «прочими пятнами человеконенавистничества на светлом фоне русской литературы». Сегодня «Бесы» уже не рассматриваются пасквилом, – пророческая книга. Время объявить таковой книгу Крестовского ещё не настало, хотя в ней те же бесы русских революций, правда, конкретней выявлена фабрикующая их преисподня.

Выводя «дьяволов от революции», пишет Горький, Художественный театр способствует забвению людей от революции – честных, бескорыстных, и «поможет дремлющей совести общества заснуть крепче». Положим, Горький не ошибался насчёт бескорыстных революционеров – благими намерениями они мостили дорогу в светлое будущее, и озарял её ангел света Люцифер. Насчёт глубокой дрёмы общества не ошибался Горький, оно проспало революцию.

«Неоспоримо и несомненно: Достоевский гений, но – это злой гений наш. Он изумительно глубоко почувствовал, понял и с наслаждением изобразил две болезни, воспитанные в русском человеке тяжкой и обидной жизнью: садическую жестокость во всём разочарованного нигилиста и – противоположность её – мазохизм существа забитого, запутанного, способного наслаждаться своим страданием, не без злорадства, однако, рисуясь им пред всеми и пред самим собою. Был нещадно бит, чем и хвастается».

Хвастаются. Такое впечатление возникает от нескончаемого плача поэтов и писателей-патриотов по заброшенной деревне, разрушенному храму, по незадавшейся судьбиншке чудика шукшинского. В этих вздохах, всхлипах – проросшее зерно болезненного внимания Достоевского к существу, наслаждающемуся страданием. Оплакивающие покосившийся плетень, поражены цветовой слепотой, наследованной от Некрасова, смотревшего на жизнь Руси сквозь чёрные очки мнимого слепца. Им свойственно галлюцинозное, извращённое восприятие народа, идущее от Салтыкова-Щедрина. «Лазаретная поэзия», говорил Гёте ещё до Некрасова и Достоевского о любителях пролить слезу на расчёсанную рану.

Ездили со Светланой в Царское Село к А. К. Также был и о. Николай М. Он вспомнил мысль Достоевского из «Дневника писателя»: в то время как Европа была поглощена всевозможными изысканиями в области технической стороны жизни, русские занимались охраной границ и расширением территории. Европа же часто перекраивалась. Чем это не русская идея, – заключил о. Николай, – сохранение земель! Да, того комфорта нет, что в Европе, однако жить можно, земля своя, а на ней, худо-бедно всё ж живёт себе русский человек!

Дом А. К. подле Баболовского парка, туда мы со Светланой и отправились после встречи. Набрели на полуразрушенное кирпичное строение с громадной гранитной чашей внутри. Захотелось узнать, что это за сооружение. Я сказал:

– Где вы, экскурсоводы, гиды, кто бы рассказал историю здания?

Мимо шёл человек с полиэтиленовыми пакетами, я спросил, что знает он о загадочном объекте. Он словно за тем и появился, начал рассказ подробно со знанием дела.

– Вы точно экскурсовод или научный сотрудник музея, так обстоятельно излагаете, – заметил я.

– А я – директор чаши, – отрекомендовался Олег Николаевич Фишер, – не один год занимаюсь сохранением уникального памятника, произведения Самсона Суханова.

Архитектор Екатерининского дворца по его просьбе сделал крышу из кровельного железа над ротондой. Любую другую работу по сохранению Баболовского дворца Екатерининский дворец-музей не будет делать, поскольку объект музея не принадлежит.

О. Н. Фишер живёт в Москве, каждое лето приезжает в Царское Село, разбирает лесенки, приспособленные шпаной и бомжами забираться в чашу и жечь в ней костры. Угроза раскола чаши из-за неравномерного разогрева – реальность. О. Н. вспомнил, что в конце 1950-х–начале 60-х парк города Пушкина охранялись.

Поблагодарив рассказчика, мы отправились бродить по парку, потом через шоссе перешли в Александровский парк и вышли к Фёдоровскому городку. Было восемь часов вечера. На поляне неподалеку от стен городка три человека готовили к взлёту зелёный воздушный шар. Сначала вентилятор гнал воздух, потом в отверстие шара полетели огненные залпы, горячий воздух отрывал шар от земли, но положение контролировали специалисты. Когда шар окончательно принял форму, в корзину забрались двое мужчин и девушка с фотокамерой. Шар быстро поднялся и двинулся в сторону Александровского дворца. Я сделал несколько фотографий на телефон.

О Баболовском дворце и чаше Светлана сказала: «Это у нас маленькая египетская пирамида, но в...» – в плачевном состоянии, смягчил я концовку её конкрушённой реплики.

Пробовал написать рецензии на книгу стихов А. Л. За что зацепиться, не знаю. Есть удивительные цельные стихотворения, напоминающие молитвы, и есть похожие на частушки. Лирический герой – солдат иного бытия, таково определение автора. Многие стихи о несчастной любви, о доле одинокого мужчины. Трудно сказать о нём – холостяк, т. е. сознательно бытующий без семьи. Герой мечтает о женщине, с которой можно было бы связать судьбу. Этого не происходит. Его круг – поэты, писатели, среда не самая подходящая для поиска спутника жизни. Кто ж согласится быть спутником, все видят себя как минимум планетами.

Стихи очень личные, изливается наболевшее, здесь и трагедия, и мелодрама, как писать о них? До рассуждений ли тут об особенностях ритма, о блестящих рифмах, о вводящих в оторопь парадоксах? В стихах – размышления, хвастовство, даже угрозы – то ли судьбе, то ли надменной гордынке, измучившей героя, оканчиваются причитаниями: почему я такой непутёвый? За кручиной – вызов: да, я такой!

Тягостна служба солдата иного бытия, грустны, в основном, песни, даже разухабистые и те с начинкой тоскливою. Может, есть доля юродства в образе служивого? Беззаветна присяга его безответной любви. Не жестоко ли прозвучит: вдруг нужна она ему для обострённого чувства Бога, родины и – одинокой своей жизни?

«Он шёл на Одессу, а вышел к Херсону», «Метили в коммунизм, а попали в Россию», «Хотели как лучше, а получилось как всегда»... Да что ж это за люди такие? «Семь раз отмерь, один отрежь» – не для них.

Боже, как грустна наша Россия!» – сказал Пушкин по прочтении первых глав «Мёртвых душ». «Грустно на этом свете, господа» – подытожил Гоголь.

Базаров («Отцы и дети») не лишён сходства с Фомой Опискиным, героем «Села Степанчикова» Достоевского.

Базаров: «Я человек бедный, но милости до сих пор не принимал».

При этом – нахлебник у Кирсановых, Кукшиной, Одинцовой.

Трактовка образа Базарова традиционно положительная, хотя в романе, по мнению М. Н. Каткова, последовательно выстраивается образ героя «праздно-мыслия и пустословия».

Базаров – агрессивный «маленький человек» русской литературы, поставивший на наглость как на психотропное оружие, парализующее волю общества для адекватной реакции на наглость.

«Хочу всё знать!» – общий девиз радио и ТВ-программ для детей и юношества в советское время. Теперь для детей и взрослых он оптимизирован – «Хочу всё!»

Стоит ли как-то выделять юмор в литературе? Писатель-юморист часто не ощущает грань пошлости, но именно её безграничья от него и ждут. Л. Б. пишет: «А юмор редкое качество во все времена, и я всегда обращаю внимание: юмористическое письмо вмещает и требует больше творческой энергии, чем повествовательная проза». Пример Гоголя говорит обратное. Попытка сойти с утоптанной дороги юмора обернулась блужданием в пространстве жизни подлинной, а не творимой юмористом.

Л. Б. пишет: «... в 80–90-е все научились и стали сплошь иронистами, конечно, не без влияния прозы Г. и К.». «К., кажется, первым выразил неожиданное мнение, будто, воспитанные на русской классической литературе, мы ею испорчены, находимся под её гнётом. И это мешает нам вырваться вперёд, ввысь и в другие стороны...»

Нахождение под гнётом можно рассмотреть и с точки зрения квашения капусты, она тоже под гнётом, периодически её ещё и протыкают, чтобы выпустить дурной воздух. Капуста, в конце концов, становится восхитительно вкусной. Только под гнётом классики и вырабатывается подлинный вкус.

Писательница о художнике А. Д.: «... рыжеватые усы на верхней губе». Усы ещё где-то растут?

Её конёк – благословенные 1960-е. «Они (шестидесятники – А. М.) возродили редкий для русской литературы индивидуализм в глухое для мысли время». Интересно, а когда время было не глухое? «Мы рождены в года глухие». Время абсурдно – глухо, а писатели – сурдопереводчики, переводят язык глухоты на язык ужаса. Время таково, что ему некогда мыслить, оно изобретает, предлагает и отвергает, опровергает – дурачит. Да, и это тоже. Время – движение жизни, мысль – движение сквозь жизнь или по жизни, облегчённый вариант. Время глухо к мысли, особенно к мысли индивидуальной, не прогрессивной, не сквозящей явной пользой, не утилитарной. Отсюда часто разделение: о времени и о себе.

Пионеры индивидуальности. Кому-то хочется, чтобы ими были шестидесятники. Можно ли в чём-то быть первым, и сразу поколением первачей? Были всегда те, кто, не провозглашая первенства, заставлял обращать внимание на нечто, мало замечаемое до него. «Читайте старые книги», призывал Шарль Нодье, показав, что чьё-либо первенство есть повторение уже высказанного однажды.

Короткие фразы задают быстрый темп чтения, ощущение лёгкости, текст напоминает конспект, за каждой фразой матрёшки смыслов, раскрывай, рассуждай, но уже без автора, он предоставил полную свободу, относись к сказанному пусть даже в утвердительной форме, как хочешь, как позволяет осведомлённость и вкус.

Л. Б. пишет: «Постмодернизм расчистил дорогу для романов и книг в форме дневниковых записей. Форма предполагает полную искренность, а главное: вопреки авторской отстранённости, близость к пишущему человеку».

Туманная или провокационно ясная фраза будит воображение, вовлекает в сотворчество, возникает множество её интерпретаций. Читатель не заметил, как подставил плечо и несёт увесистый чемодан скрытых смыслов, а писатель належке задорно предлагает посмотреть налево, направо, взять одно, не упустить другое. Может быть, это приём сознательный, пусть читатель не расслабляется, пусть, увлечённый кажущейся лёгкостью письма, поработает – мыслить нелегко, но почему не попробовать?

Л. Б. адепт новизны в литературе и искусстве: «новое слово», «личность автора», «Я» – всё должно быть новым, «Мысль должна обновляться» – чуть ли не в каждом абзаце. Но что есть новое для мысли? Додумывание. То, для чего не хватает времени, сил и, чего скрывать, ума. Какая уж тут новизна!

1960-е. Расцвет советского минимализма. Журнальные столики о трёх комариных ножках, шторы с рисунком, напоминающим облегчённый, уютный вариант супрематизма, треугольнички, кружочки – всё легкокрылое. Громоздкие шкафы и комоды – долой. В спектаклях и фильмах минимум декораций, лучше вовсе без них. Платья? Вместо пышных крепдешиновых – ремейки маленького чёрного платья Коко Шанель. На этом невесомом фоне – «человек идёт и улыбается, значит человеку хорошо!»

Дух минимализма пропитал искусство и литературу шестидесятых, был ли он духом личности? Опять разговор сворачивает в колею «о времени и о себе»?

Минимализм шестидесятых попытался показать сложность простого, хотя, может быть, это была попытка сказать упрощённо о сложном. «Винтовка рождает власть» (Мао). Чем не поэзия? Попробуем развернуть: что такое винтовка? У Хлебникова – «мыслители винтовкой». А власть? Бывает «власть тьмы», замечает Толстой. Ну и так далее, всё менее поэтичной, все обыкновенней объяснения. Почему-то пьесы Чехова – «искусство из ничего» – до сих пор преобладают в репертуаре мировых театров – а что в них нового? Винтовка (ружьё) есть, выстрелы есть, власть... Чехов о власти? И о ней тоже. О власти любви, смерти, о власти предрассудков и желании сказать своё

слово, хотя сказать нечего, просто напомнить о себе, зная, что сказанное несвоевременно (цветы запоздалые), что слова не свои и не своим голосом.

В атаке новизны шестидесятых присутствовало что-то от вихря большевистской культурной революции: борьба с бытом, который только-только начал устраиваться, грёза о будущем – «и на Марсе будут яблони цвести!» Нет терпения обустроить сад на своей земле – неважно, «главное, ребята, сердцем не стареть!» Броски к новизне не позволяют укорениться – «старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути». Шестидесятники не были перекати-поле, странниками ради новых впечатлений, и не «охота к перемене мест» ими двигала. Страна жила интенсивной жизнью, восстанавливалась после войны, укрепляла, развивала науку, промышленность, сельское хозяйство. При этом, удивительное дело, в отличие от американской мечты получения счастья здесь и сейчас, доминировало настроение ещё то – маяковское – «здравствуйте, товарищи потомки!», желание сотворить мечту и для будущих поколений. И контрапунктом пульсировала тревожная мысль: а я сам, как мне жить, кого любить?

Изменяют ли личности мир? Изменяют – свой, это совершенно точно, – «человек, сделавший сам себя» или человек, живущий по воле Божией. Изменить мир? Как, если его невозможно измерить? Бесконечно чувство, реальность, женщина... – понятия, из которых складывается мир. Он неизменен. Во всяком случае, по чьей-либо воле. Иронизировать?

Возле садоводческой колонки тормозит джип. На джипе стикер – страшная собачья морда и надпись: «Осторожно, в машине может быть ротвейлер». Открывается дверь и вываливает пузо, тренировочные брюки, майка, на плече татуировка – осьминог.

Люди делятся на тех, кто называет вещи своими именами и тех, кто называет вещи своими.

Смотрел в сетях отзывы о «Похищении Европы». Полярность такая: «Почитайте книгу Александра Медведева, там всё о современном искусстве ясно и понятно сказано»; и тут же – «медведевская книжка забавная, сам Медведев вроде интеллектуальный фашист, помешанный на Головине, оккультизме и, кажется, алхимии».

Общественность... она и не должна что-то понимать, даром что ли больше и охотней говорят о коллективном бессознательном, чем о примерах общественного сознания?

С. Ш. попросил написать пару абзацев об А. Б. для номера журнала, посвящённого выпускникам литературной студии. Возник образ: Фигаро – здесь и далее везде.

Некрасов о Добролюбове: «... но более учил ты умирать...» Наверно, это косвенная отсылка к Монтеню, к главе «О том, что философствовать – это, значит, учиться умирать», что заимствовано у Сенеки.

Паскаль пишет: от ужасов человеческой жизни люди ударились в развлечения.

Древние зывали: познай самого себя, понимая это так – познав себя, познаешь мир. Паскаль поворачивает мысль на самого человека. Что мир? Что его познавать – бесконечная анфилада дверей, за каждой ещё пространство, множество пространств. Познавая себя, ориентируешься в них, сколь сильно углубляться в суть или предаваться суете, а они часто неотличимы. Мало того, взаимозаменяемы. Единственное благо людей, говорит Паскаль, в развлечении от мыслей о своём уделе. Суть – в суете. Людям так желанна игра и болтовня с женщинами, война, высокие чины, не потому что в них истинное счастье, а потому что людям нужна суета, заглушающая мысли о несчастном уделе. Суета развлекающая. Охота поэтому важнее добычи.

Фраза советской песни «Раньше думай о родине, а потом о себе» осмеяна не раз, между тем она – руководство достичь счастливого состояния. Король, пишет Паскаль, окружён людьми, занятыми только тем, как бы его развлечь и помешать думать о себе. Как бы он ни был велик, стоит задуматься о себе – и он несчастен. Думай о Родине – и ты король: государство – это я! Вот суть счастливого самосознания.

«И вечный бой, покой нам только снится» – отсюда же. Паскаль об этом: люди, смутно угадывающие свой удел, ни от чего так не бегут, как от покоя, и готовы на всё в поисках треволнений. Охота важнее добычи!

Стремиться к покою путём тревог, достичь покоя и тяготиться им, тяготиться скукой. «Без развлечения нет радости; с развлечением нет печали. Из этого состоит человеческое счастье».

Человек несчастен, когда ничто не мешает ему думать о самом себе.

Счастливые часов не наблюдают. Человек предаётся счастью, не замечая уходящего времени, он отсечён от мыслей о конечном своём существовании. Единственная возможность ощутить полноту настоящего (не скорбеть о прошлом, не пугаться будущего), предаваясь развлечению. «Легче перенести смерть без мыслей о ней, чем мысль о смерти без всякой её угрозы».

Станный способ сделать человека счастливым, заставляя его суетиться (думать о здоровье, учёбе, карьере, имении...), не такой уж странный. Отними у человека заботы, он взглянет на себя, задумается, кто он такой, откуда пришёл, куда идёт. И, не ровен час, в панике натворит такого!

«Сколько пустоты и мерзости в сердце человеческом» – выводит из этого Паскаль. Что же наполнит сердце человека?

Вера.

Было у человека некогда истинное счастье, от которого остался лишь знак и призрачный след, говорит Паскаль, и тщетны усилия заполнить пустоту всем, что его окружает. Бездонную пропасть заполнит лишь предмет бесконечный и неизменный, то есть Бог. С тех пор, как человек его утратил, в природе не нашлось ничего, что могло бы его заменить. «Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит» – это о сердце, ищущем покоя в буре. Сердце жаждет не счастья, ищет Бога, даже когда разум не желает в этом признаться. «Думай о Родине, а потом о себе». Если единственная родина – Бог, то так

естественно думать о Нём. Творец сотворил человека, только он может открыть ему его природу. Не в себе самом человек найдёт своё величие и благо – что может найти он в сердце, опустошённом отпадением от Бога? Человек догадывается об этом, потому и бежит от себя, развлекаясь, а на деле прчется от Бога, подобно Адаму: я гол.

Человек оправдывает себя – не пытайся объять необъятное, непостижимое. Но он же не в силах убедить себя, что непостижимое не существует, если оно им непостижимо. «Человек так же плохо знает Бога, как и самого себя». Паскаль говорит о знаках, которые даёт Бог о природе человека и о Себе, остаётся только сделать усилие, распознать их.

Атеистическое – не верь, не бойся, не проси. У Паскаля – сомнение, уверенность, покорность.

Чарльз Буковски: «Стихи – это то, что случается, если больше ничего случиться не может».

Читаю В. А. Тоска по несбывшемуся. Что должно было сбыться, не ясно. Герой В. А. – писатель, описатель себя. Однако есть, должен быть некий предел допустимости себя в другом, хотя бы для разнообразия ритма, колорита. Этого недостаёт героям В. А., они – зеркальное отражение друг друга, слегка запотевшее. Герои живут без напряжения, с ними не происходит ничего, что могло бы выбить их из авторской колеи. Умозрение им предпочтительней действия, даже попыток изменить его на зрение, глянуть вовне, не происходит.

Герои трезвые и в изменённом сознании – идентичны. Их эгоизм непоколебим. Возможно, в этом их цельность.

Описания природы, погоды, очевидно, для впечатления о внутреннем состоянии героев.

Мироощущение лишнего человека, аутсайдера – иностранное слово только затуманивает суть скуки, придаёт особое значение состоянию «вне» – вне жизни.

Социализация героя изначально не удавалась – три попытки поступления на философский факультет. Экзистенциализм В. А. – поэтизация скуки. Лирическое бродяжничество также скучно, как бродяжничество само по себе. Жизнь событийная – фон для героев В. А. Один из них замечает: жизнь бессмысленна. А если так, то стоит ли говорить о ней возвышенно? Но не стоит и вульгарно. Язык героев В. А. поэтичен. Поэтичность выражается в отстранённости. Автор, герои, события, их осмысление, чувствование – всё обнаруживается в параллелях, иногда пересекающихся. Поэтичность рождается в момент «взгляда со стороны» автора на себя и на героя, героя – на себя и на среду.

Письмо В. А. обрывочно, эта манера, пожалуй, заменяет ему ритмическое разнообразие, выступает барьером скуке, не оставляющей попыток втиснуться и развалиться в письме и развалить его.

Флёр грусти, тоски, граничащей с унынием, овевает героев прозы В. А. Природа этого состояния вполне объяснима, отчасти это испарения романтизма,

не улетучившегося с XIX веком. Они соединились с эфиром декадентства. Ни футуристические вихри, ни ровные потоки соцреализма не заглушили и не развеяли пьянящую смесь. Что формирует героя пост-романтического настроения? Один из факторов, если не главный, наличие свободного времени. Также склонность героя к рефлексии – оптимальное состояние, чтобы облечь чувства и мысли в художественно оформленное письмо. Ему, определённо, необходимо свободное время, уединение, всё это наилучшим образом предлагает работа сутки через трое в котельной или охранником.

Что же дало литературе «поколение дворников и сторожей»?

Наиболее полно отвечает герой В. А., пожалуй, лучший представитель, условно отнесённый к этому поколению, тем более что возрастные границы приблизительны, принадлежность к данному виду мировоззренческая. Это вообще «мировоззренческое поколение». Свободное время уравнивается ощущением неприкаянности, осознанием себя «лишним человеком», призванным обострённо воспринимать «свинцовые мерзости».

Какая-то странная тяга есть у обострённо живущих «лишних» видеть неприглядное, вернее, задерживать на нём взгляд. Они любят слова Ахматовой «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда», и вспоминают их, чтобы оправдать погружение в исследование сора. Цветы? Они и есть цветы, что тут говорить. «Лишние» – традиционалисты – и воспринимают жизнь чередой не случившихся встреч, явлений, событий. Всё не то, всё не так. Что не так и почему – герой не в состоянии объяснить. Говорит, есть такие женщины... Да, да, да, оно, сакраментальное – ищите женщину! Чем не ответ на пресловутое «кто виноват?» Перечисляет особенности, признаки, кажется, сейчас произойдёт окончательное исследование некоего типа женщин, как этот тип воздействует на мужчин, на общество, что происходит с ним внутри, какова динамика изменений, что радует, огорчает? Какие жёны, любовницы, матери, дочери, тётки, свекрови – кто ещё? – выходят из этого типа? Но писатель В. А. в компании героя уже переключился на что-то другое. Есть такие люди, готовы вести беседы на любые темы, и даже заданные превратить в любые. Что? Типы женщин Ленинграда 1970-х годов? Пожалуйста! Ленинград семидесятых – это прежде всего ленинградки, женщины с сумками и сумочками – чувствуете разницу? Но не в этом дело... – а далее эти люди будут говорить всё, что угодно, но всё что угодно касается исключительно их самих. Что-то в таком духе происходит с героем В. А.: начинает осматривать и осмыслять женщин, мужчин, одно, другое явление, бросит несколько цепких взглядов, сделает меткое замечание и уходит в сторону, попадает в колено, начинает – продолжает – рефлексию на тему своей отстранённости.

Всякая тема для В. А. – сопутствующая, главная – это трагическое мироощущение лирического героя. Бывает, и часто, в подростковом возрасте чувство трагического чрезвычайно обострено, человека обескураживают несоответствия видимости и сущности вещей. В зрелом возрасте подобные несоответствия того, что есть, с тем, как должно быть, не побуждают к поступкам из ряда вон выходящим, что не редко среди молодёжи, но если «бес в ребро», то пробуждают фаустовские фантазии. Герои В. А. тяготеют к

совмещению этих признаков – подросткового, романтически-критического видения мира с каким-то обидчивым неприятием осознания его скоротечности и изначальной обманчивости. Подростка-романтика обескураживает химера мира. Есть безумцы-храбрецы, державшие в юности изменить мир несоответствий, люди поступка. Герои В. А. ограничиваются обличением носителей несоответствий.

Вчера приходил в мастерскую В. О. Как всегда, разговор о письме: о лаконизме, орнаментальности, о спиральном принципе письма. Он прочёл стихотворение Бальмонта «Я мечтою ловил уходящие тени...» – пример орнаментальности.

Я высказал соображения об его книге. Она о субъективности творца, возведённой в абсолют. Противоречия – контрапункт книги, позволяющий смотреть на творчество непредвзято. Автор наведывается к художнику через чёрный ход, наблюдая творческую кухню-преисподнюю, созерцая художника не от мира сего в миру. Звучит красиво. На деле, жизнь вне мира сего, даже те немногие часы творческого погружения в письмо ли, живопись, открываются ему колоссальными борениями с соблазнами быстрых решений, долгих раздумий. Битва с авторитетами. Компромиссы: вживить явное – самого себя в тайное влияние, ибо литература это – подверженность влияниям в большей степени. И как ты усваиваешь, как на тебя действует чья-то манера, образ мыслей, так ты чувствуешь себя свободным, так тебя воспринимают – независимым, интересным или нет.

Гораций считал сатиру не вполне поэзией, скорее, обычной речью, заключённой в определённый размер. Сатира и комедия не заслуживают названия поэмы. Лишённая стихотворного размера, она ничем не отличается от обыкновенной прозаической декламации. Сатира – плод рефлексии, не поэзия, низкий жанр литературы. Объект её изображения – проза жизни.

Т. Л. подарила сборник статей «На литературном посту». Язвительность – неужели она непременно нужна критику? Разбирать стихотворение молодого автора можно без яда, укажи на нелепости – смысловые, фонетические, ритмические и проч., но при этом выяви хоть что-то положительное, на что автору стоит обратить внимание как на обещание развития, пусть будет ориентир. Если нет и намёка на перспективу, зачем вообще говорить о таком авторе?

В чём можно упрекать поэта? В том, что вместо создания картины, образа, он начинает создавать ритмизированный пересказ, украшенный метафорами, заимствуя впечатление от одного объекта или явления и перенося на другой. Поэзия начинается в образе, а не в пересказе, поэзия – познание чего бы то ни было не посредством формул, а магией языка.

Говорила ли об этом Т. Л.? В чём тогда польза её критики? П. Мамонов вспомнил: «Ты не видел моря, не бывал в лесу, что ж ты так спокоен, стоя на посту?»

С придыханием ревнители исторической памяти рассказывают о жизни русских общин и отдельных русских в эмиграции. Жизнь русских в Париже...

Эмиграция – трагедия, безусловно, но есть тональность, не столько у рассказчиков, сколько у интервьюеров, наводящая на грустные мысли. Восхищение изгнанниками: там, вдали от родины – они сохранили Родину настоящую! А здесь... ну да что здесь! Рассказывайте же скорее, как вы там!..

Благородно, сохранили подлинно русский язык, фотографии, письма, дневники, воспоминания родителей, дым отчества...

«Как ты могла себя отдать на поругание вандалам?» – спрашивал дореволюционную Россию перестроечный певец. Действительно, трудно понять, если твоё зрение избирательно. Откуда вандалы? Всё оттуда же, плоть от плоти народа-богоносца и его элиты. Тяжела шапка Мономаха? Богоносец утомился. И караул устал. Вандалы революции были так же прекрасны в порыве отречения от старого мира, как и перестроечные певцы, актёры, художники, спустя семьдесят лет, отрекаясь от Союза. «Колокольчики» А. К. Толстого – что они против «Колокола» Герцена! Простую мысль трудно понять: государство с жёсткой, подчас бездушной организацией, это неотъемлемая часть родины, и не только нашей, любой.

Писать о России – путеводитель по историческим хрестоматиям, по заброшенным деревням и кладбищам с покосившимися крестами «патриотической публицистики»? Писать о России, значит, о себе, я и есть Россия. Зеркало не обманешь, и пенять на него нечего: Россия – это личная проблема. Заставить говорить о России не «публицистику – не могу молчать!», а орфографию и синтаксис. Они многое могут сказать о любви.

Еду в Калининград. В Белоруссии и Литве – снег. Читаю Юрия Серба. «Каламбургер» – любопытно. Сущности тьмы в недоумении, почему не исчезает синева в глазах людей, у некоторых, во всяком случае, когда, казалось бы, свет в них должен уже погаснуть за ненадобностью. Город жив, пока в нём... праведник или нет, но жив человек со светящимся небом в глазах.

Интересный взгляд на совпадение(?), случайное ли – интеллигенция и «Интеллиджен Сервис», английская разведка, рассматривающая часть российской интеллигенции «полезными русскими». Круговая порука «полезных» – «возьмёмся за руки, друзя, чтоб не пропасть поодиночке». «Полезный русский» – usefulрусский и – мыслящий русский, thinking русский, размышляющий, а стало быть, одинокий (?), взявшись за руки, трудно размышлять.

Возвращаюсь из Калининграда, перечитываю Вячеслава Овсянникова – «Одна ночь», фантастические (не по жанру, по сути) повести из жизни милиционеров. Овсянников в этом цикле – Тарантино рассказа. Фильмы «Криминальное чтиво», «Бешеные псы», «Убить Билла» всплывают в памяти при чтении ментовских блюзов Овсянникова. Зрелищно. Острота преувеличений, абсурд обыденности. Абсурд получает какой-то мистический оттенок, вероятно, влияет манера изложения, незаметным образом скука и пошлость повседневности оборачиваются кошмаром.

В рассказах Овсянникова «ружьё» стреляет – и не в третьем акте, а произвольно, жизнь милиционера возьмёт и оборвётся неожиданно-негаданно. Опасно и общение с милиционером. Скромный страж порядка может

оказаться посланцем параллельного мира, призванным в самый неподходящий момент напомнить, что переход из реального в ирреальное совершается необязательно при зелёном свете. В сказке шапка-невидимка скрывает героя; в рассказах Овсянникова шапка с кокардой служит предупреждением о сокрытии опасного существа в человеке, опасного – для него самого и окружающих. Кажется, что российские фамилии героев есть лишь эвфемизмы двух английских – Джекила и Хайда, настолько ирреальны их поступки. Сплав сна и угарной яви, клубятся фантазмагории, грозя опутать и задушить героя. Микс мелодрамы и цинизма, если смешать воду и масло – «Жизнь в кредит» Ремарка и «Смерть в кредит» Селина, чем-то таким отдаёт кошмарный сон в рассказе «Страдания сержанта Быкова».

Неслучайно возникло упоминание об американском режиссёре ярких зрелищных фильмов. Цикл милицейских рассказов и повестей Овсянникова с нелинейным повествованием, гротесковых в сценах насилия, с превращением банального в экстраординарное – несомненная находка для зрелого режиссёра и пронизательного продюсера. Обидно, что для этой находки не нашлось пока ни того, ни другого.

Магическая революция. Искусство как способ магического преобразования мира. Надо такую книгу написать – пожелал мне В. Ч.

По словам Бодлера, в поэзии сложное единство, где всё пронизано соответствиями, где постоянное взаимодействие звука и смысла. Это взаимодействие образует фонетико-семантические фигуры.

Рифма – лад, композиция – склад.

Б. Шоу, «Пигмалион», пример «редактирования» женщины, и пример того, как женщина-текст отредактировала мужчину-редактора.

«Основное условие существования поэзии – иносказательность в широком смысле».

Смело обращался с историческими источниками А. Дюма, не робко – Пушкин. Как искусно он «оклеветал» Сальери, вывел отравителем Моцарта. А Борис Годунов? На него Пушкин «повесил» убийство царевича Дмитрия.

Для писателя интересен круг вопросов, в которых он хочет разобраться. А чтобы наглядней, берёт документальную канву и по ней вышивает узор историческими личностями. Какие вопросы он затрагивает? В первую очередь, вопросы своего времени и вневременные, конечно, потому что они всегда в тесном переплетении.

Пришвин четыре раза на одной странице называет город – Питером. Словно дразнит снобов, утверждающих, что Питер – вульгаризм, жлобское название. «Поездка в Питер, на свою духовную родину, где я не был почти десять лет, и в самое лучшее для Питера время: весной света – это совсем похоже на волшебное путешествие во сне».

У Бунина в «Митиной любви» эпизод, после которого Митя решается на последний отчаянный поступок, построен на контрасте состояний. На встрече мечты, интимного – с обыденным. Раскрасневшаяся, с ещё не установившимся

дыханием от только что случившегося сонитя, молодая крестьянка спрашивает Митю о ценах на хлеб. У Чехова в «Даме с собачкой» Гурьев, подвыпив, разоткровенничался с приятелем, выходя из ресторана, рассказал о своём чувстве, о «приключении в Ялте». Приятель на это заметил: «Давеча вы были правы, осетрина-то была с душком».

В канун 1905 года И. Бунин писал:
 Я жду весёлых звуков топора,
 Жду разрушенья дерзостной работы,
 Могучих рук и смелых голосов!

Я жду, чтоб жизнь, пусть даже в грубой силе,

Вновь расцвела из праха на могиле...

В 1916 году, предчувствуя, что реальные звуки топора будут невесёлые, но, вероятно, не веря предчувствию, он писал:

Вот встанет бесноватых рать
 И, как Мамай, всю Русь пройдет.
 Но пусто в мире – кто спасет?
 Но бога нет – кому карать?

Дерзость разрушения всё же не замедлила проявиться. «Вскоре были захвачены с поличным два вора. Их немедленно «судили» и приговорили к смертной казни. Сначала убили одного: разбили голову безменом, пропоролы вилами бок и мёртвого, раздев догола, выбросили на проезжую дорогу. Потом принялись за другого...»

«О подобном читаешь каждый день», – сокрушался Бунин в 1918 году в «Окаянных днях».

Удивительное заблуждение – трактовка пробуждения личности в стране, «отравленной наследием крепостничества», в монологах Назанского, одного из героев «Поединка» Куприна.

Возвышенный анархо-романтический запал Назанского, его отвержение христианского милосердия ради грядущей веры и любви к себе, «своему прекрасному телу и уму», начинён алкогольными парами, они изменили сознание некогда незаурядной личности. Абстрактный гуманизм с явным креном в ницшеанского человека, учение, не без доли юмора вброшенное Ницше в угасающий европейский романтизм, воспринят Назанским, что называется, на полном серьёзе. Благо, это учение не требует от человека никаких усилий для возрастания, углубления знаний и практического применения, просто поверь в свою исключительность и в никчёмность окружающей толпы, и ты уже сверхчеловек.

В русской литературе философствующий обличитель – фигура не новая. Чацкий, Евгений из «Медного всадника», Иван Карамазов, Базаров, Фома Опискин... Назанский – тупиковая ветвь этого типа, образ его вырождения. Ум, воспалённый алкоголем и критическим отношением к миру, человек антисистемы, последовательный приверженец отрицательного мировосприятия. Он – отражение людей с завышенными требованиями к обществу, государству, с завышенной самооценкой. Революционно-демократическая критика назвала таких «лишними людьми».

Есть в русском языке два сокровенных слова – на три буквы и на пять. В них ответ на неразрешимые вопросы – тому, кто охоч до решительных действий, и тому, кто в спасительности действий разуверился. Эти слова: нож и водка.

«До чего мне хочется такого львятика. Ты представить себе не можешь, какие у него мягкие лапочки». На фотографии улыбающаяся женщина с львёнком, снимок сделан в берлинском зоопарке. Адресовано послание влюблённому поэту. Женщине льстит, что лев – поэт, мужчина крупный, громкоголосый – в её цепких руках, ластится к ней львёнком. «Мягкие лапочки» – и жёсткая дрессура. Он согласен – «зверик, щен». Это личное. А в общественной жизни претензии поэта на главенствующее место в советской поэзии легко делали его жертвой издёвок и насмешек. Два жёстких поводка держали поэта, делая из льва уязвимого «зверика» – роковая женщина и желание первенствовать в советской литературе.

Прочитал книгу Б. С. Стремление к молчанию. Избавление от сюжета сродни избавлению от мотива в живописи. Кажется, что сама краска (так считал В. Кандинский) выскажет всё, что невозможно высказать, используя для этого какой-то мотив. Так ли это? Удаётся ли подобное художнику? Писателю?

Хороший приём: говорить о молчании, держать читателя в неослабевающем интересе – о чём молчание? Это можно длить бесконечно. «Намолчал немало», сказал В. О., имея в виду множество книг писателя.

Б. С. – писатель для культурного, эрудированного читателя. Такому можно лишь намекнуть, он сам додумает, почувствует, а то и передумает, и перечувствует автора. Для менее образованного такой тип литературы не привлекателен – нет сюжета, нет развития, нет контрастов... В «молчании» писателя есть нечто снобистское?

По поводу книги В. Чернышёва «Любовь как всемирное притяжение». Подходить к христианству с точки зрения морали – оказаться в тупике. Христианство – вне морали, это горение духа. Веру не измеряют разумом.

«Деяния саксов», хроника формирования ранненемецкого искусства, написана в 50–70-х годах X века. Автор – монах Видукинд из монастыря Новая Корвея. Название саксы получили от слова «ножи».

В предисловии к первой книге, «посвящённой госпоже Матильде, дочери императора», «Видукинд Корвейский, ничтожнейший слуга мучеников христовых Стефана и Вита, свидетельствует свою нижайшую преданность, рабскую покорность и передаёт истинно искреннее во имя Спасителя приветствие госпоже Матильде – цветущей деве, сияющей имперским величием и отличающейся исключительной мудростью». В русской традиции – «Ивашка, ничтожный раб...» и т.п. Формы посвящения и уничижительной подписи были выработаны в позднеантичное время и восприняты ранним средневековьем. Обычно подчёркивались почтительность автора адресату и несовершенство, незначительность пишущего.

Маргарита Токажевская

ФИЛОСОФСКИЕ СТИХИ



Редакторы-учредители журнала
Маргарита Токажевская и Мария Амфилохиева

В диком поле нет терпенья,
Нетерпенье есть,
Жаворóнка бьётся пенье,
Нет свободных мест
В зале гулком быстротечном—
Травы, камни, мох,
И не думает о вечном
злой чертополох,—
А оно по нём тоскует,
Вечное своё
Потерять навек рискует
Судеб вервиё...

Ах, ему б чертополошьё
Вольное жильё,
Ах, ему б побиться с ложью,
Плюнуть на жульё,
Прицепиться б к лошадиной
Силе репиём
И скакать дорогой длинной
С лошадьё вдвоём...

Слово вечное, напейся
Синевой и мглой...
Жаворóнка молкнет песня,
Словно бы иглой
Патефонной вдруг царапнет
По сердцу студа...
Вечность вынула арапник...
В поле ни следа...

8 декабря 2015

Во мне никто и кто-то очень важный,
Я не сдаюсь, но притворюсь и сдамся,
Я самолётик маленький бумажный,
Я смесь пещерной глины с декадансом.

Я не творю, я просто вытворяю
Из ничего всё то, что в нём хранится,
Но я твоё творенье предваряю,
Мой свет с небес, глоточек из криницы.

Я смесь полынных запахов, гаданий
На картах мира, чертежах созвездий,
Я – данный дар, но я пришла за данью,
Где главный дан – строка благих известий...
Вот он получен, вымолвлен, оставлен
На поле чести, радости, восторга...
Мой голос сорван, вздох прощанья сдавлен,
Я отступаю за пределы торга...

Во мне никто и кто-то очень важный,
Я не сдаюсь, но притворюсь и сдамся,
Я самолётик маленький бумажный,
Я смесь пещерной глины с декадансом.

Воющим на луну
видно, не выгнать мглу.
Мгла на снега легла
тяжестью синих лап.

Встанет сейчас, пойдёт
задом да наперёд.
Время волков – зима,
время тоску взимать.

Брат ты волкам и сват,
тот же подлобный взгляд.
Целится в лунный кратер
волчий характер.

Время волков – зима.
Знает зима сама,
что по её слогам
письма следов – волкам.

Камни звенят, звонят
в небо колокола,
нет, не волков винят,
просят с небес тепла.

Воющим на луну,
видно, не выгнать мглу.

Поэtron

Эта игра не на выигрыш,
а ради чистой игры.
Все предисловия вырежем
там, на вершине горы.
Выше неё – многоточия
вечностью травленных слов.
Вечность – упрямая гончая,
звёздный охотник суров.
Если играть – то по правилам:
время игры – пустота,
фора – убитым и раненым,
что не свернули с листа...

Ради нескольких славных и странных
Строк – читать длинновёрстную книгу,
Находить утешенье в стараньях
Изменить прихотливому мигу:
Непоседа, играет на нервах –
Дразнит славой, пугает раздором,
Ненавидит дерзания первых...
Быстротечность пустым коридором
Собирает невзрачные миги
В длинновёрстые тихие книги...

Февраль 2016

Не мне тебя утешать, вряд ли я имею на это право,
В шум аплодисментов добавлю акцентное «браво»,
А ночью буду слушать твоё одиночество, как доктор в халате
Когда-то слушал моё детское сердце в саманной хате.
Что он тогда наслушал – ритмию или воспаление ловких
Моих фантазий, текущих как воздух в лёгкие и из лёгких,
Африканских слонов или синих китов... навскидку
Напишу: поймай вместо зелёного паучка улитку,
Поговори с ней, она лучше бабочки умеет слушать,
Хотя иногда и прячет в спиральный домик душу и уши.
И если ты смотришь сейчас на карту своего мира,
А я меняю адреса одиночеств, ключи от квартир и
Семена одуванчиков – на твой взгляд исподлобья,
То, наверное, не зря мерцают в небе звёздные хлопья...

Чтобы душу земную отвадить от плена,
Чтобы сердце ледышкой не билось о стены
Этой тлеющей в космосе головешки,
Наношу на плитуса нервов насечки,
втыкаю слова словно вешки,–
На петляющей дороге они пригодятся,
Чтобы не свернуть с обочины,
бездорожью не сдаться.
Идущая из пункта, противоположного тому,
откуда вышел идущий навстречу,
Помню суть закона несложного:
Душу душе заменить нечем...

Я не хочу медленно и упорно изучать твою душу,
Не хочу притворяться, что мне всё равно, и что я не трушу.
Ты – сложная тема, формула, уравнение,
Лежащее в госпитале моих переживаний о тебе главное решение:
Жизнь – не есть окончание жизни... Мгновенно
Бог ускоряет кровь страданием, она несётся по венам,
И ты живешь, зная, что никто не вынесет за тебя этой работы,
Которую назначили тебе, зная, кто ты.

Плох ты, парень, плох, и ничего не помогает –
Ни игра на собственных нервах, ни ловитва
Человеко- и паукообразных, и свечка прощально мигает,
И ты понимаешь – теперь наступает молитва.
Она наступает, вступает в тебя и сражается
За твою душу... Мохнатые каракурты
В белые гроздья черёмух преображаются.
Внутри тебя работает высшая химия, не надейся на перекур ты,
На песок безверия, в который легко спрятать кипящий рассудок.
Чтобы прогнать молитву –
Не хватит никаких времён, не то что бы суток...

Я опять что-то не то говорила,
Что не принято говорить на публике,
Будто бродила по улицам Древнего Рима
Или вышивала в заплёванном кубрике
Белую птицу на белом... я не то говорила –
Разве могут слова передать такое,
Чего и мысль не умеет изведать,
А только поэт, наклоняясь над строкою –
Почувствовать – свою над незнанием победу...

Идёшь по стеночке больничной,
Минуешь длинный коридор,
Не чувствуя тревоги личной,
А лишь сиюминутный вздор –
Про лис, волков и прочих, что там,
Палата, белая герань –
Согласно Божеским расчётам,
Хоть обижай меня, хоть рань
Презрением и превосходством,
Я не почувствую в ответ
Своим испуганным сиротством
Обиды, злобы, только свет,
Который, пробиваясь трудно
Сквозь щели в стенах и замках,
Сжигает нелюбовей груды
И темень превращает в прах...

Из детей вырастают мужчины,
Одинокие гордые птицы.
Никогда не отыщешь причины,
Почему не хотят возвратиться
Под крыло материнской защиты
В невозвратное детство... Защиты
В уголки детской одежды
Материнские сны и надежды...

12 дек 2016

Погрустить, перегрустить
То и это, то и это,
Словно жёлудь прорастить
И зимой оттаять лето.
Взяться заново за жизнь,
Будто вовсе не бросался
Жизнью. Славься и вершись –
Спеть для жизни гимны-стансы.
Полюбить её за то,
Чем обильно наградила –
За невыстроенный дом
С нереальной струйкой дыма,
За одну из всех наград,
Что светла и днём, и ночью,
Та, чему бываешь рад,
Чем слабей и одиночей –
Эта ласточка в груди,
Радость каждому созданию
Позади и впереди
И заранее...

Захотелось умыть, умыться, заткнуть за пояс,
Разозлили, братан, и борзость твоя, и скользкость,
И рогатых иуд с копытными злая помесь,
И не жди, что спрошу прощенья за эту колкость.

Мы ведь вместе стояли под синим покровом Мати,
Мы ведь пили святую воду из общей кружки,
А теперь ты решил стихи замешать на мате
И на смертных ку-ку побывавшей в аду кукушки.

Расцарапавши палец, думаешь, пишешь кровью,
Разве сам ты не видишь – чёрные буквы смерти
Из под пальцев твоих сочатся и души гробят,
Ты нарушил закон – все слова поверять любовью.

И когда мы лицом к лицу сойдёмся, чужие,
Я скажу тебе правду в ответ на твои пасквёлы –
Как на этой земле святой наши предки жили,
Так и мы проживём, сколько б волки по нам ни выли,
Не предавши ни света Бога, ни пашен отчих,
Ни церквушек своих белёных, ни колоколен...

Ты очнёшься, братан, во тьме, средь иных и прочих,
Этим прочим и этой тьме навсегда угоден...

Хорошо бы не поздно врезать тебе по морде,
И чтоб лживым губам не напрасно твоим распухнуть...
По угодной нечистому пишешь последней моде,
Лучше вымой, пока не поздно, лицо и кухню...

3 июля 2015, 1ч. 15 мин

Ольга Мальцева

НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ



НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ

180 лет вся Россия и всё мировое литературное сообщество с великой скорбью вспоминает этот день – 10 февраля 1837 года, с глубоким чувством разделяя прощальные слова, смело опубликованные в этот день в газете «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду» редактором Андреем Александровичем Краевским: «Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!.. Более говорить о сём не имеем силы, да и не нужно; всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратной потери и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! Наш поэт! Наша радость, наша народная слава! Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть!»

О великом поэте, классике русской литературы, Александре Сергеевиче Пушкине (1799-1837), кажется, известно всё. Есть полное собрание сочинений, переписка, воспоминания современников, исследования литературоведов, краеведов, историков – всё это богатейшее наследие, кажется, должно дать полнейшее представление о великом поэте. Огромный материал о его жизни и деятельности, о его знакомствах и случайных встречах, об увлечениях, об учёбе, о взаимоотношениях в семье и в высшем свете. Собраны не только автографы поэта и письма к нему, но и свидетельства знавших его людей, даже слухи и сплетни. Накоплен колоссальный материал. И всё же, существует целый пласт деятельности русского гения, который остаётся неисследованным.

Предлагаю читателям познакомиться с книгой военного журналиста Сергея Порохова «Секретная жизнь Пушкина» (Изд. «Слово и дело», Санкт-Петербург, 2004).

Удивительный парадокс! «В научных трактатах и статьях практически не уделяется внимания общественной деятельности и государственной службе А. С. Пушкина. А служил он целых 14 лет!» – пишет Сергей Порохов, анализируя факты из жизни великого поэта. Общеизвестно, что Пушкин числился на службе, но сложилось представление, что у него не было никаких обязанностей и дел. Не странное ли представление о русском чиновнике: служить, не служа? Из школьных учебников нам известна отшлифованная биография гения русской поэзии в стандартах советской идеологии 30-х годов XX века, в которой о государственной службе Александра Пушкина обозначался большой пробел, и его ещё предстоит исследовать пушкинистам.

Многие ссылаются на свидетельства брата поэта: Лев Сергеевич в «Биографическом известии об А. С. Пушкине до 1826 года» сообщал случай из жизни молодого Пушкина. В Петербург приезжала просвещённая дама, старая немка по имени Киргоф, имеющая круг общения, принимавшая молодых людей, в число её занятий входило и гадание. Пушкин зашёл к ней однажды утром. Обращаясь к нему, она сказала, что он человек замечательный. Рассказала его прошедшую и настоящую жизнь, потом начала предсказания, сперва ежедневных обстоятельств, а потом важных эпох его будущего. И, между прочим, сказала, что сегодня он будет иметь разговор о службе и получит конверт с деньгами. «О службе Пушкин никогда не говорил», –

вспоминает брат (а так ли это?), конверт получать было неоткуда и гаданию он не придавал значения. А вечером того дня, выходя из театра до окончания представления, на разъезде он встретился с генералом А. Ф. Орловым. У них состоялся долгий разговор, генерал советовал оставить министерство и надеть эполеты. Вечером, возвратившись домой, Пушкин находит конверт с деньгами от лицейского товарища, вернувшего давно забытый картёжный долг юношеских лет. Киргоф также предсказала его ссылку на юг и на север, женитьбу и преждевременную смерть от руки высокого белокурого человека. Пушкин был поражён постепенным исполнением всех предсказаний и сам рассказывал о них.

Молодой двадцатилетний Пушкин не заботился о лестной репутации. В детстве он рос в среде балагуров, в общении отца и дяди. Поэтому у Саши рано проявилось скромное чувство юмора, и обычно он был любимцем любой компании. Складывается впечатление, что свою нелестную репутацию Пушкин создавал сам. Зачем? Потакая чьим-то нравам и убеждениям? Исследователи пишут: «Он сделался идолом преимущественно молодых людей, которые претендовали на отличный ум и отличное воспитание. Такая жизнь заставила Пушкина много утратить времени в бездействии. Но всего вреднее мысль, которая навсегда укоренилась в нём, что никакими успехами таланта и ума нельзя человеку в обществе замкнуть круга своего счастья без успехов в большом свете». Так что, не отрицая честолюбивых намерений молодого человека – блистать, стать известным, – исследователи посчитали, что для поэта в тогдашнем его окружении единственный путь – путь порока. Сколько же и чего надуманного во всём этом?

«Многие тогда сами на себя наклепывали, – подтверждает Ф. Н. Глинка. – Эта тогдашняя черта водилась и за Пушкиным: придёт, бывало, в собрание, в общество и расхатывается. – «Что вы, Александр Сергеевич?» – «Да вот выпил 12 стаканов пуншу!» А всё вздор, и одного не допил».

П. А. Плетнёв, будущий ректор Петербургского университета, рассказывал, что Пушкин по окончании Лицея три года предавался развлечениям большого света и увлекательным забавам: «От великолепного салона вельмож до пирушки офицеров, везде принимали Пушкина с восхищением, питая его славу, которая неотступно следовала за каждым его шагом».

Граф Корф, лицейский однокашник, вспоминал с злобной завистью и осуждением [около 1852 г.]: «...В нём не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств и он полагал даже какое-то хвастовство в отъявленном цинизме по этой части: злые насмешки... Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда ... без порядочного фрака, с беспрестанными историями, с частыми дуэлями, в близком знакомстве со всякими трактирщиками, непотребными домами и прелестницами петербургскими, Пушкин представлял тип самого грязного разврата...» (разврат в православной России – это пустяки в сравнении с нынешнею распущенностью. /Сергей Порохов/).

Вяземский возражал на рассуждения Корфа чрезвычайно решительно: «Насколько мне известно, он вовсе не был предан распутствам всех родов. Не был монахом, а был грешен, как и все в молодые годы. В любви его преобладала вовсе не чувственность, а скорее поэтическое увлечение, что,

впрочем, отразилось и в его поэзии. Никакого особенного знакомства с трактирами не было, и ничего трактирного в нём не было, а ещё менее грязного разврата» [после 1852 г.].

Катенин заметил (1819) характерную черту Пушкина, сохранившуюся и впоследствии: осторожность в обхождении с людьми, мнение которых уважал, ловкий обход спорных вопросов, если они ставились слишком решительно. Фаддей Булгарин также отмечал, что Пушкин, «скрытен в суждениях, любезен в обществе и дитя по душе». В его внешности и увлечениях современники также отмечали: «Физическая организация молодого Пушкина крепкая, мускулистая и гибкая, была чрезвычайно развита гимнастическими упражнениями. Он славился как неутомимый ходок пешком, страстный охотник до купания, до езды верхом, и отлично дрался на эспадронах, считаясь чуть ли не первым учеником фехтовального учителя Вальвиля», и также отлично стрелял. Сын П. А. Вяземского вспоминал, что Пушкин учил его боксировать по-английски.

Как видим, складывались полярные суждения о личности и поведении Пушкина, молодого выпускника Лицея. Послелицейские годы как-то выпадают из биографических исследований. Но знающие Пушкина люди утверждали, что будущие успехи его творчества – это результат самостоятельной учёбы и большой работы над собой в этот период взросления.

Александр был на 7 лет старше брата. В момент выпуска Пушкина из лицея Льву было всего 12 лет, он учился и жил в университетском Благородном пансионе. Через 3 года Пушкин уже был в Кишинёве. Волнуясь о будущем младшего брата, в письме от 21 июля 1822 года он пишет: «В службе ли ты? Пора, ей богу пора. Ты меня в пример не бери – если упустишь время, после будешь тужить – в русской службе должно непременно быть 26 лет полковником, если хочешь быть чем-нибудь когда-нибудь – следственно разочти; – тебе скажут: учись, служба не пропадёт. А я тебе говорю: служи – учение не пропадёт. Конечно, я не хочу, что бы ты был такой же невежда, как В. И. Козлов, да ты и сам не захочешь. Чтение – вот лучшее учение...»

В другом письме осенью 1822 года Александр пишет брату, как служить: «Ты в том возрасте, когда следует подумать о выборе карьеры; я уже изложил тебе причины, по которым военная служба кажется мне предпочтительнее всякой другой. Во всяком случае, твоё поведение надолго определит твою репутацию, и, быть может, твоё благополучие.

Тебе придётся иметь дело с людьми, которых ты ещё не знаешь. С самого начала думай о них всё самое плохое, что только можно вообразить: ты слишком сильно не ошибёшься. Не суди о людях по собственному сердцу, которое, я уверен, благородно и отзывчиво и, сверх того, ещё молодо, презирай их самым вежливым образом: это – средство оградить себя от мелких предрассудков и мелких страстей, которые будут причинять тебе неприятности при вступлении твоём в свет.

Будь холоден со всеми; фамильярность всегда вредит; особенно же остерегайся допускать её в обращении с начальниками, как бы они ни были любезны с тобой. Они скоро бросят нас и рады унижить, когда мы меньше всего этого ожидаем. Не проявляй услужливости и обуздывай сердечное

расположение, если оно будет тобой овладевать: люди этого не понимают и охотно принимают за угодливость, ибо всегда рады судить о других по себе».

Никогда не принимай одолжений. Одолжение, чаще всего – предательство. Избегай покровительства, потому что это порабощает и унижает... Правила, которые я тебе предлагаю, приобретены мною ценой горького опыта. Хорошо, если бы ты мог их усвоить, не будучи к тому вынужден. Они могут избавить тебя от дней тоски и бешенства».

Оказывается, Пушкин с братом о службе говорил! Но не о своей. Были достаточно веские причины не говорить о собственных служебных делах. Хотя в письме он подчёркивает свой собственный нелёгкий служебный опыт. На самом деле, служба всегда привлекала Пушкина, он, как все юные лицеисты, был воспитан на примерах героев Отечественной войны 1812 года.

Служил ли Пушкин? На этот вопрос исследователи поспешно приводят слова самого поэта из чернового письма Пушкина с просьбой об отставке от 22 мая 1824 года к А. И. Казначееву, начальнику канцелярии графа Воронцова: «7 лет я службою не занимался, не написал ни одной бумаги, не был в сношении ни с одним начальником. Эти 7 лет, как вам известно, вовсе для меня потеряны. Жалобы с моей стороны были бы не у места. Сам я загородил себе путь и выбрал другую цель». Раз есть признание Пушкина – о чём же ещё говорить? Ответ прост: не служил и служить не желал.

Но есть и другой черновик письма к тому же Казначееву, написанный в те же дни, когда поэт добивался выезда с юга: «О чём мне жалеть? О своей неудавшейся карьере? (С этим) (я примирился с этим уже 4 года)». Так 7 лет или 4 года? – сколько прошло с тех пор, как Пушкин поставил крест на своей карьере? Означает ли это, что до ссылки в Михайловское Пушкин всё же лелеял надежду на удачную карьеру? Не исключено, что подлинное отправленное письмо может совершенно не соответствовать черновику, в котором отражено мимолётное настроение.

После встречи в Михайловском лицейский товарищ Иван Пущин вспоминал: «Пушкин сам не знал настоящим образом причины своего удаления в деревню; он приписывал удаление из Одессы козням графа Воронцова из ревности; думал даже, что тут могли действовать некоторые смелые его бумаги по службе, эпиграммы на управление и неосторожные частные его разговоры о религии».

Отсюда имеем вывод: значит, Пушкину приходилось писать важные бумаги по службе! Значит, Пушкин служил! А не просто числился в государственном учреждении. Кстати, по окончании лицея, Пушкин «добивался у отца позволения вступить в военную службу в гусарский полк, где у него уже было много друзей и почитателей. Начать службу кавалерийским офицером была его ученическая мечта. Сергей Львович отговаривался недостатком состояния и соглашался только на поступление сына в один из пехотных гвардейских полков».

Судьбе было угодно, чтобы Александр Сергеевич поступил на службу в Коллегию иностранных дел. В общеизвестной биографии Пушкина вопрос о деятельности в серьёзном государственном ведомстве замалчивается, сплошь

недосказанность, а то и попросту мифы. И вообще обходится стороной всё, связанное с государственной службой.

Наше внимание приковано к богатейшей лирике Пушкина, его поэмы и стихи были на слуху просвещённых людей. Стихотворство было его увлечением ещё в лицее. Однако, главным занятием и после Лицея оставалась учёба, ей отдавалась львиная доля времени. В своём кругу Пушкин отличался образованностью, высочайшей эрудицией, глубокими знаниями истории. Пушкин создал богатейшее литературное наследие и в прозе: исторические произведения, сказки, повести.

Но куда не деться от того факта, что по окончании Лицея А. С. Пушкин стал прежде всего государственным служащим. Мог ли молодой человек, даже талантливый и даже гениальный, пренебрегать службой, за которую ему определено жалование? Родители ему денег не выделяли, за стихи ему не платили. Так что, денежное содержание за службу 700 рублей в год составляло главную статью его доходов.

Итак, молодой человек ежедневно отправлялся из дома у Калинкина моста (наб. Фонтанки, д.185) на Английскую набережную (дом №30), где размещалась Коллегия иностранных дел, куда он определён на должность переводчика. (отмечает Порохов). В разное время исследователями упорно навязывалось мнение о Пушкине как о бездельнике на государственной службе – мнение в высшей степени безнравственное и по многим известным фактам несправедливое, вовсе не соответствующее призыву:

«Мой друг! Отчизне посвятим души прекрасные порывы».

Пушкин неоднократно писал о своей родословной, он видел в своих предках образец истинной «аристократии», древнего рода, честно служившего отечеству, но не снискавшего благосклонности правителей и «гонимого». Не раз он обращался, в том числе в художественной форме, и к образу своего прадеда по матери – африканца Абрама Петровича Ганнибала, воспитанника Петра I, старшего военным инженером и генералом. Пушкин служил, как завещано предками ему, дворянину с многовековой родословной:

Мой прадед Рача / Мышцей бранной / Святому Невскому служил.

Чего в этих стихах больше? Кичливого указания на древность рода, прославленного уже 6 веков назад одним из пращуров великого поэта? Или гордости за своего послужившего святой Руси предка? На каких бы весах ни измерять это соотношение, из сотен стихов, поэм, исторических повестей, а главная – из писем и публицистических статей Александра Сергеевича Пушкина проистекает: служение Отчизне оставалось одним из главных мотивов его собственного поведения, критерием в оценке людей и общественных движений. Особенно зримо такое требование к себе проявляется в зрелые годы поэта. Поддерживаемое на протяжении многих десятилетий представление о Пушкине, пусть даже полушутя инцидированное в письмах и самим Пушкиным, не простительно для исследователей его биографии. И в общем-то оскорбительно для нас и для такого поэта, кто был и на века остаётся гордостью России. Бездельничать за государственный счёт, не принося пользы Отечеству – такое представление абсолютно противоречит воспитанию и душевному настрою великого поэта.

Служба всех зачисленных в Коллегию начиналась с присяги государю, Александру Павловичу. Кроме этого клятвенного обещания, обязательного для всех государственных служащих России, поступающие в Коллегию иностранных дел обязаны были ознакомиться с определением Коллегии от марта 1744 года о неразглашении служебных тайн и указом Петра I «О присутствующих в Коллегии иностранных дел, о порядке рассуждения по делам особенной важности...» Такого количества подписок о неразглашении тайн чиновники не дают и сегодня.

Не в этой ли особенности – секретности – причина отсутствия сведений о служебной деятельности Александра Сергеевича? – спрашивает Порохов.

«Определение» заканчивалось памятным предписанием, начертанным Петром: «К делам иностранным служителей коллегии иметь честных и добрых, чтобы не было дыряво, и в том крепко смотреть, а ежели кто непотребное в оное место допустит, или, ведая за кем в сём деле вину, а не объявит, то будут наказаны, яко изменники». Коллегия создавалась Петром Великим в процессе его административных реформ и была предшественницей Министерства иностранных дел, созданного Александром I в 1802 году при образовании в России министерств.

Интересно, что в ведомство Коллегии в то же время были отданы ящички казаки – беспокойные границы России. А также в непосредственном ведении Коллегии находилась Бессарабия – плацдарм русской внешней политики на юге Европы, правый фланг русско-турецкого противостояния. Сам Пушкин не оставил воспоминаний о службе в Коллегии, отсюда некоторые исследователи сделали вывод, будто поэт там даже не появлялся. Между тем известно, что молодой чиновник Пушкин регулярно получал отпуск. А для получения отпуска нужно было подать прошение непосредственному начальнику. И такие прошения Пушкина сохранились.

Впоследствии Александр Горчаков уехал в русскую дипломатическую миссию в Лондон, Сергей Ломоносов в Вашингтон, Грибоедов был определён на Кавказ к Ермолову секретарём «по дипломатической части». Пушкин оставался до поры в Петербурге, хотя и для него уже готово было место в одной из зарубежных миссий.

В письме Вяземскому в 1819 году А. И. Толстой сообщает: «Пушкин не на шутку собирается в Тульчин, а оттуда в Грузию и бредит уже войною. Я имею надежду отправить его в чужие края, но он и слушать не хочет о мирной службе». Заставляет задуматься настрой поэта на войну, на службу в армии (такого духа не наберёшься на раутах, балах и в безалаберной светской жизни). Получается, что в Петербурге Пушкин вёл двойную жизнь. На виду у многих в свете – бравада и позёрство; и одновременно с этим наедине с собой напряжённая работа ума, сопровождающаяся благородными порывами души.

Интересные выводы сделал П. И. Бартенев: Дружбы между Пушкиным и Рылеевым не было. Пушкин посмеивался над неумеренностью суждений Рылеева о Европейской политике. Это значит, что Пушкин был более осведомлённым по вопросам европейской политики, имея доступ к более существенному аналитическому материалу – и как сотрудник секретного департамента, и как свидетель обмена мнениями сведущих людей.

Ко времени появления молодых лицеистов-переводчиков, в Коллегии иностранных дел всеми делами заправляли два человека: грек Иоанн Антонович Каподистрия ведал восточными делами, и немец Карл Васильевич Нессельроде ведал европейскими делами. Отношения между ними были натянутыми. Пушкин и Горчаков попали под непосредственное руководство Каподистрии, а потому тоже испытывали со стороны Карла Васильевича неприязненное к себе отношение. Впрочем, Нессельроде у многих вызывал неприятие – он был так мал ростом, что его прозвали Карлом. Увидев Карла впервые, Пушкин сразу сострил, что в Коллегии не два, а полтора статс-секретаря. Неприязнь стала взаимной и через десятилетия сыграла трагическую роль в судьбе поэта.

В Петербурге талант поэта становился всё ярче, но его колкости и эпиграммы, особенно касающиеся людей влиятельных, не остались без внимания и без последствий. По общему мнению, последней каплей стала эпиграмма на Аракчеева, всесильного временщика. И тогда генерал-губернатор Милорадович доложил обстоятельства дела Александру I. Но затем объявил от имени царя поэту о прощении, и тут оказалось, что генерал поспешил: судьба Пушкина уже решена – он должен ехать в Бессарабию. Хотя сам Аракчеев не обращал внимания на стихотворные вирши. Да и эпиграмму на него скорее всего писал не Пушкин, которому иногда приписывали и чужие строки (на Аракчеева, возможно, писал Рылеев).

Почему же местом новой службы якобы «провинившемуся» Пушкину выбрана Бессарабия?

Бессарабская область, в те годы недавно образованная, в 1818 году находилась в ведении Коллегии. Управление этой провинцией было сосредоточено в руках всеми уважаемого, замечательного Иоанна Каподистрии. Он был уроженцем острова Корфу, по национальности грек. Служил министром иностранных дел Республики Ионические острова, основанной генералом Ушаковым после победы над турками. Но Родина Каподистрии недолго оставалась свободной. По Тильзитскому соглашению Россия уступила Франции Ионические острова. Отклонив предложение французов вести администрацию, Каподистрия уехал в Петербург. В 1811 году, будучи секретарём русской миссии в Вене, он основал Гетерию филомуз – Союз греческих патриотов. Затем заведовал дипломатическими сношениями главнокомандующего русской Дунайской армией. В войну 1812 года Каподистрия продолжал деятельность при штабе Барклая-де-Толли. Во время заграничного похода Александр I оценил ум и качества Каподистрии и назначил его играть ведущую роль в русской внешней политике.

В письме к генералу Милорадовичу, подписанном и Нессельроде, граф Каподистрия дал Александру Пушкину самую благожелательную характеристику: «...Этот ученик уже ранее проявил гениальность необыкновенную. Его ум вызывал удивление, но характер его, кажется, ускользнул от взоров наставников. Он вступил в свет сильный пламенным воображением... Нет той крайности, в которую бы не впадал этот несчастный молодой человек, – как нет и того совершенства, которого не мог бы он достигнуть высоким превосходством своих дарований».

Несколько вольнодумных пьес, в особенности ода «Вольность» обратили на поэта Пушкина внимание правительства. Волнуясь за Пушкина, предостерегая от опасности, за него заступились Карамзин и Жуковский и поспешили предложить Пушкину свои советы, привели его к признанию своих заблуждений, чтобы он дал торжественное обещание отречься от них навсегда.

Адъютант Милорадовича рассказывал, что генерал вызвал к себе вольного поэта, требуя представить все опальные стихи. Какого же было удивление генерала, когда поэт чистосердечно признался, что он сжёг все стихи, но если генералу угодно – всё найдётся здесь (и указал пальцем на свой лоб). «Подали бумаги. Пушкин сел и писал, писал... и написал целую тетрадь...» – Милорадович признался: «А знаешь ли? Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерою обхождения».

Направляя Александра Пушкина в Кишинёв, Иоанн Каподистрия имел на него виды, «как на прекрасного слугу государства», рассчитывал на применение его талантов и способностей для решения важнейшей внешнеполитической миссии православной России: поддержать освободительную борьбу греческого народа против турецкого ига.

Горячий патриот Греции, Каподистрия всю жизнь отдал борьбе за освобождение родной страны. В 1827 году в самый разгар войны греков за независимость, он официально покидает русскую службу и избирается первым президентом Греческой республики. На этом посту вскоре и был убит (в канун 300-летия города – в Петербурге торжественно был открыт памятник Иоанну Каподистрии).

Директор департамента Коллегии Н. И. Тургенев писал в апреле 1820 года С. И. Тургеневу в Константинополь: «Пушкина дело кончилось очень хорошо... Он теперь собирается ехать в Киев и в Крым». 6 мая в Константинополь он пишет ещё письмо: Пушкин завтра едет к Инзову. Государь велел написать всю его историю. Но он будет считаться при Каподистрии».

Что нам известно о делах Пушкина на юге? 17 мая 1820 года он знакомится с генералом Инзовым. Якобы купается в Днепре и болеет простудой. В Екатеринославе проездом оказывается и семья Раевских. Пушкин якобы с семьёй генерала Н. Н. Раевского едет лечиться на Кавказ. Если учесть, что «лечился» Пушкин целых 4 месяца, ехал весьма по замысловатому маршруту и только в конце сентября объявился в Кишинёве. Во всех биографиях причиной отъезда считается именно болезнь, а поездку семьи Раевских считают частным делом, что вызывает большие сомнения. Что же это за поездка в Кишинёв через Кавказ и Крым? Генерала Н. Н. Раевского охраняет отряд из 60 казаков с пушкой, его встречают, зная заблаговременно о приезде. Поездка похожа на инспекторскую проверку...

В пути Пушкин много трудится, не жалея сил, пишет не только стихи, ежедневно ведёт записи о жизни, характере и укладе южных поселений. Но, к сожалению, его «Замечание о донских и черноморских казаках» не сохранилось. В письме к брату в сентябре 1820 года он пишет: «Когда-нибудь прочту тебе мои замечания на черноморских казаков – теперь тебе не скажу об них ни слова». Так кому предназначались «Замечания»? Возможно, что записи где-то хранятся в недрах департамента? Ведь нашли через 100 лет записи

Пушкина «Заметки о секте езидов», то есть о курдах, написанную в 1829 году, во время поездки на Кавказ, хотя Пушкин официально уже на службе не числился (это писарская копия для представления по инстанции). Пушкин дал оценку этому народу как одному из главных союзников России в борьбе с турками. Именно в те годы курдам было разрешено селиться в России. Однако 60 произведений Пушкина так и считаются утерянными.

Итак, приезд в Бессарабию. Была ли поездка на юг царской немилостью? Или стала возможностью проявить себя на службе? 21 сентября Александр Пушкин со своим вечным дядькой Никитой Козловым прибыл в Кишинёв. Он попадает в новое окружение офицеров, квартирмейстеров и топографов, присланных для изучения театра военных действий. Генерал Иван Никитич Инзов, главный попечитель о колонистах южной России, исполняющий должность наместника Бессарабской области. В его канцелярии Пушкин не числился, оставаясь в подчинении у Каподистрии. В лице Инзова молодой Пушкин, не знавший родительской ласки, получил не только мудрого и заботливого начальника, но и любящего, хотя и старого отца. Инзов поселил Пушкина в своём доме, поил, кормил, давал займы денег, и давал поручения по службе. Инзов подал рапорт, обращаясь к Каподистрии и добился для Пушкина выплаты жалованья 700 рублей в год, которое назначалось во время службы в Петербурге и стало выплачиваться до самого отъезда из Одессы.

Инзов пишет: «Я занял его переводом на русский язык составленных французски молдавских законов». В Кишинёве Пушкин сделал запись перевода турецких слов. Дмитриев, проведя их диалектологическое исследование, установил, что они относятся не к крымско-татарскому и не к газаузскому, а к южно-турецкой, османской группе диалектов...

В Кишинёве Пушкин знакомится с начальником края полковником Корниловичем, с офицерами Лугиным, Зубовым, Кеком, Полторацкими, выделял Александра Вельмана, пишущего прозу и стихи. А самым любопытным был подполковник Генерального штаба Иван Петрович Липранди. Он привлекал внимание всей молодёжи острым умом и пламенным характером.

Липранди был на десять лет старше Пушкина, служил по квартирмейстерской части, исполнял различные ответственные поручения, до поездки в Турцию включительно, заслуженно приобрёл авторитет знатока Бессарабии, Молдавии и Балканского полуострова... В ноябре 1822 года в звании полковника вышел в отставку, но вскоре вступил в службу чиновником особых поручений, состояя при гр. М. С. Воронцове.

В 1826 году арестован по делу декабристов (был в короткой переписке с Муравьёвым-Апостолом, повешенным в числе пятерых). После следствия Липранди был оправдан, вступил вновь в военную службу, участвовал в русско-турецкой войне 1828–1829, вышел в отставку генерал-майором – 1832, затем причислен к Министерству внутренних дел – 1840, действительный статский советник – 1843. Приобрел скандальную известность своей деятельностью по раскрытию кружка «Петрашевцев» и в гонениях на старообрядцев. В 1864 вновь переименован в генерал-майоры. Автор многих военно-исторических и публицистических сочинений, а также ценных воспоминаний о Пушкине.

О событиях бессарабских лет А. С. Пушкин помнил всю жизнь В «Родословной Пушкиных и Ганнибалов» Пушкин пишет в 1830 году: «В 1821 году начал я мою биографию и много лет сряду занимался ею. В конце 1825 года при открытии несчастного заговора, я принуждён был сжечь свои тетради, которые могли замешать имена многих и умножить число жертв». Пушкин поступил, как порядочный человек, когда уничтожил документы. Он надеялся их вспомнить и восстановить, но успел написать всего несколько коротких произведений.

С 1824 года Пушкин исключён из службы и направлен в ссылку в родовое поместье Михайловское. Духовный рост поэта, по его признанию, произошёл в Михайловском. От настроений «политического радикализма», «атеизма» и увлечения модной антихристианской мистикой масонства в Михайловском скоро не осталось ничего. Вечно работающий гениальный ум Пушкина раньше многих его современников понял лживость масонства и вольтерьянства, вредного для русского Отечества.

Как национальный русский поэт и политический мыслитель, Пушкин созрел в Михайловском. Здесь он много читает, много думает, анализирует, изучает русскую историю, записывает народные сказки и песни, плодотворно работает. В Михайловском написаны: «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Граф Нулин», «Подражание Корану», «Вакхическая песня» и многие другие произведения. У Пушкина окончательно выкристаллизовывается убеждение, что каждый образованный человек должен вдуматься в государственное и гражданское устройство общества, членом которого он является, и должен по мере возможностей неустанно способствовать его улучшению. Ум Пушкина выросел и мучал раньше своего возраста.

18 сентября 1826 года произошла встреча А. С. Пушкина с императором Николаем I в Чудовом монастыре в Москве. Историки обычно первым делом подчёркивают, что на вопрос царя, – принял бы Пушкин участие в восстании декабристов, если бы был в Петербурге? – он отвечал, – «Да, принял бы». А другие подробности разговора Пушкина с Николаем I, как правило, игнорируются. Хотя известно, что в Кракове в 1873 году в журнале «Литературные ведомости» был опубликован отрывок мемуаров графа Струтынского, посвящённый Пушкину. В его мемуарах Пушкин пересказывает свой разговор с императором.

Сразу в начале встречи Александр Пушкин смело высказал свои убеждения: «Я никогда не был врагом моего государя, но был врагом абсолютной монархии».

Царь горячо возражал: «Мечтания итальянского карбонарства и немецких тугендбундов! Республиканские химеры всех гимназистов, лицейстов, недоваренных мыслителей из университетской аудитории. С виду они величавы и красивы, в сущности жалки и вредны!»

Не было в истории такой республики, которая в трудную минуту обошлась бы без самоуправства одного человека и которая избежала бы разгрома и гибели, когда в ней не оказалось дельного руководителя... Каково следствие всего этого? Анархия!

– Ваше Величество, – отвечал Пушкин, – кроме республиканской формы

правления, которой препятствует огромность России и разнородность населения, существует её одна политическая форма – конституционная монархия».

– Она годится для государств окончательно установившихся, – перебил Государь тоном глубокого убеждения, – а не для таких, которые находятся на пути развития и роста...

Далее, во время разговора Пушкин говорит об ошибках молодости и подчёркивает: «Молодость – это горячка, безумие, напасть. Её побуждения обычно бывают благородны, в нравственном смысле даже возвышенны, но чаще всего ведут к великой глупости, а то и к большой вине...» И продолжает: «Но всему есть своя пора и свой срок... Время изменило лихорадочный бред молодости». «Всё внезапное вредно, – поясняет Пушкин. – Глаз, привыкший к темноте, надо постепенно приучать к свету... Наш народ ещё тёмн, почти дик; дай ему послабление – он взбесится».

Во время встречи с Пушкиным, Николай I увидел в нём человека, близкого себе по духу. Император поделился с Блудовым: «Сегодня я говорил с умнейшим человеком России». Вспоминая разговор с императором, Пушкин сказал: «Императору Николаю я обязан обращением моих мыслей на путь более правильный и разумный, который я искал бы ещё долго...»

После беседы с императором в Чудовом монастыре, для А. С. Пушкина начался новый этап служения народу и России.

6 декабря 1831 года Российский император объявил указ и пожаловал Александра Пушкина в титулярные советники и назначил выплачивать поэту по 5000 рублей в год. Пушкин стал частым гостем в семье монарха, подобно Карамзину сделался «историографом империи. Ему были поручены самые сложные этапы развития русской истории (преобразования Петра I – «революционера на троне», Пугачёвский бунт). По желанию государя было написано стихотворение, актуальное и в наши дни, «Клеветникам России»:

О чём шумите вы, народные витии?

Зачем анафемой грозите вы России?

Император становится личным и единственным цензором поэта Пушкина.

До последних дней своей жизни Пушкин предстаёт последовательным сторонником монархии. Его близость к декабристам надуманна. Встретившись с самым выдающимся членом Союза Благоденствия, масоном Пестелем, о выдающемся уме которого прожужжали все уши декабристы, Пушкин увидел в нём только жестокого слепого фанатика. Не сошёлся Пушкин и с виднейшим деятелем масонского заговора на севере, поэтом Рылеевым. Политические стихи Рылеева «Думы» Пушкин называл дрянью и шутливо сравнивал название от немецкого слова «думм» (дурак).

Ещё в 1822 году в Кишинёве Пушкин пишет свои замечательные исторические заметки, в которых развивает взгляды, являющиеся опровержением политических взглядов декабристов.

Главной темой художественных произведений Пушкина становится исследование проблемы власти: народ и царь, преданность служивого люда монарху, верность монарха своему Божественному предназначению. Об этом и «Борис Годунов», «Капитанская дочка», «Арап Петра Великого» и «История Петра», и «История Пугачёва», и мудрая русская сказка «О золотом петушке».

Достоевский назвал Пушкина «Великим и непонятым ещё предвозвестителем». «По-моему, Пушкина мы ещё и не начали узнавать: это гений, опередивший русское сознание ещё слишком надолго...»; «...В этом смысле Пушкин есть пророчество и указание (Дневник писателя)».

«Когда он говорил о вопросах иностранной и отечественной политики, – писал о Пушкине знаменитый польский поэт Мицкевич, – можно было думать, что слышите заматерелого в государственных делах человека». «Он весь русский с головы до ног, – указывал Гоголь в «Переписке с друзьями», – все черты нашей природы в нём отразились...» Силой своей гениальной интуиции своего выдающегося ума Пушкин проникал в тайны прошлого и грядущего и находил верное решение в самых сложных вопросах.

7 января 1833 года Пушкин был избран членом Российской академии одновременно с Катениным, Загоскиным, Языковым и Маловым.

Творчество Пушкина, обогащающее несколько поколений России, неисчерпаемо разнообразно и до конца не охвачено. Значение Пушкина для России понимали и её враги. Современные исследования архивов вюртембергского и австрийского министерств иностранных дел среди прочего обнаружили секретные депеши иностранных послов, где Пушкин предстаёт как видный дипломат, политический деятель, писатель и историк, приближённый к императору, выражающий интересы России. Как слуга своего Отечества, как гражданин и как поэт Пушкин верно служил России до конца своих дней и стал мешать силам противостояния, что и явилось причиной его убийства.

Исследуя подробности дуэли, Сергей Порохов приходит к выводу, что дуэль Пушкина была тщательно спланированным убийством. Но какие огромные пласты времени – 200 лет скрывается правда. Выстрел Пушкина свалил Дантеса с ног. Говорили, что его спасла пуговица. На самом деле Дантеса могла спасти только кольчуга (*замечание С. Порохова*), и не случайно дуэль откладывалась. В нарушение правил, пистолеты Пушкина были только что куплены в магазине перед самой дуэлью, а пистолеты Дантеса взяты у французского посла, уже проверены и пристреляны. Дуэль проходила почти в темноте в 17-30. Дантес почему-то позже Пушкина подошёл к барьеру и поднял руку, чтобы прицелиться, как грянул выстрел... Это доказывает, что стрелял не Дантес (*Сергей Порохов*).

Александр Зинухов, обследовавший обстоятельства дуэли, обоснованно заявляет: стрелял кто-то, возможно, укрывшийся на крыше сарая. При выстреле сверху пуля должна пройти сверху вниз. Это и подтвердилось при вскрытии (*Сергей Порохов*).

Чувствуя кончину, Александр Сергеевич сам вызвал священника, исповедовался и причастился и ушёл из жизни как христианин, по словам отпевавшего его священника.

А. С. Пушкин похоронен в Святогорском монастыре в родовом селе Михайловском, где бережно хранится память о народном поэте. Николай I выполнил обещание, данное в прощальной записке, и позаботился о семье Пушкина: выплатил долги, назначил пенсию вдове и дочерям, сыновей определил в пажеский корпус для дальнейшей военной карьеры; распорядился издать сочинения на казённый счёт в пользу вдовы и детей.

В первые дни после гибели Пушкина отечественная печать как бы онемела, до того был силён гнёт над нею графа Бенкендорфа, начальника жандармерии. В одной лишь петербургской газете «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду» – редактор Андрей Александрович Краевский поместил небольшую заметку тёплых, глубоко прочувствованных слов: *«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!..»*

На другой же день Краевский, состоявший на службе в министерстве народного просвещения, был приглашён к председателю цензурного комитета. Краевскому было направлено крайнее неудовольствие министра просвещения С. С. Уварова: «К чему эта публикация о Пушкине? Что это за чёрная рамка вокруг известия человека не чиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе?.. Но что за выражения! «Солнце поэзии!!» Помилуйте, за что такая честь? «Пушкин скончался... в середине своего великого поприща!» Какое это такое поприще?..» Не таково ли и мнение велико-светской черни, стремившейся умалить значение Пушкина для России?

Закономерно, что Михаил Юрьевич Лермонтов, обличивший в «Смерти поэта» *Свободы, Гения и Славы палачей*, попал в «опалу» (особенную ярость царя вызвал эпиграф к стихам и заключительные 14 строк!).

Проститься с Пушкиным пришли ВСЕ сколько-нибудь заметные люди Петербурга, и весь дипломатический корпус (который ему сочувствовал). Дантеса же не любили во Франции и Гюго в пятидесятые годы устроил ему в Французском сенате буквально травлю. (Даже дочь Дантеса обожала поэзию Пушкина и была заточена жестоким отцом в дом для психических больных. Потомки Пушкина, живущие в Европе, бережно относятся к памяти Пушкина и его наследию). Но следует помнить, что, в 1880 году Толстой не приехал на открытие Пушкину памятника в Москве, а к двухсотлетию поэта Владимир Соловьев разразился обвинительной статьёй в его адрес – оба были объята христианской предвзятостью.

Тёмные силы над Пушкиным и за 200 лет не рассеялись. Много лжи опубликовано о супруге великого поэта, Наталье Николаевне Гончаровой. Краснодарский пушкинист Е. Г. Стеценко решил отстоять доброе имя супруги Пушкина через суд. В течение 30 лет им был собран внушительный материал достоверных фактов в защиту Н. Гончаровой, подтверждающих, что она не являлась легкомысленной особой и нуждается в защите.

И все же в биографии А. С. Пушкина остаётся еще немало неясного. Читатели находятся в плену стереотипов. В академическом издании конца XX века Александр Сергеевич Пушкин всё также остаётся «советским», его творчество рассматривается в рамках коммунистической идеологии: он по-прежнему «материалист», «атеист», «вольномудец», «враг царизма». По сути, в искажённом облике представлен гений русской поэзии, национальная гордость России, человек, повлиявший на развитие русского языка, любимый всем народом, величайший деятель русской литературы.

В книге «Секретная жизнь Пушкина» Сергей Порохов проанализировал жизненный путь великого поэта и открыл для читателей новый взгляд на важную сторону его биографии: честное исполнение государственной службы, верное служение русскому Отечеству до конца своих дней.

Маргарита Токажевская



Статьи о литературе...

1. Андрей Родосский – поэт и переводчик.
Эхо откликов.

2. Вселенная безвестного поэта
(о поэзии Владимира Морозова)

:

Андрей Родосский – поэт и переводчик. Эхо откликов.

Сколько ни разгадывай человека, подходя к нему то с одной, то с другой стороны, сколько ни вчитывайся в мгновенно-длительные отпечатки его мыслей, чувствований, догадок и промыслительного ясновидения, всё не можешь разгадать. И понятно почему – каждого человека задумал Господь. И задумал так сложно, что дух захватывает. Поэтов же Отец наш так тонко причудливо вылепливает, что это уже высшая божественная мудрость. Тем более, если поэт ещё и переводчик сложно пишущего поэта другой языковой культуры. И посему изложить на бумаге возможно лишь некоторые попытки интуитивных подступов, неизъяснимых догадок на тему, как возможно такое чудо – вжиться в чужой язык настолько, чтобы чувствовать на нём.

Начну мои размышления об Андрее Владимировиче Родосском с перечитывания книги «Намёки» (перевод с испанского, СПб., 2002) известного аргентинского поэта Роберто ди Паскуале. Переводы с испанского. Поэт аргентинский. Итальянского происхождения. Уже непросто. Таковы будут и стихи, – читатель поймёт с первой же страницы и, если не испугается сложности, витиеватости, именно авангардизма и сюрреализма текстового полотна, получит истинное наслаждение от впитывания блестящего интеллектуального материала, от его расшифровки. И внимательный опытный читатель переводной литературы сразу уверится – здесь гармония интеллекта автора-поэта и автора-поэта-переводчика (а я глубоко верю в неперменное авторство переводчика, это особенно очевидно при переводе стихотворного текста), здесь – высокое проникновение в душу, мысль, эмоции, меняющиеся многопланово и ролями в данном произведении, и по степени накала, и по способу их выражения. Не знаю, что уж тут – математика высокого искусства или высшая его химия, но проникновение – незамкнутая вещь. Знак «следует» – читатель, дальше передача восторга в космос, может быть, тому же самому автору, который будет творить уже в других измерениях Любви и Печали.

Уже в первой части книги начинаем считать узоры, арабески тонких смысловых переплетений, пронизанных светом оригинального авторского взгляда и вроде как детского захлёбывающегося стремительного сочинительства, который не утерян ни Роберто ди Паскуале, ни Андреем Родосским: а вот я сейчас радуюсь, даже печалюсь, тому, что мне говорит Бог, тому, что я это слышу и могу этим поделиться, – берите, люди и космос...

*К таинственному не стремлюсь
Но самого себя
Давно хотел понять я*

Эти строки дают нам посох... И мы пойдём.

*Смерть умерла
Однажды вечером
Удручённая
Упорной вечностью
Беспредельности (намёк 3)*

Давайте о звукописи. Не могу судить о наличии и высшем пилотаже таковой у Р. П., смотрю у А. Р.: много «р» – этого красного цвета поэзии. Очень яркий звук, затем чёткое подчёркивание красного звонкой линейностью «ч» (чёрный), ударностью «д» и «т», «н», делающее текст гибким, тройная «у» – настаивание на умирании смерти, а всё вместе – утверждение жизни! Но уже к концу этого «намёка» – догадки автора о том, что кто-то видит приближение «воскресения» смерти.

Передать сложность и яркость перипетий человеческого подсознания, сплошь неостановимого течения мысли, её всплесков, бешеных насакиваний друг на друга антонимических состояний ни в чём никогда не уверенности, вечного человеческого сомнения в каждом миге – невозможно в прозаическом тексте. Для того и существует такой феномен человеческой культуры, как истинная поэзия, где намёки – необходимы и непременны.

А он плыл и падал

Разделённый в себе

Познавая себя

Без боязни небытия (намёк 5)

Смутно догадываешься, что это о разделении души и тела, и именно при этом разделении и познаёшь себя намного глубже и шире, будто в это познание включается и всё человечество, и весь космос – они говорят с тобой безмолвно, но ты понимаешь всё. Мастерство переводчика в том, что промыслительным образом он успокаивает читателя именно звуками тогда, когда тема заставляет нервничать нешуточно. Такова гибкость русского языка, который чувствуется его интерпретатором оттого острее, что он знает и другие языки. Оттуда идёт это интуитивное соответствие звукозаполнения и смысла, в точности которого сомневаться не приходится – если бы переводчик отступил от точности, логической стройности текста, он бы просто запутался, так это ажурно.

«Небо решило уйти», надумав предупредить о том удивлённые облака, высказать им своё наболевшее. Облака пытались уговорить небо остаться, но оно ушло в иной космос. Довольно точный пересказ этого намёка, гениального и простого до такой степени, что тема годится для детского стихотворения, мультфильма. И чем не ребус для художника, – ну как облакам без неба?

Вот такие, далеко не единственные отклики души на намёки двух братьев – художников – поэта и переводчика. Взрыв откликов, похоже, заложен в книгу. Только начни читать, подожги бикфордов шнур... Небо, как и предполагалось, например, мною ещё в детстве, кормится отснившимися снами, а потом рассеивает их во Вселенной и ждёт, а что же вырастет. Ну чем не продолжение сказки... Опять видишь Роберто и Андрея – неумных выдумщиков. Приятно осознавать себя их собеседником.

Позволю себе в контексте моих догадок цитату из Балтрушайтиса: *«Двойною мерой должно измеряться значение всякого творчества: по степени совершенства и полноты его выражения средствами данного*

искусства и, во-вторых, по тому духовному смыслу, какой оно представляет как последовательность внутренних событий в душе художника». Думаю, что Балтрушайтис имел в виду прежде всего не только «внутренние приметы» творчества отдельного художника, но и саму суть поэзии – её назначение и оригинальность именно этой «последовательностью внутренних событий». Читая переводы Родосского, всегда я чувствую их горячность, умную страстность, да позволится мне этот термин, – будто вот сейчас высказывает живо и интонационно выразительно всё, чего и не высказать просто словами, если душу не вложить в них, высказывает, и тем очень льстит мне, читателю – значит, я достойна доверия сего искреннего рассказчика. Эффект присутствия внутри произведения – вот как называется такое применительно к изобразительному искусству, но, думаю, это однозначно является признаком истинности и объекта литературы.

И вот жаль мне уже «тоски», нанизанной на порыв ветра, жаль игрока, заплакавшего о проигрыше, будто это мною проиграна то ли игра, то ли битва за жизнь. Вот уже иду по своим потерянным следам в надежде узнать, взаправду ли это я отважилась уйти из родного дома, забыв путеводную нить (стр.18), словно надеясь на безвременность – вот уже закончилось оно, время, а дни, быстротечные дни разлуки, всё текут (стр. 20). Сами напрашиваются библейские мотивы – а сразу ли по окончании времён кончится разлука с Богом или ждать нам ещё встречи на пунктах переправ. «Верю в себя, и всё же мечется скорбный дух мой», вспомнилось из Цюй Юаня (пер. Титовича).

«Переводчик-языкотворец», – говорил о желаемом Михаил Леонтьевич Гаспаров. В этой ипостаси Андрея Родосского не приходится сомневаться. Не придумывая новых слов, он так естественно сдруживает уже существующие слова, звуки, фразы, образы и метафоры, что понимаешь – без Божественного вдохновения это невозможно.

Намёк 17. (стр.24) позвольте привести полностью, считая его пронзительнейшим стихотворением о любви.

*Прощались друг с другом
Не зная друг друга
Убеждённые, что должны уехать,
Не зная куда
И зачем.
Протянули друг другу руки,
А мысли у них путались,
Не находя слов.
Забвение чуть слышно подбиралось
К стенам их висков.
Не было ни света, ни теней,
Они были вдвоём.*

На время забываю, что это Роберто ди Паскуале. Вижу только русского поэта Андрея Родосского. Переключки с лучшими образцами любовной лирики из истории русской литературы напрашиваются сами собой. Да, так

расстаться, не узнав друг друга, так быть вместе, вдвоём, будучи разделёнными местом и даже временем, могут только у нас, в России, - подумалось, конечно, неправильно, гордо, но горячо.

«Но сердце должно выстрадать всё, о чём ему нет» (Г. Х. Андерсен «Старый церковный колокол»). Замечаю в себе мысль, что, возможно, автор сначала напишет страдание, невозможность, а потом выстрадает, потом поймёт, что невозможность – высший праздник. Это ст., которое мною прочитано так, может быть прочитано иначе, но дальше следует о *«полноте небытия!»*, о *«счастливом неведении»* в *«вечном никогда»* – это о блаженстве нерождённых душ – и опять не сказано, по Божьему ли недозволению родиться, по человеческой ли вине убийства уже зачатых. Тема «Я – Никто» вообще пронизывает книгу. Представленное и действительное никто – часто самое желанное состояние человека в самые трудные минуты существования – вдруг ты закрываешь глаза, забываешь своё имя и целиком отдаёшься ласке Неба:

*Тогда ветер
Провёл рукою
Мне по лбу и груди.
Я почувствовал ту же ласку,
Что деревья,
Камни,
Озёрная гладь
При касании его руки... (стр.27)*

Возвратилась к последней строке, потому что прочла Его с большой буквы...

И автор, и, почему-то знаешь, переводчик, не боятся этого состояния, описанного светло и вроде даже шутя, но не походя, не с отрицанием бессмертия, а будучи уверенным в нём. Так читается.

В главах первой части идут смысловые словесные рефрены, что создаёт внутренний длинный ритм, похожий на эхо колокола – слушайте долго, помните вечно. «Забвение», крики, «я» в образе «никто» (собственно души), «день, когда меня не станет» «умирание смерти», «вечность», «молчание»...

При всей страстности «Намёков» ощущается, что книгу писали профессионалы, поэты-учёные, поскольку огранка мысли, логики, которая, несомненно, великолепно выстроена Р. П., не менее великолепно освещена тонкостью перевода. Язык красив и точен, психологичен и техничен.

Счастлива тем, что прочла несколько книг, где значилось: «Перевод с... Андрея Родосского». Это и «Память» Максимино Качейро Варела (пер. с галисийского, Спб., 1997), и «Палая листва» Асуньсон Форкады (пер. с каталонского, Спб., 2001), и «Голоса мира», где собраны переводы с латинского, английского, норвежского, французского, итальянского, испанского, португальского, галисийского, каталонского, румынского и сербского языков!!! (СПб., 2013)

Роль переводчика велика в истории мировой культуры. Кто бы ни говорил о желаемой незаметности переводчика при переводе, на практике это

неисполнимо. И речь идёт лишь о качестве слова, этом высшем мериле литературного творчества.

Но, сколько бы ни хотела я читать и перечитывать и даже, на свой лад, как здесь, перечувствовать блистательные переводы, «нельзя объять необъятное». И мне хочется перейти к сугубо авторским текстам прекрасного русского петербургского поэта Андрея Родосского.

Если в переводческих работах переводящий действует по правилам, заданным переводимыми текстами (выигрыш – божественная согласованность), то в собственных стихах поэт проявляет исключительно свой характер. Особенности стиля А. Р.-поэта: в нём явственно видно и мировоззрение автора, патриота России, сторонника монархической идеи, и духовная биография – рождённый в Ленинграде, поэт, учёный-лингвист, он – глубоко верующий православный человек.

Многие стихи А. Р. посвящены Петербургу «минувшему», который, несомненно, никуда не минул, а жив, и жив будет,

*Люблю бродить по стогнам Петербурга,
Минувшего вдыхая благодать*

и здесь же ярко выражено творческое и жизненное кредо художника:

*Но не мила мне наша современность,
Невыносим обыденности гнёт,
А быстрой мысли неприкосновенность,-
Нет, на неё никто не посягнёт!*

В поэзии А. Р. почти обязательное присутствие остроумия, богатство оттенков иронии, порой деловитой серьёзности и правильности, а порой – некоторого лихачества, вовсе не означающего вольное обращение со словом, а лишь смелое. Часто присутствует так называемый «внутренний смех» (иногда граничащий с незлобным сарказмом и насмешливостью, благо, предметов и явлений в окружающей современности и даже в прошлом – с лихвой), который, возможно предположить, присутствует в авторе ещё и от знания англоязычной поэзии в её оригинальном прочтении. А. Р. свойственна ясность мысли, присущая популярному стилю, задача пользования которым – дать читателю наибольшее количество знаний на строку или строфу. Возможно, здесь «виноват» род основных занятий автора – он доцент кафедры романской филологии в СПбГУ, педагог-лингвист с многолетним стажем. Хочется привести пример краткости:

Памятник Александру III
На площади Восстания
О, памятник, восстань, и я
На Знаменской знамения
Увижу, без сомнения.

Вот Вам и монархизм, и православие, и народность, и история народа, и просветительство!

И вот ещё:

*Пасхальный бал
В дворянском собрании
Жизнь – это царство постоянства:
Как после неутешных слёз
Воскрес Спаситель наш Христос,
Воскреснет русское дворянство.*

Как много сказано здесь о самом авторе – и об его истинной вере, и о надежде на воскресение твёрдых жизненных устоев. Да, таковые надежды кажутся запредельной мечтой, но именно такие мечты – всегда двигали духовное развитие человечества.

Творчество А. Р. – доказательство того, что в область эстетических представлений художника не может не входить его мировоззрение. В этом смысле весьма показательна небольшая (всего 80 страниц «шестого» формата) книжка «На поворотах наших лет» (СПб, 2009), из которой взяты строки для примера. Здесь стихи петербуржца, языковеда, человека острого ума, патриота и монархиста, православного человека, который, что ж, и по Европам, и по Африкам поездил, и внимательным словом подметил не только лицевую, но и изнаночную сторону тамошней свободы (ст. «О, Бельгия! Столица НАТО», «Брюссельские контрасты», «Стокгольм», «Берлинские истуканы»). Ну да и по истории России, давней и близко современной, поэт прошёл не без горячности («Маршал Блюхер», «Екатеринодарские памятники», «Пятидневная война», «Русские миротворцы»).

В части «Парадоксы» – в блестящих иронических стихотворениях, порой довольно резких, явно высвечен талант острослова, житейская наблюдательность, любовь к точности и краткости изложения. В главе «Перед причастием» – мысли и чаяния православного христианина, его радости и печали о судьбе истинной веры на родной земле. Здесь – и слова покаяния, и сетования на вездесущее попираание традиционных устоев, но, в общем, как и вся поэзия А. Р., эти стихи оптимистичны. И всюду – неподдельное вдохновение! Да и может ли быть иначе, если поэт-мыслитель, поэт-патриот искренно верит в возрождение духовности и величия России, в её историческую миссию – охранительницы православной веры, которой пропитано русское Слово, Великий Русский Язык!

Вселенная безвестного поэта (о поэзии Владимира Морозова)

Глубокое своеобразие лирики русского поэта Владимира Морозова, яркая поэтическая выразительность, стремление передать тончайшие переходы настроений и чувствований, часто даже некоторая эпатажность подачи образа, освещенная парадоксальностью использования рядом стоящих слов и словосочетаний – стороны творчества, которые и делают поэтическое поле Владимира Морозова неповторимо-многообразным. Акварельные, непереда-

важно-непонятные оттенки всем известных слов и тем – первое, что заметит внимательный, подготовленный читатель, если его желанием будет – познать богатейший мир страны прозрений и откровений поэта, исповедей на темы, заданные провидением, судьбой, равнодушием, а точнее, сопричастностью всему существующему и происходящему, и даже ещё только витающему во вселенской необозримости.

Недосказанность. Это русское слово недаром считается красивым. Ведь надо уметь недосказать так, чтобы душа читателя засветилась прекрасными, тревожащими чувства ассоциациями, захотела сопереживать, отправилась "кочевать" в поисках доброты и света, чтобы её божественная сущность обрела силу созидания. Наличие недосказанности – показатель, прямо пропорциональный таланту мастера, будь то поэт, художник, скульптор или прозаик. Настоящую поэзию нельзя перевести на язык прозы даже приблизительно, её надо понять, ощутить.

Как многие поэты в лучшие времена русской поэзии, поэт Владимир Морозов не отделяет свою судьбу от творчества, жизнь – от стихов. В каждом стихотворении он создаёт себя снова и снова, высвечивая разные грани характера, разные оттенки чувств. От минус бесконечности до плюс неожиданности – пространство ощущенческих всплесков. Несомненно, для читателя, неискущённого в манере письма автора, будет много загадок, но и открытый – не меньше.

Стоит вернуться к тому, что показалось сущей нелепицей, в состоянии, далёком от обычного житейского понимания родной речи, в состоянии обострённого чувствования, – когда трудно быть наедине с собой и нужен человек, умеющий сказать то, в чём тебе хочется исповедаться в эти минуты... И станет легче хотя бы на мгновение взаимопонимания поэта и читателя, а, в общем-то, просто двух бесконечно одиноких людей...

Интеллектуальное и эмоциональное восприятие стихов Владимира Морозова очень сильно зависит от состояния читателя в момент чтения, то есть определённое настроение накладывается на настроение поэта, которое он хотел передать и в каком он был в момент написания рифмованных строк. Происходит усиление или ослабление "эффекта", иначе говоря, автор присутствует сам в каждом своём стихотворении, – чисто натуралистических, пейзажных, игровых и бытовых стихов практически нет, автор находится то в центре картины, то его на первый взгляд нет, но это только кажется. Мало наличия поэта в этих стихах, наличие читателя предполагается и необходимо внутри стиха. Записывая эти размышления, я подумала, что ведь в этом и есть одно из главных назначений поэзии – возможность фантастическая – очутиться в другом мире, затерянном в мириадах вселенских миров. В этот мир ты можешь войти по собственной воле, если он нравится тебе. Возможно, это мир спасения от тревоги и гулкого одиночества...

Эффект "присутствия" можно сравнить с иллюзией, которая возникает, когда смотришь на русский лубок или всматриваешься в пейзажи Андо Хиросигэ (японского художника 19-го века, одного из мастеров гравюры, традиционного её направления укиё-э)

А, впрочем, каждому из вас придут на ум свои примеры, в добрый путь!

Поэт обладает острой наблюдательностью, от него не ускользают мельчайшие детали, которые так украшают любую вещь, будь то комод старинной работы или современная информативная сфера (...На рябинах в замяти туманной/ Тихое воздушное течение/ Ветром уносимое далёко/ Светится на солнце/ И в свеченье/ Залетела шустрая сорока/).

Нередки перетекания, сосуществования разных времён в размере одного стихотворения. Таковы стихотворения "Сизари", "Фотография мамы", "Я имя звёздное забыл..." В стихотворении, последнем в этом ряду, автор иногда возвращается туда, откуда, кажется, ушёл безвозвратно, но, читая, понимаешь, что он забыл звёздное имя только на мгновение вечности, которое называется земной жизнью...

Примеров взгляда на одно и то же с разных точек зрения (временных, человеческих, настроенческих) вы найдёте множество, и опять же имеется в виду разбор одного, отдельно взятого стихотворения.

Тема России, родины, страны с непростой космической судьбой – главная в творчестве Владимира Морозова, поэтому статья начинается именно так (см. начало).

Здесь и боль за людей, за целые поколения, за прошлые и будущие муки народа-страдальца, народа-страстотерпца, народа, защищающего свою землю от внешних и внутренних поругателей, народа доверчивого, многотерпеливого, умеющего сострадать и брать на себя тяжёлую ношу исправителя последствий лукавых измышлений лжеправителей, предателей идей православия, святую ношу покаяния несущего народа...

Здесь: "Не говори мне "эта", "та" страна...", "Что нам Москва? Советы да указы.../» «... Провинция – вот русская держава.../ Да здравствует Россия, мужики!", "Кандалный звон по всей Руси великой...", "Китеж-град", "Кто с горечью, кто с вождельнем/ Вещает о гибели, бросьте./ Россия жива даже пеньем/ Малиновки на погосте...", "На гроши променяли Отечество./ А деревня в глуши Тверской./ Словно малое человечество./ Дышит ладаном и тоской...", " Тяжело? А кому легко?/ У кого не болит душа?"...

...Казалось мне,
 Что прашуров я встречу,
 Оборванных, но гордых мужиков.
 Я шёл, искал, надеясь, но напрасно,
 И понял, что имён у них не счастье,
 Они – Народ!
 И всё мне стало ясно, –
 Что это Имя – главное и есть.

"Быть русским..." – стихотворение-объяснение, вместившее в себя и перечисления характерных черт и чёрточек народного быта, и одну фразу, определившую главное: "надо помнить имя, своё..." А ведь оно такое многозначное, это своё имя, места не хватит перечислять, – это и имена отца и матери, и названия деревенок, откуда они родом, а ещё есть прадеды, а ещё есть монастыри и города-герои, а ещё имена святых пастырей Руси, имена подвижников духа, даже то самое звёздное имя, которое забыто до срока...

Но в этом своём имени и "горькая память былого", "...где Родина – главное слово/ Из всех древнерусских святых".

Лирика Владимира Морозова исповедальна, здесь перед нами Человек Искренний, которого трудно разглядеть в Человеке-Маске, коим является поэт, как и все остальные люди, впрочем, вне зависимости от рода занятий и пр.:

Не жалела судьба
И швыряла в смертельные круги,
И спасала меня,
Но держала на самом краю,
Чтобы я понимал
Невесомое чувство разлуки...

.....
...Но был всё-таки добрый в душе.

И седые виски
Не от страха и не от печали.
Жизнь – нелживая песнь
И – дорога из мрака на свет.
И иду я один,
Всем чужой и себе,
Как вначале,
Но хотелось бы верить,
Что русский великий поэт.

(Да не осудим русского поэта за столь смелое отношение к самому себе, да не осудим потому, что в стократное количество раз больше он трагически рефлексировал, мучил себя сомнениями и самоедством...)

Исповедальность – несомненное достижение духа автора, его мужество:

...Но поверь, на исходе судьбы,
Даже кляча – посмертная слава –
Вдохновенно встаёт на дыбы.

.....
Призовёт Господь меня к ответу
За мою словесную муру...

.....
Только бы стихи в моей тетради,
Только сам не очень бы дурак.

"Ну, что ж, не бойтесь откровенности, поэты, может быть, повезёт, и слово ваше заденет за живое... но только откровенность эта должна быть не поверхностная, не плаксиво-разболтанная, а внутренняя, колодезно-чистая, глубокая..." – словно бы говорит своими стихами В. Морозов. Много в его поэзии этих самых разговоров с самим собой как с поэтом, и вроде говорит с поэтом то поэт, то простой мирянин, то священник, а то и прокурор...

Если поверить тому, что написано, а чувствуется, что писалось на пиковых вершинах нервно-интеллектуальной концентрации, то перед нами человек, которому дан милостию Божией талант точнейшего чувствования самого себя, своего подсознания. А не поверить нельзя, если ты сам умеешь "видеть

душой". И, таким образом, мы словно перебираем эквилибристски сделанные словесные акварели – скорость и лёгкость написания в которых – основа красоты, тут словно бы виден процесс работы, – так это свежо, "незамазанно". Чувствуется, что автор, дёрнув за ниточку первой строки, разматывает золотой клубок своего стихотворения, а клубок этот (к сожалению, не всегда), обматывает драгоценность последней строки – концовки, что, по важности своей роли, пожалуй, не может сравниться ни с чем в небольшой поэтической вещи...

Стихотворения-вспышки – имеют большое пространство в поэзии Владимира Морозова, и поэтому концовка несколько пасует перед началом. Можно разве что предположить, что поэт оставляет место для додумывания своей концовки, своей для каждого читателя, но это уже несколько авангардный подход и, может быть, должно пройти время, прежде чем удастся правильно оценить такой метод подачи поэтической энергии, об этом уже говорилось выше: наличие читателя необходимо внутри стиха (хочется привести отрывок из эпиграфа к книге "Маятник Фуко" итальянца Умберто Эко: "Глядя в книгу, находите намерения, которые заложены в ней, – что затемнено семя, да проявлено овамо, да охватится вашей мудростью" (Из Генриха Корнелия Агриппы Нестесгеймского)). Таково, по-моему, стихотворение

Опять судьба спасла и сохранила,
Но ангел мой устал меня беречь,
Пусть отдохнёт, я поживу бескрыло,
Забившись в поэтическую речь.
Где виды из окна и сон, и пища,
Где нет переживаний и тревог,
Где от души осталось пепелище,
Чтоб из него я возродиться смог.

(Как тут не вспомнить о птице Феникс?)

Автор запутывает читателя – как же нет в поэтической речи переживаний и тревог, особенно в его речи, такой нервной и импульсивной? Подумать если, то одна из возможных разгадок алогичного ребуса такова: когда поэт пишет, он находится НАД этими самыми переживаниями и тревогами, они – только фундамент для построения дома, и он, строитель, стоит на этом фундаменте, окружённый только небом...

Владимир Морозов – мастер восьмистиший. Можно порассуждать, почему автору так нравится именно такое количество строк, как он умудряется вписать в них и неожиданные даже для самого себя сентенции (Обречённость – не выбор пути, / а судьбы испытанье...) и щемящие откровения (...негромко/ Я пою, я забылся почти/ Самой светлой печалью ребёнка.), и пронзительные образные ряды (Я иду, листопадную стынь/ Раздвигая ударами сердца), и утверждение ценностного приоритета для русского духа (Крест нательный – одной из святынь/ Освещает мой путь одноверца.)

Как редкие холодновато-нежные памятки незабудок в разных оттенках живой зелени – стихи о любви. Их мало, они, пожалуй, написаны в очень выделяющейся в творчестве Владимира Морозова манере – сдержанно-аристократической. Он не позволяет себе ни малейшей вольности, за исключе-

нием всего нескольких стихов, которые вам самому интересно будет отыскать, дорогой читатель, взявший на себя труд исследовать творчество поэта...

Вот, не свиделись даже,
Знать, торопился зря...

.....
Как ты живёшь? В какие миражи
Поверила? И кто тебе судья?

.....
А ведь я не зимний по душе,
Потому и надо мне спешить,
Капельки нанизаны уже,
Вот тебе серебряная нить.

Эти строчки – как шифры к тайне желания любви и понимания, как мечта о покое и единении сердец, трудно осуществляемая на земле...

Но всё ещё я только смотрю на луг, цветущий всеми красками всех времён года: цветами лета, бесприютной сдержанностью и печалью осени, многооттенковым серебром зимы, одуванчиковой радостью весны... А если запрокинуть голову и взглянуть в небо, туда, где звёзды, где ветер, где те самые, позабытые до срока имена...

... Всё гляжу в тишину переулка
На высокие звёзды над ним,
Прижимаюсь к некрашеной раме,
На судьбу уповаю свою...
А не выживу?
Может быть к маме
В небесах отыщу колею...

Так и пронизывает душу звёздный сквозняк. Не страшно, нет, но понимаешь, что это и о тебе тоже, и ты вот так же стоял в абсолютном одиночестве у окна... Курсивом по всей поэзии Владимира Морозова идёт эта звёздная дорожка:

Я слушал звёзды, я кружил во сне...
.....
....Вселенная в душе, и даже сон
Наполнен бесконечностью... И там
Сегодня я, наивен и смешон,
Шагаю по нескошенным цветам...
.....
Я спокоен, как ветер осенний,
Боль лелею и лень, и сквозь сон
Звёзды, словно кувшинки вселенной,
Собираю в космический чёлн..

И – свет, свет, свет, дорога к нему:

Дорога к свету – самый долгий путь,
И только жизнью этот путь измерить
Нам суждено...

Ощущение его:

Капельку росы преобразить
В тоненькую солнечную нить ...

Восторг:

...вишня
С белым светом по белым цветам (!!!)

Нежность:

И в руки стекает роса –
В лучах – как вода золотая...

Высшая тонкость наблюдения:

С крестами отдыхающих стрекоз
В свечении берёзовых одежд

Недаром так многообразны имена света: свечение, мерцание, сияние... Любимые эпитеты применительно к свету – золотой, серебряный ("Из детства, что казалось золотым", "золотая роса", "серебряная нить", "бабушки сияние в окне" (!!!))

Невольно вспомнишь золото и серебро икон, словно имитирующее тот "горный свет", что "неслышно растекается по весям".

Есть поэты ярких строк, таков, да не таков Владимир Морозов. Его яркие строки – это внезапные акценты, необходимые для всей картины в целом, они нисколько не выпирают и никогда не разрушают гармонии. Позавидуешь соотношению чувств осторожности и смелости...

Если я стану писать о том, что Владимир Морозов – "крестьянский поэт", каковым он себя с гордостью осознаёт, то прежде всего подумаю о происхождении слова "крестьянин" (которое всем ясно), затем – о том, что поэт до 7-ми лет рос в деревне, у бабушки с дедушкой, словно так было задумано кем-то мудрым и справедливым, чтобы он впитал в себя язык – первозданный, неиспорченный городскими сокращениями, условностями, обобщениями, приблизительностями и, что бы ещё пообиднее (продолжите сами)... Чтобы в него вошли и традиции быта деревни и традиции мироощущения людей, словно сросшихся с землёй, на которой они жили – пахали, сеяли, воевали, и – умирали... Тема деревенская – так обширна и настолько на поверхности – добывай "открытым способом" эту самую руду, которая переработается в тебе в трепетное отношение к земле своей, может, и не самой счастливой, но самой родной. "Вселенная безвестного поэта" – строка из стихотворения Владимира Морозова – есть ключ к пониманию его поэзии, ведь Вселенные огромны и неповторимы вне зависимости от того, безвестны они или давно открыты.

Герман Николаевич Ионин

СУДЬБЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ



Протопоп Аввакум



В.В.Розанов

ПЕРВЫЙ ТОМ БУДУЩЕЙ МОНОГРАФИИ

Монография еще только будет, но первый том ее уже есть. И в нем достаточно поводов для дискуссии, которая, на мой взгляд, очень полезна нам. Это разговор о судьбе духовной культуры в России в XX – начале XXI веков.

Правда, по замыслу, речь должна идти о судьбах духовной традиции в литературе и искусстве. А духовная традиция авторами сводится к религии. И речь в будущей монографии идет о том, как соотносятся русское каноническое православие и опыт искусства слова, музыки, живописи, театра и кино. В первом томе это соотношение рассмотрено в период с начала XX века до середины тридцатых годов. Рассмотрены серебряный век и первые десятилетия советской эпохи, а также русское зарубежье. Материал сгруппирован хронологически и по проблемам. В начале тома – постановочная вводная статья редактора и составителя – проф. А. Л. Казина.

Со многим в этом первом томе хочется согласиться и очень многое оспорить. Но если учесть, что подобный труд предпринимается впервые, а также если перечитать ярко талантливые страницы книги, нужно признать: молчание по этой важнейшей проблеме прервано. Подступ к будущей монографии состоялся.

Думаю, потребуется второе издание. Разумеется, в дополненном, доработанном виде. Хотя многочисленные даровитые авторы, надеюсь, еще будут отстаивать свои позиции. Но в глаза бросаются явные несогласованности и недосмотры. Заранее благодарим авторов за возможность полемики с ними.

Чтобы монография была цельной, необходима, прежде всего, обоснованность ее исходных методологических позиций. А также согласованность общих положений и конкретных глав. Да, конечно, книга *авторская*, и об этом сказано в предисловии. Но все же существует разница между монографией и сборником статей. Думается, для монографии авторами сделано немало. Но многие исходные противоречия не преодолены.

Уже на первых страницах и в аннотации сказано, что духовная традиция у нас не прерывалась на протяжении века, что она не была оборвана ни в 1917-м, ни в 1934 годах. Христианская, православная основа культуры в превращенном виде и в разных формах, явно или скрыто, осознанно или неосознанно продолжала жить в советской культуре. Тем более за рубежом. Этот интересный и чрезвычайно важный сегодня тезис не вполне подтвержден в конкретных главах – о Мандельштаме, о Горьком, о Есенине, о Вячеславе Иванове и в др. Иначе дело обстоит в разделе о зарубежной литературе. А в главе о театре тезис этот и вовсе забыт.

К сожалению, все это сразу бросается в глаза. Да, к сожалению, ибо тезис очень интересен. Ввиду его особой важности еще несколько слов о нем. Он почти парадоксален и может сегодня вызвать несогласия и ожесточенную полемику. Но в год столетия Октябрьской революции (именно революции, а не переворота) он особенно актуален. Выскажем нашу точку зрения. Она разойдется с той, которая от нашего имени (по неизвестным нам причинам) была объявлена в печати.

Дело в том, что расхождения между коммунистической идеологией и каноническим православием значительно глубже, чем может показаться. Прежде всего, потому, что есть в них нечто принципиально общее. И это очень важно осознать сегодня. Но осознать точно, без сдвигов и подмен.

Существует формула «царство божие на земле». Возможно оно или нет? Какие бы сомнения ни возникали, истребить веру в него нельзя. Но здесь не только вера. Есть опыт науки. Есть и социальный опыт. И не только отрицательный. Были проекты в прошлом. Будут они и в XXI веке.

Коммунистическая идеология отвергла религию как пережиток прошлого, и тем самым допустила принципиальную методологическую ошибку, не исправленную и до сих пор. Поэтому коммунистическое учение – это не превращенное христианство, а принципиально совсем другая модель. И таким образом со всей очевидностью встает вопрос о религии как о непреходящем компоненте духовной культуры.

А. Л. Казин прав, утверждая, что атеизм – это тоже религия. Но так называемый атеизм не просто был верой в то, что бога нет. Он, в сущности, утверждал веру в другого бога. В Материю. Ей передавались все божьи атрибуты – вечность, бесконечность, движение, творческое начало, породившее в итоге человеческое сознание и т.д. И вот получалось, что этот бог, Материя, функционально сближался с Богом-творцом в традиционной, в том числе и канонической версии христианства. А якобы атеистический человек мог быть соотнесен с богочеловеком.

Да, такая простая постановка вопроса не была осознана в системе коммунистической идеологии. Но объективно указанная закономерность существовала. И осознать ее и призваны были авторы первого тома будущей монографии.

Но этого не произошло. И недомыслие, ошибка коммунистических идеологов – разумеется, в превращенном виде – повторились в первом томе обсуждаемой книги. Отсюда, на наш взгляд, при всех верных наблюдениях, оценках и даже открытиях, проистекают все слабости и противоречия этой талантливой книги.

Сейчас настало время исправить ошибку коммунистов. И тогда восстановится историческая целостность и преемственность советской эпохи, ее связи с прошлым, настоящим и будущим, позволяющие действительно проследить судьбы духовной традиции в отечественной культуре XX века.

Перелистаем страницы книги, отмечая наши про и контра. Их очень много, поэтому задержимся лишь на некоторых, наиболее важных.

Два слова о духовной традиции и духовной культуре. Это взаимовосполняющие категории. Входит ли религия и каноническое православие в состав духовной культуры? И если да, то как она соотносится с другими компонентами – философией, этикой, эстетикой, наукой, искусством. Особый вопрос – о политике и об идеологии.

У А. Л. Казина своя версия. Вот почему он, в разрез с традицией, употребляет формулу – религия и культура. Получается, что религия в культуру не входит. Эту версию можно понять. Культура – то, что создано человеком. Как определяли раньше, духовное и материальное производство.

Но религия и каноническое православие не создано людьми, а ниспослано Богом. Вместе с тем она есть важнейший аспект общественного сознания. Значит, она в культуру все-таки входит. Как быть?

Чрезвычайно важный вывод: православное (правоверное) религиозное сознание должно учитывать – многое, основное в признаваемой конфессии заповедано Богом, но есть в ней и то, что создано человеком, входит в сферу его духовного творчества. Поэтому в конфессиональной традиции есть свои домыслы, подмены и ошибки. Православие тоже не свободно от них. При этом истинно верующий верен конфессиональной догматике. Но, по указанной причине, возможно и неконфессиональное христианство.

И между ним и конфессиональным вероучением, на нынешнем этапе развития духовной традиции чрезвычайно желателен доверительный и по-христиански мирный диалог. Включая рассмотрение религии в системе духовной культуры. Необходимо и философское, и научное рассмотрение этой проблемы. И не только в сфере богословской науки.

Здесь наши версии с А. Л. Казиным расходятся. Тем не менее, они близки. Любой из компонентов духовной культуры может и должен быть сопоставлен с системой культуры в целом. И в каждом случае принципиальное значение имеет специфика этого компонента. Обратимся к тем схемам, которые автор приводит в предисловии к первому тому.

А. Л. Казин вводит три типологически и исторически противостоящие друг другу категории мироотношения: классика, модерн и постмодерн. Классикой оказывается средневековье, модерн – Возрождение и Просвещение, постмодерн – конец XX и начало XXI века. В соответствии с этой классификацией, в нашей русской духовной и культурной истории ХУШ, XIX и большая часть XX веков представляют собой модерн. Постмодерн – нынешнее состояние русской культуры. И вот, утверждает А. Л. Казин, в этих условиях русская классическая (средневековая) традиция выживала и не прерывалась.

Таким образом, все рассмотрено с точки зрения христианской, конфессиональной, православной модели. Несовпадение с ней, отклонение от нее вполне логично объявлено либо нехристианским, либо еретическим. Таковы в русской истории три модернистских века отечественной культуры – от петровской эпохи до нашего времени. Стык веков на грани тысячелетий – наш постмодерн.

Такая постановка вопроса логична и имеет право на существование. Но совершенно очевидна ее недостаточность, коль скоро мы рассматриваем религию не как единственную основу духовной традиции (в этом есть своя высокая правда), но и как компонент духовной культуры, включающей в себя, кроме религии, помимо других компонентов, науку и искусство, т.е., как раз то, чему посвящена обсуждаемая сейчас будущая монография.

И так мы неизбежно приходим к идее паритетного соотношения в системе духовной культуры трех главных компонентов – религии, науки и искусства (разумеется, включая литературу). Без признания такого паритета мы обречены на неполное, больше того, сокрушительное для отечественной культуры непонимание трех веков нашего культурного развития и особенное непонимание и неприятие нашего XX века.

Но парадокс заключается в том, что такая односторонность, на определенном этапе исследования, чрезвычайно полезна. Нужно только помнить о ней и не выдавать часть правды за всю правду. Если мы этого не сделаем, то получим во многом искаженную и даже парадоксально подмененную панораму отечественной культурной истории, что очень заметно в некоторых главах и на отдельных страницах обсуждаемой будущей монографии.

Больше того, указанная и специально не оговоренная недостаточность оказывается причиной того, что, повторяем, главный тезис о непрерывности духовной традиции на протяжении XX века часто не находит подтверждения в монографических главах книги.

Но если учесть то, что сказано выше, книгу надо признать шагом к современному научному рассмотрению проблемы.

Приведенные на страницах 11, 12 и 14 схемы (строение классической цивилизации, Русское средневековье; строение модернистской цивилизации, Возрождение, Просвещение, романтизм; строение постмодернистской цивилизации), повторим, могут и должны быть оспорены.

Пожалуй, лишь третья модель (постмодерн) верна действительности. Но разве она может выдержать сопоставление с первыми двумя? А она, по мысли автора, является логическим завершением отпадения от Русского средневековья. Ведь оно, Средневековье, одно верно Православию и служит опорой для сокрушительной критики Возрождения, Просвещения, романтизма (куда пропал реализм?), вообще всего того, что мы называем русской классикой XIX и XX веков. Следовательно, уже в первой схеме есть принципиальный изъян. И третья схема тоже неверна как часть целого.

Вся система этих схем не выдерживает критики по нескольким причинам. Во-первых, потому что она недостаточна, ибо являет один, религиозный компонент духовной культуры, догматически подчиняя ему науку и искусство. Во-вторых, если восполнить эти схемы паритетным соотношением с наукой и искусством, станет ясным, что в духовной культуре, на разных этапах ее развития человек в целом предстает совершенно иначе, нежели в приводимых автором таблицах. Он всегда в центре творимой им культуры и всегда сын божий (как бы он ни понимал божество – как персонифицированное творческое начало или как безликую, но созидающую сознание материю).

С этой точки зрения Средневековье (в столкновении авторов книги) далеко не в полной мере раскрывает русскую духовную культуру и не вполне выявляет потенциал русской духовной традиции. Ибо она была в значительной мере восполнена и в XVIII и в XIX, и в XX веках. Она не сводится к одной религии. И вот в этом восполненном составе ее и предстоит по-новому изучить.

В свое время Н. Н. Скатов справедливо сопоставлял русскую художественную культуру «золотого века» с эпохами Античности и Возрождения. Но художественная культура неотрывна от духовной традиции. А в ней (и в этом нужно согласиться с авторами рецензируемой книги) исключительную, особую роль осуществило русское Православие.

Нам уже много раз приходилось говорить и писать о том, что в духовной культуре религия, наука и искусство паритетны. Религия дает полное

нравственно ориентирующее знание. Но оно не может быть ни доказано, ни опровергнуто. Оно требует веры. Наука вырабатывает точное, проверенное и доказанное знание. Но это знание по многим вечным проблемам обречено на неполноту и потому никогда не сможет исключить религиозный ориентир. Искусство воссоздает человеческий опыт, иными словами испытывает опытом жизни сознание, создаваемое наукой и религией

Вот что нужно отразить в новых схемах, которых пока нет. Лишь заново обдумав методологию, можно будет говорить об осознанно научных подходах к теме. И тогда возможны корректировка и совершенствование монографических глав.

Теперь конкретные примеры, выявляющие достижения и недостатки книги.

Более подробно в будущей монографии представлена литература. Здесь пять разделов: «Наследники серебряного века» (А. Блок, А. Белый, Н. Гумилев, Осип Мандельштам, Максимилиан Волошин); «Антропоцентризм как миропонимание» (Горький, Есенин, Маяковский, Евгений Замятин); «Религиозное сознание классиков русского Зарубежья» (Д. Мережковский, Вячеслав Иванов, И. Бунин, Куприн); «Духовный реализм в советской литературе» (Вячеслав Шишков, М. Пришвин, Сергей Дурылин); «Дар веры» (И. Шмелев, Б. Зайцев, Л. Зуров, В. Никифоров-Волгин, А. Гессен, С. Бехтеев, И. Савин, Н. Городецкая, казачья проза и поэзия, «Семья» Нины Федоровой).

Перечень замечательный. Рубрикация тоже. В соответствии с терминологией авторов в классики попали только писатели из русского зарубежья. И Н. Гумилев. Только с зарубежьем и Гумилевым связывается вопрос: возможна или нет в XX веке русская православная литература. «Дар веры» именно об этом. Однако лучшие главы раскрывают сложность восприятия, исповедания и воплощения православного начала в творчестве названных писателей. Исключение – Б. Зайцев. Но к анализу привлечено далеко не все его творчество. Опущены произведения, свидетельствующие об интересе писателя к западной литературе и культуре (перевод первой части «Божественной комедии», сборник «Рафаэль», книга статей «Италия» и др.).

Тем не менее, в разделах о зарубежье, особенно в главах о Шмелеве и Зайцеве с большой глубиной поставлен вопрос о христианском религиозном чувстве, которого, как полагают авторы книги, так не хватает русской литературе XX века. Справедливо это или нет?

И здесь мы подходим к самому интересному и важному. Если каноническое православие претерпело в русской литературе XX века серьезные метаморфозы, то восходящая к истоку духовная традиция христианства по-новому оживала в русском искусстве слова. Внешне это выглядит порой как богоборчество. А на самом деле? По существу речь шла о возможности царства божьего на земле. О справедливом, достойном свободного человека будущем. И о том, как его приблизить и сделать настоящим. И здесь интересен не воинствующий атеизм (хотя его нужно выявлять и соответствующим образом оценивать), и важно здесь не отступление от православного канона, а те особые формы неосознанного религиозного мироотношения, в которых порой оживала изначальная подлинность христианства и русской духовной традиции.

К сожалению, именно этот аспект, прямо заявленный в «Предисловии» и «Введении», часто ускользал от внимания авторов книги. И вот наша гипотеза. Видимо, теория модерна, заявленная на первых страницах, мешала выявить сполна этот сугубо русский литературный феномен. И получилось так, что, несмотря на все изначальные оговорки, богословский крен в книге явно дает о себе знать. А ведь автор вступительной статьи и составитель такой задачи перед собой не ставили (стр. 8).

Но вопреки всему в книге есть прорывы к подлинно литературоведческому исследованию. Особенно порадовала в этом отношении статья Ольги Борисовны Сокуровой о поэме А. Блока «Двенадцать». Она прекрасно открывает раздел «Наследники серебряного века». В ней есть главное: показан сложный, мучительный путь Блока от Христа и ко Христу. И это, как сказано в заглавии статьи, – «путь России». Не догматическое следование букве христианства, а обретение Христа. И никакого модерна. Путь Блока индивидуален (а он и не мог быть иным), но обретение выстрадано и пророчески заповедано нам. При этом в главе не все точно. Я думаю, например, что такой шедевр, как стихотворение «Девушка пела в церковном хоре», заслуживает более глубокой и верной интерпретации, чем та, которая мельком дана на стр. 46. Но главное в статье убедительно, доминанта верна. Поэма «Двенадцать» «знаменует явление Логоса-Христа. в двенадцатый час мировой истории» (стр. 64).

Много прекрасных страниц в статьях А. Л. Казина (о космическом христианстве Андрея Белого), Ю. В. Зобнина («Николай Гумилев – поэт Православия»), «Христианство Осипа Мандельштама», «Апологет России. Духовный и творческий путь Максимилиана Волошина», «Дмитрий Мережковский»), А. В. Маторина («Богостроитель Горький» и особенно «Беспочвенность и запредельность Вячеслава Иванова», отчасти и в главе «Боги Бунина»), Е. Ш. Галимовой («Немыслимая любовь» Маяковского»), Р. Г. Круглова («Художественная философия Евгения Замятина», «Социалистический» реализм Вячеслава Шишкова», «Философия человека в творчестве Пришвина»), Т. Н. Резвых («Детское богословие» в прозе и поэзии Сергея Дурылина»), А. М. Любомудрова (главы о И. С. Шмелеве и Б. К. Зайцеве), М. А. Дмитриевой («Кроткий Куприн». «Казачья проза и поэзия»).

Каждый из этих разделов, как и статья О. Б. Сокуровой, заслуживает особого разговора. Везде есть верные наблюдения, позволяющие по-новому увидеть и оценить казалось бы знакомых и изученных уже русских писателей. Мастерское сочетание тонкого и точного анализа и великолепных цитат вызывает порой особый эффект: информативность переходит в художественность, сопереживание с теми, о ком идет речь, волнует читателя, новизна и свежесть материала покоряет и завораживает. Это назревшая новизна подхода, отвечающего теме будущей монографии. Перечисление удач и находок заняло бы много места и времени.

Поэтому вернемся к тому, что может быть оспорено. Ибо это лишь подчеркнет достоинства книги и поможет понять сложности создания труда такого типа. Здесь будет разговор и об отдельных главах и о некоторых присущих книге тенденциях. Кроме того, через конкретное постигаешь общее.

Яркой и талантливой неудачей книги явилась, на наш взгляд, глава «Сергей Есенин: «падение роковое». Уже сама формулировка заглавия объясняет читателю: «падение роковое» – это и есть весь Сергей Есенин. Вот где «богословский подход» к творчеству великого национального поэта обнаружил свою несостоятельность.

Вроде бы автор открывает нового, неизвестного нам Есенина. На самом деле, все «открытое» уже известно: это взрывные революционные стихи поэта («Октоих», «Преображение», «Инония», «Иорданская голубица», «Пантократор» и др.) и его образность, вырастающая из языческих мотивов, вообще-то присущих русскому христианству. Сочетанием мифотворного богоборчества и язычества объясняется отпадение Есенина от Православия и его «роковое падение». (Кстати, падению есть совершенно другие объяснения, даже не упомянутые в главе). А дальше идет грубое вторжение в образную ткань есенинских шедевров.

Автор взял за основу самое не устоявшееся, взорванное изнутри, во многом ситуативное (1917 год!) в органичном и художественном по природе творчестве поэта и свел это вздыбленное творчество с христианской догмой. Ничего, кроме несправедного суда над Есениным из этого не получилось. Поэт образно уравнивает язычество и христианство. При этом библейская и христианская образность обретают особую, небывалую силу. Это есенинский (и недолгий по времени) вариант рядом с Блоком и Маяковским. Его надо изучать, а не судить по-богословски. Такой суд правомерен, но ущербен. Специфика искусства не понята и попорана.

А вместе с нею и (трудно выговорить!) есенинская тема Родины. Повторим, в чувстве Родины для русского человека очень сложно и противоречиво изначально сочетается языческое и христианское. В этом тоже важная черта русской духовной традиции. Есенин как никто воплотил ее. И вот, отвергая с порога национальный гений поэта-художника, автор приходит к парадоксальному противопоставлению Родины и Истины. Как земного и небесного. А сущность художественных исканий XX века как раз в попытках соотносить небесное и земное Божье царство. Этот опыт нужно понять. Ведь нам еще предстоит его продолжить, не повторяя ошибок и трагедий отечественной истории. Есенин их чувствовал и громко сказал об этом как великий поэт. И он изживал крайности образного новаторства и находил свой путь преодоления в «Персидских мотивах» и поздней лирике. А именно она в ряду других шедевров и подверглась в статье ортодоксальному осуждению.

Язычеству как источнику образности и выражению любви к земному досталось и в главах о Вячеславе Иванове и И. Бунине. Но там преобладает спокойный и объективный (и потому интересный!) анализ, без разоблачительных выводов и оценок. Но все равно получалось, что любовь к земле и земному и порождаемая ею художественность – греховны и антиправославны. Тогда и отец «поэзии действительности» Г. Р. Державин антиправославен. Взаимопроникновение язычества и христианства есть у него. И в этом, скажем еще раз, тоже русская духовная традиция.

Кстати, по замыслу весь раздел «Антропоцентризм как миропонимание» несет на себе печать той же ущербности. Вот почему многое не понято и в творчестве Горького, и в поэзии В. Маяковского. А основа их богостроительства тоже связана с религиозным началом в русской духовной культуре. Это и требует историко-литературного изучения, а не только богословского приговора. Именно этого хотел составитель. Но его теоретические классификации и схемы отчасти помешали вполне осуществить эту работу – даже в лучших главах книги.

Вот одно из свидетельств тому. И не только по этому разделу. Удивительным образом из исследования выпали ключевые произведения писателей, имеющие прямое отношение к стержневой теме. В главе о Блоке есть все, что нужно. А вот другим писателям не повезло. Перечислим то, что выпало. «Человек» Горького (там очень важен момент размежевания с Л. Толстым и Ф. Ницше), «Про это» Маяковского (там голгофа – кульминационный момент!), «Толстой и Достоевский» Мережковского (ясновидение плоти и духа, Третий завет), «Персидские мотивы» Есенина (паритетный разговор двух миров поэзии), «Глаза земли» Пришвина (они лишь бегло упомянуты, а их соотношение с дневниками – важнейший вопрос). Лев Толстой вообще изгнан. А он творил до 10 года. Что же? Лев недостойн этой книги? Его разрыв с православной церковью требует, по-моему, с ее стороны христианского отношения. Он великий неконфессиональный христианский мыслитель. И без Л. Толстого о судьбах русской духовной традиции трудно говорить. Но тенденциозность и догматические установки берут свое, и вот, вполне логично, возникают натяжки в истолковании рассказа А. И. Куприна «Анафема»...

Примеры можно множить и множить. В итоге – резкое и совершенно напрасное противостояние Православия и русской литературы – вообще настоящей литературы. Вопреки верному и своевременному замыслу составителя и отчасти по его вине. Но я хотел бы закончить совсем на другой ноте.

У нас сейчас презентация первого тома будущей монографии. Презентация, а не ее аналитический разбор. И было бы несправедливо преуменьшать значение этого труда. Больше того. В нем реализована попытка впервые проделать принципиально важное и давно назревшее в нашей науке исследование. Высказанные здесь замечания тоже могут быть оспорены. Но самые слабости книги (слабости – с нашей точки зрения) интересны. Они мобилизуют читателя и исследователя. Кроме того, помимо чисто информационных главок все осуществлено в 1 томе поистине талантливо. Все пробуждает исследовательскую мысль. Авторы готовят второй том. А я все же надеюсь на второе издание первого тома. И на продолжение плодотворной полемики.

18.164.5.114-2 С. Л. Столбцовъ.

А. С. ПУШКИНЪ

ПО ОТЗЫВАМЪ

А. В. НИКИТЕНКА.



ХАРЬКОВЪ.

Типо-Литографія «Печатное Дѣло» вн. К. Н. Гагарина, Ключковская ул., д. № 5-й.

1900.

А. С. Пушкинъ по отзывамъ А. В. Никитенка.

Критико-біографическія замѣтки о русскихъ писателяхъ въ дневникѣ Никитенка не носятъ на себѣ характера систематизированнаго изложенія. Замѣтки эти разбросаны по всѣмъ 3 томамъ записокъ автора, которыя онъ велъ въ формѣ дневника, по большей части въ видѣ отрывочныхъ замѣчаній.—Обязанности профессора (позже и академика), цензора, предсѣдателя и члена множества различныхъ обществъ, добросовѣстное выполненіе которыхъ требовало отъ Никитенка изумительной энергии, не позволяли ему удѣлять достаточно времени на систематическое изложеніе своихъ литературныхъ мнѣній. Тѣмъ болѣе, что авторъ записокъ, неся многоразличныя служебныя обязанности, живо интересовался всѣми общественными вопросами царствованія Николая I и Александра II. Большая часть замѣтокъ дневника посвящена этимъ жгучимъ вопросамъ современности, вызывавшимъ къ жизни новыя благотворныя начала, хранившія въ себѣ сѣмена развитія русской общественности и прѣдсвѣщенія.

Критическая часть этихъ замѣтокъ, сдѣланная рукой умнаго, съ большимъ эстетическимъ чутьемъ и вкусомъ профессора изящной словесности, автора многихъ литературныхъ и философскихъ монографій, челоувѣка, такъ сказать, литературнаго по призванію, имѣетъ для насъ большую цѣнность и интересъ, несмотря на случайность и отрывочность матеріала. Прекрасный литературный языкъ замѣтокъ повышаетъ цѣнность ихъ.

Кромѣ того обязанности цензора и собственное участіе автора въ литературныхъ трудахъ сталкивало его и сближало со многими представителями нашей литературы и науки. Никитенко имѣлъ постоянныя служебныя и частныя отношенія со всѣми передовыми и мыслящими людьми въ Петербургѣ.

Въ запискахъ объ этихъ сношеніяхъ въ теченіе многолѣтней жизни автора разбросано много интересныхъ чертъ для характеристики современ-

ныхъ ему писателей, ученыхъ, администраторовъ. Такъ, личное знакомство и встрѣчи автора съ А. С. Пушкинымъ дали возможность ему оставить много подробностей изъ біографіи поэта.

Близкія отношенія съ администраціей и дѣятелями одного изъ самыхъ блестящихъ періодовъ нашего общественнаго развитія 60-ыхъ и 70-ыхъ годовъ—дали возможность автору заполнить соответствующія страницы дневника очень интересными свѣдѣніями.

Въ виду того, что авторъ записокъ былъ лично знакомый современникъ Пушкина, замѣтки его о великомъ поэтѣ пріобрѣтаютъ особый интересъ, давая критерій для опредѣленія того, какъ отражались и какое производили впечатлѣніе личность и произведенія поэта на современное ему общество.

Первое упоминаніе автора дневника о Пушкинѣ мы находимъ подъ 2 сентября 1826 года. Въ этотъ день Никитенко былъ въ академіи художествъ, осматривалъ картины и портреты. О портретѣ Пушкина записалъ: «Вотъ поэтъ Пушкинъ. Не смотрите на подпись: видѣвъ его хоть разъ живого, вы тотчасъ признаете его привлекательные глаза и ротъ, которому недостаетъ только безпрестаннаго вздрагиванья; этотъ портретъ писанъ Кипренскимъ». (I. 236).

О первой встрѣчѣ Никитенка съ Пушкинымъ записано такое впечатлѣніе. «Это человекъ небольшого роста, на первый взглядъ не представляющій изъ себя ничего особеннаго. Если смотрѣть на лицо, начиная съ подбородка, то тщетно будешь искать въ немъ до самихъ глазъ выраженія поэтическаго дара. Но глаза непременно остановятъ васъ: въ нихъ вы увидите лучи того огня, которымъ согрѣты его стихи—прекрасные, какъ букеты свѣжихъ весеннихъ розъ, звучные, полные силы и чувства. Объ обращеніи его и разговорѣ не могу ничего сказать, потому что я скоро ушелъ». (I. 227.)

Придерживаясь далѣе по возможности хронологическаго порядка, мы приведемъ упоминанье автора (подъ 22 сентября 1826 г.) о той несимпатичной разгульной сторонѣ жизни поэта, послѣ возвращенія изъ Михайловскаго, которая встрѣтила впоследствии въ нѣкоторыхъ органахъ журналистики сильное осужденіе съ тенденціознымъ толкованіемъ. Авторъ дневника отнесъ къ этому съ объективнымъ спокойствіемъ. «Поэтъ Пушкинъ уѣхалъ въ деревню. Онъ проигрался въ карты. Говорятъ, что онъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ ухлопалъ 18000 рублей. Поведеніе его не соответствуетъ человѣку, говорящему языкомъ боговъ и стремящемуся воплотить въ живые образы высшую идеальную красоту. При-

скорбно такое нравственное противорѣчіе въ соединеніи съ высокимъ даромъ, полученнымъ отъ природы.

Никто изъ русскихъ поэтовъ не постигъ такъ глубоко тайны нашего языка; никто не можетъ сравниться съ нимъ живостью, блескомъ, свѣжестью красокъ въ картинахъ, созданныхъ его пламеннымъ воображеніемъ.

Ничьи стихи не услаждаютъ души такой плѣнительной гармоніей. И рядомъ съ этимъ, говорятъ, онъ плохой сынъ, сомнительный другъ. Не вѣрится!.. Во всякомъ случаѣ въ толкахъ о немъ много преувеличенной и несообразностей, какъ всегда случается съ людьми, которые, выдвигаясь изъ толпы и привлекая къ себѣ всеобщее вниманіе, въ однихъ возбуждаютъ удивленіе, въ другихъ зависть» (I. 238).

Въ концѣ 20-ыхъ годовъ Пушкинъ чаще и чаще начинаетъ отдаваться мрачнымъ мыслямъ о пустотѣ и пошлости своей свѣтской, разгульной жизни. Въ немъ начинаетъ заговаривать раскаяніе. Рѣдкіе возвраты яснаго настроенія смѣняются безысходной тоскою, мыслью о смерти. Не чувствуя въ себѣ силъ бороться съ этимъ отчаяніемъ среди обстановки, вызвавшей его, Пушкинъ въ мартѣ 1829 года безъ разрѣшенія своихъ аргусовъ уѣхалъ на Кавказъ, въ русскій лагерь подъ Эрзерумомъ, забыться подъ воемъ пуль. Разказъ объ этомъ походѣ и составляетъ «Путешествіе въ Эрзерумъ во время похода 1829 года». Никитенко упоминаетъ объ одномъ вечерѣ, на которомъ Пушкинъ передавалъ свои воспоминающія объ этомъ путешествіи.

Подъ 2 марта 1832 года записано: «Сегодня Пушкинъ разказывалъ у Плетнева весьма любопытные случаи и наблюденія свои во время путешествія своего въ Грузію и Малую Азію въ послѣднюю турецкую войну. Это заняло насъ очень пріятно. Пушкинъ участвовалъ въ нѣкоторыхъ стычкахъ съ непріятелемъ». (I. 298).

— Подробностью къ пребыванію Пушкина на Кавказѣ служить приведенная подъ 26 марта 1870 г. замѣтка о вечерѣ у Ѳ. И. Тютчева. «Тутъ (на вечерѣ) между прочимъ былъ и М. В. Юзефовичъ, который умно и живо разказывалъ разныя свои воспоминающія на Кавказѣ и былъ съ нимъ подъ Эрзерумомъ. Онъ говорилъ, что Пушкину очень хотѣлось побывать подъ ядрами непріятельскихъ пушекъ и особенно слышать ихъ свистъ. Желаніе его исполнилось, ядра его однако не испугали, несмотря на то, что одно изъ нихъ упало очень близко». (III. 234).

Довольно подробно авторъ дневника говоритъ о цензурныхъ мытарствахъ Пушкина. Какъ цензоръ, просматривавшій сочиненія Пушкина,

Никитенко могъ дать достовѣрныя и интересныя свѣдѣнія объ общемъ настроеніи цензуры и въ частности объ отношеніи ея къ Пушкину. Цензура дѣлала такія комическія придирки, какъ, напримѣръ, приводимый Никитенкомъ всѣмъ извѣстный анекдотъ о томъ, что митрополитъ Филаретъ жаловался Бенкендорфу на одинъ стихъ Пушкина въ «Евгеніи Онѣгинѣ» тамъ, гдѣ онъ, описывая Москву, говоритъ: «и стая галокъ на крестахъ». Здѣсь Филаретъ усмотрѣлъ оскорбленіе святыни. Цензоръ, котораго призывали къ отвѣту по этому поводу, сказалъ, что галки, сколько ему извѣстно, дѣйствительно садятся на крестахъ московскихъ церквей, но что, по его мнѣнію, виновать здѣсь болѣе всего московскій полицімейстеръ, допускающій это, а не поэтъ и цензоръ». (I. 323).

Цензурная строгость усилилась съ назначеніемъ на постъ Министра Народнаго Просвѣщенія графа Уварова въ 1833 году.

Начались новыя порядки. Министръ самъ просматривалъ нѣкоторыя произведенія Пушкина, часто урѣзывая ихъ. Объ одномъ изъ такихъ случаевъ упоминаетъ Никитенко (I. 324) «Я представилъ ему (гр. Уварову) еще сочиненіе и переводъ Пушкина «Анджело». Прежде государь самъ разсматривалъ его поэмы, и я не зналъ, имѣю-ли я право цензуровать ихъ. Теперь министръ приказалъ мнѣ поступать въ отношеніи къ Пушкину на общемъ основаніи. Онъ самъ прочелъ «Анджело» и потребовалъ, чтобы нѣсколько стиховъ были исключены. Поэма эта или отрывокъ начата, повидимому, въ минуты одушевленія, но окончена слабо». Этотъ урѣзъ сильно оскорбилъ поэта. Нѣсколько ниже приведенной выдержки читаемъ...: «Случилось нѣчто, разстроившее меня съ Пушкинымъ. Онъ просилъ меня разсмотрѣть его «повѣсти Бѣлкіна», которыя онъ хочетъ печатать вторымъ изданіемъ. Я отвѣчала ему слѣдующее: Съ душевнымъ удовольствіемъ готовъ исполнить ваше желаніе теперь и всегда. Да благословитъ васъ геній вашъ новыми вдохновеніями, а мы готовы (что сказать?—обрѣзывать крылья ему? По крайней мѣрѣ, рука моя не злоупотребитъ этимъ). Потрудитесь мнѣ прислать все, что означено въ запискѣ вашей, и увѣдомить, къ какому времени вы желали бы окончанія этой тяжбы политическаго механизма съ искусствомъ, говоря просто, процензуравія».

Затѣмъ авторъ продолжаетъ: «Между тѣмъ, къ нему дошелъ его «Анджело» съ нѣсколькими урѣзанными министромъ стихами. Онъ взбѣсился. Смирдинъ платитъ ему за каждый стихъ по червошцу, слѣдовательно Пушкинъ здѣсь теряетъ нѣсколько (червошцевъ) десятковъ рублей. Онъ потребовалъ, чтобы на мѣсто исключенныхъ стиховъ были поставлены точки, съ тѣмъ, однако-жъ, чтобы Смирдинъ все таки заплатилъ ему деньги и за точки! Послѣднее требованіе поэта какъ то мало вѣ-

роятно для его нравственной порядочности.—Этот случай былъ причиною натянутыхъ отношеній между поэтомъ и его цензоромъ. Никитенко все таки хотѣлъ оправдаться передъ Пушкинымъ. Въ разговорѣ съ Плетневымъ онъ говоритъ: «напрасно Александръ Сергѣевичъ на меня сердится. Я долженъ исполнить свою обязанность, а въ настоящемъ случаю ему причинилъ неприятность не я, а самъ министръ».

Можетъ быть подобныя столкновенія объясняютъ замѣчанія Никитенко о щепетильности, о холодномъ величии камеръ-юнкерскаго поклона поэта, который, какъ извѣстно, слишкомъ тяготился придворнымъ мундиромъ, чтобы импонировать имъ кому-нибудь. Такой-же характеръ носятъ на себѣ и слѣдующая запись дневника. «Интересно, какъ Пушкинъ судитъ о Кукольникѣ. Однажды у Плетнева зашла рѣчь о послѣднемъ. Я былъ тутъ-же. Пушкинъ, по обыкновенію, грызъ ногти или яблоко— не помню, сказалъ: а что, вѣдь у Кукольника есть хорошіе стихи? Говорять, что у него есть и мысли. Это было сказано тономъ двойного аристократа: аристократа природы и положенія въ свѣтѣ. Пушкинъ иногда впадаетъ въ этотъ тонъ и тогда становится крайне непріятнымъ» (I, 364).

Непріятности по цензурѣ у Пушкина все усиливались. Онъ затаялъ противъ своего притѣснителя, графа Уварова сильную злобу. Семейный скандалъ у министра далъ поводъ поэту излить свою злобу въ зломъ и оскорбительномъ стихотвореніи «На выздоровленіе Лукулла». Вотъ что мы находимъ у Никитенка объ этомъ эпизодѣ: «Пушкинъ написалъ родъ насквиля на министра народнаго просвѣщенія, на котораго онъ сердитъ за то, что тотъ подвергнулъ его сочиненія общей цензурѣ. Прежде его сочиненія разсматривались въ собственной канцеляріи государя, который и самъ ихъ иногда читалъ. Такъ, напримѣръ, поэма «Всадникъ» имъ самимъ не пропущена. Насквиль Пушкина называется: «Выздоровленіе Лукулла». Она напечатана въ московскомъ «Наблюдателѣ». Опъ какъ-то хвалился, что непременно посадитъ на гауптвахту кого-нибудь изъ здѣшнихъ цензоровъ, особенно меня, которому не хочетъ простить за «Анджело».

Этой цѣли онъ теперь, кажется, достигнетъ въ Москвѣ, ибо поэма надѣлала много шума въ городѣ. Всѣ узнаютъ въ ней, какъ нельзя лучше, Уварова» (I, 364).

О томъ, какое впечатлѣніе произвело это стихотвореніе въ обществѣ, авторъ пишетъ: «Весь городъ занятъ «Выздоровленіемъ Лукулла». Враги Уварова читаютъ пьесу съ восхищеніемъ, но большинство образованной публики недовольно своимъ поэтомъ. Въ самомъ дѣлѣ, продолжаетъ авторъ, Пушкинъ этимъ стихотвореніемъ не много выигралъ въ

общественномъ мнѣніи, которымъ, при своей гордости, однако, очень дорожить. Государь черезъ Бенкендорфа приказалъ сдѣлать ему строгій выговоръ». (I, 365).

«Но дня за 3 до этого, читаемъ дальше, Пушкину уже было разрѣшено издавать журналъ, въ родѣ «Эдинбургскаго трехмѣсячнаго обозрѣнія»; онъ будетъ называться «Современникъ». Цензоромъ новаго журнала попечитель назначилъ Крылова, самаго трусливаго, а слѣдовательно и самаго строгаго изъ нашей братіи. Хотѣли меня назначить, но я убѣдительно просилъ уволить меня отъ этого: съ Пушкинымъ слишкомъ тяжело имѣть дѣло» (ibid.).

Съ изданіемъ «Современника» зависимость Пушкина отъ цензуры усилилась, а отношенія между поэтомъ и министромъ послѣ напечатанія «Выздоровленія Лукулла» сильно обострились. «Пушкина жестоко жметъ цензура, говоритъ Никитенко. Онъ жаловался на Крылова и просилъ себя другого цензора, въ подмогу первому. Ему назначили Гаевского. Пушкинъ раскаивается, но поздно. Гаевскій до того напуганъ гауптвахтой, на которой просидѣлъ восемь дней, что теперь сомнѣвается, можно-ли пропускать въ печать извѣстія вродѣ того, что такой-то король скончался» (I, 368).

Всѣ эти непріятности съ цензурой, такъ сильно раздражившія поэта подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ испытаннаго, со временемъ, какъ и все на свѣтѣ, забывались. Пушкинъ часто послѣ холоднаго обдумыванія своихъ легкомысленныхъ поступковъ и обличительныхъ увлеченій отказывался отъ нихъ, исправлялъ.

Характеренъ въ этомъ отношеніи анекдотъ, рассказанный Никитенкъ Норовымъ, бывшимъ министромъ народнаго просвѣщенія. «Норовъ встрѣтился съ Пушкинымъ за годъ или за полтора до его женитьбы. Пушкинъ очень любезно съ нимъ поздоровался и обнялъ его. При этомъ былъ пріятель Пушкина Туманскій. Онъ обратился къ Пушкину и сказалъ ему: Знаешь-ли, Александръ Сергѣевичъ, кого ты обнимаешь? Вѣдь это твой противникъ. Въ бытность свою въ Одессѣ, онъ при мнѣ сжегъ твою рукописную поэму. Дѣло въ томъ, что Туманскій далъ Норову прочесть въ рукописи извѣстную непристойную поэму Пушкина. Въ комнатѣ тогда топился каминъ и Норовъ, но прочтеніи пьесы, тутъ-же бросилъ ее въ огонь. — «Нѣтъ, сказалъ Пушкинъ, я этого не знаю, а узнавъ теперь, вижу, что Авраамъ Сергѣевичъ не противникъ мнѣ, а другъ; авторы, восхищавшіеся такою гадостью, какъ моя неизданная поэма, настоящій мой врагъ». (III. 35.)

Послѣднія замѣтки были сдѣланы авторомъ въ концѣ 1836 года.

Наступил роковой 1837 годъ, 28-ое января котораго унесло у русской литературы ея великаго поэта. Смерть Пушкина потрясла Никитенка. Вотъ что читаемъ мы въ дневникѣ подь 28 января. «Важное и высшей степени печальное происшествіе для нашей литературы: Пушкинъ умеръ сегодня отъ раны, полученной на дуэли.—Вчера вечеромъ я былъ у Шлетнева; отъ него отъ перваго услышалъ объ этой трагедіи. Въ Пушкина выстрѣлили сперва его противникъ, Дантесъ, кавалергардскій офицеръ: пуля попала ему въ животъ. Пушкинъ, однако, успѣлъ отвѣчать ему выстрѣломъ, который раздробилъ тому руку. Сегодня Пушкина уже нѣтъ на свѣтѣ.—Подробностей всего я еще хорошо не слышалъ.

Одно несомнѣнно: мы понесли горестную, невозградимую потерю. Послѣднія произведенія Пушкина признавались нѣкоторыми слабѣе прежнихъ, но это могло быть въ немъ эпохою переворота, слѣдствіемъ внутренней революціи, послѣ которой для него могъ настать періодъ новаго величія. Бѣдный Пушкинъ! Вотъ чѣмъ заплаталъ онъ за право гражданства въ этихъ аристократическихъ салонахъ, гдѣ расточалъ свое время и дарованіе! Тебѣ слѣдовало идти путемъ чловѣчества, а не касты.

Сдѣлавшись членомъ послѣдней, ты уже не могъ не повиноваться законамъ ея.» (I. 379).

На слѣдующій день авторъ занесъ въ свой дневникъ:

«Какой шумъ, какая неурядица во мнѣніяхъ о Пушкинѣ! Это уже не одна черная заплата на ветхомъ рубищѣ пѣвца, но тысячи заплатъ красныхъ, бѣлыхъ, черныхъ, всѣхъ цвѣтовъ и оттѣнковъ. Вотъ, однако, свѣдѣнія о его смерти, почерпнутыя изъ самаго чистаго источника. Дантесъ—простой чловѣкъ, но ловкій, любезный французъ, блиставшій въ нашихъ салонахъ звѣздой первой величины. Онъ ѣздилъ въ домъ къ Пушкину.

Извѣстно, что жена поэта—красавица. Дантесъ, по праву француза и жителя салоновъ, фамиллярно обращался съ нею, а она не имѣла довольно такта, чтобы провести между нимъ и собою черту, за которую мужчина не долженъ никогда переходить въ сношеніяхъ съ женщиной, ему не принадлежащей. Въ обществѣ всегда бываютъ люди, питающіеся репутацией ближнихъ. Они обрадовались случаю и пустили молву о связи Дантеса съ женою Пушкина. Это дошло до послѣдняго и, конечно, заволновало и безъ того тревожную душу поэта. Онъ запретилъ Дантесу ѣздить къ себѣ. Тотъ оскорбился и отвѣчалъ, что онъ ѣздилъ не для жены, а для свояченицы Пушкина, въ которую влюбленъ. Тогда Пушкинъ потребовалъ, чтобы онъ женился на молодой дѣвушкѣ, и сватовство состоялось. Между тѣмъ поэтъ нѣсколько дней подрядъ получалъ письма отъ неизвѣстныхъ лицъ, въ которыхъ поздравляли съ рогами. Въ

одномъ письмѣ ему даже прислали патентъ на званіе члена въ обществѣ мужей рогносоцевъ за мнимою подписью президента Нарышкина. Сверхъ того баронъ Гекернъ, усыновившій Дантеса, былъ очень недоволенъ его бракомъ на свояченицѣ Пушкина, которая, говорятъ, старше своего жениха и безъ состоянія. Гекерну даже приписываютъ слѣдующія слова: «Пушкинъ думаетъ, что онъ этой свадьбой разлучитъ Дантеса съ своей женой. Напротивъ, онъ только сблизитъ ихъ, благодаря новому родству». Пушкинъ взбѣсился и написалъ Гекерну письмо, полное оскорбленій. Онъ требовалъ, чтобы тотъ, по праву отца, унялъ молодого человѣка: Письмо было, разумѣется, прочтено Дантесомъ—онъ потребовалъ удовлетворенія, и дѣло окончилось за городомъ, на разстояніи десяти шаговъ. Дантесъ стрѣлялъ первый. Пушкинъ упалъ. Дантесъ къ нему подбѣжалъ, но поэтъ, собравъ силы, велѣлъ противнику вернуться къ барьеру, прицѣлился въ сердце, но попалъ въ руку, которую тотъ, по неловкому движенію или изъ предосторожности, положилъ на грудь».—Пушкинъ раненъ въ животъ. Пуля задѣла желудокъ. Когда его привезли домой, онъ позвалъ жену, дѣтей, благословилъ ихъ и поручилъ Арндту просить государя не оставить ихъ и простить Данзаса, своего секунданта. Государь написалъ ему собственноручное письмо, обѣщавъ признать его семью, а для Данзаса сдѣлать все, что будетъ возможно. Кромѣ того, просилъ его передъ смертью исполнить все, что предписываетъ долгъ христіанина. Пушкинъ потребовалъ священника. Онъ умеръ 29, въ пятницу, въ 3 часа пополудни. Въ приемной его съ утра до вечера толпились посѣтители, приходившіе узнать о его состояніи. Принуждены были выставлять бюллетени». Къ этимъ замѣткамъ о смерти поэта и ея виновникѣ прибавимъ еще описаніе внѣшности Дантеса, котораго авторъ дневника, уже много лѣтъ спустя послѣ рокового событія, въ 1876 году встрѣтилъ въ Цюрихѣ.

«Проходя подъ колонадой кургауза, я часто встрѣчаю человѣка, наружность котораго меня постоянно поражаетъ своею крайнею непривлекательностью. Во всей фигурѣ его что-то наглое и высокомерное. На дняхъ, когда мы гуляли съ нашей милой знакомой М. А. С., и этотъ человѣкъ намъ снова встрѣтился, она сказала: Знаете, кто это? Мнѣ вчера его представили, и онъ самъ мнѣ слѣдующимъ образомъ отрекомендовался: «баронъ Гекернъ (Дантесъ), который убилъ вашего поэта Пушкина».

И если бы вы видѣли, съ какимъ самодовольствомъ онъ это сказалъ, прибавила М. А. С.—не могу вамъ передать, до чего онъ мнѣ противенъ!—И дѣйствительно трудно себѣ вообразить, продолжаетъ Накитенко, что либо противнѣ этого, нѣкогда красиваго, но теперь сильно

помятаго лица, съ оттѣнками грубыхъ страстей. Гекернъ ярый бонапартистъ. Благодаря этому и вообще дурной репутаціи всѣ здѣшніе французы—а они составляютъ большинство шиннахскихъ посягателей—его льно избѣгаютъ и отъ него сторонятся. При Наполеонѣ III онъ былъ сенаторомъ, но теперь лишень всякаго значенія. О его семейныхъ обстоятельствахъ говорятъ очень дурно: по дѣломъ коту мука».

Февраль 1. Похороны Пушкина. Это были дѣствительно народныя похороны. Все, что сколько нибудь читаетъ и мыслить въ Петербургѣ—все стеклось въ церкви, гдѣ отпѣвали поэта.

Площадь была усѣяна экипажами, публикой, посреди послѣдней—ни одного тулуша или зипуна. Церковь была наполнена знатно. Весь дипломатическій корпусъ присутствовалъ. Впускали въ церковь только тѣхъ, которые были въ мундирахъ или съ билетомъ. На всѣхъ лицахъ лежала печать—по крайней мѣрѣ наружная. Возлѣ меня стояли баронъ Розенъ, Карлгофъ, Кукольникъ и Плетневъ.

Я прощался съ Пушкинымъ: «И былъ страненъ тихій миръ его чела». Впрочемъ, лицо уже значительно измѣнилось; его успѣло коснуться разрушеніе. Мы вышли изъ церкви съ Кукольниковъ.

Утѣшительно, по крайней мѣрѣ, то, что мы все таки подвинулись впередъ, сказалъ онъ, указывая на толпу, пришедшую поклониться праху одного изъ лучшихъ своихъ сыновъ».

Подъ 12 февраля авторъ записокъ сообщаетъ нѣкоторыя подробности о послѣднихъ минутахъ поэта. «До меня дошли изъ вѣрныхъ источниковъ свѣдѣнія о послѣднихъ минутахъ Пушкина. Онъ умеръ честно, какъ человекъ. Какъ только пуля вошла ему во внутренности, онъ понялъ, что это поцѣлуй смерти. Онъ не стоналъ, а когда докторъ Даль ему это посоветовалъ, отвѣчалъ: Ужели нельзя превозмочь этого вздора? Къ тому-же мои стоны встревожили бы жену.—Безпрестанно спрашивалъ онъ у Даля: скоро-ли смерть?—И очень спокойно, безъ всякаго жеманства, опровергалъ его, когда тотъ предлагалъ ему обычныя утѣшенія. За нѣсколько минутъ до смерти, онъ попросилъ приподнять себя и перевернуть на другой бокъ.

Жизнь кончена, сказалъ онъ. Что такое? спросилъ Даль, не разслышавъ. Жизнь кончена, повторилъ Пушкинъ,—мнѣ тяжело дышать. За этими словами ему стало легко, ибо онъ пересталъ дышать. Жизнь окончилась; погасъ огонь на алтарѣ. Пушкинъ хорошо умеръ».

«Дня черезъ 3 послѣ отпѣванія Пушкина, увезли тайкомъ трупъ его въ деревню. Жена моя возвращалась изъ Могилева и на одной станицѣ, неподалеку отъ Петербурга, увидѣла простую телѣгу, на телегѣ солому, подъ соломой гробъ, обернутый рогожею. 3 жандарма суетились

на почтовомъ дворѣ, хлопотали о томъ, чтобы скорѣе перепрячь курьерскихъ лошадей и скакать дальше съ гробомъ».

Теоретическія замѣтки о поэзіи Пушкина, сдѣланныя, такъ сказать, по свѣжлмъ слѣдамъ послѣ выхода въ свѣтъ твореній поэта, сохраняютъ интересъ и значеніе и для настоящаго времени—историческаго изученія. Послѣ прочтенія только что вышедшей въ свѣтъ въ 1827 г. третьей главы «Онѣгина» Никитенко дѣлаетъ такую оцѣнку этого произведенія: Идея цѣлаго пока еще не ясна, но то, что есть, уже представляетъ живую картину современныхъ нравовъ. По моему мнѣнію, настоящая глава еще превосходитъ предыдущія въ выраженіи сокровенныхъ и тончайшихъ ощущеній сердца. Во всей главѣ необыкновенное движеніе поэтическаго духа.

Есть мѣста до того очаровательныя и увлекающія, что, читая ихъ, перестаешь думать, т. е. самостоятельно думать, и весь отдаешься чувству, которое въ нихъ скрыто, буквально сливаешься съ душой поэта. Письмо Татьяны удивительнымъ образомъ соглашаетъ вещи, повидимому, несогласимыя: изступленіе страсти и голосъ чистой невинности. Бѣгство ея въ садъ, когда пріѣхалъ Онѣгинъ, полно того сладостнаго смятенія любви, которое, казалось-бы, можно только чувствовать, а не описывать—но Пушкинъ его описалъ. Это мѣсто, по моему, вмѣстѣ съ русскою пѣснью, которую поютъ вдали дѣвушки, собирающія ягоды, лучшее во всей главѣ гдѣ, впрочемъ, что ни стихъ—то новая красота. Здѣсь поэтъ вполнѣ совершилъ дѣло поэзіи: онъ погрузилъ мою душу въ чистую радость полной и свободной жизни, растворилъ эту радость тихой задумчивостью, которая неразлучна съ человѣкомъ, какъ печать неразгаданности его жребія, какъ провозвѣстіе чего-то высшаго, соединеннаго съ его бытіемъ. Поэтъ удовлетворилъ неизъяснимой жаднѣ человѣческаго сердца. О стихахъ нечего и говорить! Если музы—по мнѣнію древнихъ—выражались стихами, то я не знаю другихъ, которые были бы достойнѣ служить языкомъ для грацій. Замѣчу еще одно достоинство языка Пушкина, показывающее вмѣстѣ и талантъ необыкновенный, и глубокое знаніе русскаго языка, а именно: рѣдкую правильность среди самыхъ своенравныхъ оборотовъ. Въ его могучихъ рукахъ языкъ этотъ такъ гибокъ, что боишься, какъ бы онъ не паломался въ куски. На дѣлѣ видишь другое—видишь разнообразнѣйшія и прелестныя формы тамъ, гдѣ боялся, чтобы рука поэта не измяла матеріалъ въ слишкомъ быстрой игрѣ—и видишь формы чисто русскія (I, 239).

Расплывчатость этих замечаний о силе и стиле Пушкинского дарования искупается прекрасной общей оценкой поэтической деятельности Пушкина.—Вводится она общим рассуждением о назначении литературы.

«Ошибка литературных критиков и историков в том, что они смотрят на литературу односторонне. Они видят в ней силу или возвышающуюся над обществом и притягивающую его к себе, или исключительно преданную общественным интересам и зависящую от них.

Поэтому, одни впадают в отвлеченный и мечтательный идеализм, другие в крайний реализм. Между тем, у литературы двойное призвание. Она в одно и то же время служит и идеалам, и действительности. Те только произведения вполне соответствуют истинному назначению литературы, в которых идеальное непротивно действительному, и действительное не уничтожает идеального. Таковы у нас произведения Пушкина.

Великий писатель, сильно действующий на свое общество, пробуждает в нем или утверждает известные нравственные и социальные принципы, открывает новые виды умственной деятельности, склоняет ум и сердце к известного рода понятиям, убеждениям.

Этим отличается писатель-действительный от писателя с обыкновенным художественным смыслом, который изящными образами и картинными доставляет пищу одному только эстетическому чувству. За Пушкиным мы признаем два значения: 1) значение как художника, образователя эстетического чувства в своем обществе и 2) как общественного деятеля, развивавшего в обществе известные нравственные принципы, склонявшего общество к известным задачам и вопросам жизни, дававшего направление мыслям и чувствам своего поколения.

Прежде у нас как бы играли в высшие интересы жизни. Передь умами мелькали высшие идеалы; но они не подвергались анализу и их не сближали с жизнью. Они и в литературе, и в действительности оставались отвлеченными в области фантазии. Пушкин первый смотрит на них с серьезной стороны, первый учит сочетать лучшие стремления духа, идеалы с действительностью на почве нашей общественной и исторической жизни.

В последнее время Пушкину ставили в укор, что он лишень социального значения.

Я глубоко уважаю то социальное направление, о котором так много заботится наша современная литература. Я вполне в ней признаю деятеля в этом смысле и слишком далеко от того, чтобы называть ей исключительно так называемый художественный характер. Но понятию социальный я даю более широкое значение, чем в пос-

дѣльное время принято ему давать. Я вижу въ немъ не только указаніе на текущія нужды, на разныя недуги и злоупотребленія, но и все, что заключается въ основныхъ вѣрованіяхъ и стремленіяхъ народнаго духа, все, что входитъ въ цѣли и способы его развитія, словомъ—весь нравственный порядокъ вещей, всю сферу понятій эпохи. Такимъ образомъ, мы считаемъ писателемъ социальнымъ не только того, который намъ указываетъ на разладницу общественныхъ правовъ и общественной жизни съ идеаломъ челоѳичности и народности, но и того, который эти идеалы возвышаетъ, очищая ихъ отъ всѣхъ временныхъ искаженій и совращеній.

Дѣло только въ томъ, чтобы этотъ послѣдній не выставлялъ намъ идеаловъ отвлеченныхъ или такихъ, которые чужды нашей народности и общности. Пусть идеалъ его будетъ въ высшей степени челоѳиченъ, но пусть онъ въ то же время вращается въ сферѣ нашихъ національныхъ и общественныхъ понятій. Пусть между нимъ и этими послѣдними существуетъ связь, хотя бы основанная на темныхъ гаданіяхъ только или предчувствіяхъ людей, на стремленіи ихъ къ лучшему или даже не къ лучшему, а къ извѣстному, опредѣленному міросозерцанію. Въ Пушкинѣ мы это находимъ и потому вполне считаемъ его писателемъ социальнымъ.

Надо только, чтобы писатель такого рода имѣлъ достаточно гениа или таланта, чтобы быть въ состояніи предчувствія, гаданія, стремленія общественныя облечь въ образы вѣрные, живые, могущіе неотразимо дѣйствовать на общество. Это послѣднее уже зависитъ, конечно, отъ степени его эстетическаго или художественнаго дарованія. А у Пушкина оно было велико». (II, 223).

Заключимъ замѣтки о Пушкинѣ справедливой и глубокой мыслью А. В. Никитенка, высказанной имъ при обдумываніи публичныхъ лекцій о Пушкинѣ: «О великихъ дѣятеляхъ въ обществѣ, какъ о великихъ явленіяхъ природы, никогда нельзя сказать, что они изучены окончательно, и что, разъ описалъ, объяснилъ ихъ, уже возвращаться къ нимъ не для чего. Богатство въ нихъ жизни таково, что понять, объяснить, опредѣлить ихъ сразу нѣтъ никакой возможности. Значеніе и дѣйствіе ихъ къ тому же никогда не раскрываются вдругъ. Они, какъ все живое, одарены способностью развиваться и развивать заключающееся въ нихъ содержаніе, такъ, что то, вы узнали въ нихъ сегодня, часто служитъ только предисловіемъ или указаніемъ того, что узнаете завтра или позднѣе». (II, 221).

А. В. Осипов

Дело Никитенко



Когда люди в массе не знают, куда идти и почему они идут туда, а не в другое место, и между тем чувствуют, что идти необходимо, – тогда они называют такое влечение духом времени.

А. В. Никитенко. Дневник. 1 ноября 1862 года

Глава 1. Профессор изящной словесности

*Кто мыслит правильно, кто мыслит благородно,
Тот изъясняется приятно и свободно.*

В. Л. Пушкин

...Прежде всего надо стремиться к образованию в людях внутренней законодательной силы. В руках моих важное для этого орудие – изящное. Как! Изящное – только орудие? Да! Искусство должно служить человечеству, а не человечество искусству.

А. В. Никитенко. Дневник. 28 июля 1841 года

Александр Васильевич Никитенко – автор не только знаменитого дневника, но и автобиографических заметок *«Моя повесть о самом себе и о том, чему свидетель в жизни был»*. Оба произведения интересны по-своему, но автобиография, кроме всего прочего, – это еще и литературное произведение. Со своим сюжетом, коллизиями, романтическими зарисовками. Замечательно обработанное уже в пятидесятых годах, когда автор был сложившимся литературным художником. Художником со своим стилем – несколько мелодраматичным и сентиментальным, местами пафосным, с небольшой, по сравнению с его знаменитыми мемуарами, примесью патетики.

Как известно, многие обстоятельства нашей жизни могут быть оценены по-разному, в зависимости от того, через какой флёр мы на них смотрим. Симпатия, с которой автор записок описывает свою любимую Малороссию, характер и поступки своих родителей, вызывает, конечно, уважение. Тот факт, что автор родился в крепостном состоянии, создает некий драматичный фон, и этот фон задает тональность всего дальнейшего повествования, но судьбу мемуариста в целом назвать драматичной, наверное, нельзя.

При всем том он в тридцать лет стал профессором русской словесности. В тридцать три года – в 1836 году – защитил докторскую диссертацию на тему *«О творческой силе в поэзии»*, а в 1853 году стал академиком (в 49 лет).

Им написано и опубликовано значительное количество лекций и книг, в частности: *«Вступительная лекция о российской словесности» (1833); «О творческой силе в поэзии и поэтическом гении» (1836); «Речь о критике» (1842); «О начале изящного в науке» (1854)*. И вот что он сам пишет о своей профессиональной деятельности:

Лекции мои в университете идут успешно. Мне иногда удается увлечь моих слушателей. Я ратую против всяких полумыслей и полувывражений в литературе, против мишурного блеска и неестественности. Много мешает мне, конечно, незнание иностранных языков: мне от этого недостает материала для сравнений и фактов, для общих исторических выводов. Стараюсь пополнить этот пробел чтением всего, что переведено и переводится на русский язык. А пока главная моя цель: согреть сердца слушателей любовью к чистой красоте и истине и пробуждать в них стремление к мужественному, бодрому и благородному употреблению нравственных сил. Если мне это удастся хоть в слабой мере, сочту, что я не даром трудился.

А. В. Никитенко. Дневник. 25 января 1837 года

Нет ничего проще, как с иронией отнестись к, казалось бы, высокопарным самооценкам академика изящной словесности. Но из чувства противоречия заметим все-таки, что, во-первых, он не единственный, кто писал на эту очень трудную тему.

Например, до Никитенко подобными вопросами занимался его старший современник Александр Иванович Галич, написавший *«Опыт науки изящного»* (1825), ряд статей и, кроме того, сочинение *«Картина человека, опыт наставительного чтения о предметах самопознания для всех образовательных сословий»*. (СПб, 1834.) Это сочинение мы выделили, поскольку на нем сохранилась дарственная надпись: *«Любезному другу своему Александру Васильевичу Никитенко усердствует автор. Санкт-Петербург, февраля 21 дня 1834»*.

Никитенко ответил на это добром, издав в 1869 году обстоятельную творческую биографию ученого: *«Александр Иванович Галич, бывший профессор С.-Петербургского университета»*.

Примерно в то же время писал о красоте и изяществе даже министр финансов Егор Францевич Канкрин (*«Die Elemente des schoenen in der Baukunst»*). St. Petersburg, 1836).

Писали, конечно, о красоте и изящном в поэзии, в живописи, в риторике и просто о красоте как философской категории. Все, что было написано, было написано расплывчатого, общо, страдало повторениями и тавтологиями. Конечно, современные исследователи изящного пишут лучше, живее, используют разнообразные термины и многочисленные примеры. Полки книжных магазинов ломятся от роскошных альбомов, и эти альбомы покупают. Более того, их читают. А что толку? Достаточно, например, пройтись по современным улицам и сравнить новую архитектуру с архитектурой того времени. Как гениально смотрел вперед Гоголь:

Мне всегда становится грустно, когда я гляжу на новые здания, непрерывно строящиеся, на которые брошены миллионы и из которых редкие останавливают изумленный глаз величием рисунка, или своевольною дерзостью воображения, или даже роскошью и ослепительною пестротой украшений. Невольно втесняется мысль: неужели прошел

невозвратимо век архитектуры? неужели величие и гениальность больше не посетят нас, или они – принадлежность народов юных, полных одного энтузиазма и энергии и чуждых усыпляющей, бесстрастной образovanности?

Н. В. Гоголь. Об архитектуре нынешнего времени. 1832

Поэтому воздержимся от критики в адрес специалистов по изящному и перейдем к другой теме, сделавшей имя Никитенко значимым для потомков, – к его детищу, трехтомному дневнику, ставшему одним из основных источников либераловедения николаевской и постниколаевской эпох.

Начнем с далеко не самой главной особенности этого дневника, особенности, характерной именно для Никитенко, – обилию сентенций этических, эстетических, моральных, нравоучительных, психологических и исторических. Изобрести хорошую формулу в этих областях – дорогого стоит. Автор может написать целую книгу афоризмов, но чтобы она вызвала наш интерес, в ней обязательно должны быть хоть несколько понятных и, одновременно, нетривиальных правил. Приводя те из них, которые нам показались таковыми, мы не будем указывать дату появления фразы в дневнике, считая, что формулы должны быть интересны независимо от времени написания.

Цитаты Никитенко:

Я под скромностью разумею не одно чувство стыдливости в сношениях между двумя полами, но и то свойство души, которое научает находить середину между самоуверенностью и отсутствием сознания собственного достоинства.

Правду кто-то сказал, что по Шекспировым творениям можно учиться эмпирической психологии. Мало того: в них содержится полный курс ее. Так велико разнообразие нравственных образов, созданных этим великим человеком.

Люди просвещенные не хотят быть управляемы ни произволом, ни случаем: они требуют законов и правосудия. Все общественные волнения происходят из сокрытой борьбы права с властью, которая не хочет знать никакого права или которая дурно применяет его.

Люди осуждены делать глупости, терпеть и умирать. Но природа не назначила нам ни количества зла, какое мы должны вытерпеть, ни минуты смерти – следовательно, можно заботиться об уменьшении первых так же, как об отдалении последней.

В литературе у нас привыкают всякую умную статью или суждение называть бесцветными, если в них нет резкого тона и выражений радикального свойства. Так приучают общество к спирту и мешают ему находить вкус в том, что не опьяняет сразу.

Эти мнимые народные учителя, вместо того чтобы учить народ, навязывают ему свои мысли. Для сеяния некоторых истин надо прежде удобрить, подготовить почву ума. И потому эти пресловутые учителя наши очень похожи на пустых болтунов, которые заботятся не о том, чтобы сделать дело, а о том, чтобы поскорее выболтать то, чего они начитались или слышали.

Тирания свободы не менее опасна и пагубна, как и тирания деспотизма.

Иной считает себя чрезвычайно умным человеком потому только, что, ни во что не мешаясь и ничего не делая, он умел избежать ошибок и столкновений с людьми.

У нас есть множество людей, которые желают революции единственно для развлечения, из желания посмотреть на нее в окошко. Они забывают одно – что революция имеет обыкновение стрелять во все, нимало не разбирая, окошко ли то, или дверь, или улица.

Дух времени есть повелительная сила истории, влекущая людей к разрешению задачи, основания которой положены в предшествовавшем ходе вещей.

Одни только страдания и бедствия имеют способность придавать жизни серьезный характер. Без них жизнь была бы какая-то шутовская процессия или, как говорит Шекспир, сказка, рассказываемая старухой у очага.

Шумите, спорьте, сочиняйте теории, какие угодно, только не запутывайте народ во все это. Ведь ему-то приходится расплачиваться за все слезами, кровью, а он, несчастный, даже не имеет удовольствия сказать, что понимает что-нибудь в ваших воззваниях и учениях. Поучите его, просветите, пусть он сам скажет за себя слово. Чтобы иметь удовольствие управлять им и вести его, куда вам угодно, вы готовы перерезать его...

Толчки нужны, только без ломания костей.

Ни одно свободное движение не бывает без уклонений то вправо, то влево: на то оно и свободное. По прямой неуклонной идут только силы механические, вследствие сообщенного им внешнего толчка. Свободное движение всегда есть нечто могучее, но слепое, нуждающееся в руководстве разума. Это – творчество, рождающее вещи, которые требуют направления, обработки, воспитания. Оно столько же способно разрушать, как и создавать, но оно неспособно останавливаться, чтобы сознательно уяснить себе, для чего и что оно разрушает или создает.

Что-то есть в формулах Никитенко. Он был хорошим учеником Александра Ивановича Галича.

Но вернемся к изящному. Можно, конечно, говорить об «общих местах», можно критиковать, но как-то совестно. Посмотрите наше телевидение, то, как члены жюри комментируют выступления молодых талантов. «Замечательно», «большое спасибо», «это было круто», «у меня нет слов» – небольшой набор «Элочки из Жюри» уже представляется вполне достаточным.

Видимо, Базаров нас смутил. И мы боимся говорить красиво. И уже не умеем. Никитенко был один из тех, кто умел и еще не боялся. Быть может, иногда с перебором. Быть может. Но ведь иногда и действительно красиво. Не жалко повторить тот же пассаж, который так понравился Сергею Андреевичу Столбцову:

Читал недавно отпечатанную третью главу «Онегина» сочинения А. Пушкина. Идея целого пока еще не ясна, но то, что есть, уже представляет живую картину современных нравов. По моему мнению, настоящая глава еще превосходит предыдущие в выражении сокровенных и тончайших ощущений сердца. Во всей главе необыкновенное движение поэтического духа. Есть места до того очаровательные и увлекающие, что, читая их, перестаешь думать, то есть самостоятельно думать, и весь отдаешься чувству, которое в них скрыто, буквально сливаешься с душою поэта. Письмо Татьяны удивительным образом соглашает вещи, по-видимому, несогласимые: исступление страсти и голос чистой невинности. Бегство ее в сад, когда приехал Онегин, полно того сладостного смятения любви, которое, казалось бы, можно только чувствовать, а не описывать, – но Пушкин его описал. Это место, по-моему, вместе с русскою песнью, которую поют вдали девушки, собирающие ягоды, лучшее во всей главе, где, впрочем, что ни стих – то новая красота. Здесь поэт вполне совершил дело поэзии: он погрузил мою душу в чистую радость полной и свободной жизни, растворив эту радость тихой задумчивостью, которая неразлучна с человеком, как печать неразгаданности его жребия, как провозвестие чего-то высшего, соединенного с его бытием. Поэт удовлетворил неизяснимой жажде человеческого сердца.

О стихах нечего и говорить! Если музы – по мнению древних – выражались стихами, то я не знаю других, которые были бы достойнее служить языком для граций. Замечу еще одно достоинство языка Пушкина, показывающее вместе и талант необыкновенный, и глубокое знание русского языка, а именно: редкую правильность среди самых своенравных оборотов. В его могучих руках язык этот так гибок, что боишься, как бы он не изломался в куски. На деле видишь другое – видишь разнообразнейшие и прелестные формы там, где боялся, чтобы рука поэта не измяла материал в слишком быстрой игре, – и видишь формы чисто русские.

А. В. Никитенко. Дневник. 15 октября 1827 года

Глава 2. История с «Лукуллом» в дневнике Никитенко

Одно из самых значимых для литературоведов мест из «Дневника» – это записки о том, как Пушкин бодался с цензурой и как Александр Васильевич вынужден был находиться между молотом и наковальней. Места эти хорошо известны, но приведем их еще раз для удобства читателей.

9 апреля 1834 года

Был сегодня у министра. Докладывал ему о некоторых романах, переведенных с французского...

Я представил ему еще сочинение или перевод Пушкина «Анджело». Прежде государь сам рассматривал его поэмы, и я не знал, имею ли я право цензурировать их. Теперь министр приказал мне поступать в отношении к Пушкину на общем основании. Он сам прочел «Анджело» и потребовал, чтобы несколько стихов были исключены. Поэма эта или отрывок начата, по-видимому, в минуты одушевления, но окончена слабее.

11 апреля 1834 года

Случилось нечто, расстроившее меня с Пушкиным. Он просил меня рассмотреть его «Повести Белкина», которые он хочет печатать вторым изданием. Я отвечал ему следующее:

– С душевным удовольствием готов исполнить ваше желание теперь и всегда. Да благословит вас гений ваш новыми вдохновениями, а мы готовы. (Что сказать? – обрезать крылья ему? По крайней мере рука моя не злоупотребит этим.) Потрудитесь мне прислать все, что означено в записке вашей, и уведоьте, к какому времени вы желали бы окончания этой тяжбы политического механизма с искусством, говоря просто, процензураванья, – и т.д.

Между тем к нему дошел его «Анджело» с несколькими урезанными министром стихами. Он взбесился: Смирдин платит ему за каждый стих по червонцу, следовательно, Пушкин теряет здесь несколько десятков рублей. Он потребовал, чтобы на место исключенных стихов были поставлены точки, с тем однако ж, чтобы Смирдин все-таки заплатил ему деньги и за точки!

14 апреля 1834 года

Был у Плетнева. Видел там Гоголя: он сердит на меня за некоторые пропущенные места в его повести, печатаемой в «Новоселье». Бедный литератор! Бедный цензор!

Говорил с Плетневым о Пушкине: они друзья. Я сказал:

– Напрасно Александр Сергеевич на меня сердится. Я должен исполнять свою обязанность, а в настоящем случае ему причинил неприятность не я, а сам министр.

17 января 1836 года

Вчера была моя обыкновенная пятница. Пушкин написал род пасквиля на министра народного просвещения, на которого он очень сердит за то, что тот подвергнул его сочинения общей цензуре. Прежде его сочинения рассматривались в собственной канцелярии государя, который и сам иногда читал их. Так, например, поэма «Медный Всадник» им самим не пропущена.

Пасквиль Пушкина называется «Выздоровление Лукулла», он напечатан в «Московском наблюдателе». Он как-то хвалился, что непременно посадит на гауптвахту кого-нибудь из здешних цензоров, особенно меня, которому не хочет простить за «Анджело». Этой цели он теперь, кажется, достигнет в Москве, ибо пьеса наделала много шума в городе. Все узнают в ней, как нельзя лучше, Уварова.

20 января 1836 года

Весь город занят «Выздоровлением Лукулла». Враги Уварова читают пьесу с восхищением, но большинство образованной публики недоволено своим поэтом. В самом деле, Пушкин этим стихотворением не много выиграл в общественном мнении, которым, при всей своей гордости, однако, очень дорожит. Государь через Бенкендорфа приказал сделать ему строгий выговор.

Но дня за три до этого Пушкину уже было разрешено издавать журнал вроде «Эдинбургского трехмесячного обозрения»: он будет называться «Современником». Цензором нового журнала попечитель назначил А. Л. Крылова, самого трусливого, а следовательно, и самого строгого из нашей братии. Хотели меня назначить, но я убедительно просил уволить меня от этого: с Пушкиным слишком тяжело иметь дело.

14 апреля 1836 года

Пушкина жестоко жмет цензура. Он жаловался на Крылова и просил себе другого цензора, в подмогу первому. Ему назначили Гаевского. Пушкин раскаивается, но поздно. Гаевский до того напуган гауптвахтой, на которой просидел восемь дней, что теперь сомневается, можно ли пропускать в печать известия вроде того, что такой-то король скончался.

Все ученые, изучавшие эту тему, сходятся во мнении, что эти цензурные баталии и привели к грубому эмоциональному взрыву в виде пасквиля «Ода Лукуллу». Это можно считать официальной точкой зрения, наиболее отчетливо выраженной в работе уважаемого исследователя О. А. Иванова «К вопросу о взаимоотношениях С. С. Уварова и А. С. Пушкина в 30-е гг. XIX века», опубликованной в 1999 году. Может быть, в значительной степени так оно и есть. Но причинно-следственный спектр таких событий обычно весьма широк и мы отметим еще несколько линий этого спектра. Читателю предлагается самому решить, насколько эти линии важны для понимания.

Глава 3. Чем занимался в это время Уваров

Цензура – цензурой, но Уваров, помимо прочего, еще и президент Академии наук. Какой была академия до его прихода, мы уже писали. Какой она стала после его смерти, мы знаем по тем страстям, которые разгораются в период выборов в академию. Шаг за шагом академия приобретала свой авторитет, солидность, достижения. В те времена, о которых мы говорим, как раз строилась Пулковская (Николаевская) обсерватория. Сооружение ее началось в 1833 году и закончилось через два года. Предприятие по тем (да и по нашим) временам грандиозное. Об этом немного написано в четвертом выпуске альманаха «Консерватор». В эти же годы существенно реорганизуется и пополняется библиотека Академии, собираются научные коллекции (например, минералогическая), организуются физическая и химическая лаборатории, возникает обширный азиатский музей. Приблизительно в это же время происходит строительство академической типографии на углу 9-й линии и Большого проспекта Васильевского острова, которая сохранилась до сих пор.

В 1832 году умирает Гете, с которым Уваров переписывался несколько лет, и через год Президент проводит торжественное заседание, посвященное его памяти. Это лишь очень небольшая часть того, что было сделано Академией и что требовало внимания Президента. Практически еженедельно он присутствует на заседаниях Академии или ее президиума.

С 1833 года он становится товарищем министра, а затем и министром народного просвещения и с этих пор членом Государственного Совета. Еженедельно по понедельникам он присутствует на его заседаниях.

Отметим, что в это время (с 1834 года) стал издаваться журнал Министерства Народного Просвещения с полной отчетностью, была организована археографическая комиссия. В ноябре 1833 года открылся Киевский университет Святого Владимира (в настоящее время имени Т. Г. Шевченко). Требуют внимания Виленский, Дерптский, Харьковский университеты. В Петербурге университет переезжает как раз в это время в здание 12 коллегий, причем происходит серьезная реорганизация. В Казанском университете происходит переназначение (переизбрание) ректора. Им вновь становится Н. И. Лобачевский, которого поддерживает Уваров (об этом рассказывается в 5 выпуске альманаха «Консерватор»). В это же время появляется пасквильный отзыв на сочинение Лобачевского, и Уваров реагирует на него. В том же номере «Консерватора» можно прочитать о страстях, разгоравшихся вокруг Жобара, в которых вынужден принимать участие и Уваров.

Уваров много занимался своим любимым поместьем «Поречье» в Подмоскowie. Там постепенно образовалась знаменитая его коллекция древностей, которой он заслуженно гордился. Какая-то часть коллекции

сохранилась и если читатель бывает в Пушкинском музее в Москве, то советуя обратить внимание на «саркофаг Уварова», который сам министр привез из Италии после одной из поездок. Это лучший экземпляр по сравнению с теми, которые представлены в Эрмитаже и других музеях. Участие Уварова в раскопках в Помпеях, которые тогда еще не были «на слуху», обозначено в том же музее интересной коллекцией предметов, среди которых, например, медицинские инструменты.

Быть может, в Москве, в одном из аристократических салонов, а может быть, на заседаниях Госсовета Уваров познакомился с сенатором, князем Александром Михайловичем Урусовым. (По некоторым сведениям, Александр Михайлович в молодости служил в том самом полку, которым командовал отец Уварова.)

У С. С. Уварова было три дочери и сын. Старшая дочь – Елизавета, родившаяся в 1812 году, умерла молодой. Следующая дочь, Александра, родившаяся через два года, была на семь лет моложе сына князя Урусова – Павла Александровича, молодого, но уже боевого офицера, имевшего множество заслуг. И соответственно боевых наград. Например, орден св. Владимира за отличие при взятии Варшавы и золотая шпага «За храбрость». Как раз в то время, когда происходили события в цензурном комитете, Павел Александрович посещал дом Уварова в качестве жениха. Они поженились в 1837 году. Семеро детей.

Конечно, если бы в квартире номер три жил мемуарист, записывающий каждый шаг жильцов Вороньей слободки [«Золотой теленок», ред.], то, наверно, не таким уж и героем предстал бы перед нами летчик Севрюгов. Сотни исследователей зарабатывали бы свой хлеб, выясняя, гасил ли Севрюгов свет в туалете, и почему он так сильно гневался, если его упрекали в негашении. Может быть, и забыли бы про его полеты к северным льдам, как Никитенко и мы забыли про то, что на пустом месте была построена Пулковская обсерватория, забыли, кто такой Лобачевский.

Но не будем увлекаться. Чтобы понятна была моя мысль, скажу следующее. Много дворцов, общественных зданий и простых жилых домов было построено в то время. Они были феноменально красивы, просто удачны или ничего себе, но все разные и все привлекательны. Еще больше строится сейчас. Одинаковые до головной боли. Так и мы по сравнению с теми, героями наших исследований. Мы другие. Мы выше, крупнее, но одинаковые. Мы превратили имперский, красивейший город в однообразный сарай и, похоже, начисто погубили его. По нашим грязным улицам бегают дребезжащие автобусы, окна в которых обклеены грязными объявлениями о покупке, продаже, сделке и проделке. И т.д. и т.д. Убожество, погубившее красивый город! Но как же нам хочется судить наших предков! Впрочем, предки ли они нам?

Глава 4. Чем занимался в это время Пушкин

Борьба свободы с Властью – наиболее заметная черта известной нам истории.

Джон Стюарт Милль. О свободе. 1859

Уважаемый историк О. А. Иванов начинает свою статью, упомянутую в предыдущей главе, с утверждения, в котором кроме нас никто, наверное, не сомневается.

Жизнь и творчество А.С. Пушкина изучены достаточно хорошо. В настоящее время фактически не осталось событий в недолгой жизни великого поэта, которые ускользнули бы от внимания исследователей.

Впрочем, поэма «Анджело» тоже не ускользнула. Но о чем же она? Кто же этот герой, который считал, что *«закон не должен быть пужало из тряпицы, На коем наконец уже садятся птицы»*. Быть может, сам Уваров, который, по словам Никитенко, требовал, чтобы к поэту были применены все параграфы инструкции? А Дук – либеральный Николай, который на время решил отказать от личного цензурирования стихов поэта? Так что же за стихи были исключены в подцензурном издании и чем объясняется это исключение?

«Анджело» – совсем непростая поэма. О ней стоит поговорить отдельно. Но кроме того, Пушкин написал, например:

В 1834 году стихотворения «Пора, мой друг, пора», «Ты просвещением свой разум осветил», «Песни западных славян» и многое другое.

В 1835 году «Полководец», о котором шла речь в четвертом номере альманаха, красивое стихотворение «Вновь я посетил».

В 1836 году стихотворение «Отцы пустынноики и жены непорочны», о котором шла речь в третьем выпуске «Консерватора», и примыкающие к нему «Мирская власть», о котором мы говорили во втором номере, и «Напрасно я бегу к Сионским высотам» – вариацию на библейскую тему (*Как лев подстерегает добычу, так и грехи – делающих неправду. (Сир.27:10)*).

Настроение Пушкина меняется и, может быть, нет кокетства в строчках
*И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый...*

написанных за несколько лет до этого.

Читаем мы все это, и как-то мысль уходит куда-то туда, в дебри, в недра галактики и метagalaktики. Вращается вокруг библейских тем о жизни и смерти, о праведности и грехе, но никак не может сформировать образ Пушкина, являющийся олицетворением борьбы Властью со Свободой.

Впрочем, в «Дневнике» Пушкина немного больше об этом. Вот две записи 1834 года, хорошо известные читателю.

7 апреля. «Телеграф» запрещен. Уваров представил государю выписки, веденные несколько месяцев и обнаруживающие неблагонамеренное направление, данное Полевым его журналу. (Выписки ведены Брюновым, по совету Блудова.) Жуковский говорит: – Я рад, что «Телеграф» запрещен, хотя жалею, что запретили. «Телеграф» достоин был участи своей; мудроно с большей наглостию проповедовать якобинизм перед носом правительства, но Полевой был баловень полиции. Он умел уверить ее, что его либерализм пустая только маска.

Вчера goit у гр. Фикельмон. S. не была. Впрочем, весь город.

10 апреля. Вчера вечер у Уварова – живые картины. Долго сидели в темноте. S. не было – скука смертная. После картин вальс и кадрили, ужин плохой. Говоря о Свиныне, предлагающем Российской Академии свои манускрипты XVI-го века, Уваров сказал: «Надобно будет удостовериться, нет ли тут подлога. Пожалуй, Свинын продаст за старинные рукописи тетрадки своих мальчиков».

Понятно, что скука. Не было С. Если в предыдущем случае отсутствие С. компенсировалось сплетней о «Телеграфе», то во втором случае компенсация явно недостаточная. Мы охотно соглашаемся с Пушкиным, но все-таки чувствуем, что в этих записях нет эмоционального взрыва. Пушкин с Уваровым разные по характеру люди. По характеру совершенно разные, по политическим взглядам – думаю, что не слишком различались. Как, например, с Чаадаевым – характеры близкие, но взгляды совершенно различны. Ему не было скучно с людьми, с которыми было бы неинтересно Уварову.

Тем более живые картины. Как это могло выглядеть, мы представляем себе по сатирическим изображениям царского прошлого. Осмелюсь предположить, что это было что-то, напоминающее измазанных серебристой краской артистов, на набережных Ялты изображающих скульптуры или скульптурные группы. Долго смотреть скучновато. Впрочем, в кинематографе сейчас появилась мода другого рода: оживлять картины художников. Например, Рембрандта «Ночной дозор». Или Брейгеля. Фильм Леха Маевски «Мельница и крест» – оживление картины Питера Брейгеля Старшего «Путь на Голгофу». Я считаю этот фильм безусловным шедевром. Но в то же время дружу с людьми, которым было скучно долго смотреть его. При том, что эти люди обладают тонким вкусом. Но им нравится другое.

Но мы отделились от темы. Стал бы Пушкин рвать и метать, узнав, что Уваров исключил несколько строк из поэмы Анджело? Но «Ода Лукуллу»? Туг причины должны были быть посерьезнее. И они описаны в пятом выпуске альманаха «Консерватор».

Глава 5. Война и мир с бюрократизмом

Вот почему недостаточно иметь охрану только от правительственной тирании, но необходимо иметь охрану и от тирании господствующего в обществе мнения или чувства, – от свойственного обществу тяготения, хотя и не уголовными мерами, насильно навязывать свои идеи и свои правила тем индивидуумам, которые с ним расходятся в своих понятиях,

Джон Стюарт Милль. О свободе. 1859

После наполеоновских войн и эпохи Священного союза, после ряда революций в Европе, колониальных войн и, в частности, Восточной войны, непонятно чем закончившейся, в Европу вновь пришло весеннее настроение и мода на свободу.

В частности, свободу печати, слова, собраний и т.п. Эта мода дошла и до России.

Была отменена цензура, после чего Никитенко несколько сменил тон.

17 октября 1862 года

Тирания свободы не менее опасна и пагубна, как и тирания деспотизма.

Все, что связано со словом свобода, не слишком понятно не только у Никитенко. Нужно расшифровывать, но расшифровка скучна и не очень привлекательна для публики. До пятидесятых годов направление сентенций было другим. Но тоже не слишком понятным.

22 марта 1844 года

Хотеть управлять народом посредством одной бюрократии, без содействия самого народа, значит в одно и то же время угнетать народ, развращать его и подавать повод бюрократам к бесчисленным злоупотреблениям. Есть части правления, которые непременно должны находиться под влиянием народа или общества. Например, часть судебная. И это может быть достигнуто без нарушения прав верховной власти. Надо только, чтобы последняя имела меньше эгоизма.

Считается, что бюрократия зло. И как это народ должен содействовать этому злу? – неясно. И каким образом судебная часть должна быть под влиянием народа? Нужно сказать, что жонглирование терминами «власть», «свобода», «народ» стало популярным развлечением среди профессоров. К сожалению, и среди философов. Причем в такой тональности, которая подразумевает, что уж они-то знают, о чем говорят. Чуть позже мы увидим, как Никитенко относился к тому народу, под чьим влиянием должна была находиться судебная власть.

13 ноября 1865 года, суббота

Беда, если это демократизирующее начало, которое так пылко проповедуется у нас мальчиками-писунами, успеет разнуздать народ еще полудикий, пьяный, лишенный нравственного и религиозного образования.

Трудно понять, как Никитенко относился вообще к демократии. Например:

27 ноября 1865 года

Демократизм должен состоять не в том, чтобы каждого человека сделать подобным другому, – такого смещения и однообразия не допускает природа, – а в том, чтобы каждому предоставить возможность быть или самостоятельным, или повиноваться, как это ему лучше или удобнее. Из того, что некоторым не хочется повиноваться, еще не следует, что они и не должны повиноваться.

Что это означает? Мне и лучше и удобнее не повиноваться. Но из этого не следует, что я не должен повиноваться? В общем, достаточно трудная тема. Создается ощущение, что Никитенко не очень-то и старается ее раскрыть. Так, потренироваться для будущего светского разговора или для лекции.

Но вернемся к цензуре. Конечно, двадцатый век, защищающий бесконечное количество диссертаций о преследованиях николаевской цензуры, выглядит комично. Но вот пришел век двадцать первый и мы поняли, что свято место пусто не бывает. Несколько моих статей было напечатано в разных журналах и сборниках и в большинстве случаев они появились в свет с купюрами. Причем меня никто не спрашивал. Причем было купировано не несколько строчек, а иногда крупные абзацы и страницы. И совсем не по политическим мотивам, а так просто, чтобы видна была работа редактора. Это мещанская цензура. Она процветает в разных видах, причем люди, которые лелеют ее, еще и гордятся этим.

Но вернемся в николаевскую эпоху. «Добрый дук» пустился в странствия и цензору на рассмотрение пришла поэма Пушкина. Никитенко пришел к министру спросить, что делать? Тот ответил: поступать по инструкции. А как нужно было ответить? Вообще говоря, описание этой сцены выглядит несколько странно, особенно если учесть, что на завтра Пушкин приглашен в гости к Уварову. На следующий день после вечера у Уварова Пушкин, по словам Никитенки, взбешен. Но его дневник, в эти дни заполненный всякой всячиной, это не показывает.

Похоже, что мы имеем дело с классическим испорченным телефоном в исполнении Никитенко. Поговорим теперь еще об одной особенности его дневника.

Глава 6. Профессор пессимист или русофоб?

*Нет боле сил терпеть! Куда ни сунься: споры,
И сплетни, и обман, и глупость, и раздоры!
Вчера, не знаю как, попал в один я дом;
Я проклял жизнь мою. Какой вралей содом!*
В. Л. Пушкин

Одной из самых обстоятельных биографий А. В. Никитенко служит обзор журналиста В. Р. Зотова «Либеральный цензор и профессор пессимист», напечатанный в трех выпусках (10 - 12) журнала «Исторический вестник» за 1893 год. Зотов назвал Никитенко ласково пессимистом, сейчас сказали бы – русофоб. Приведем несколько характерных цитат:

15 июня 1835 года

Возвратились из-за границы студенты профессорского института. У меня были уже: Печерин, Куторга-младший, Чивилев. Калмыков приехал прежде. Они отвыкли от России и тяготятся мыслью, что должны навсегда прозябать в этом царстве рабства. Особенно мрачен Печерин. Он долго жил в Риме, в Неаполе, видел большую часть Европы и теперь опять заброшен судьбою в Азию. По словам их, ненависть к русским за границу повсеместная и вопиющая. Часто им приходилось скрывать, что они русские, чтобы встретить взгляд и ласковое слово иностранца. Нас считают гуннами, грозящими Европе новым варварством. Профессора провозглашают это с кафедр, стараясь возбудить в слушателях опасения против нашего могущества.

15 января 1841 года

Печальное зрелище представляет наше современное общество: в нем ни великодушных стремлений, ни правосудия, ни простоты, ни чести в нравах, словом – ничего свидетельствующего о здоровом, естественном и энергическом развитии нравственных сил. Мелкие души истощаются в мелких сплетнях общественного хаоса. Нет даже правильного понятия о выгодах и твердого к ним стремления. Все идет, говоря русским словом, «на шаромыжку». Ум и плутовство – синонимы. Слова «честный человек» означают у нас простака, близкого к глупцу, то же, что и добрый человек. Общественный разврат так велик, что понятия о чести, о справедливости считаются или слабодушием, или признаками романтической восторженности. И понятно, ведь с ними не соединяется ничего существенного, – это пустые, книжные слова. Образованность наша – одно лицемерие.

21 октября 1845 года

Я начинаю думать, что 12-й год не существовал действительно, что это – мечта или вымысел. Он не оставил никаких следов в нашем народном духе, не заронил в нас ни капли гордости, самосознания, уважения к самим себе, не дал нам никаких общественных благ, плодов мира и тишины. Страшный гнет, безмолвное раболепство – вот что Россия пожала на этой кровавой ниве, на которой другие народы обрели богатства прав и самосознания.

Что же это такое? Действовал ли, в самом деле, народ в 12-м году? Так ли мы знаем события? Не фальшь ли все, что говорят о народном восстании и патриотизме? Не ложь ли это, столь привычная нашему холопскому духу? Нас бичуют, как во времена Бирона; нас трактуют как бессмысленных скотов. Или наш народ, в самом деле, никогда ничего не делал, а за него всегда делала власть и лица? Неужели он всем обязан только тому, что всегда повиновался – этой гнусной способности рабов. Ужас, ужас, ужас!..

Цитирование на эту тему можно продолжать очень долго, но, наверное, не имеет смысла. Отмечу, что как только я начал выбирать из «Дневника» похожие высказывания, то немедленно вернулся назад, в предыдущие главы и поубирал все эмоции типа «как все у нас», «как это для нас характерно» и т.п. В одном тексте двум русофобствам не ужиться, поэтому я должен взять на себя противоположную миссию. Впрочем, лучше ни то, ни другое. Просто попробуем немного пофилософствовать на эту тему.

Русофобия, вообще говоря, является стилем. Таким же, как, например, экзистенциализм. И так же с определяющими, характерными сопровождающими элементами.

Почему пинакль определяет Романо-готический стиль, я сказать не могу. Но если вы любому человеку, даже неискушенному в архитектуре, покажете небольшой фрагмент, фотографию одного какого-либо пинакля, то он скажет, что это готика. Более того, это готический собор. Красиво ли это – тоже не имеет смысла говорить, поскольку без этого здание просто не будет иметь законченный вид. Точно так же, в рассматриваемом стиле пинаклем является указание на византийские корни православия.

15 ноября 1843 года

О, рабская Византия! Ты сообщила нам религию невольников! Проклятие на тебя! В самом деле, все, что есть самого великого в христианстве, тонет в этом позолоченном хламе форм, которые деспоты придумали, чтобы самой молитве преградить путь к Богу. Везде они – и они! Нет народа, нет идеи, всеобщего равенства! Иерархия подавляющая, пышность ослепительная, чтобы отвести глаза, туманить умы, – все, кроме христианской простоты и человечности.

Подобный пинакль можно найти у С. М. Соловьева и, конечно, у Чаадаева.

Что мы делали о ту пору, когда в борьбе энергического варварства северных народов с высокою мыслью христианства складывалась храмина современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания. Волею одного честолюбца эта семья народов только что была отторгнута от всемирного братства, и мы восприняли, следовательно, идею, искаженную человеческою страстью.

П. Я. Чаадаев. Философические письма. Письмо первое. 1836 (1828 - 30)

Разумеется, и у де Кюстина в его знаменитой книге «Россия в 1839 году» (второе издание – Париж, 1843).

Варяги, принимаемые за неких полубогов, приобщили русских кочевников к цивилизации. В то же самое время константинопольские императоры и патриархи привили им вкус к византийскому искусству и византийской роскоши. Таков был, с позволения сказать, первый слой цивилизации, растоптанный татарами, когда эти новые завоеватели обрушились на Россию.

Примите в расчет эти религиозные, гражданские и политические обстоятельства, и вы не удивитесь ни тому, что слово русского человека крайне ненадежно (напомню, это говорит русский князь), ни тому, что дух хитрости, наследие лживой византийской культуры, царит среди русских и даже определяет собою всю общественную жизнь империи царей, удачливых преемников Батыевой гвардии.

Не русские изобрели тот тяжеловесный и прихотливый стиль, что именуется византийским. Но религию свою русские получили от греков; с Византией их связывают национальный характер, верования, образование, история, поэтому заимствовать что-либо у Византии для них совершенно естественно...

Заметим, что со временем песня может меняться. Постепенно ученые стали понимать, что тысячелетняя Византия не из одного только вздора состояла, как, например, не из одних только садизмов, вздора и пошлостей состояла французская литература. Постепенно этот определяющий стиль элемент меняется на имперскость

Заметим, что Никитенко брал у де Кюстина не меньше, чем у Чаадаева. Но всегда заимствовал творчески. Пишет, например, де Кюстин о Лютере:

Главный недостаток немецкого народа, олицетворенный фигурой Лютера, – это склонность к физическим радостям; в наши дни эту склонность ничто не сдерживает; напротив, все поощряет ее. Так, принося свое достоинство, а может быть, и свою независимость в жертву бесплодной мечте о сугубо материальном благополучии, немецкая нация, скованная чувственной политикой и рассудочной религией, изменяет самой себе и всему миру. У каждого народа, как и у каждого индивида, есть свое предназначение: если Германия забыла о своем призвании, виновата в этом прежде всего Пруссия – древняя колыбель той непоследовательной философии, которую здесь из вежливости именуют религией.

У Никитенки этот пассаж немного преобразован. Тоже хорошо плюнуто, нет возражений. Плюнуто более простыми словами, но зато смачно!

30 ноября 1858 года

«Всякий народ, – говорит Лютер, – имеет своего дьявола». Дьявол русского народа есть разногласие во всем, что касается общественных интересов, страсть все относить к себе, мерить собою. Это и мелкое

самолюбие, кажется, общий порок славянских племен: оно-то и мешает развитию у нас духа ассоциации. Мы стоим на том, что лучше повиноваться чужому произволу, чем уступить в чем-либо своему собрату.

Вот чего я читателю не советую, так это пытаться объяснять сентенции Никитенки или возражать ему. О-О! Тут начнется! Нет, не надо.

Разумеется, как и в экзистенциализме, как и в сюрреализме, в импрессионизме и т.д. есть определяющая группа людей, носителей этого стиля – его творцов. Достаточно, например, назвать имя Сальвадора Дали и сразу станет понятно, о каком явлении в живописи идет речь. Или зайдите в магазин, где продаются кружки и тарелки, и увидите, что без Густава Климта не обойтись.

Также и здесь. Назовите имя Астольф де Кюстин и всякому понятно, что сейчас речь пойдет о русофобии. Это имя является определяющим и определяющим является отношение к нему. Никитенко относился к нему как к учителю, стараясь творчески подойти к его наследию. Уваров был противоположного лагеря. После появления книги маркиза он пытался противодействовать влиянию этой книги. С целью такого противодействия в России даже попытались соорудить целую бюрократическую баррикаду. Об этом пишут исследователи В. А. Мичина и А. Л. Осповат в статье «Петербургский кабинет против маркиза де Кюстина: нереализованный проект С. С. Уварова», напечатанной в журнале «Новое литературное обозрение», 1995, 13. Статья нам кажется интересной полностью и мы отсылаем читателя к ней, перепечатывая лишь частично записку Уварова, адресованную неизвестному лицу, отправленную в июне 1843 года.

Было бы неловким и неверным затевать прямую полемику с книгой 2-на де Кюстина о России, ибо нападки его такого рода, что не позволяют поднимать перчатку: попытки анализировать, разбирая фразу за фразой, все это нагромождение грубых клевет и благовидно софизмов, всю эту коварную смесь лжи и правды, изготовленную с величайшей ловкостью и пропитанную той неуклонной, нескрываемой ненавистью, которая делает эту книгу последним словом крестового похода Европы против России, – такие попытки обречены на неуспех. Чем более зловредно это последнее слово, тем осмотрительнее следует выбирать способы обезвредить яд, разлитый так искусно и щедро.

Если исключить из книги множество лживых или смешных анекдотов, множество частных вымыслов, если не принимать во внимание враждебность, переполняющую эту книгу, то нам откроется заветная мысль автора, которую можно сформулировать следующим образом: «отношения императора к стране – и страны к императору – такого свойства, что оскорбляют все законы божеские и человеческие; отношения эти суть условие существования власти; но подчиняться подобному порядку – значит забыть свой долг перед Богом».

Очевидно, что в крайнем своем выражении такой взгляд есть призыв к нарушению порядка, прямой сигнал к бунту.

Очевидно также, что именно в этом и заключается слабость рассматриваемой книги, ибо если бы общество, насчитывающее 60 миллионов человек, было устроено так, как утверждает автор, и на тех основаниях, какие он ему приписывает, оно не смогло бы просуществовать и суток. Сам же факт, что оно существует, обладает устрашающей мощью и развивается, доказывает, что начальная посылка книги неверна, что рассуждения автора противоречат и реальности, и его собственным выводам. Чего было бы бояться Европе, будь Россия в самом деле таким чудовищным, оставленным Богом обществом, каким изображает его г-н де Кюстин?

Вот то направление, по которому должно идти критику этого опасного сочинения, этого – в точном смысле – факела, призванного разжечь войну между нами и Европой. Дело, следовательно, не в том, чтобы полемизировать с г-ном де Кюстином по поводу деталей и крайностей; необходимо опровергнуть основные его принципы. спокойно и продуманно обнажить исходную ложность его благовидных и оскорбительных софизмов. Это – единственное средство защитить умы от воздействия его книги; такому сочинению, написанному с талантом и, главное, знанием дела, обеспечен благожелательный прием всей мыслящей Европы, и для людей рассудительных оно станет естественным противоядием от той книги, которая, на наш взгляд, является самым опасным произведением из всех, напечатанных за последние полвека.

Однако просто принять эту идею – недостаточно, следует обсудить средства к ее осуществлению, которые обеспечили бы книге, опровергающей сочинение г-на де Кюстина, успех среди читателей.

Итак, примем на заметку, что Уваров и Никитенко стоят на разных позициях в рассматриваемом вопросе и поговорим чуть подробнее и о русофобии и об антикюстиновском кабинете.

Продолжение следует

В. В. Розанов



О Пушкине

Еще о смерти Пушкина

К кончине Пушкина

Христианство пассивно или активно



Еще о смерти Пушкина

I

Смерть великого человека, явившаяся неожиданно, вызывает на размышления. Что такое произошло? Он ли тому причина, окружающие ли, Провидение ли, – об этом мы спрашиваем при виде неожиданной смерти обыкновенного человека, просто при виде факта раскрывшегося зева «пожирательницы людей». И этот вопрос становится длительнее, упорнее, когда тот же зев неожиданно поглощает великого, дорогого, нужного. «Куда? Зачем?» – это мы произносим горестно и бессильно, когда не можем произнести единственно нужного: «Постой!»

Когда литература лишается двух величайших гигантов своих одним способом, равно неожиданно и безвременно, мысль о роковом и страшном невольно закрадывается в ум. «Тут кто-то шалит», «это кому-то надо», «кто-то уносит у нас величайшие сокровища», и слова: «судьба», «немезида», «рок», эти затасканные и все-таки оставшиеся в памяти человеческой имена, невольно шепчет язык. Море никак не хотело принять Поликратова перстня; то же море, какое-то мистическое море, обратно от нас требует «драгоценных перстней». Ну, бросили один, – нет, мало. «Поганое место». Я хочу сказать, что, когда в одном и том же месте реки эту весну утонул один мальчик, на следующий год – другой, мы восклицаем: «поганое место», «нечистая тут сила». Непонятно. Страшно. Не хочу подходить к этому месту, хочу обойти это место.

В ужасно смешной (в предметном отношении, в отношении к Пушкину и его смерти) статье «Судьба Пушкина» г. Влад. Соловьев попытался доказать, что это не «нечистый» унес у нас Пушкина, а ангел; что это не «поганое место», где тонут мальчики, а «святое место», «место святого упокоения невинных детей». В век, когда люди только по книгам помнят Бога, а не в живом ощущении, они прежде всего начинают смешивать «черта» и «Бога». Человек погиб. Мальчик утонул. «Кто это?» – «Это – Бог!» – «Нет, это – черт». Грешный человек, я следую в этом случае маловозрастным мальчикам и вместе с ними шепчу о потерянном их товарище: «Это – нечистый унес его», и все тут «погано», «страшно», «неодолимо».

...Если б им была дана

Земная форма, по рогам и платью

Я мог бы сволочь различать со знатью.

Но дух – известно, что такое дух:

Жизнь, сила, чувство, зреньё, голос, слух

И мысль без тела – часто в видах разных;

Бесов вообще рисуют безобразных.

Это неприятное и жуткое ощущение, которое через 50 лет, конечно, становится глухо, но у современников и очевидцев события, вероятно, было сильно, рассеялось несколько и у меня, когда в N 21–22 «Мира иск.» я прочел

о смерти Пушкина прекрасную статью П. П. Перцова. «Ну, – сказал я себе, – больше не буду думать о Пушкине. Тут все так просто разъяснено, так правильно (в фактическом отношении) и правдиво (в моральном), что и возвращаться к вопросу нечего. Человек взглянул не ангельским и не чертовым взглядом на событие, а как простой, добрый и нравственный человек. Он не искал быть гениально-умным в объяснениях, не говорил себе: „Ну, тут-то я и пофилософствую“, – и нашел истинную философию в объяснении все-таки загадочного и трагического события. Мистическое не отвергнуто им, но оставлено как тень добавления около действительных событий и отношений в жизни поэта, и самая жизнь эта в отношении к теме не передана как ряд эмпирических данных, но как цепь полунравственных, полуэстетических, полуфизиологических событий, словом, „дух и тело смешаны (в статье) в надлежащей пропорции“.

Это впечатление было нарушено резким ответом предыдущему автору – нового. („Еще о судьбе Пушкина“, г. Рцы. № 1–2 „Мира искусства“, 1900 г.). В сущности, г. Рцы сбивает все объяснение на первое и самое раннее, которое было дано уже в незаметном лермонтовском упреке Пушкину:

И он погиб и взят могилой

.....
 Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
 Вступил он в этот свет, завистливый и душный
 Для сердца вольного и пламенных страстей?
 Зачем он руку дал клеветникам безбожным,
 Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
 Он, с юных лет постигнувший людей?

С этим объяснением совершенно совпадают центральные слова в статье г. Рцы: „Не клади, Сашенька, пальчика в огонь. Ан, хочю! Ну, тогда больно будет. *Хочу Петербурга* (курс, автора). Ну, тогда тебе не избежать и *логики Петербурга* (опять его курс), тогда судьба твоя роковым образом вовлечется в цепь следствий и причин, породивших самый Петербург с его прошлым обществом, былыми нравами, героями того времени – Дантесами... Мы *сами себе* (его курс.) даем пощечины... И мы глубоко верим, что если бы Пушкин опомнился, понял невозможность *человечески* (его курс.) спастись, если бы он упал на колени с горячею мольбою: Господи, спаси меня! Вот польстился я на пустую петербургскую ливрею, и вот позорят жену мою, и очаг мой, и дом мой, и нет прибежища душе моей, – *наверное* (курс, его) спасся бы“.

Тут есть немножко и соловьевского объяснения („поехал бы на Афон“), и обыкновенного, даже самого либерального объяснения („надел ливрею“), и, словом, неясно-деликатные упреки Лермонтова переложены во что-то мещанское (да простит автор мне упрек этот): «Он носил ливрею, когда ему нужно было петь „на седьмой глас“: „Господи, воззвах“». Очевидно, ни на Афон Пушкин бы не поехал (гипотеза Соловьева), ни „воззвах“ не стал бы и не хотел читать, – ибо не таково было настроение его души и правда его души и *факт* его души в *это время* грусти, смятения, гнева. О, господи, ведь есть логика и у страсти, и не думайте, что права и *свята логика* только

„посмертных рассуждений“, но и *при-жизненных* страстей логика может быть свята. Я верю, что Пушкин *вслыхнул* правдою – и погиб; что он был прав и свят в эти 3–5 предсмертных дней, когда

Восстал „во блеске власти“

– но он действительно, как объясняет г. Перцов, был не прав 3–5 предсмертных лет, и... „все произошло так, как должно было произойти“.

[Далее пропускаю значительный отрывок, однако идея статьи Розанова будет понятна читателю и без него... В.И.]

Пушкин был решительно груб с «Наташей» (да будет прощена дерзость так ее назвать). Он мог гениально ее ценить, но создать и выжать из себя форм обращения и быта, бытья, «житься-бытья» с той, о которой он записал первые, ранние впечатления:

Все в ней – гармония...
 Все – выше мира и страстей:
 Она покоится стыдливо
 В красе торжественной своей,
 Она кругом себя взирает –
 Ей нет соперниц, нет подруг.
 Красавиц наших бледный круг
 В ее сиянье исчезает – он не сумел.

В письме к жене, приведенном г. Рцы, Пушкин заговорил несколько как мастеровой. Пусть читатель перечтет письмо, справится.

«Наташа» получила письмо. Села, грустно откинулась назад. И уж не знаю, в какую минуту, но мы слышим из спальни девушки, – увы, и в замужестве девушки:

Любви роскошная звезда,
 Ты закатилась навсегда!

Да, и в замужестве девушки! Дайте договорить мысль! Она только фактически стала супругой и матерью, а поэтически и религиозно так и замерла, умерла девушкой. Ведь совершенно очевидно, что если есть поэзия и религия

...святыня красоты
 в девстве и девственности, то должна была настать и святость супружества,
 святость материнства:

Спи, дитя мое родное,
 Баюшки-баю!

[Далее еще пропуск ... В.И.]

«Конечно, она не виновна. Но виноват... мир, Бог, Дантес, Геккерен, „ибо я так чрезмерно страдаю“, „так мне дурно“... Она обо мне не думает; я о ней всечасно думаю и почти перестал писать стихи, разучился писать (последний, какой-то пустынный фазис деятельности Пушкина), ибо все та же мысль сожрала, пожрала меня. Молось – и не вижу „образа“. Он не отвернулся, а просто поблек, умер в линиях, ушел куда-то внутрь».

Г-н Рцы, приведя указанное выше письмо, пишет: «*Чудные* отношения (везде его курсивы). Дай Бог каждому из нас найти такой верный тон, так гениально суметь избегнуть приторности, сантиментальности, прикрыв грубоватую корою товарищеских угловатостей эту чарующую нежность, эту сердечность, эту ласку... Он ее не любил!! Или она его? Да Ромео и Юлия так не любили друг друга, как *могли* любить друг друга Пушкины в браке, *оставаясь только несчастный поэт в Москве*» (последний курсив мой)... и т. д. Строки до известной степени драгоценные, ибо именно так рассуждал, вероятно, не раз рассчитывая свое счастье по пальцам, Пушкин.

Дело в том, что тон письма Пушкина, действительно чудный и «Ромеоовский», не есть «Ромеоовский» *универсально*, но только *резко определенной, узкой полосы* бытия нашего, который и для Гончаровой должен был настать и, по-видимому, настал со вторым мужем, и она ему была «твердыней», успокоенною и счастливою; но с Пушкиным, в 17–22 года, не настал. Она имела свой тон, свои струны «Ромеоовского» счастья, по которым не мог и не умел ударить... поэт.

Тут только и можно разобраться, «вознеся руку на сердце», ибо «законно» и внешне, как равно критически и литературно, мы, все, конечно, решим «по Пушкину» и «для Пушкина». Но ведь что в нашем-то, этаким решении? Ведь он, участник драмы, жалкое ее лицо – вешун, он – веший.

– «Я же верна тебе, – ну что же еще».

И она заплакала. Скажите, ради Христа, в какой закон и в какое Евангелие вы впишете эти слезы, или, пожалуй, из какого Евангелия или от какого Христа вы возьмете окрик, или даже просто упрек – этим слезам. «Я плачу, ну и только». «Ваша – и никуда не бегу». Пушкин заметался. О, тут кто-то... судьба, Бог, Дантес, Геккерен, но я должен, мне нужно убить, потому что я так ужасно страдаю, мне так трудно, и неисцелимо трудно. Убить и даже... убивать, убивать; или – умереть. Он умер. Конечно, это легчайшее.

II

«В чем дело, – пишет г. Рцы, – Пушкин *переступил* через чужую жизнь? Пушкин, как Мазепа, *заклевал голубку* – какую? Свою собственную жену... Что за притча? И в каком смысле *заклевал*? А вот в каком. Для Наташи, для бедной (несчастливая московская барышня, очевидно, судьбой предназначенная по крайности для действительного статского советника), – для бедной Наташи все были жребии равны. *Еще* равны... (центральная, совершенно справедливая мысль г. Перцова). Она еще никого не любила, не доспела, но потом, отлежавшись, как груша хороших поздних сортов, могла полюбить, а тут Пушкин, коллежский секретарь Пушкин, некстати подвернулся...»

Чудак. Он пишет: «Этак у каждого из нас, проживши мирно десяток лет, жена вдруг нальется соком и станет вздыхать по *суженом, настоящем*, которого она проглядела, не дождалась».

Какое рассуждение; ну и в самом деле, пусть жена «начала вздыхать»: как же муж *прервет* эти вздохи? Увы, брак не был бы «тайнством», если б он не был «членом веры». И вот, когда верующий – о, не изменяет своему символу, но *вздыхает*, как я, как, может быть, он, как Лютер в 22 года, о какой-то

далекой, новой, возможной вере в условиях поблекшей настоящей, что же, г. Рцы и этот *религиозный вздох* прервет!?! Нет, он этого не сделает. Но не то ли же самое и в таинстве, которое мы рассматриваем, где так же, как и в вере, в религии, в догматике, вздоха прервать *нельзя* и вздох прервать *преступно*. Да просто – нельзя (нет средств, сил)!

Какой-то *всеобщий* страх у г. Рцы – суетен, неоснователен.

Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя

– это повторит тысяча мужей о своих «старухах», не променивая их стоптанных башмаков на новые модные туфли; мужей, говорю я, – но также это скажет и тысяча жен. Пушкин – не «Мазепа», который «заклевал»... Вот именно Мазепа-то и не клевал:

Не серна под утес уходит,
Орла послыша тяжкий лет;
Одна в сених невеста бродит,
Трепещет и решенья ждет.

Это – Мария Кочубей ожидает приговора родителей, когда седоусый гетман приехал формально ее сватать:

Не только первый пух ланит
Да русы кудри молодые,
Порой и *старца строгий вид*,
Рубцы чела, власы седые
В воображенье красоты
Влагают страстные мечты.
И вскоре слуха Кочубея
Коснулась роковая весть:
Она забыла стыд и честь,
Она – в объятиях злодея...

Не отпустил отец, сама ушла. Что делать – так!! Так было спокон веков и так останется, пока «три кита» не вывернутся из-под земли; и, наконец, так Бог благословил. Но почему же *если* Мазепа, то *все-таки не* Пушкин? Это вы прочтите у Лермонтова о Каспии:

[*Пропускаю Лермонтова, т.к. Розанов все объясняет и сам. В.И.*]

Тысяча романов в действительности – на подобный сюжет; и Наташа Гончарова, за 2–3 года до встречи с Пушкиным (совершенное отрочество), легко могла бы сбежать к какому-нибудь петербургскому Мазепе, совершенно так же и с теми же последствиями, но никогда бы не сбежала к Пушкину. Мазепа... старый бандурист, коего песни до сих пор не забыты Малороссией, строитель церквей, потрянувший – да как! – Малороссией и забурливший около своего имени Россию, Швецию, Польшу. Пушкину бесконечно хотелось съездить за границу, но он... так-таки никогда и не решился сесть на пароход без паспорта. Этот несносный Бенкендорф – потому и несносный, что Пушкин никак не умел от него освободиться. Вот уж не Каспий... Что же ему сравниваться с Мазепой в линии данной темы. Да он

и был для 16-летней Наташи Гончаровой тем «действительным статским советником», хлопотавшим у правительства разрешения издавать журнал, – к которому ее приревновал г. Рцы; а Мазепа и был, по его же терминологии – «Ом»... Ну, – Он, «Озирис», «Зевс»...

...Дух – известно, что такое дух:

Жизнь, сила, чувство, зрение, голос, слух.

По всему описанию видно («Полтава») и, конечно, так и было в действительности, что не Мазепа хотел Марии Кочубей: он только заметил ее, позволил ей, а *ринулась-то* она сама к нему и, пожалуй, действительно к нему. Седой усач; поэт – *но в меру* (Пушкин – без меры); какие речи! какой взгляд! И – седина, седина; «ветхое дельми». Тут не у одной Марии закружилась бы голова... И, главное, великий и страстный политик, молитвенник, художник, Мазепа и в 63 года был свежее и чище, был более похож на Иосифа Прекрасного, чем Пушкин, далеко отошедший от Иосифа в 16 лет («Вишня»). Да, целомудрие старости – обаятельно, и у Марии, а могло бы быть и у Наташи Гончаровой, закружилась голова. И решительно она не закружилась от Пушкина, который, *в отношении к данной теме*, так ужасно походил на «действительного статского советника», с положением и связями, восходившими до Бенкендорфа. Но известно, что у генералов, военных и статских, бываюг счастливые адъютанты, и вот в Дантесе Пушкин почувствовал, заподозрил, имел *психологический и метафизический фундамент* заподозрить такого счастливого «адъютанта», «помещика 23 лет Лидина», и, словом... Феба. Эсмеральда и Феб. Вы помните «Собор Парижской Богоматери» и там этот странный, горестный (до слез) роман. Эсмеральда – само упоение; ею упилась *Европа*; она увидела (кажется, ни слова не сказала) кавалериста Феба, которому Гюго даже не дал никакого собственного имени, до того он был *безличен*. Эсмеральда поблекла. Забыла свою козочку. Вот тут пусть г. Рцы рассудит и бросит в Эсмеральду тот камень, который он бросает в Гончарову. Зачем Эсмеральда полюбила Феба, а не того угрюмого, ученого, *гениального* монаха, который полюбил ее почти страстно-нежно и безнадежно, как Пушкин – Наташу. Да, зачем?! Пусть учит г. Рцы – он умен; я же только и могу припомнить: «и к мужу – *влечение твое*» (Бытие, 3). Да, «к мужу» и «влечение», т. е. «муж» и есть этот «Каспий», «море», «Озирис», Феб, Дантес, уже потому «роковые», что их ни обойти, ни объехать. Погибла Эсмеральда, погибла Кочубей, могла бы погибнуть Гончарова-Пушкина. Но, с другой стороны – погиб тот желчный монах («Соб. Пар. Богоматери»), погиб Пушкин, *может* погибнуть Рцы, я, наш читатель. И вообще, это любопытно, что где-нибудь, то там, то здесь, но *вечно* «бог семьи и брака» требует и получает себе дымящуюся человеческую кровь. Ужасно, но факт.

Ужасно, непостижимо. Сейчас я разьясню это. Конечно, можно представить, как, по-видимому, мечтает г. Рцы, что человечество можно было бы, поломав как лучинку, разместить попарно, и что не было бы ни страданий, ни расхождений, ни приключений. Но «лучинки» бы *не рождали!* Я хочу сказать, что в тот миг, как «кровавые заклания» (на этой почве)

окончательно прекратятся на земле – человек перестанет рождать. Я не могу постигнуть, почему и как, но чувствую, что *рождение ребенка* требует «жертвы», без нее не будет беременности и того, о чем писал и к чему готовился Пушкин, возвращаясь домой. Попробую еще объяснить. Шампанское – *играет*; если бы оно не играло, не пенилось, оно было бы смиреннее и не рвало пробку, не разрывало проволоку и иногда не брызгало вам в лицо, а при неосторожности – не ранило бы вас осколком стекла в лицо, в руку. Но *тогда оно было бы водой*, без игры, пены и ран... Идея г. Рцы, испуг его «как мужа» есть в сущности жажда смирить женщину и... тогда она *потеряет* силу, не будет рождать, как Татьяна в скорбном своем романе:

К ней дамы подвигались ближе,
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялись ниже,
Ловили взор ее очей;
Девицы проходили тише
Пред ней по зале; и всех выше
И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.
Никто б не мог ее прекрасной
Назвать, но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar.

А *дети*?! Что вы мне суете «старушек, которые ей улыбались», кавалеров, которые ей «почтительно кланялись», когда идет жена, – и я спрашиваю: а где же ее *дети*? Вот что забыл Пушкин, рисуя свой «милый идеал», и о чем забыл, что кошунственно выкинул из головы Достоевский в знаменитом анализе «Пушкинского и русского идеала женщины»? О, любители *бескровных* жертв, взамен древних, ягнячьих, голубиных, – как иногда можно ненавидеть вас и ваше!..

В ней сохранился тот же тон,
Был *так же тих ее поклон*.

Ведь плакать хочется – не знаю, как читателю, но мне хочется.

Она спросила:

Давно ль он здесь, откуда он (Онегин)
И не из их ли уж сторон?
Потом к супругу обратила
Усталый взгляд...

Страшен этот «усталый взгляд»! Сегодня усталый, завтра усталый, следующий год усталый. Ох, «устала»; кто-то поддержит? Нет держащего. И Пушкин, и Достоевский – оба отказались. Пушкин устал от Бенкендорфа, Достоевский устал от бедности и либералов.

С Татьяной – никого. Только старушки поклонялись на рауге.

Устала Татьяна. Братья-люди, да ведь вы же устаете? почему же только жена не может устать?

Поэт, умири волны свои и *любезно рассмейся*, низко поклонясь Бенкендорфу. «Низко поклоняюсь»?! Но позвольте, ведь Татьяна куда-куда больше «низких поклонов» должна отдавать тому, кто *ей чужд и на нее не похож*, как на вас Бенкендорф?.. И почему же то, от чего гиганты силы заскрежетали зубами, Пушкин, Достоевский, или мы, средненькие, Рцы, я, только для «бедной Тани» под силу? Но ведь на самом деле так. Ведь Таня тоже мечтала:

Не множеством картин старинных мастеров
Украсила бы я смиренную обитель...

И почему, почему, когда Бог отнял у женщины гений письма, когда она не слагает пушкинских строф, не дает ни рафаэлевских рисунков, ни музыки, как Моцарт, ни побед, как Наполеон, – почему, как Давид в могуществе своем отнял у соседа Урии его «последнюю овечку», вы отнимаете «единую славу» у нее: детскую и спальню, семью и *настоящего мужа*. У Урии – только Вирсавия. У Давида – царство, слава, арфа и псалмы. У Татьяны, Натальи – только возможность приласкать, но уж любимого человека, а тут явился воин, богач, в ласках царских, в исторической славе, или явился поэт, купающийся в волнах народной молвы:

– «Ну, вот, Наташа, Татьяна, теперь тебе есть муж».

Татьяна уступила. Наташа уступила. – «Да мне все равно!» И усмехнулась.

Но перервем, оставим.

Конечно, Пушкин был виновен перед Гончаровой, и потому, что он не понял необходимости глубокого *индивидуализма* семьи, без чего она есть квартира, но не есть «дом» в лучах религии и поэзии. «Святой дом» – вот чего до очевидности ясно не выходило у них.

Пушкин и тысячи, – между ними Достоевский, – воображают, что пол есть функция, а не мистическое лицо в нас, второго, ноуменального порядка, и что как можно составить по произволу меню для table d'hôte'a, так же можно мистический узел семьи, мистическую *душу* семьи, *ангела* семьи образовать на почве искусственного согласия, формального соглашения на «общение в этой функции». Ангела нет. Души нет. Семьи нет. Ничего нет, есть только то, о чем условливались: функция. Она – в слезах, он – в бешенстве; или – она в терпении, он – в унынии. Да что же случилось? Да нет *лица*, не вспыхнуло *ангельское между ними* лицо. Вы *говорить* можете со всяким из 1200000 петербургских жителей; обедать – не со всеми, но по крайней мере с тысячами из этого миллиона; но читать книгу?.. О, тут индивидуальность суживается: Пушкин не может читать с Бенкендорфом, – ему нужно Пушина; Достоевский не может, пусть дал бы обещание, «обет», «присягу», целый год читать романы и прозу, стихи и рассуждения со Стасюлевичем; я не мог бы читать, «Задушевно и со вкусом», со всяким; может быть, не мог бы со всяким читать и Рцы. Вышло бы не «чтение» с засосом, вышла бы алгебра,

читаемая Петрушкой и которую, кроме Петрушки, на этот раз слушают Стасюлевич и Достоевский. Но почему мы *говорим* с 1200000, *обедаем* – с 200 000, *читаем* – с 20?! Потому что «разговор», «трапеза», «чтение» – всё *одухотворяются* и *одухотворяются*, становятся *личнее и личнее, интимнее и интимнее*. Но общение в предполагаемой функции супружества – насколько же оно интимнее, таинственнее, сокровеннее и главное, главное личнее, не говорю – разговора или еды, но и чтения?! Читать вечно только с Петрушкой, – нет, тут обломилась бы «кошачья живучесть», которую гордился в себе Достоевский. Итак, секрет и тайна раскрываются: «читать» можно только с немногими; но, как думать можно только с собою, и при *такой думе* вспыхивает гений, поэзия, – так гений и поэзия семьи вспыхивают тогда, когда есть *единство субъективного лица* в кажущихся двоих. – «Ну, давайте думать вдвоем, *я и Рцы*». Правда, «братья Гонкуры» писали «вместе» романы, но эти романы были плохи, они не были «Войною и миром» или «Карениной». Попробуйте «сочинять вместе» *«Преступление и наказание»*?! Хороша вышла бы каша. Каким же образом семья, которая, как *произведение*, конечно, выше гением и мистицизмом *«Преступления и наказания»* и *«Войны и мира»*, можно, «согласившись», «начать сочинять вдвоем»? Тут нужно, чтобы Бог согласил, т. е. семью, которая немыслима без двух. Эти двое тогда ткнут, когда их устроил Бог в одно (одно лицо). Великие поиски семьи, – то, что я, петербуржец, нахожу свою «судьбу», положим, не в нашей улице, не в нашем городе, а при случайной и единственной поездке в Сибирь, – отсюда вытекают, и из подобных фактов ясно, что это Божеское единство двух есть вообще проблема, случай, загадка, но никогда не произвол. «Я женюсь, и вот будет семья». Ничего подобного. Ведь вас *двое*, а семья именно там, где есть «одно». Вот устранение этих-то «двоих» и есть мука, наука и, конечно, непостроимая наука семьи. У Пушкиных все было «двое»: «Гончарова» и «Пушкин». А нужно было, чтобы не было уже ни «Пушкина», ни «Гончаровой», а – Бог. Пушкин метнулся; Рцы говорит: «Ведь они были повенчаны». Я же спрашиваю, где Бог и *одно*?! Совершенно очевидно, что это «Бог и *одно*» у них не существовало и даже не начиналось, не было привнесено в их дом. Что же совершилось? Пусть рассуждают мудрые. История рассказывает, что вышла кровь; трудно оспорить меня, что Бога – не было, и что гроза разразилась в точке, где люди вздумали «согласно позавтракать», тогда как тут стояло святилище очень мало им ведомого бога. И, конечно, старейший и опытейший был виновен в неуместном пиршестве, и он один и потерпел.

1900

[*Комментарий редактора.* То, что происходило с Пушкиным в 36-37 году, я назвал «волей к смерти, причин ее много (и я об этом писал в «Призвании литературы»), не только семейный разлад (при формальной невинности и мужа и жены), но и охлаждение общества, и все то, о чем сказал нам Лермонтов больше всех исследователей трагедии. Но и это еще не все... Но остальное знают те, кто переживал сам эту «волну к смерти»...]

К кончине Пушкина

(По поводу новой книги П. Е. Щеголева «Смерть Пушкина»).

Все так и было, как было, – и оттого, что А. С. Пушкин вступил в марьяж с Н. Н. Гончаровой – звезды не изменили своего течения и все осталось по-прежнему:

Пушкин – величайшим русским поэтом, но до излишества игривым.

Гончарова – первой красавицей Петербурга, которая так же хотела... так же «не могла не использовать» свою красоту и годы, – «дар небес единственный у нее», – как Пушкин не мог не использовать своего гения, своей силы стихов...

Барон Геккерн был дипломатом, и «что же – ему было перестать быть дипломатом?»

И Дантес – очень красивый кавалергард.

Каждая планета «текла по пути своему». И было бы хорошо. А «встретились» – кавардак. Но кто их «встретил»? Увы, марьяж Пушкина.

Его воля. Его первый шаг «изменить судьбы». Они, конечно, не изменились. И он погиб.

Все до такой степени ясно, что, собственно, нет никакой нужды тратить годы жизни, – П. Е. Щеголев потратил 15 лет на «изыскания», – чтобы еще подобрать и выщарапать откуда-нибудь документ для «объяснения дела», которое ясно ослепительно ясно в самом себе. И даже мелочные документы, написанные и недописанные записочки, дневники Жуковского «начерно» и «набело» (у П. Е. Щеголева приведены одни и другие) – все это скорее может «случайным неверным тоном» на минуту (ведь бывает, случается при написании письма взять неверный на минуту тон) ввести биографа в ошибку против действительности, – которая именно в этом случае гибели Пушкина так разительно ясна, так разительно полна, – и именно «полна» в общем своем сложении, в общем своем портрете, – что, право же, «частности» не интересны; не интересно, что Наталья Николаевна «говорила» или «щебетала» Пушкину об ухаживаниях Дантеса, – как будто не только она, но и кто бы то ни было другой мог ответить на такие вопросы мужа как-нибудь иначе, нежели ответила она...

Мне кажется, самое уважение к имени Пушкина, – уважение и благоговение, – нудит именно не поднимать и не пересматривать этой истории. Не называть еще имен, то дорогих ему, то ненавистных ему. Вот уж где именно должно «посыпать землей забвения».

– Могила. Умерло. Расходитесь, господа, нечего ждать.

Совершенно «ничего». Никакой загадки. Ничего тайного.

Из всей завязавшейся грязи «около бывшей Н. Н. Гончаровой», – в самом же начале, когда она начала только завязываться, Пушкину было естественно и легко увезти ее в село Михайловское, – и переждать здесь года 2–3. Он написал бы великие творения, – для России и для истории; она бы успокоилась; да и прошли бы года, эти особенные и жгучие «около 30».

Отчего же он этого не сделал, когда решение было «в его руках» и лежало «перед его глазами»?

Отчего?

Отчего?

Да «не было написано в звездах». Потому что Пушкин не так «родился». Как и Дантес, и Геккери, и Наталья Николаевна – родились все и каждый «по-своему». Нимало «не сообразуясь с Пушкиным», – как и он родился «не для жены своей и не для этого общества».

Но вошел в это общество. О чем судить? Как рассуждать? Не «общество вошло в Пушкина и помешало ему жить», а «Пушкин вошел в развращенное общество – и погиб». Как тут судить и кого?

Сказать ли, наконец, последнюю и истинную причину гибели Пушкина? Причину не феноменальную, не зависящую от случайностей, а причину ноуменальную, вот это – «в звездах».

Из писем Пушкина к жене П. Е. Щеголев привел одно, где он говорит о ней, жене своей, и об ее ухаживателях. В академическом ученом издании можно было поместить письмо целиком, хотя и тут пришлось поставить четыре точки после шестнадцатой буквы алфавита. В газете же невозможно даже и передать смысл письма. Невозможно намекнуть, невозможно сказать о нем «стороною» и «отдаленно». В подлиннике Пушкин, конечно, написал без точек, а всеми буквами. Жена прочла. Запомните, жена... не кокотка на бульваре, не тротуарная девушка, не коридорная девушка в наихудшей гостинице...

Пушкин написал ей «суть дела», «суть позывов», суть «ухаживаний за нею». Знаете: кому так написано, с кем можно говорить такими словами, – тот именно этими словами и позволенностью таких слов с нею освобождается на все поступки, на всякое поведение, он получает «полную волюшку», совершенно как трактирная девушка. И вот в этом и заключается вся суть дела. Совершенно напрасно было судить барона Геккери за «сводничество», совершенно напрасно было судить Дантеса за ухаживания, – когда, так сказать, в атмосфере и «дыхании» этого письма и «таких вообще тонов разговаривания с женою» совершенно ничего иного и не могло быть, – это же должно было возникнуть с «Геккерном или с другими», «с Дантесом или с прочими». «Не Сидор, так Иван». Господи, о чем было писать книгу? Щеголев напрасно потратил силы. Дело именно надо засыпать землицей.

Не надо даже напоминать и о Михайловском. Пушкин мог обжечь Наталью Николаевну, да и отжечь всех ухаживателей, если бы он сказал ей «несколько сухих слов».

«Несколько сухих слов»? – Ну, тогда бы он «не был Пушкиным». Тем Пушкиным, у которого во всех восьми томах нет «ни одного сухого слова».

Что же было? Что случилось? Ах, – ну вот и случилось это несчастье, что по моментальной влюбчивости, по влюбленности «вот этою зимою» в «богомольную красоту», но чисто телесную, великий поэт выбрал себе одну жену, единственную и на всю жизнь жену, когда он был пантеистом любви и носил в себе «любовь» всех типов и степеней, всех форм и температур; до такой степени, что даже о толпе «ухаживателей за нею» он заговорил не

тоном Отелло, единственно доступным ограниченному и вместе бесконечному в любви Отелло, – а заговорил, «как Пушкин», написавший известные характерные сцены с беглыми монахами в «Борисе Годунове».

«Все произошло в высшей степени незаметно и случайно». Не сказавший ни одного «сухого слова» Пушкин как-то неуловимо и постепенно вошел, именно как «пантеист любви», в эту богему легких ухаживаний и легких побед, легких «падений» и «вставаний», – больше смеясь, больше шутя, когда естественно было с первого же шага оскорбиться и заговорить «сухими словами». С этой неизъяснимой и гениальной увлекаемостью – «на какую был способен один Пушкин», – он и на завертевшийся вихрь около его глаз посмотрел, – и очень долго смотрел, – не как муж, а как художник. Да нужно читать его письмо, – это его всеразъясняющее письмо. «Это всегда так бывает на свете, что за одной собакой бегают много собак». Нет, хуже: нужно читать письмо. Оно передано так физиологично... И, между тем, в стихах, читаемых итальянским импровизатором в «Египетских ночах», есть параллель этому убийственному письму, – параллель великолепная, гордая, неизъяснимая. «Пушкин все мог». И равно постигнуть Дездемону и горничную, Татьяну и графа Нулина.

Это – пантеизм. Но Пушкин не был бы Пушкиным, он был бы только «подражателем Пушкина», если бы о «горничной Татьяны» не говорил так же «всласть», как о Татьяне. Помните в «Сценах из рыцарских времен» грубую шутку об изменяющей мужу жене? Удивительно.

Нет, он был пантеист. Вообще – всего, но особенно любви.

Ограниченной, недалекой Наталье Николаевне естественно было не найти в своем муже средоточия, – когда и для потомков-то его это средоточие не ясно, а в глубине вещей... «пантеизма и не было бы, если бы в нем было средоточие, центр». «Пантеизм», «периферия», «Бог во всем», «в каждой точке мира», – это так же прекрасно, как и «одно Солнышко на небе». Никто не определил, что краше и истиннее, что выше, – «звездное небо» или «солнечный день». Мы – мучаемся, мы – не знаем. И Наталья Николаевна «так сама собою и всплыла» в этот пантеистический взгляд мужа, что «иногда трактирная девушка нравится так же, как богомольная Мадонна».

– До брака вон какие стихи он писал обо мне. А теперь пишет такие письма. И оба пишет со сладью. Где же истина? Где, наконец, «он, мой Александр Сергеевич»?

– Где, наконец, муж?

Около такого пантеиста-мужа жена естественно чувствует себя безмужнею. И нельзя не обратить внимания, что та александровская эпоха была вообще какою-то безмужнею, безженною, а скорее – универсально-любовническою. Я как-то рассматривал в «Мире искусств» эскиз одной работы В. А. Серова. Чей-то «выезд» на «прогулку», – был и экипаж, и верховые. И вот в позе этих «верховых», – особенно в приподнятых нервно коленях и в счастливых, юных, смеющихся лицах, – было столько «ухаживанья», точно в глазах этих высоких особ не было «пятой частей света», а лежала одна необозримая «часть света», именуемая «Любовью». Я сказал что-то в этом роде С. П. Дягилеву, редактору журнала и основателю выставок

«Мира искусств». Он мне ответил об эпохе этой и последующей, т. е. Александра I: «Это было время, когда никто не мог назвать с уверенностью своего отца и мать. Измены были до такой степени всеобщи, обыкновенны, что „не изменять“ казалось чудом и тем, чего „нет и даже не должно быть“». Опустив невольно глаза, я вздохнул: «Но ведь это, однако, и произвело всю роскошь эпохи». Катились сплошь два века Руссо и Вольтера, Эрмитажа и Академии Художеств; и всех этих работ Гваренги и Растрелли, глядя на которые замирает и до сих пор взгляд.

Мы, «верные мужья своих жен», не умеем так строить. Почему-то не умеем. И – ни писать таких стихов, как Пушкин и Лермонтов. Есть связь талантов и чинов жизни. Мы имеем верных жен; но уже по гению универсальной поэзии тех дней, певших и Зелиму, и Зюлейку, и Татьяну, – певших на Западе Ленору, Лауру, – представилось бы чем-то совершенно невероятным и наконец совершенно ненужным, чтобы эти пантеистические гиганты имели монотеистических жен... Кто хочет быть Соломоном и писать, как Соломон, должен удовольствоваться «бедненькою Суламифью»... Была пора козлов и овечек... Просто «Рафаэлевская пора», где не было наших экономических «дойных» коз и баранов, а такие особенные мифологические бараны и козочки, которые не доискивались «своего» и весь мир полагали блаженно «своим».

И судить нужно «ту эпоху», а не какое-нибудь лицо той эпохи. Всякий человек есть своего времени человек. Шла гениальная пора «после 12 года», когда мы были «первыми в мире», «спасали Пруссию», «спасали Австрию», «ниспровергали Наполеона». Когда тут замечать «своих жен». В этот несчастный год завязалась другая сплетня: о графе Уварове, об ожидании какого-то «наследства» и о пользовании казенными дровами. Пушкин не удержал пера и написал варварски жестокие стихи о графе Уварове, не только министре просвещения, но и образованнейшем человеке своего времени. Уваров ответил ему также мстительно. Один попрекал его «дровами», другой посмеялся... даже не над женою его, а именно над «козлом, имеющим рог более, чем полагается по природе». Было дело даже и не в ревности, и наконец – даже не в муже. Ибо раз «все жены изменяют – как же не носить рогов». И нечего бы коситься. «Все носим». Но вот, подите же: вмешался светский шик. «Хорошо. Рога. Но кто же об этом говорит!» «Говорить» не было принято. Чего говорить? – Все вдруг заговорили об одном, с определенным именем. «Началась травля мужа и человека». Кому же до последней степени не ясно, что зерно дуэли Пушкина заключалось не в измене («была» она или «не была», об этом даже неприлично было бы стараться узнать), и отнюдь не в ревности, основательна она была или неосновательна, и ни в каком не «поведении Натальи Николаевны». Зерно было совершенно в стороне от этого: в том, что неосторожным стихотворением, – и зная хорошо, что «стихи Пушкина не забудутся», – он поднял против себя травлю, он возмутил людей, весьма достойных. В «повод к травле» они взяли «что попало». Данный повод был, как и у всех. Но они «всех» не подняли на травлю, а одного Пушкина. Вот этого момента собственно травимости себя – он и не вынес. 1916

Христианство пассивно или активно?

(отрывки из статьи)

.....
 ... Пушкин умер; умер в окружении таких обстоятельств, измучивших душу поэта и огрязнивших его жизнь, что чувство скорби и гнева невольно волнуется около его памяти; мы думали – этот гнев в нас, эта скорбь естественны. Но вот проводится перед нами успокаивающая мысль, что, подобным же гневом и скорбью волнуясь, поэт собственно и "убил себя", "законно заслужил" свою смерть:

Жизнь его не враг отъял,
 Он своею силой пал,
 Жертва гибельного гнева...

– так над могилой поэта скандирует г. Вл. Соловьев ("Судьба Пушкина", сентябрь 1897 г.) и, успокоенный, предлагает и нам успокоиться. Но почему? и разве нет *святого* негодования? "Нет", – отвечает он и развивает как фундамент своего воззрения идею пассивного христианства, [заканчивая следующими словами]:

«...первая ступень ангельского жития, которая есть послушание; ... равнодушные и к похвалам, и к обидам, как у мертвецов».

Мы поражены; но во всяком случае – мы остановлены. Подавляя под святоотеческой страницей гнев в себе, загоняя его внутрь, мы пробегаем раз, мы пробегаем два статью богослова и философа наших дней и видим, что, предложив нам "успокоиться" и "спокойный" сам, он не вовсе беззаботен. "Довлея днесь" и, кажется, "не печась на утре", в осторожной и обдуманной статье он ... поновляет венок на могиле Писарева ... пускает стрелу в г. Мережковского, соглашается и с г. Спасовичем, что Пушкин был в сущности пустой человек, и даже прибавляет, что он был лживый человек; но не противоречит и гг. Энгельгардту, Буренину и Розанову, что как поэт собственно он, правда, был велик. "Довлеет днесь злоба его"... Наши дела хорошо закончены, "округленно" закончены; а поэт? Ну, что поэт:

Спящий в гробе – мирно спи;
 Жизнью пользуйся – живущий.

Я хочу сказать, что идея пассивного христианства имеет одну мучительную в себе сторону: "успокаивая" нас, она наконец оледеняет нас; мы становимся несколько похожи если не на "почивших" ..., то на обыкновенную ледяную сосульку, и в таком виде не только говорим, думаем и чувствуем ... но, и живых принимаем как бы за "спящих в гробе", "не печемся" о них и даже как-то их не совестимся. Чудовищный эгоизм, неслыханный холод отношений... да оглянемся же: все это – вокруг нас, это и есть зрелище обледенелой в сущности христианской цивилизации, где есть все в добродетели, но все – номинально; и если мы подумаем: да почему? – то источник этого и откроем именно в этом безнравном понимании христианства.

.....
.... С этим можно было бы помириться; но полная действительность состоит в том, что мы остаемся в то же время и на земле, под светом дня, но уже здесь остаемся вовсе без "молитвы" – для величайших глубин греха, в самых смрадных его формах. "Небо" для нас – там, на кладбище; здесь – только "земля", и уже не освещаемая нисколько "небом", без "молитвы", пронизывающей нас в ежедневном дыхании, сопутствующей каждому мигу труда и ежесекундных наших вождений. Здесь – "nefas", "нечисть", – и именно в полноту того, как всякое "fas", всякая "святость" нами отнесены туда – в небо "бесстрастного" лежания около "упокойников". Таким образом, крайний спиритуализм в понимании христианства, поглощение в Христе "человека" "Божеством" – от которого предостерегали нас вселенские соборы – отразились полной материализацией христианства, ежесекундных и повсеместных всплесков христианского моря.

Отсюда текут его антиномии; "антиномиями" Кант назвал коренные и идущие от самого начала противоречия нашего разума, и есть такие же "противоречия" в нашей цивилизации. Остановимся на некоторых. Евангелие есть книга бесплотных отношений – целомудрия, возведенного к абсолюту; и между тем цивилизация, казалось бы на нем основанная, есть первая в истории, где проституция регистрируется, регламентируется и имеет свое законодательство, как есть законодательство фабричное. "Истинно говорю вам – верблюду легче войти в игольные уши, чем богатому в Царство Небесное", – и вот мы видим, что именно "стяжательный юноша" есть господствующий в нашей жизни тип. "Богатый и Лазарь" – какая вековечная притча; но где еще была более роскошная, более блестящая, "блистающая в одеждах" и всяческой "неге" цивилизация, как наша? Поразительно, что все течет обратно: не то чтобы по разным путям расходится – "слово" правее и "дело" немножечко влево; нет – они диаметрально кидаются навстречу друг другу. "Царство не от мира сего"... но было ли "царство" когда-нибудь более от "сего мира", столь поразительно светское, щеголеватое, до последних своих недр суетное и объективное, без всякой в себе тайны, без трогательности и нежного? "Не печитесь на утро, утренний бо собою печется" – и нет, не было еще мира, который тревогу свою простирал бы так далеко, как наш: мы боимся и кометы, которая как бы не разбила землю, и пересыхания вод на нашем шаре, и исчезновения на нем воздуха, и охлаждения Солнца, и падения Земли на Солнце – космического "пожара". Трусость и "попечение", которые решительно не имеют себе примеров в истории. "Религия любви и милосердия"... Странник в Аравии или в Тибете, подходя к шалашу бедуина или к войлочной кибитке татарина, находит не только кров себе; ему не только "омоют ноги" холодной водой, которая облегчит прилив к ним крови (какая предусмотрительная и утонченная заботливость!), но за его жизнь и безопасность, если даже он вошел в палатку кровного врага, этим врагом будет положена жизнь. Главное – это обычай, т.е. везде, для всякого, не обегая ни одной палатки. Пусть "кровный враг" зарежет вас сейчас, как только вы выйдете из-под его крова. Да, *потом*

зарезет – Восток не претендует, как Запад, на "прощение" всяческих "обид": он мстит, волнуется, негодует и не знает ни нашего "неделания", ни нашего "несопротивления злу". Но пока вы в палатке врага – вы не в дремучем лесу, не в берлоге зверя, вы где-то в священном убежище, над вами ясно простерт религиозный закон, не переступаемый ни для какой ярости, ни для какого омрачения рассудка. Теперь возьмите наш западный мир: куда вы пойдете, в какой дом осмелитесь войти, где на вас не посмотрели бы с величайшим удивлением и с некоторым безмолвным "мы не от мира сего" не затворили бы перед вами дверь? "Взгляните на лилии полевые: и Соломон в красоте одежд не был украшен лучше их"; "птицы не сеют, не жнут – и Отец Небесный питает их" – это вы слышите в утешение, когда в величайшей нужде, в безысходном горе, полной растерянности обращаете речь к "брату"; и как часто – о, почти всегда! – этот словесный "хлеб" есть единственный, который вы получаете в питание. Погибнуть на площади, т.е. перед людными домами, замерзнуть на улице, быть растленной ради рубля, который даст ужин, – о, ведь это наша история, это хроника наших газет, отдел "мелких" и самых любопытных в них "известий". "Мелких известий" – как характерно это название! – жизнь человека для нас "мелка", она *привычно* мелка, она "мелка" для всех, и газеты только выражают мнение всех, последуют суждению всех, когда набирают эти известия мельчайшим шрифтом, позади телеграмм о том, что корабль, везущий Фора, уже доехал до Антверпена. Филантропия подбирает замерзающих и растлеваемых: да, это характерно – выделился общественный институт, почти государственное министерство, чтобы исполнить то, чего около себя, вокруг себя никто исполнить не хочет. Зажегся очаг милосердия, как в морозы зажигаются костры на улицах... ну, да потому и зажегся, что атмосфера пронизана холодом и, в сущности, каждый порознь есть полузамерзающий.

Вот эти "антиномии". Не забывая, прервем их и возвратимся к частному факту, который пробудил в нас эти общие мысли.

Г. Вл. Соловьев существенно неправильно понял христианство, оценив "Судьбу Пушкина". Он осудил поэта за активность, и так строго, что даже присудил к смерти. Он задается вопросом, что стал бы делать поэт, если бы тяжело ранил и даже убил так измучившего его, так оскорбившего и, наконец, так неотвзвчивого Геккерна. Он серьезно думает, что "с горя" Пушкин пошел бы на Афон, постригся бы в монахи. Человека гонят, травят в обществе, и когда, загнанный домой, он оборачивается у порога – он видит, что преследователи не щадят и его крова и следуют за ним по пятам. – "Attendez, je me sens assez de force pour tirer mon coup!" – тут весь Пушкин в простоте и правде своего гнева. "Что стал бы делать он, убивши?" – то, что и солдат, в сражении честно защищавший свое отечество, или что делал гр. Л. Толстой, бывший на севастопольских бастионах, и, верно, не праздно там бывший. И Пушкин защищал ближайшее отечество свое – свой кров, свою семью, жену свою; все это защищал в "чести", как и воин отстаивает не всегда существование, но часто только "честь", доброе имя, правую гордость своего отечества.

Нисколько и ни в чем все это не противоречит активному христианству и тем "корням" страстей, которых бытие в Богочеловеке утверждали соборы, и так напрасно в них ... сомневается г. Вл.Соловьев.

Еще два слова о занимающей нас статье: г. Вл. Соловьев собирает документы жливости Пушкина и везде ошибается в психологическом их анализе. "Как Пушкин мог, – спрашивает он, – почтись в одно время написать о том же лице и известное стихотворение "Я помню чудное мгновенье" и назвать это лицо в частном письме – "наша вавилонская блудница, Анна Петровна?" – Друг или "приятель" Достоевского и, вероятно, знаток его сочинений, г. Вл. Соловьев мог бы быть проницательнее в отношении именно этих тем. Красота телесная есть страшная и могущественная, и не только физическая, но духовная вещь; и каково бы ни было содержимое "сосуда" – он значущ и в себе, в себе духовен и может пробудить духовное же – напр., данное стихотворение, которое вовсе не будет "предъявлением заведомо ложных сведений", как это показалось не очень проницательному "философу". Второе обвинение: приняв вызов Геккерна, поэт нарушил слово императору, которому обещал довести до его сведения, если вызов последует. Но это понятно и психологически это опять невольно: ведь император именно не допустил бы дуэли, и измученный поэт, жену коего позорили и глубину, боль, язву этого позора только он один в настоящей силе чувствовал, был бы лишен единственного остававшегося у него средства прекратить эту боль. "... И как было не войти в мир той взволнованности, того смятения чувств, которое переживал поэт; того необыкновенно сложного круга воспоминаний, взгляда на себя и свою историческую миссию, оторвав от которой его вдруг и неудержимо погнала до порога дома, до спальни жены стая ужасных гончих; лев обернулся... и все-таки был затравлен. Но уже раненный насмерть, однако же еще дыша, творец "Моцарта и Сальери" приподнялся и с гневными словами секундантам отойти в сторону "недрожашею рукою выстрелил в противника и слегка его ранил".

Да, так вот вопрос: зачем он выстрелил, а не читал молитву?

«Это крайнее душевное напряжение и сломило окончательно силы Пушкина и решило его земную участь, им "он и убит, а не пулею Геккерна». (Вл. Соловьев, "Судьба Пушкина").

Ты заснешь

Надолго, Моцарт!.. Но ужель он прав,

И я не гений? Гений и злодейство –

Две вещи несовместные...

Так, в "райской песне" этого таинственного своего "реквиема", поэт пророчески предугадал и объяснил, во всех ее подробностях, истинную, а не выдуманную "судьбу Пушкина":

Он несколько занес нам песен райских,

Чтоб, возмутив бескрылое желанье

В нас, чадах праха, после улететь!

Так улетай же!..

.....

1897



Ковтун Евгений Федорович родился в 1928 г. Окончил кафедру истории искусства ЛГУ и аспирантуру. Работает в Русском музее ст. н. сотрудником. Занимается русским авангардом. Под его редакцией вышел ряд книг, в частности: «Авангард, остановленный на бегу», «Книги русских футуристов», «Велимир Хлебников и художники».

Е.Ф.Ковтун

"ДУХ ДЫШЕТ ГДЕ ХОЧЕТ"

Иоанн 3, 8

*материалы
к биографии художника*

В.В.Стерлигов

**Статьи
Заметки
Письма**



Стерлигов – последний художник классического русского авангарда, вышедший из супрематизма и открывший новый художественный мир. При первых же встречах с Владимиром Васильевичем (1963) он поразил меня напряженностью духовных исканий в искусстве, одержимостью своей идеей. Это был "изобретатель" в высоком хлебниковском понимании этого слова. Он не "придумывал" проблему: "Земная ось скрипнула и повернулась, – говорил он, – и все стало новым – земля и небо". В духовном развитии мира Стерлигов увидел важные для художественного творчества моменты, которые привели его к созданию своеобразной живописно-пластической системы.

Путь к ней начался издалека. Еще в начале 1910-х годов наиболее чуткие из молодых русских художников в период победного шествия кубизма уловили исчерпанность его пластически-пространственной концепции, недостаточность и жесткость (геометризация) тех способов, в которых выражается взаимодействие духовного мира человека и универсальной вселенной. Возникают лучизм Ларионова¹⁾, супрематизм Малевича²⁾, аналитическое искусство Филонова³⁾, метод расширенного смотрения Матюшина⁴⁾.

Высшего напряжения эти новые искания достигли в Ленинградском государственном институте художественной культуры (ГИНХУК), где директором был Малевич, руководили отделами Татлин⁵⁾, Матюшин, Мансуров⁶⁾, Пунин⁷⁾. ГИНХУК стал исследовательским центром по разработке посткубических пластических структур.

Вот здесь и начинается творческая биография Стерлигова. С января 1926 года он практикант ГИНХУКа, работавший под руководством Малевича. Руководитель прежде всего ставил "диагноз" молодому художнику, то есть определял его склонность к тому или иному роду живописи и после этого с помощью определенных заданий способствовал развитию этой склонности.

1. Ларионов Михаил Федорович (1881-1964) – живописец, создатель лучизма как самостоятельной формы беспредметной живописи.

2. Малевич Казимир Северинович (1878-1935) – живописец, основатель супрематизма, исследователь искусства.

3. Филонов Павел Николаевич (1883-1941) – живописец и график, создатель школы аналитического искусства.

4. Матюшин Михаил Васильевич (1861-1934) – музыкант и живописец, разрабатывал метод расширенного смотрения в живописи. Руководил отделом Органической культуры в ГИНХУКе.

5. Татлин Владимир Евграфович (1885-1953) – живописец, дизайнер, основатель конструктивизма. Руководил в ГИНХУКе отделом Материальной культуры.

6. Мансуров Павел Андреевич (1896-1983) – живописец, руководитель экспериментального отдела ГИНХУКа.

7. Пунин Николай Николаевич (1888-1953) – искусствовед и художественный критик, руководитель отдела Общей идеологии в ГИНХУКе.

Как отмечал Л. А. Юдин⁸⁾, руководивший лабораторией формы в ГИНХУКе, ранние вещи Стерлигова обнаружили тяготение к пластическим структурам кубизма и супрематизма.

Руководство Малевича заключалось также в непрерывном обсуждении работ художника. Оно имело характер собеседования с Малевичем или его ассистентами. Вот отрывок из записи такого обсуждения, раскрывающий вопросы, интересовавшие тогда молодого художника: "30.3.26. В. С. (В. Стерлигов) позвал к своей работе для объяснений, – пишет Юдин. – Был задан вопрос, выяснилось ли в этой работе что-либо новое и, если да, то что именно? В. С. ответил, что выяснилось отношение. Ощущение, которое совершенно раньше не входило в сознание. Помимо механического скрепления двух единиц – (доска к доске приколочена гвоздями) существует связь через отношения, которая, естественно, и есть живописная связь. Не пишутся отдельно предметы, а все внимание обращено на отношения между ними, т.е. пишется уже не предмет, а отношение, не предметами художник выражает себя, а отношениями"⁹⁾. Интересно, что именно в двадцатые годы намечаются проблемы, которые Стерлигов будет развивать гораздо позже. И приведенная запись перекликается с положениями, сформулированными десятилетия спустя: "Отношение к предмету во время рисования: я не знаю, что рисую, пишу, какой предмет, потому что я рисую, пишу жизнь пластической формы. А если ты не можешь слезть с комода, сундука, то и сиди на них: толку-то никакого все равно не будет". (10.XI.1970).

Стерлигов был очевидцем разработки Малевичем теории прибавочного элемента в живописи. Это была главная задача отдела Малевича, и в этой работе принимали участие В. Ермолаева¹⁰⁾, Л. Юдин, Н. Суетин¹¹⁾ и другие сотрудники ГИНХУКа.

Существуют два мира, связанных в единство – объективный (все вне меня) и духовное "Я", мир субъективный. В принципе они равноправны, каждый из них вселенная. "Череп человека представляет собой ту же бесконечность для движения представлений, он равен вселенной, ибо в нем помещается все то, что видит в ней"¹²⁾. Способ связи между этими мирами развивается, видоизменяется в искусстве, науке, духовно-нравственной и религиозной жизни – стремится к совершенству. Способ "касания" их в искусстве и есть прибавочный элемент, открытый Малевичем. Вся история искусства – это рождение и смерть прибавочных элементов, в каждой смерти – новое рождение. Кубистический сдвиг вызвал к жизни новый прибавочный элемент – серповидную кривую как образ новых форм связи духовного "Я" и объекта.

8. Юдин Лев Александрович (1903-1941) – живописец, график, художник книги. Ученик Малевича в Витебском УНОВИСе, сотрудник ГИНХУКа. Был дружен с В. Стерлиговым.

9. Юдин Л. А. Опрос практиканта В. Стерлигова. РО ГРМ, ф. 205, д. 17, лл. 1-4 с обор. Публикуется в настоящем издании.

Прибавочный элемент у Малевича – структурно – и формообразующий принцип, который переводит живопись в качественно новое состояние. Так, "серповидная кривая" кубизма, будучи "введена" в организм сезанновской структуры, перестраивает ее на кубистический лад. Так же и супрематическая прямая преобразует структуры кубизма в беспредметные геометрические построения. Такие "рецептурные" натюрморты ставил Малевич своим практикантам – В. Кудрову¹³), Ю. Васнецову¹⁴), В. Стерлигову, помогал овладеть им современной пластической культурой.

Идеи прибавочного элемента оказались очень важными для Стерлигова, особенно в тот период, когда перед ним возникли новые пространственные структуры и проблемы. Вообще ГИНХУК стал решающей вехой в творческой судьбе Стерлигова. Здесь в общении с Малевичем и другими крупными мастерами двадцатых годов он приобрел высокую культуру пластической формы и оказался подключенным к главным художественным проблемам, которые разрабатывались в новом русском и европейском искусстве. 26 марта 1926 года Л. А. Юдин записал: "Я напомнил Стерлигову, что он стихийно вышел на путь, на котором все время будет встречаться с рядом имен, этот путь открывших¹⁵".

С конца 1920-х годов Стерлигов начинает работать в ленинградском "Детгизе" как художник и детский писатель. В 1931 году он иллюстрирует книгу С. Емелина "За белухой". В 1929 году брат художника штурман Б. В. Стерлигов¹⁶) вместе в экипажем самолета "Страна Советов" совершил перелет Москва - Нью-Йорк. В 1931 году "Детгиз" выпустил книгу В. В. Стерлигова "На самолете в Америку" с рисунками автора. В том же году вышла и лучшая его книжка "Огород", недаром художник подарил ее В. В. Лебедеву с надписью: "Владимиру Васильевичу от Владимира Васильевича". Книга хранилась в библиотеке Лебедева.

Рисунки Стерлигова регулярно помещаются в журнале "Еж" и "Чиж", он иллюстрирует детские рассказы Д. Хармса¹⁷) и А. Введенского¹⁸). В нескольких номерах "Чижа" публиковался рассказ Хармса "Профессор Трубочкин", рисунки к которому Стерлигов подписывает псевдонимом "художник Тутин". Хармс вовлекает в занимательную фабулу рассказа и "художника Тутина", который становится одним из героев его повествования. Памятью о близости художника с поэтами-обэриутами остается недавно обнаруженный рисунок – портрет Александра Введенского. Поэтический опыт обэриутов сказывается на всем протяжении творчества художника.

¹⁰ Ермолаева Вера Михайловна (1893-1938) – живописец, художник книги, заведующая лабораторией цвета ГИНХУКа.

¹¹ Суетин Николай Михайлович (1897-1954) – живописец, график, художник по росписи фарфора. Наиболее глубокий последователь супрематизма.

¹² Малевич К. Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика. Витебск, 1922, с. 7.

¹³ Курдов Валентин Иванович (1905-1989) – живописец, график, художник книги.

¹⁴ Васнецов Юрий Алексеевич (1900-1972) – живописец, художник книги.

¹⁵ Юдин Л. А. Опрос практиканта В. Стерлигова.

В двадцатые годы творчество Стерлигова развивается в близком общении с В. М. Ермоловой, Л. А. Юдиным, К. И. Рождественским¹⁹). Вера Михайловна Ермолаева, старший товарищ и одареннейший живописец, была для него своеобразным живописным камертоном, выразителем стихии цвета. Еще в Москве в начале 1920-х годов он познакомился с Верой Михайловной, и она посоветовала ему ехать к Малевичу в ГИНХУК. И вся дальнейшая творческая жизнь и даже судьба этих художников оказались общими. Стерлигов отмечал: "С Верой Михайловной я работал десять лет и в институте и после. Работал с нею в кубизме, супрематизме и "пластическом реализме"²⁰).

В дневнике Льва Александровича Юдина имя Стерлигова встречается много раз. Юдин высоко ценил молодого художника, отмечая его одаренность, творческую энергию. В ГИНХУКе по поручению Малевича Юдин руководил занятиями Стерлигова и потом они работали бок о бок в "Чиже" и "Еже", в "Детгизе". "Стерлигов чрезвычайно симпатичен, – писал Юдин. – Эта пара (он и Бобер – так в их кругу называли К. И. Рождественского) – особенно он – вся моя отрада"²¹).

После разгрома ГИНХУКа (1926) часть художников отошла от супрематизма, но Ермолаева, Стерлигов, Рождественский, Суетин, Юдин остались верными Малевичу. Однако и перед ними встала задача – как сохранить живописно-пластические ценности беспредметности, перейти к изобразительному творчеству. Лучше всех это получилось у Ермолаевой.

Летом 1929 года возникла группа "живописно-пластического реализма", в которую входили Юдин, Стерлигов, Ермолаева, Рождественский. Название предложил Юдин. "Что характеризует новый период? – писал он. – В основе его лежит стремление личности установить какое-то живое, конкретное равновесие между собою и действительностью, опираясь исключительно на свои пластические средства"²²). В период начавшегося разгула натурализма группа, работая на природе с натуры, стремилась сохранить твердые пластические основы художественного образа.

После выстрела в С. М. Кирова начались аресты интеллигенции, в том числе и художников. В декабре 1934 года взяли В. В. Стерлигова и двух его учеников – Александра Батурина и Олега Карташова²³), В. М. Ермолаеву с ученицей Марусей Казанской²⁴), П. И. Басманова²⁵). Начались очные ставки, допросы. Стерлигов рассказывал: "Сидим за столом на очной ставке: я и Басманов. Напротив, Федоров (следователь), все время пистолет и тяжелые предметы к себе подтягивает.

16. Стерлигов Борис Васильевич (1901-1971) – летчик, впоследствии генерал авиации. Старший брат В. В. Стерлигова.

17. Хармс Даниил (псевд. Ювачева Даниила Ивановича, 1905-1942) – поэт и прозаик.

18. Введенский Александр Иванович (1904-1941) – поэт.

19. Рождественский Константин Иванович (род. 1906) – живописец, ученик К. Малевича.

– А вот Басманов говорил, что вы не советский человек. – Я этого не говорил. – А Стерлигов говорил, что вы кулак. – Я этого не говорил.

Тут начинают, нагнетая нервозность, через кабинет бегать люди, крича, что вас будет судить народ. Басманов вдруг встал и что было силы ударил кулаком по столу, так что все предметы подскочили. И снова сел. Наши колени оказались близко, и я его незаметно погладил. Следователь крикнул: увести их!²⁶⁾

Эшелон с заключенными шел из Ленинграда в Казахстан. В степи устраивали поверку, всех выгоняли из вагонов, выстраивали и начиналось издевательство: "Лечь! – Встать!" Стерлигов рассказывал, как тяжело было поднимать полную Веру Михайловну Ермолаеву – она была на костылях.

Стерлигов и Ермолаева оказались в лагере под Карагандой, здесь встретили они и блистательного живописца и графика П. И. Соколова²⁷⁾. Художников, артистов, музыкантов было предостаточно. В построенном в пустыне дворце-театре их заставляли ставить спектакли для лагерной охраны. Стерлигов вспоминал: "Петр Иванович и я в лагерных, сиречь каторжных, кацавейках, измученные не помню какой постановкой, идем спать в стог. Зарываемся в сено. Спим ... Просыпаемся от холода. Пустыня гремит ветром. Вылезаем из стога измяты сном, холодом, ветром, ужасом. Бредем в театр. Увеселять стражников, охранников, "сознательную часть человечества", убийц... Спрашиваю Петра Ивановича: "Бог есть? Вы верите в Бога?". Ответ: "Конечно, Бог есть, но ему некогда заниматься моими маленькими делами ..."²⁸⁾

Стерлигову "повезло": он отделался пятью годами, а П. И. Соколов и В. М. Ермолаева сгинули навсегда.

После лагеря Стерлигов жил под Москвой в Петушках, в 1941 г. переехал в Ленинградскую область, был прописан в Малой Вишере. С началом войны был мобилизован, попав в 47 запасный артиллерийский полк, занявший оборону на Карельском перешейке.

12 января 1942 года Стерлигов был контужен снарядом. "Пришел в себя в госпитальной палатке. Через несколько дней дали лошадей с санями для вывоза раненых. Вышел из палатки на костылях, с помощью медсестры. Кругом снег, до саней не добраться. Упали в сугроб.

20. Стерлигов В. В. Письмо Е. Ф. Ковтуну 22 ноября 1971 // Хранится у адресата.

21. Юдин Л. А. Дневник. Запись 10 марта 1928. РО ГРМ, ф. 205, д. 5, л. 49.

22. Там же, д. 6, л. 18.

23. Батулин Александр Борисович (род. 1914). Карташов Олег Всеволодович (1915-1941) – живописцы, ученики В. Стерлигова с начала 1930-х годов.

24. Казанская Мария Борисовна (1914-1942) – живописец, работала под руководством В. Ермолаевой.

25. Басманов Павел Иванович (род. 1906) – живописец и график. Творчески был близок В. Стерлигову, под его руководством занимался пластикой кубизма.

26. Ковтун Е.Ф. Запись беседы со Стерлиговым 9 апреля 1967. Хранится у автора.

27. Соколов Петр Иванович (1892-1938?) – живописец, график и художник книги, творчески близкий обэриутам.

– Я не могу встать, – говорит В.В.С. – И я не могу, – говорит сестра.

Едва добрались до саней. потом поездом в Ленинград. Госпиталь. Летом отправка через Ладогу (списали вчистую)"²⁹⁾.

После госпиталя Стерлигов был эвакуирован в Алма-Ату; здесь он вновь занялся поэзией, которая увлекала его еще в довоенные годы. Известный искусствовед В.Н.Петров³⁰⁾ рассказывал: "Он писал прекрасные стихи, к которым с глубоким вниманием и полным признанием относились большие поэты того поколения и круга – Даниил Иванович Хармс, Александр Иванович Введенский, Николай Алексеевич Заболоцкий"³¹⁾.

Друг Стерлигова Е. В. Сперанский³²⁾ рассказывает об А. Введенском: "А знаете, – обратился он ко мне, – вчера вечером ко мне заходил Стерлигов, меня не застал и оставил экспромт. Неплохие стихи, право – настоящие стихи"³³⁾.

Тогда же он вернулся к живописи и рисунку, создал графический цикл "Воспоминания о супрематизме". Две стихии, поэзия и живопись, стремились безраздельно овладеть творчеством Стерлигова, – победительницей оказалась живопись.

В 1960 году в творчестве Стерлигова произошел резкий перелом, внезапный и неожиданный, как откровение. Т. Н. Глебова³⁴⁾ писала: "15 апреля в воскресенье В.В.С. пошел рисовать на Крестовский остров один. И там в это время впервые увидел и нарисовал чашу неба и земли"³⁵⁾. Это был рисунок "Первая бабочка". Стерлигов по-новому увидел пространство, а затем, постепенно, и осознал его новые свойства. Новая художественная концепция Стерлигова связана генетической преемственностью с кубизмом и супрематизмом.

В кубизме были заложены две формообразующие возможности – прямая и кривая в определенном структурном взаимоотношении. Малевич развил прямые, линейные моменты кубизма (прямая, квадрат, куб). Прямой угол стал основой новой эстетики, захватив все области искусства, архитектуру, полиграфию, дизайн. Такова была потребность времени. Супрематическая прямая стала новым "прибавочным элементом" живописи, самым "экономным" способом формообразования.

²⁸⁾ Стерлигов В. В. Воспоминание о Петре Ивановиче Соколове // Авангард, остановленный на бегу. Л., 1989, Без каз., стр.

²⁹⁾ Ковтун Е.Ф. Запись беседы с В. В. Стерлиговым.

³⁰⁾ Петров Всеволод Николаевич (1912-1978) – искусствовед, друживший с Д. Хармсом, а после войны – с В.В. Стерлиговым.

³¹⁾ Петров В. Н. Выступление на вечере памяти В. В. Стерлигова 3 июня 1974 г. Заболоцкий Николай Алексеевич (1903-1958) – поэт.

³²⁾ Сперанский Евгений Вениаминович (род. 1903) – драматург и писатель, актер кукольного театра С. Образцова.

³³⁾ Сперанский Е. В. Воспоминания о В. В. Стерлигове. 1982. Рукопись. Хранится у автора.

Стерлигов раскрыл другую возможность кубизма – круговой, сферический момент, скрытый в нем. Две сферы, связанные касанием, содержат в себе кривую, ставшую в системе Стерлигова новым прибавочным элементом, определяющим формообразование. Художник писал: "Я – ученик Малевича. "Я преобразился в О форм". Черный квадрат – царственный младенец. И нравственное явление. Жили в квадрате. Сейчас снова родился новый прибавочный элемент".

Кривая и производные от нее чаша и купол привели художника к новому пониманию пластического пространства, его структуры и "конструкции". Кривая Стерлигова, как прежде супрематическая прямая, обладает качеством "экономности" в пространстве неэвклидовом – криволинейном сферичном, чашном и купольном. Это самое короткое расстояние между противоположными полюсами двух сфер, имеющих точку касания. Сферическая кривая вобрала в себя как частный случай линейную прямую с ее эвклидовым принципом экономии. Поэтому Стерлигов называл свою кривую "прямо-кривой", выдвигая понятие "прямо-кривизны" в чашно-купольном мире. Пространственные структуры, возникающие в работах Стерлигова, основаны на принципе геометризации, но криволинейной, сферичной, связанной с миром природных, органических форм. Стерлигов отмечал: "Квадрат Эвклида был измерением метрическим, квадрат Малевича – явление нравственное. Природа двумерная и природа духовная". Пространственные формы Стерлигова тоже относятся к миру "духовной геометрии", не поддающейся формализации, не выразимой числом и мерой.

Эстетика кривой, чаши и купола не "придумана" Стерлиговым, а уловлена в духовно-нравственной жизни мира как новая и властная потребность. Она пробивает себе дорогу в современном искусстве, в архитектуре, часто неосознанно, во многих точках земного шара. У нас особенно заметно ее влияние в архитектонике книжных иллюстраций последних десятилетий.

В кратком изложении художественных принципов всегда неизбежен схематизм, которого нет в самих работах художника. Живопись и рисунки Стерлигова раскрывают живой и подвижный мир, наполненный пространством, сверкающий красками природы. В этом удивительном мире по-новому встречаются и взаимодействуют пространство и природа. Пространство не окружает природу, как привычно видеть в картинах, а входит в нее, пронизывает ее, сама же природа воспринимается как часть вселенной, часть мирового пространства. Сам художник говорил: "В искусстве кубизма (в кубистическом искусстве) предметы, фактура их проникают друг в друга, не что-либо еще проникает, а только предметы; в чашно-купольном искусстве проникает друг в друга само пространство, цвет пространства в цвет пространства, а предмет (старинная бабуся) ничем не отличается от проникновений. Замечаются только проникновения".

³⁴ Глебова Татьяна Николаевна (1900-1985) – живописец, ученица П. Н. Филонова. Жена В. В. Стерлигова.

³⁵ Запись 1960-х гг. Хранится у автора настоящей статьи.

Живопись Стерлигова парадоксальна в своих неожиданных сопоставлениях и связях, в ней царствует алогизм. Это явление впервые раскрылось в живописи Малевича, его "Корова и скрипка" (1911) была ранним "манифестом" алогизма. Абсурдное с точки зрения здравого смысла соединение коровы и скрипки прокламировало всеобщую связь явлений в мире. Осознать любое частное событие как включенное в универсальную систему, увидеть и воплотить невидимое, которое открывается "духовному зрению", – вот существо посткубических исканий в русской живописи, наиболее остро выраженное в работах Малевича. Он перевел кубизм в плоскость алогизма. "Корова" Малевича была русской "прибавкой" к "скрипке" Пикассо³⁶⁾.

Новое пространство – и миропонимание Стерлигова пронизано ощущением алогизма, основано на нем как на конструктивно-динамичном принципе. Далекое и близкое, разделенные пропастью для "здравого смысла", оказываются здесь рядом. "Расстояния могут быть мгновенны, – писал художник, они могут быть чем ближе, тем дальше и наоборот, – чем дальше – тем ближе; они могут быть внезапны по неожиданности и по неожиданности. В искусстве они перестают существовать. Все догнало друг друга. Состояние Божеское". Природа алогизма у Стерлигова близка поэзии родственных ему по духу поэтов-обэриутов А. И. Введенского и Д. И. Хармса. Помню, как Стерлигов пояснил существо алогизма одним примером: "Корова шла по лугу, опустила голову и ... рассмеялась". Нужно особо подчеркнуть, что алогизм Стерлигова ничего общего не имеет с абсурдом сюрреалистов, явлением, чуждым русской художественной культуре. Его принцип – не психологический шок, литературный в своем существе (сюрреализм), а духовное действие, пластически выраженное.

Образный мир живописных работ Стерлигова сопровождается ощущением антимира, благодаря сферичной кривизне пространства и принципу Мебиуса³⁷⁾, лежащего в основе пространственных структур художника. Он подчеркивал, что "если прямая – разделение мира, а кривая – соединение его, то потому, что через кривую является антимир из-за ее мебиусичности". Лента Мебиуса как художественный принцип впервые в русской живописи встречается у Н. С. Гончаровой³⁸⁾ в начале 1910-х годов, вслед за нею ее вводит в свои холсты В. Д. Баранов-Россинэ³⁹⁾. Но у Стерлигова принцип Мебиуса используется иначе. У него не лента Мебиуса вписывается в обычное пространство, а само пространство обладает свойствами мебиуса: оно выворачивается наизнанку, принося с собой ощущение "обратной стороны" мира. Художник отмечал, что "антимир – живой участник художественного произведения". Мышление Стерлигова антиномично, в нем, как и в его картинах, всегда осязаемо присутствие антимиров. Это напоминает логику и стилистику евангельских текстов: "Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее" (Матф. X, 39).

36. Пикассо Пабло (1881-1973) – французский живописец испанского происхождения, один из зачинателей кубизма.

В области цвета художник развивал своеобразную идею, которая дополняет открытия прежних лет. Импрессионисты и дивизионисты "строили" живопись на дополнительном цвете. Малевич расширил палитру, введя в нее рядом со спектральными цветами три "не-цвета": белый, черный и серый. Матюшин проводил идею одновременного движения трех цветов: основной цвет, среда и цвет-сцепление, возникающий под влиянием первых двух. Взаимозависимо меняясь в движении на плоскости, эти три цвета ведут свои "голоса" как в фуге Баха.

Свойства пространственного мебиуса вносят много нового не только в формообразование, но и в жизнь цвета в картине. Малевич говорил, что цвет – это творец в пространстве. Стерлигов мог бы сказать: цвет – творец во времени. Он считал, что в мире кривой мы видим "конец" цвета при невидимом начале. Развитие цвета происходит не только в пространстве (движение на плоскости), но и во времени – из глубины, из пространственной толщи, уходящей в антимир. Там лежат "начала" цвета или не-цвет. Но невидимое начало, находящееся как бы на обратной стороне ленты Мебиуса, улавливается художником и влияет на его палитру: "Чувство присутствия не-цвета окрашивает мир цвета особенным богатством".

В своей живописи Стерлигов преодолел антиномию предмета и беспредметности. Его работы, даже фигуративные и натурные, часто содержат качества и свойства беспредметности. И напротив, сама беспредметность в открытом им пластическом мире вызывает природные ощущения – в цвете, в форме. Это происходит оттого, отмечал художник, что "кривая совпадает с природой". Особенность эту заметил французский искусствовед Мишель Рагон, посетивший художника: "Живопись Стерлигова – утонченная, в очень мягких тонах и всегда построена на кривых. Иногда она полностью абстрактна, иногда предметна, но всегда она вдохновлена природой".⁴⁰⁾ Сам же художник говорил: "Одни рисуют земное с чувством, другие вытесняют его абстракцией, но счастливы те, кто силу абстракции сочетает с экономною мерой чувства – тогда гармония, тогда совпадение пластической формы внутри художника с формами природы".

Стерлигов часто говорил о "касании" в живописи как явлении духовном и философском. Это качество особо ощутимо в художественном опыте Борисова-Мусатова⁴¹⁾, Ларионова, Гуро⁴²⁾ и Матюшина. Прикосновение кисти к холсту не есть "касание", хотя через прикосновения выражается "касание".

³⁷⁾ Мебиус или лента Мебиуса – замкнутая в кольцо плоскость, в которой внешняя поверхность переходит во внутреннюю и наоборот. Названа по имени открывшего эти свойства немецкого геометра и астронома Августа Фердинанда Мебиуса (Möbius), 1790-1868.

³⁸⁾ Грицарова Наталия Сергеевна (1881-1962) – живописец и театральный художник, участница объединений "Ослиный хвост" и "Мишень".

³⁹⁾ Баранов-Россинэ Владимир Давидович (Баранов Леонид, 1988-1942) – живописец.

⁴⁰⁾ Michel Ragun. Peinture et sculptur clandestines en URSS // Jardin des arts, n 200-201, Juillet-Aout 1971, p.5.

"Прикосновение" – акт физический.

"Касание" – явление духовное.

В "Прикосновении" происходит встреча кисти и холста. При "касании" – встреча двух миров или вселенных – внутренней, духовной и внешней, поскольку любой материал искусства, как часть природы, есть внешняя вселенная. "Прикосновение" – печать временного на временном. "Касание" – встреча двух вечностей в своем движении.

Способ "прикосновения" говорит нам о стиле живописи, о живописной культуре. Смена этих способов раскрывает развитие художественно-пластической культуры.

Способ "касания" – это образ духовно-нравственного взаимодействия человечества и вселенной, достигнутого в данный момент. Это как бы первоэлемент и исток (духовный) всей картины. Подобно камертону, "касание" определяет весь ход "строительства" произведения. Как "трепещет", "бьется", "порхает", "давит" и "скользит" линия, точка или цветовой пятно на поверхности холста или бумаги, – в этом, как в генном поле, предвосхищена вся структура произведения. Касание как структурный импульс первоначально важен в работах Стерлигова.

В послевоенные годы Стерлигов вновь обращается к работе над книгой. Новая пластическая система художника позволила ему создать своеобразное пространственное решение книжного организма. Стерлигов противник иллюстрации – "картинки", ограниченной белым полем страницы. Его рисунки – не "вид в окошко", столь часто практикуемый иллюстраторами. Напротив, они пространственно "раскованны", свободно, можно сказать, импровизационно расположены на странице, но в этой композиционной непринужденности есть внутренний строй и логика. Художник создает органически цельный, но в то же время подвижный мир изображения, в котором пластические формы как бы продолжают за пределами страницы: они приходят сюда и уходят. Благодаря этому возникает впечатление связи рисунка с "большим миром", в котором живет человек, его включенности в этот мир, где все события, даже самые отдаленные, связаны цепью взаимодействия.

Стерлигов как художник умеет открывать в простом сложное, в обыденном фантастичное, в неподвижном – движение. Лучшие рисунки из "Голубого леса" Л. Мочалова⁴³⁾ вызывают ощущение "пошатнувшегося пространства" (выражение художника), создают картину мира, который весь в движении, вибрации, в неожиданных превращениях. Философское и одновременно лирическое восприятие мира – главное достоинство книжных рисунков Стерлигова.

⁴¹. Борисов-Мусатов Виктор Эпильдифорович (1870-1905) – живописец, первый представитель русского импрессионизма.

⁴². Гуро Елена Генриховна (1877-1913) – поэт и художник. Жена М. В. Матюшина.

⁴³. Мочалов Лев Всеволодович (род. 1928) – искусствовед и поэт.

Издательства не баловали его заказами, а книга влекла к себе. Нередко он брал изданные книги и "перекрывал" в них иллюстрации собственными рисунками. Он дарил их друзьям. Так было со сказками Андерсена, стихотворениями Лермонтова, рассказами Тургенева и др. Эти книжки, выпущенные тиражом в один экземпляр, следовало бы издать по-настоящему. Ведь в них художник работал совершенно свободно, без всяких оглядок на издательства, в полную силу выразив свои художественные принципы.

Владимир Васильевич был глубоко верующим человеком. В записной книжке читаем: "По отчеству я ВИЗАНТИЕЦ, по имени СЛАВЯНИН, по духу – ХРИСТИАНИН".

В пагубно-жесточкой атеистической атмосфере, окружавшей Стерлигова, были немногие тайные отдушины, столь необходимые для творчества и просто для того, чтобы ощущать себя человеком, который есть образ и подобие Божие. В 1932 году большевики объявили "пятилетку безбожия", чтобы к концу ее ликвидировать религию, чтобы было забыто само имя Бога. Но тяжкий пресс рождает сопротивление. Обэриутский круг, к которому принадлежал художник, таил в себе веру, христианские ценности. А. Александров⁴⁴⁾ писал о Хармсе: "Большую группу взятого при обыске составили христианские книги и предметы. И это чрезвычайно важный момент для нашего сегодняшнего понимания Хармса. Творчество и православный крест были спасены в его трагической жизни"⁴⁵⁾. Даниил Хармс писал: "1. Цель всякой человеческой жизни одна: бессмертие. 2. Один стремится к бессмертию продолжением своего рода, другой делает большие земные дела, чтобы обеспечить свое имя, и только третий ведет праведную и святую жизнь, чтобы достигнуть бессмертия как жизнь вечную"⁴⁶⁾. В его поэтическом наследии есть "литературные молитвы", которые опубликованы совсем недавно.

Господи пробуди в душе моей пламень Твой Освети меня Господи солнцем Твоим Золотистый песок разбросай у ног моих Чтобы чистым путем шел я к Дому Твоему Награди меня Господи Словом Твоим Чтобы гремело оно восхваляя чертог Твой Поверни Господи колеса живота моего Чтобы двинулся паровоз могущества моего Отпусти Господи тормоза вдохновения моего Успокой меня Господи И напои сердце мое источником дивных Слов Твоих⁴⁷⁾.

Я. С. Друскин⁴⁸⁾ писал о трех темах Введенского, "которые по его собственным словам интересовали его еще в двадцатые годы: Время. Смерть. Бог."⁴⁹⁾.

⁴⁴⁾ Александров Анатолий Анатольевич (род. 1934) – литературовед, исследователь творчества обэриутов.

⁴⁵⁾ Александров Анатолий. "Судеб сплетение". К 50-летию со дня смерти Даниила Хармса // Смена, 1992, 1 февраля.

⁴⁶⁾ Хармс Д. Полет в небеса. Л., 1988, с. 532.

⁴⁷⁾ Хармс Д. Собрание произведений, т. 4. Бремен, 1988, с. 43.

⁴⁸⁾ Друскин Яков Семенович (1902-1980) – философ-обэриут, друг Хармса, Введенского и Стерлигова.

⁴⁹⁾ Введенский. Полное собрание сочинений. Мичиган, 1980, т. 2, с. 263.

Сам поэт отмечал, что "последняя надежда – Христос Воскрес" ⁵⁰.

Мы не знаем, как пришел к вере Стерлигов, было ли внезапное обращение или все свершилось по-другому.

Друг художника Евгений Вениаминович Сперанский связывает этот духовный перелом с лагерем, как это было у многих, например, у Солженицына ⁵¹. Сперанский пишет: "Духовное потрясение, которое испытал Владимир Васильевич, и путь к спасению, избранный им, невольно вызывает в памяти имя Федора Михайловича Достоевского. Испытания, выпавшие на долю обоих, по внешним и внутренним признакам совпадают, кажутся родственными. Только признаки эти у Владимира Васильевича, как и у других людей нашего времени в подобных обстоятельствах, сильно ужесточены. Не знаю, может быть, я не имею права делать здесь какие-то выводы, но по моим наблюдениям именно на этот период времени приходится решительный поворот Владимира Васильевича к религии: христианству, русскому православию. Вначале, по выходу его из мест заключения, этот поворот не был так заметен, как в последующие годы. Просто при наших встречах, когда он наезжал в Москву из своих Петушков, я стал чувствовать в нем нечто новое, какой-то твердый духовный стержень" ⁵². Вера стала для Стерлигова не только мировоззрением, но и жизненной позицией, и истоком творчества. Он не мыслил себе высокого искусства, которое не коренится в религиозном сознании. Для Стерлигова, как и для П. Флоренского ⁵³, христианские ценности – высота, которой измеряет себя искусство. Творец – это соратник Бога. П. Флоренский писал: "Если нет абсолютной ценности, то нечего воплощать и, следовательно, невозможно самое понятие культуры; если жизнь, как среда, насквозь чужда божественности, то она не способна принять в себя, воплотить в себе творческую форму" ⁵⁴. Та же мысль у Стерлигова: "Работали культуры: крестьянская, дворянская, купеческая. Все три кончились. Никакой другой культуры нет. Чем жить? Что должно жить? Христианство – Искусство, Искусство – Христианство". Все свойства и категории искусства становятся действенными благодаря присутствию в произведении божественного начала. "Первейшее, главное в искусстве – его сила. Не образ, не слово, не чувства, не ощущения, не предмет, не абстракция, не беспредметность; все перечисленные свойства второстепенные "нижние чины". Главное в искусстве – присутствие в нем силы. Сила – Божественна" (1970).

⁵⁰. "Я бы выпил еще одну рюмку водички! // Введенский. Полное собрание сочинений. Мичиган, 1980, т. 2, с. 184.

⁵¹. Солженицын Александр Исаевич (род. 1918) – писатель и публицист, узник сталинских лагерей. 52. Сперанский Е. В. Воспоминания о Стерлигове. Рукопись. 1982. Хранится у автора.

⁵³. Флоренский Павел Александрович (1882-1937) – священник, ученый, философ-богослов.

⁵⁴. Троице-Сергиева Лавра и Россия. // Свящ. Павел Флоренский. Собрание сочинений. Т.1, Статьи по искусству. Paris, 1985, с. 69.

В конце XIX – начале XX века совершался отход русского искусства и философии от губительного для духовной жизни позитивизма. В. Соловьев⁵⁵, С. Булгаков⁵⁶, Н. Бердяев⁵⁷, П. Флоренский, Е. Трубецкой⁵⁸ и многие другие прочертили путь, которым шла русская культура. Но семнадцатый год остановил, сломал это движение. Флоренский окончил жизнь в лагере. Натиск антирелигиозной идеологии был тотальным, грубым и жестоким. Даже такая независимая личность, как П. Филонов, ходивший паломником в Святую Землю, в двадцатые годы, впадает в жесточайший атеизм. Только слабый ручеек религиозного искусства, никому неведомый, продолжал струиться, сохраняя национальные истоки духовности. Это П. Бромирский⁵⁹, Р. Флоренская⁶⁰, другие мастера "Маковца", Л. Чупятков⁶¹, С. Романович⁶² с евангельскими темами пятидесятых-шестидесятых годов. Многих мы еще не знаем.

В 1950-е годы Стерлигов увлеченно работает над темами из Нового Завета, создает большой "Евангельский цикл". Летом 1954 года он жил в Ушково на Карельском перешейке. Художник рассказывал: "Ушково. Вечер. Высокая площадка над морем, вся в рыжей хвое. Ребята играют в мяч. Мяч высоко взлетел и исчез в небе. Мальчик побежал вверх, за мячом, и вернулся с ним. Красные стволы сосен, а над ним ангел".⁶³ Здесь, на берегу Финского залива, возник цикл "Ангелы", наполненный духовной патетикой, один из взлетов творчества художника. "Ангелы" содержат в себе предчувствие новой пластической формы.

Стерлигов мечтал о создании современной религиозной живописи, о новой церковной фреске, которая выразила бы духовный опыт современности. Он полностью отвергал субъективный произвол "личности" в искусстве, стремясь к выражению "надличного", к воплощению в произведении таких духовных состояний, которые, возвышаясь над личным "вкусом", "настроением" и "мнением", имели бы всеобщую значимость, как образы средневекового искусства. Работая на природе, Стерлигов всегда пытался "пробиться" сквозь единичное к универсальному, стараясь в то же время удержать в образе непосредственность живого впечатления. Его увлекает не лицо, а лик мира в том смысле, в каком это явление раскрывалось в древнерусской живописи. Художник писал: "Средние века дали лик, а не лицо. Возрождение дало человеческое лицо, а не лик. Лик уничтожился. Была безумная попытка Врубеля⁶⁴ дать лик лица. Это единственная попытка в мире. Теперь опять возможно рождение ЛИКА" (1964).

⁵⁵ Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900) – философ и богослов.

⁵⁶ Булгаков Сергей Николаевич (1871-1944) – священник, философ и богослов.

⁵⁷ Бердяев Николай Александрович (1874-1948) – философ.

⁵⁸ Трубецкой Евгений Николаевич (1863-1920) – философ, исследователь древнерусской художественной культуры.

⁵⁹ Бромирский Петр Игнатъевич (1886-1920) – скульптор.

⁶⁰ Флоренская Раиса Александровна (1896-1932) – живописец, сестра отца П. Флоренского.

Батурин, занимавшийся у него с 1931 года, рассказывал, что Стерлигов говорил ученикам: "Не скажу, что я за художник, может быть и неважный, но уж как педагог, благодарите Бога, что попали ко мне. Для меня каждый из вас как нежный и хрупкий цветок, требующий чуткого и индивидуального ухода" ⁶⁵.

Ядро "Группы Стерлигова", продолжающей работать и сейчас, сложилось в начале 1960-х годов. Художники собирались в мастерской В. Волкова и Г. Молчановой на Лесном проспекте. Кроме хозяев мастерской участниками встреч были С. Спицын, Е. Александрова, Г. Зубков, Г. Моисеева, В. Матюх ⁶⁶, А. Киселев ⁶⁷, искусствоведы А. Повелихина, Л. Костина, Е. Ковтун ⁶⁸. Деятельное участие в этих встречах принимали Т. Н. Глебова и П. М. Кондратьев ⁶⁹. Позже к этой группе присоединились В. Смирнов, М. Цэрүш, Е. Гриценко, А. Кожин, В. Соловьева, А. Носов, А. Гостинцев, Г. Лакин, Ю. Гобанов ⁷⁰.

В октябре 1965 года на Лесном состоялась первая выставка новых работ Стерлигова, оказавшая сильнейшее влияние на всех участников встреч. Молодым художникам, собравшимся вокруг Стерлигова, очень повезло: он раскрыл перед ними богатейшую художественную культуру русского авангарда, наглухо запечатанную в музейных запасниках. Он восстановил "связь времен", наполнив образовавшуюся пустоту.

Стерлигов был неприимом к фальши и ложной патетике "соцреализма", который он называл "сю-сю-реализм", обнажая его приспособленческо-угодническую суть. Помню вечер-диспут, посвященный книге Лифшица "Кризис безобразия". Он состоялся в помещении Института истории искусств в феврале 1968 года. Владимир Васильевич шел к трибуне, брезгливо ведя за собой на веревочке книгу Лифшица, как паршивую собачку. Такой обэриутский жест лучше всяких речей отражал духовную нищету казенного искусства и его адвокатов.

⁶¹. Чупятов Леонид Терентьевич (1890-1941) – живописец, последователь К. С. Петрова-Водкина.

⁶². Романович Сергей Михайлович (1894-1968) – живописец, до революции входивший в ларионовский круг.

⁶³. Ковтун Е. Ф. Запись беседы со Стерлиговым. 9 апреля 1967.

⁶⁴. Врубель Михаил Александрович (1856-1910) – живописец и график.

⁶⁵. Батурин А. Б. Выступление на вечере памяти В. В. Стерлигова 3 июня 1974.

⁶⁶. Волков Владимир Петрович (1923-1987), Молчанова Галина Петровна (род. 1929), Спицын Сергей Николаевич (род. 1923), Александрова Елизавета Николаевна (род.1930), Зубков Геннадий Герасимов (род.1940), Моисеева Галина Борисовна (род.1933), Матюх Вера Федоровна (род.1910).

⁶⁷. Киселев Анатолий Александрович (1929) – скульптор, ученик В. В. Стерлигова.

⁶⁸. Повелихина Алла Васильевна (1927), Костина Лариса Васильевна (1941), Ковтун Евгений Федорович (1928) – искусствоведы стерлиговской группы.

⁶⁹. Кондратьев Павел Михайлович (1902 - 1985) – живописец, ученик Филонова.

⁷⁰. Смирнов Владимир Михайлович (1940), Цэрүш Михаил Георгиевич (1948), Гриценко Елена Анатольевна (1947), Кожин Александр Федорович (1949), Соловьева Валентина Васильевна (1946), Носов Александр Кириллович (1947), Гостинцев Алексей Николаевич (1950), Лакин Геннадий Дмитриевич (1942), Гобанов Юрий Иванович (1941), – ученики В. В. Стерлигова.

Владимира Васильевича огорчало недоброжелательство художников, уткнувшихся в привычное, глухота к новому слову, нежелание выскочить в живые истоки творчества. Его возмущало покорное повторение художественных шаблонов, из которых давно ушла жизненная сила. Он писал: "Художники! Рядом стоят рощи, а вы? Что же вы с увядшими букетами в руках? Значит вы родились для обиды. Что же вы не благословляете обижающих вас и не отходите от них, а еще и просите у своих обидчиков на пропитание? А рощи стоят рядом. Что же вы обходите их? И кого вы встречаете на пыльных дорогах с увядшими букетами в руках? Вы кланяетесь до самой пыли. А едет кто? Отойдите в сторону, посмотрите, кто едет, и пыльные букеты упадут из рук ваших: вы протягиваете их привидениям, пустым названиям. Но раз обижают вас, почему вы решили вдруг обидеть меня? Я показал вам свою тайну, я не колебался в своем доверии к вам, а вы пришли, посмотрели и скрылись. И вновь ухватились за увядшие букеты и снова ожидаете при дорогах обижающих вас. Рядом выросла уже новая роща, а вы так и не зашли и в первую. К чему же вы себя готовите? А на часах ваших: поздно".

Владимир Васильевич умел не только рассказать о строении формы в сезаннизме и кубизме, но и показать это с карандашом и кистью в руке. Занятия строились по-разному. Иногда это была совместная работа на этюдах с анализом созданных работ. Часто давались задания по овладению пластическими принципами современной художественной культуры: изучалось построение формы в системе сезаннизма, кубизма и супрематизма, ставились цветовые эксперименты, в которых исследовался импрессионизм и опыт школы Матюшина. Каждое из этих заданий завершилось выставкой в мастерской. Для молодых художников эти занятия стали решающим поворотом в их творческой судьбе. Удивительно было наблюдать, как Волков, Спицын, Александрова сбрасывали с себя груз академической рутины и радостно выходили на живые пути искусства. Все обрели творческую свободу и широкое дыхание в искусстве. Владимир Васильевич любил повторять: "Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа" (Иоанн, III; 8).

Русский авангард создал несколько своеобразных школ – Петрова-Водкина⁷¹, Малевича, Филонова, Матюшина. Это не были только учебные сообщества; во главе каждой школы стоял не просто мастер высокого класса, но и крупная личность, проповедник, учитель жизни, вроде восточного гуру. Учительство и нравственное подвижничество всегда были "сверхзадачей" русского искусства.

Такой поздней школой русского авангарда стала группа Стерлигова. Художник раскрывал перед учениками духовно-нравственные, христианские основы творчества. Он учил такой работе в искусстве, которая основана на вере, отстаивал принцип духовно-нравственной аксиологии в творчестве: "Искусство стоит на силах бездоказательных истин. Истины, которые надо доказывать – область науки, знания, логики, разума и т.д. Сила бездоказательной истины возникает и питается верой. Бездоказательная истина всегда благо, всегда положительна, так как ее бесчисленное, бесконечное рождение суть вечное проявление Христа Господа через людей".

В калейдоскоп бесчисленных "измов", часто лишенных духовности, Стерлигов внес чистую ноту высокого понимания искусства как "духовного

деяния", как выражение нравственной жизни человека. он понимал жизнь человека как приготовление к вечности, а искусство – как "прорыв" в эту предстоящую вечность, и часто повторял: "Сейчас – вечность, то есть вечность – это сейчас". Такая позиция и проповедь художника глубоко воздействовали на учеников. Друг Стерлигова Е. В. Сперанский отметил, "что в послевоенный период то, что я условно называю духовным обаянием в личности Стерлигова, стало проявляться с новой силой: те, кто попадал в сферу этого обаяния, испытывал нечто вроде потрясения, а порой и сходил со своей прежней жизненной орбиты"⁷²). Эта религиозная проповедь создавала подчас конфликтные ситуации. Писатель Л. Пантелеев⁷³) вспоминал: "Однажды в гостях у Рахмановых⁷⁴) их друзья, пожилая супружеская пара, жаловалась, что сына их, молодого художника, "совращает в религию" Стерлигов".⁷⁵) Это были художник В. В. Ушаков⁷⁶) с женой и их сын Юрий, ныне священник на Псковщине.

Такой же примерно конфликт случился и в мастерской на Лесном, где собиралась группа. Один из учеников заявил, что хватит "проповедей", нужны практические занятия по пластике кубизма. Стерлигов ответил на это замечательным манифестом "Философия нам не нужна".

Идеи Стерлигова и его творчество вносят несомненный вклад в движение современного искусства. Они важны и тем, что сознательно противостоят произволу индивидуалистического формотворчества, захлестывающего искусство нашего времени. Художник верил в логику развития пластической формы, неотвратимого и непреложного. Можно "придумать" массу "новых" форм-однодневок, которые тут же окажутся на обочине столбовой дороги искусства. Важно другое – чтобы "мировая линия" развития искусства "прошла" через художника. Это бывает не часто, но Стерлигов принадлежит именно к такого рода художникам.

Когда-то в ГИНХУКе Н. Пунин сделал доклад "Тупик супрематизма". Казалось бы, "Черный квадрат" Малевича закрыл все пути для дальнейшего развития искусства. Однако Стерлигов сумел открыть дорогу, ведущую от супрематизма к новым художественным горизонтам. Отмечая свой "ход" за супрематизм и преемственность с ним, Владимир Васильевич писал: "Я учился у Малевича и после квадрата я поставил чашу. Как идея – это открытая чаша. Это кривая мира, они никогда не кончатся".

Возврат к христианским ценностям позволил Стерлигову найти выход из "тупика" супрематизма.

71. Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878--1939) – живописец и писатель.

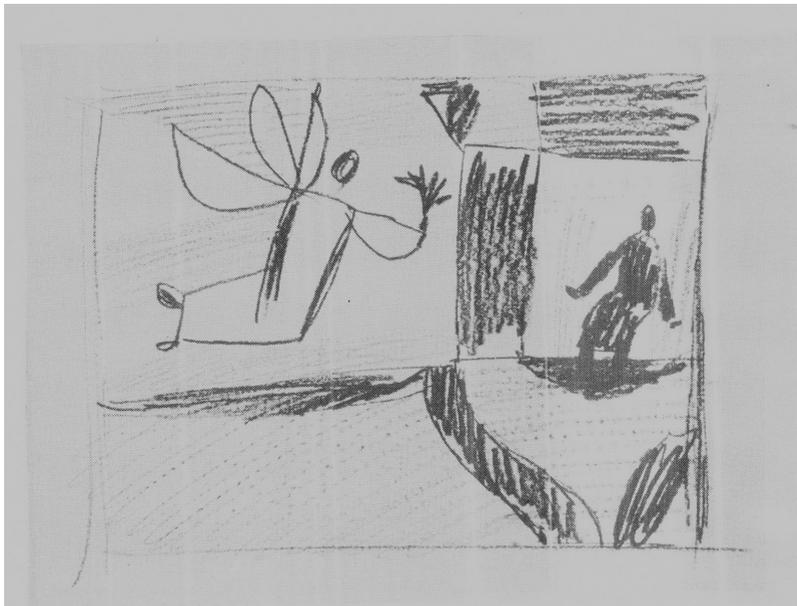
72. Сперанский Е. В. Воспоминания о Стерлигове.

73. Пантелеев Л. (псевд. Еремеева Алексея Ивановича, 1908--1987) – писатель.

74. Рахманов Леонид Николаевич (1908--1988) – прозаик и драматург.

75. Пантелеев Л. Я верую. // Новый мир, 1991, N 8, с. 153.

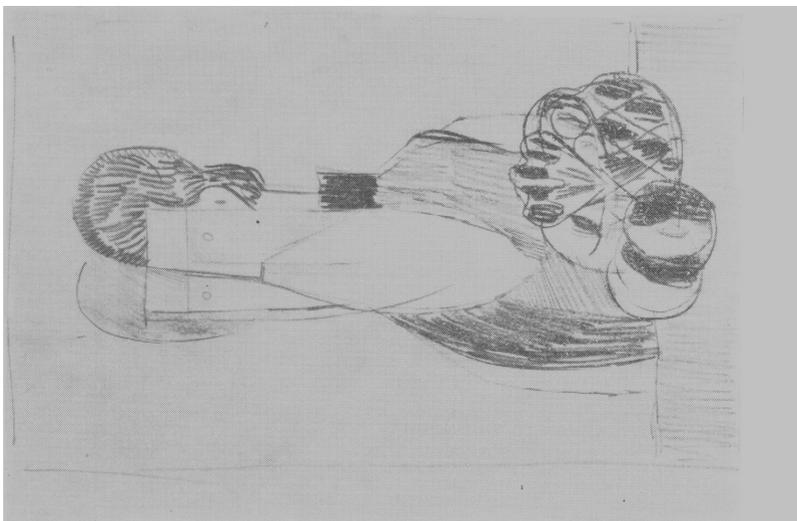
76. Ушаков Василий Васильевич (1905 -) – художник, друживший с В. В. Стерлиговым.



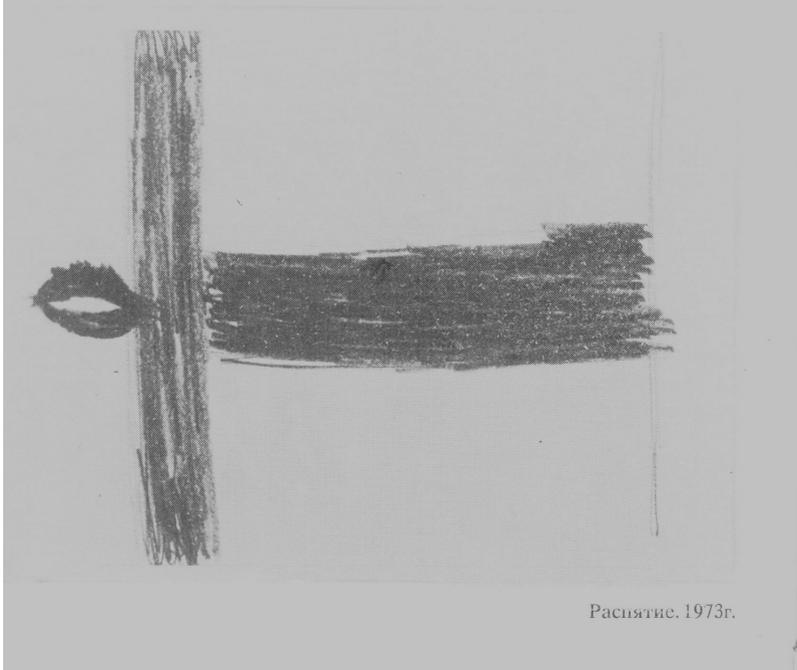
Благовещение. 1973 г.



Голгофа. 1973 г.



Старец, 1960-егг.



Распятие, 1973г.

Вячеслав Овсянников

О звуках

Тонко составленные образы звучат в унисон хрустальными колокольчиками. Чудотворство неизвестного мастера. Слово прямо вживлено в нервы, как в струны и клавиши рояля. Слово прямо бьет в клавишу нерва, и нерв звучит, и это звучание в организме живет и растет, как в резонаторе, долго, долго, навсегда. Магическая сила слова. Страшная магия. Язык – родовой дух. Язык – дух рода. Язык входит в меня, в мою плоть и кровь, от него я зажигаюсь. Как красиво стоят звуки в лучших стихах лучших поэтов! И в прозе – Пушкина-Гоголя-Лермонтова. Мировое достояние. Звуки стоят чисто и мощно, в строке, фразе. Этим я и счастлив, это мое высшее счастье, здесь, на этих путях-кругах. Как прекрасно расставлены звуки у Пушкина: «И ель сквозь иней зеленеет». «Мчатся тучи, выются тучи». «Сквозь волнистые туманы пробирается луна». «По дороге зимней скучной тройка борзая бежит». «Редее облаков летучая гряда». «Роняет лес багряный свой убор». У Пушкина почти везде звуки расставлены божественно, этим-то он и гений. И у Блока: «Змеишься в чаше золотой». Как красиво поставлены эти два «З» в начале и в конце. И также: «И над твоим собольим мехом гуляет ветер голубой». Эти два «Г» в начале и в конце – дивно стоят. И два «Б» – чистая связка двух строк, и «твоим» с «ветер». Вот она – магия! Или еще у Блока: «Не пойму я, что нас манит, не поймешь ты, что со мной, чей под маской взор туманит сумрак ночи снеговой». Тут дивная постановка «М» и «Н». Эти же звуки в названии: «Смятение». У Анненского звукам посвящено стихотворение «Невозможно»: «Этих ве, этих зз, этих эм различить я сумел дуновенья». У Гоголя: «Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды...». И вся эта повесть. Как дивно, чисто и роскошно стоят у него звуки, перекликаясь, точно серебряные колокольчики. Все фразы поют при их произнесении. Хор фраз. И так – вся певчая проза Гоголя, вся она – музыка и живопись. Вся – песня. Почему? Потому что так божественно расставлены звуки. «Снег вдруг загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами». У Лермонтова: «Я ехал на перекладных из Тифлиса». С первой же фразы – тонкая, изысканная расстановка звуков. Не навязчиво, изящно. И так – вся эта книга, весь роман. Эта проза – чистейший алмаз. Стихи, а не проза. «Тихо было все на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы; только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем». Вот в чем мое счастье, моя радость: я слышу звуки, их чудный узор, этот божественный хор из иных миров. Да, эта фраза Лермонтова – чудо из чудес. Тут два плана: небо и земля, вертикаль и горизонталь. Космос, два мира, небо и земля – помещены в сердце человека при его утренней молитве (мистическое состояние). Вторая часть фразы – переход в тончайшую зоркость взгляда, в происходящее мгновение, в деталь: «только изредка набегал прохладный ветер

с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем». Так и чувствуешь осязательно на своем лице это дуновение и видишь своими глазами эту приподнимающуюся лошадиную гриву и на ней – иней. А какая, опять же, тончайшая, филигранная инструментовка звуков! Узор этих «У», «И», «А», «Е», и гласные, и согласные. Это ведь не просто так, это – рисунок звуками, это некая мистическая картина, нарисованная звуками, где аугаются «тихо» – «молитве» – «приподнимая» – «гриву» – «покрытую» – «инеем». Словно жемчужины, нанизанные на тончайшую нить. Если бы не это чудесное письмо звуком, мы бы не почувствовали так остро осязательно представшие образы. Еще один пример того же волшебства – знаменитая фраза из «Тамани» (о ней у Анненского в «Книге отражений») : «Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона». Тут звуками рисуется ступень за ступенью восходящая лестница возникающего зрительного образа. Мистическое восхождение глаза.

А как чудно стоят звуки в «Слове о полку Игореве»! Вся эта маленькая древняя поэма поет и звенит, вся – музыка! И это другие звуки, не те, что в новой литературе. Звуки другие, но расстановка звуков равносильно чиста и мощна. Этот дар неизменен, и на этом даре стоит и будет стоять магия слов, магия поэзии. У разных поэтов разные звуки, у Пушкина – такие, у Державина – другие, у Маяковского – опять же, другие, но расстановка звуков равносильно чиста и точна, и, значит, равная магия. А нарушение, искажение или замена этой единственной, в каждом конкретном случае, звуковой расстановки неизбежно приводит к утрате этой магии. Что мы и видим на примере переводов, скажем того же «Слова о полку Игореве».

Вот почему я не могу читать тех авторов и те книги, где этой магии нет, где нет звука, где звуки свалены в кучу и перемешаны как попало, звуковая каша, мазня, грязь, глухота. Медведь оттоптал орфическое ухо музыки. Душа звука растерзана и убита. Не могу читать ни такие стихи, ни такую прозу; мое ухо страшно страдает, как у музыканта, который слышит фальшивые ноты и какофонию. Для меня это невыносимо, нестерпимо! Меня это ранит. И я отбрасываю от себя такие книги и таких авторов. А мысли, а чувства, а идеи, а образы, а новые формы и новые смыслы? Я не читатель смыслов, я читатель звуков. Я звуки читаю, рисунки звуками, узоры созвучий. Без звуков для меня нет ни мыслей, ни смыслов, ни чувств, ни образов, ни новых форм, ни новых истин.

«Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась». «Таинственная...». Какое длинное и бесконечно чудесное слово. Ни одного «Р», и – «печально», и «обнажалась». Лесов –инст-сень-аль-лась. И еще эти – а-а-а – такие долгие, так долго и печально обнажалась. И – «Ложился на поля туман». Так просто, так обыкновенно, и так дивно. Опять ни одного «Р». Эти ло-илс-ля, эти на-ан, и – а-а-а. Именно – «ложился», именно –«на поля», именно – «туман». А это «туман» – какое туманное, большое, плотное, емкое слово, как оно, туманно клубясь, опускается, опускается, на поля, на поля... И

– «Гусей крикливых караван тянулся к югу...». У! – какое длинное-длинное и тонкое-тонкое «тяну-у-у-у-лся к ю-ю-ю-гу...» Эта бесконечная ниточка, и это гу-гу, в начале и в конце – гусей-югу. Безумно красиво. Именно это сочетание звуков, рисующих именно эту картину. И – «Приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора». Ведь именно – ноябрь. И не оттого что – по смыслу. Тут дело не в смысле, а в том, что – «довольно». Есть это «но», значит, надо, чтобы было еще одно «но», там, дальше, через некое пространство и время, то есть именно «ноябрь». А поставь вместо «ноябрь» «октябрь» – и все рухнуло, вся эта красота. От одного неверно взятого (в строке, строфе) звука рушится весь мир. Не метафорически, а буквально, физически. Также, как рушится снежинка, утратив свой узор, свою кристаллическую красоту, свое хрупкое чудо, а вместе с ней, всякий раз (с гибелью одной снежинки) рушится и всё мироздание, весь космос. Потому что всё это – одно Создание, создано одной Рукой, одна плоть. У слов та же плоть, и эта плоть слова – такое же хрупкое чудо, как и у снежинки. И каждое слово создано той же Рукой. И живая плоть фразы, строки, стихотворения, поэмы, книги. Узор, взнь, мир-книга. И в этом Узоре, в этой Книге, в этом Кристалле мира нельзя произвольно менять ни звука, ни буквы. Я слышу: всякий раз при неверно взятой, фальшивой ноте содрогается и вскрикивает от внезапной боли весь мир, как смертельно раненый, и я содрогаюсь и вскрикиваю вместе с ним. И как же мне не страдать – ведь это же для меня единственное, чем ценен мир, чем он диво и чудо, из-за чего я здесь, с теми, кто «для звуков жизни не щадит».

Показать, скрыть. Показать, не показывая. Спрячь белое в черном. Сквозь маску – звезды. Твердое слово «дорога». «Прокрасться, вычеркнуться». У Цветаевой. «Лишь паутинки тонкий волос блестит на праздной борозде». Чародей Тютчев. И действительно: как блестят эти два «з» в этой паутинке. «Прекрасная пора, очей очарованье, приятна мне твоя прощальная краса, люблю я пышно природы увяданье, в багрец и золото одетые леса». Волшебство пушкинских звуков. Тут ведь шелест – эти П-Р-С-Ч-Щ-Ш. А в конце «Б» и «З» дают блеск. «И преклони небеса и сниде, и мрак под ногама Его». («Наклонил Он небеса и сошел – и мрак под ногами Его»). «И взыде на херувимы и лете, лете на крилу ветреню». («И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра»). Вот и сравни. Имеющий уши да услышит. Что происходит при переводе. Изменяется тело слова, плоть и кровь слова. А с ними – и душа и дух. А с ними – и смысл и суть. Меняется плоть – меняется и суть. Потому что каждая фраза, каждая строка – это единое Слово, единая Плоть. Имя Бога, Фанес, сияющий, неизменный. Слово, миротворящий звук, Ом, звуковой узор, взнь, первый язык мира.

«Поэзия – токмо звук», говорил Василий Тредиаковский. О силе и великолепии звуков русского языка читаем у Ломоносова в его «Кратком руководстве к красноречию». А Гоголь писал о песенном сердце поэзии («О малороссийских песнях»): «Весь таинственный состав его просит звуков, одних звуков. Оттого поэзия в песнях неуловима, очаровательна, грациозна, как музыка. Поэзия мыслей более доступна каждому, нежели поэзия звуков,

лучше сказать, поэзия поэзии. Ее один только избранный, один истинный в душе поэт понимает; и потому—то часто самая лучшая песня остается незамеченною, тогда как незавидная выигрывает своим содержанием». Сердце поэзии, сердце песни – звук. Древняя магия звука. «Роскошь крошеной ромашки в росе». Пастернак. Какое роскошное созвучие из четырех «РО», трех «Ш», двух «С», семи «О,Ё». Есть ли что-нибудь подобное во всей мировой поэзии? Или знаменитое: «Лакеи в бокалы качают коньяк». Николай Тихонов. А Хлебников – весь звук, поэзия звуков! Чародейный напев всеславянских струн на гусях вещего Бояна, внука Велеса. Велес – славянский бог поэтов и магических песен. Это Хлебников сказал: «Звук – есть маленький листок дерева Земли и звезд. Счастье человека – вторичный звук, оно вьется, обращается около основного звука мирового. Разум вращается кругом звука. Синий цвет василька превратился в звук кукования кукушки». Азбука звуков Хлебникова – эхо платоновского диалога «Кратил» и пифагорейских сфер.

Сам язык – поэт. Чистый народный язык. И этот поэт-язык абсолютно безошибочен, никогда он не позволит сойти с его уст тусклому, невзвучному слову. Как тонко и точно подобраны звуки в русских пословицах и поговорках, песнях, былинах, сказках. Как ярко они рисуют образ, смысл, душу слова. Это слово: «Высока ли высота поднебесная, глубока глубота акиян-море», из полнозвучного, самоцветного собрания древних российских стихотворений Кириши Данилова. Или: «Не шуми, мати зеленая дубравушка, не мешай мне, добру молодцу, думу думати». Так и слышишь в этой старинной русской песне глубинные русские звуки, присущие только русскому голосу, рожденные только русским сердцем, эти «М» и «Ш» и «З» и «Д» и «Р» и раздольное «А» и глубоко раздумное «У». И не только слышишь, но и видишь нарисованную ими картину родной земли.

Все подлинные поэты – сыны своего родного Языка-Поэта, отца их всех, который передает им свою силу и свое знание «волшебных звуков». Еще один такой тончайший чародей звуков – Афанасий Фет. «Жди ясного на завтра дня. /Стрижи мелькают и звенят. /Пурпурной полосой огня /Прозрачный озарен закат. //В заливе дремлют корабли, – /Едва трепещут вымпела. /Далеко небеса ушли – /И к ним морская даль ушла. //Так робко набегает тень, /Так тайно свет уходит прочь, /Что ты не скажешь: минул день, /Не говоришь: настала ночь». В этом стихотворении тончайшая музыка звуков, мистика звучания: на «И» и «А». Связки «ИИ» и «ИИ». «А» главенствует, на первом месте. «ИИ» – на втором. Подхватывается «О» и «Е». В первой строфе – «З» и «Ж» дают окраску закатного неба, золотистость и огненно-желтое. Во второй строфе «З» подхватывается: «В заливе дремлют корабли», и начинают главенствовать «ИИ»; «А» приглушено, но не отдает все же своего главенства, а только уступает временно, как своему заместителю, само же удаляется куда-то туда, в мистическое, далекое, запредельное: «Далеко небеса ушли – /И к ним морская даль ушла». Тут удивительный образ этого уходящего. Поэтическое открытие. И так ненавязчиво, незаметно, скрыто, просто. Этот такой избитый глагол «идти», «ушла», «уходить». Тут этот глагол становится мистическим, чистой

магией. «Свежо и емко» – как сказал Фет в другом своем стихотворении. И этот мистический глагол-образ подхватывается в третьей заключительной строфе: «Так робко набегает тень /Так тайно свет уходит прочь». Набегает, уходит. Тайно уходит. Куда-то прочь. И это такое обычное, затверженное «прочь» вдруг загорается и расширяется до фантастического образа, некой запредельной стороны мира. И тут начинает говорить сам язык, его глубинный, сокровенный, тайный, внутренний голос, его дух, его древняя магическая душа, его поэтическая суть (что и есть поэзия), признаваясь в своей несостоятельности сказать, но и в своей запредельности, безбрежности: «Что ты не скажешь: минул день, /Не говоришь: настала ночь». Тут главенство берет «Е» и «О». И все-таки, в действительности, «А» остается на первом месте, хоть и затеняясь чуть-чуть робко звучащими «И», «Е», «О». Во всем этом коротеньком стихотворении протяжной, безбрежной, мистической нотой, как нежный голос поющей трубы, как туманная даль небес и моря, и всего мира, звучит это «а-а-а...», тая и замирая. И аукается: «В заливе дремлют корабли, – /Едва трепещут вымпела». /Далеко небеса ушли – /И к ним морская даль ушла». Эти «ЛИ», «ЛА». И звенит, звенит эта чистая нота в голосах стихий, воды и ветра, огня и земли, звенит в сердце поэта и в его стихах. Этим Звуком создан наш мир, этим Звуком он держится и сохраняется. Его нельзя искажать, нельзя фальшивить. Поэт, обладатель абсолютного поэтического слуха, слышит этот миротворящий Звук в первозданной чистоте и целости и таким передает его в своих творениях. Выхожу ночью на дорогу и вслушиваюсь: звучит ли еще этот Звук, заглушаемый шумом мира. Звучит, звучит, доносится! Жив еще этот Звук! Говорит еще со звездой звезда. Орфей, Гомер, бог скальдов Браги, Оссиан, Аморген, псалмопевец Давид, творец священных ведических гимнов Вяса, слышу, слышу ваши бессмертные звуки!

Позвольте несколько слов от редактора – потому что читаю в два часа ночи, завтра до двенадцати надо отправить номер в типографию и завтра же Типограф обещал отпечатать сей (наш) журнал к нашим юбилеям (так уж совпало!) – а что для этого прекрасные люди соединятся в дружеском порыве как звуки в слове, а слова в строфе – а как же иначе, разве Всемирное притяжение любви не то же самое в жизни, что и в поэзии? Красота есть сердце мира, и об истинности того или иного учения надо судить только по красоте: вот ничего я не понял в соединении и преобладании то А то И в этом гимне В. А. поэзии, но даже и не смею их пересчитывать, так изящно само рассуждение об их сочетаниях. Bravo, В.А.!

Истина уже заключена в родном языке, «ибо пронзительное слово *Отчизна* сильнее всех проповедей противостоит *низкому* суждению, что Родина – там, где хорошо, и даже высокому, что Родина там, где Бог.»

Я думал, что предпочитаю смысл – оказывается, я предпочитаю звук

VI. ЗА СТОЛОМ У РЕДАКТОРА

Размышления в связи с юбилеем революций

Впереди два столетних юбилея: Русской буржуазной революции, похоронившей монархию, но родившей мертвое дитя – или если и живое, то прожившее всего девять месяцев – или даже, если считать, что эти месяцы были зачатием и порой беременности, то вообще буржуазная революция оказалась *ложной беременностью*, она ничего не родила, а закончилась выкидышем или просто иссякла.

Осенью грядет столетие революции социалистической (или коммунистической), похоронившей монархию уже окончательно (уничтожением и царя, и его семьи, и всех монархистов, и аристократов) и похоронившей Российскую империю (ибо как Священная Римская империя не была ни священной, ни Римской, ни реинкарнацией Рима ни его продолжением, так и СССР не продолжает Россию).

К столетию пора разобраться, кто виноват, посему я задумываю или Книгу или сборник статей: «**Русские революции и судьба России**» или «**Россия. Русский народ. Революция. Судьба**».

Русофобы уже давно все знают, революции, по их мнению, были задуманы гениально, но с этим бездарным русским народом ничего хорошего сделать нельзя. Антисемитам так же все ясно, жидомасоны вместе с русскими предателями задумали и осуществили антирусский переворот, погубили православие, монархию, империю, русский народ, который хотя ноуменально и существует, но уже теряет свой исконный язык, веру, характер, культуру, обетование и предназначение.

Только *мне* ничего пока не ясно, посему я и хочу, наконец, понять, какие причины породили ту эпоху, ту историю, то государство, в котором я жил, мучился, бывал и счастливым, любил, ненавидел, работал, продолжился в семье и в творчестве.

Все то, что мне удалось сделать, не так значительно, как я надеялся, но и не так уж ничтожно, есть и прекрасные стихи, и теорема о полноте и непрерывности ряда вещественных чисел, которая войдет в курс университетского анализа, и книги: О Призвании литературы, во-первых, О противостоянии культуры и христианства (Легенда о великом инквизиторе) во-вторых.

Я русский, воспитанный в живом и деятельном разнообразном окружении и в деревне и в городе, в изумительной сибирской школе и в лучшем Российском университете – не могу я оторваться от своего народа, как Христос оторвался от своего. Посему я свои взгляды на рускость называю *народничеством*.

Я человек культурный и воспитан культурой, посему к людям я отношусь хорошо. Но во-первых, у меня есть мой народ (к которому я отношусь не всегда хорошо, во всяком случае, не оправдываю его низости, грехи, промахи и слабости, по крайней мере к разным русским отношусь по разному, и хотя народ и обличаю, но временами жалею чуть ли не каждого и народ в целом тоже), есть немцы, к которым я отношусь не всегда хорошо (к разным немцам по разному), но способен и пожалеть в известных обстоятельствах и бедствиях и поделиться хлебом даже с пленными немцами, как бабушка М. М. в ее

воспоминаниях. Есть еще евреи... Но о них так вскользь не скажешь, как о немцах, евреи очень самолюбивы и требуют от других непременно любви (чего ни мы ни немцы к себе от других не требуем). И вот хотя русский, напившись, пристаёт к собутельнику с «ты меня уважаешь?», но протрезвев, отстает – еврей же (и христианин) непременно помнит, что ты не ответил, и либо причислит тебя к антисемитам, либо опять пристанет с тем же вопросом.

Ну, ребята, говорю я им, вот ваш талантливый поэт-публицист очень остроумно всех ругает, особенно правительство, но как-то так умеет повернуть все свои обвинения, что даже когда виновата только власть и никто кроме власти, ни русские, ни евреи ни чукчи, все равно у него оказываются в виноватых русские (во все эпохи, не только начиная от Ивана Калиты, но еще от Навуходносора) – но я же от него ничего не требую! И к любой личности любого происхождения я отношусь не предвзято, а в соответствии с тем, как эта личность мне предстает в рамках нравственности, культуры, быта и наших личных отношений. Народ – это тоже личность, и она требует оценки, как и любое историческое явление, революция, поэзия, природа, ... Каждый из нас (и я в том числе) имеет право **не** любить даже музыку, поэзию, математику, христианство, *тот или иной народ*, культуру, жизнь (как не любят христиане и жизнь и культуру и землю и даже проповедуют *отвращение* к культуре и жизни и продолжению жизни в роде и народе) – но отвратительно, когда человек свою нелюбовь к другим пропагандирует – что не отменяет его право быть противником марксизма или христианства или чужого высокомерия или чужой экспансии... Так вот, **я не люблю ближних** (хотя я многим помогаю и с голодным поделюсь своим хлебом, даже если сам голодаю). **Я не люблю своих врагов** (хотя – вы мне, может быть, не поверите – врагов у меня и никогда не было и нет кроме идей, ложных мнений, чужой злобной страсти и всякой власти, уничтожающей мою свободу и право жить и любить). Я и русских как толпу и как всеобщность, объединенную верноподданностью, холуйством, отказом от критического отношения к жизни – **не люблю**. А евреев? *Ну таки не то чтобы нет, но таки и не то чтобы да.*

К товарищам я отношусь хорошо, никто из моих товарищей на меня не обижался. Иных я даже люблю. Не за то, что они русские. И не за то, что они евреи. И не за то, что они не евреи.

Моя философия истории – это философия неравенства и оптимистического пессимизма. И люди неодинаковы, и народы – по своей роли в истории и культуре, по своему характеру и творческим силам. Одни мне ближе, к другим я могу быть равнодушен. Недавно, случайно просмотрев несколько передач о Китае, я влюбился в них – вероятно, не во всех, но в тех, кого я видел в этой передаче, я влюбился во всех. Но от этого не стали для меня все одинаковы, как для христианина. Красивых девушек я люблю больше чем мужчин. Люблю ли я русских больше, чем белорусов или испанцев? Вероятно, как любят своих детей и семью – больше – но я не скажу, что русские лучше других. Все бывает очень плохо. И все бывает изумительно хорошо. И жизнь, по-видимому, никогда не станет достаточно идеальной, и я никогда не стану богатым и меня никогда не будут читать многие – но именно это и дает мне надежду когда-нибудь достигнуть *совершенства!* – **В. И. Чернышев**

Николай Николаевич Браун

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЧАСТУШКИ

Смех от пяток – до макушки

1. Петербургская частушка
Для столицы, для села,
В небоскребе и в избушке
Удала и весела.
2. Сон мне снился: олигархи
Стали вдруг бедней бомжей
И попрыгали в запарке
С самых верхних этажей.
3. Сон другой: пенсионеры,
Сделав банкам лохотрон,
Вдруг разбогатеv сверх меры,
Опустили Вашингтон.
4. Снова к выборам грядущим
Нас готовит чей-то блат.
Знаем без кофейной гущи:
«Против всех» – наш кандидат.
5. У писателей – интриги,
Скорый и неправый суд,
Нацвопрос... А где же книги?
Ну а книги – подождут!
6. Раньше за слова такие
Шли на каторгу, убив.
А в эРэФии – России
Это пьяных чувств прилив!
7. На крыльце у прокурора –
Эрмитажа раритет.
У непойманного вора
Для сокровищ – сбыта нет.
8. В договорах побратим наш –
Белоруссии народ.
А труба «Газпрома» – мимо
Белоруссии, в обход.

9. С Пентагоном раньше срока
Дружба перешла в экстаз.
Всюду – с Запада, с Востока –
Мы в кольце ракетных баз.
10. Перевод имен в Украине
Словно русским всем назло:
Там наш Лермонтов – Михайло
И апостол свят – Павло!
11. Заявил министр грузинский
В телекадре, не скользя:
«Выпьют всё на русском рынке.
Наши вина – пить нельзя!»
12. Он, я думал, Сёма просто,
Ездит отдыхать в дурдом,
А он – «жертва холокоста»,
И не бедная притом.
13. Украинцам был заплачен
Их оранжевый майдан.
И лимонцам, не иначе,
Красный флаг не даром дан.
14. Лево-право-революций
Спектров много впереди.
Но от радуг конституций
Жизни радужной не жди.
15. Голоса скупают рьяно,
Ловят лохов день за днем.
Тех – с опарышем обмана,
Тех – с подачек мотылем.
16. После красных лет обмана –
Под трехцветьем плутовство.
Умереть – не по карману,
Ну а выжить какво?
17. Жизнь по доллару равняя,
Пропадаем за рубли,
От Европы до Китая
С новым «евро» на мели!

18. У Евгения с Татьяной
Не по Пушкину роман.
Обе с Ольгой – путаны.
Ленский – киллер из крестьян.
19. Память девичья нестойка:
«Снова утро... Ну, дела!
С кем, не помню, перестройку
В прошлом веке проспала!»
20. Обмывают в скрытой злобе
Тело Родины враги.
А она встает, как в гробе:
«Где вы, русские?» Ни зги.
21. Старый русский – олигарх я.
Я духовно так богат!
Наша питерская марка
Круче люберских ребят.
22. Нынче призван в рядовые
Ильи Муромца земляк.
Он – с голодной дистрофией.
Что-то в Муроме не так.
23. Заработать каждый хочет.
У шофёра свой маршрут
Там, где всюду вдоль обочин
Гейши русские цветут.
24. Два юнца телерекламу
Всю смотрели год подряд.
Тот – свою ограбил маму.
Тот – в дурдоме ищет благ.
25. Помогите! Нет, спасите
От инвесторов-хапуг!
Будет при Газпроме-сити
Мини-город Петербург.
26. В телеящике – масоны,
А по коже – аж мороз.
Я пошел купить кальсоны,
А на них повышен спрос!

14 ноября 2007. Санкт-Петербург
Продолжение следует

В. И. Чернышев

Живем НЕ ТАК...

Новые записки Редактора



«Литература никогда не перестанет спрашивать: "Кто виноват" и "Что делать", но и жизнь нас мучает своими вопросами, и просто так жить мне не удавалось даже в детстве. Мне кажется, пока я не пойму, "в чем все-таки дело", нельзя и умирать, – а не пытаться понять – невозможно...

Иногда снятся странные сны, вот, например, прошедшей ночью приснилось, будто я бегу к поезду, на котором куда-то уезжают мои близкие, а поперек линии вдруг встал какой-то другой поезд, загородивший мне путь, я полез через вагоны, как и другие, и такое было отчаяние – пуще смерти, мне казалось, что если мы расстанемся, то навечно.

А то будто вечером я сижу в камере, утром меня должны куда-то отвести, может быть и на казнь, не совсем известно, а может быть на выбор: жить или умереть, и этот выбор я должен совершить сам – оставаться ли жить, ценою усмирения, или согласиться на смерть вместо другого не постороннего мне человека.

Ужасные сны, ужасные мысли, ужасные образы и настроения, влияющие на тон и содержание статьи, в которой я буду говорить о судьбе журнала, о судьбе России, о судьбе человеческой, хотя и неопределенно, чьей именно, но и не о судьбе абстрактного несуществующего человека, а человека подлинно существующего, может быть и о судьбе собственной. Я хочу понять, что мне дальше делать и все ли я делал правильно. Без такого понимания я не смогу критически отнестись не только к писателям и их литературным героям, но и к моему ближайшему окружению; если я не знаю, зачем и как надо было жить мне, то смогу ли я упрекать других в их равнодушии к судьбе России?

Но буду ли я писать откровенно? Судя по исповедям и воспоминаниям известных людей, авторы их скрывают одно, приукрашивают другое, врут в целом, молчат о четвертом. А как я?

Всматриваюсь в себя и думаю (и то же самое думал я о себе всегда, даже не всматриваясь), что я человек не плохой, даже правильнее сказать, хороший, грехов особенных за собою я не вижу (не во всем был прав, не всегда поступал наилучшим образом, но все это следствие не злых намерений, а неумения или обстоятельств, но грех и преступление – это следствие преднамеренного злого умысла, но не нечаянности, в крайнем случае – малодушия). Злого же умысла за моими поступками не стояло, малодушие проявить не удавалось, потому что судьба меня щадила, и через муки, к счастью, я не проходил, в мелких же испытаниях проявлять малодушие не позволяла *гордость* (гордыня!)

Вы думаете, я хвалюсь? Ничуть. Отец мой погиб героически. Мать прожила восемьдесят лет в работе и лишениях, ее никто никогда ни в чем не упрекнул. Друзей моих, уже умерших, не упрекали тоже, с одним из них я был связан близкими узами 43 года, знал его лучше, чем себя самого, даже его скрытные от других мысли и чувства, он был даже лучше меня – нет, и ему не принадлежало ничего, что было бы стыдно признать в исповеди или мемориях (и следовало бы скрывать). Слабости у нас, конечно, были, не

всегда хорошо закусывали, поэтому, увы... Но я и не скрываю. И, конечно, самый страшный христианский грех – «похоть плоти, похоть очей» – особенно же «похоть плоти» – пропитывали мою жизнь, как и всякого поэта. А о чем бы я тогда писал стихи? О "родной компартии"? (но она мне не была *родная*). О страстном желании стать листком на древе Господнем? Но этого желания не испытывал и никто из поэтов, по крайней мере из талантливых – ни один! О любви к царю и отечеству? Царей я не любил; хотя из прошлых царей многим отдавал должное (то есть их понимал или пытался понять, иногда и был солидарен), но современных мне царей ... как-то даже не удается сразу найти подходящее слово, выражающее мое к ним отношение... Отечество? На последний вопрос я отвечаю, но не сразу. Возможно, напишу об этом целую книгу. (Правда, о всемирном притяжении мужчины и женщины я написал целых три книги, говорят, ничего в этом притяжении не объяснил. Правда, между нами, те пророки, которые человечеству все давно объяснили, мне сегодня представляются мало убедительными ... или мало грамотными?) Иначе, может быть, не хваталась бы за эту безумную попытку, объяснить, что есть истина, человек, культура, любовь, женщина, религиозное чувство и привязанность к родине – то один, то другой философ, поэт, а то и просто политический проходимец... а эти чаще всего и взлетали в представлении зрителей на недосыгаемую высоту! Как прикажете относиться к таким зрителям, составляющим народ – то французский, то немецкий, то русский?)

Но большинство тех, с кем я был знаком лично, были людьми замечательными, и жизнь проживали достойную, хотя часто трагическую. (Но если кто был счастлив и в нашей стране, не все были недостойны... моя собственная жизнь тоже, скорее, счастливая. А если учесть то, что со мною, по их собственному выбору, дружили умные, талантливые, великодушные, дружили еще к тому же красавицы, дружили и дети – то разве их дружба не является свидетельством в пользу любой истины, которую я изреку в данной статье? А, может быть, и в других?)

* * *

Не бывают все виноваты (ибо тогда никто и не виноват), – если только не принять за истину безумную точку зрения об изначальной порочности человека, – не бывают все и неправы, как и все правы. С последним мы уже столкнулись в предыдущую эпоху, размахивая над головами поэтов каменной дубиной "всего прогрессивного человечества", "всего советского народа" (не включающего отдельных *отщепенцев*, бредущих по дну жизни против течения), а в христианскую эру нас уже почти раздавили правотой данного самим Богом учения, когда правы были только все богобоязненные и слепо верящие христиане, исправно и слепо крутящие колесо жизни в угоду господам и в устрашение всяческим еретикам-отщепенцам, например, *альбигойцам* (которых истребили всеродне вместе с рожденными и нерожденными детьми), или *протестантам* (которых всех истребить не удалось не только за Варфоломеевскую ночь – всего-то перебили сто тысяч – но даже и за Столетнюю войну, так что их уже чуть ли не столько же, сколько католиков), то *православным* (несмотря на все войны Запада против

христианского же Востока), то *слишком православным* (старообрядцам), то неправославным – вчера и сегодня – когда мы, поэты и философы, униженно с колен и изподлобья вымаливаем прощение за наши дерзости и разрешение печатать наши любовные стихи (как то полагали Филарет и Толстой, еще наиболее терпимые к нам)... а нетерпимые прямо заставляли и заставили Гоголя отнести на помойку Пушкина и клятвенно от него отречься (после чего Гоголь с горя и умер), а моих современниц выбросить на помойку кроме Пушкина еще и Даниила Андреева и меня грешного, не говоря уж о всех других... Но **все как один** никогда не бывали правыми навсегда. Что-то с ними происходило. То вдруг в Великую французскую революцию бывшие **все как один** так же *всевно* тащили под гильотину короля с королевой, маркизов и попов; то вдруг наступал 1825 или 1848 год, когда *всевно* трещала (хотя и выстояла); то вдруг сначала в 1905, а потом в 1917 один за другим два всемирных землетрясения, пик которых пришелся на Россию. Потом еще потрянуло Германию в 1933, а позже и весь мир в 1941 (хотя начались оползни еще в 38-м!)

И все же в России всегда было единство, сначала она была православной монархией (мусульмане, иудеи и буддисты как то втискивались во всеобщность), то она стала сверхединством в рамках социалистической сначала диктатуры потом деспотии (после трех лет ожесточенной Гражданской войны), потом вдруг комсомольцы опомнились и поменяли минус на плюс, мгновенно и всеедино вернувшись на Древо Господне, обратясь из антихристианских и оголтело атеистических железных листьев в листья бесплотно-духовные. Но при всех катаклизмах гибли люди, уничтожались великие творения человеческого гения, мучились работающие крестьяне (кулаки), расстреливались или умирали в тюрьмах поэты (Гумилев, Есенин, Мандельштам, Клюев, Павел Васильев... и еще семь миллионов других), умирали с голоду невинные, десятки миллионов обрекались на гибель в бездарно веденной войне, когда против каждого немца (не ахти как и умного) гибло по несколько русским (отважнейших солдат в мире во все века, но вот при советских генералах и *маршалах победы*...)

И потому на вопрос, КТО ВИНОВАТ, ответ очевиден: все, кто нас тащил на эшафот и в костер, в тюрьму и в всеобщую стадность, **виновны!** И на вопрос, ЧТО ДЕЛАТЬ, хотя и нег исчерпывающего ответа, всех примиряющего и устраняющего историческое зло, достойные знают, что надо противостоять в этике, эстетике и логике всему тому, что нарушает их гармоническое всеединство, то есть надо противостоять **злу** (клевете, жестокости, бессердечию, малодушию, нежеланию сочувствия и помощи страдающим), но и творить добро; надо противостоять хаосу, дисгармонии, разрушению, тлению, безобразию) и творить красоту и гармонию, творить прекрасное в материи и в душе; надо искать и утверждать истину в науке, в познании, философии и всяком рассуждении, в математике и даже в повседневных разговорах и противостоять ошибкам и заблуждениям, невольным и намеренным. Надо заботиться о близких, обществе и народе, беречь и благоустраивать мир. Надо работать, умножая средства для жизни, надо быть деятельным в творчестве и противостоянии плохому, совершенствуя условия жизни.

* * *

Но благонамеренных призывов недостаточно, говоря ребенку, чтобы он стремился быть хорошим, мы еще не указываем ему, как ему надо жить, и что значит стать хорошим. Философия и культура еще должны разъяснить понятия добра и зла, красоты и безобразия, истины, лжи и заблуждения, необходимы образование, культура, нравственные влияния и идеалы. Народные традиции и представления о добре и зле редко содержат нечто тлетворное, их почти достаточно для научения ребенка благу, и все же – хотя мы все научаемся ходить, взрослея, так сказать по заложенной в нас программе, но школа физического воспитания, которая была хорошо устроена в античном мире, учила не только ходить, но и бегать, притом быстро и красиво и не утомляясь. Мы как будто знаем, что есть благо, красота и истина – впитываем в себя идеи хорошего и благого с молоком матери (и мать и семья нас в этом усердно подвигают), но что-то происходит в процессе жизни, здоровое и гармоничное повреждается, естественные понятия о добре и зле запутываются, словно нас что-то внешнее портит (или и внутренне, до поры невидимое, начинает сказываться, как семя физических и душевных отклонений), и посему в дополнение к врожденному знанию о мире и человеке необходимы воспитание, образование и культура. Одежду и обувь надо чистить, тело и душу питать. В изменяющемся мире необходимы дополнительные усилия по исправлению мира, поэтому приходится писать новые книги, сочинять новую музыку. Мне казалось, что всё, что нам необходимо знать о сущности вещей, уже сказали Аристотель, Евклид и Платон – но вот оказывается, что они сказали не все. И ... страшно мне сейчас это вымолвить, но я постепенно пришел к выводу, что даже наши великие учителя, поэты и писатели Золотого века русской культуры, сказали еще не всё. И все вместе прошлые гении человечества не успели нам объяснить до конца тайны мира. Не будем застревать на НЕПОЛНОТЕ культуры и знания, возможно, так задуман мир, чтобы культура была всегда неполна и нам было что делать, возможно, культура подобна огороду, который надо беспрестанно возделывать, чтобы он плодоносил, иначе и почва в нем уплотнится, и сорняки заполонят. Надо возделывать и собственные души (кстати, **возделывать** и называлось словом **culture**).

Писатель, философ, художник возделывают душу мира и наши и свои души в созидании произведений культуры, зритель и читатель – в труде по их восприятию. Переставая читать, то есть рыхлить свою душу, переставая слушать музыку, мы превращаемся в камень, на котором ничто не только не вырастет, но даже и не взойдет. Человек, ограничивающийся лишь зрелищем, не возбуждающим его мысль и усилие духа, обрекает себя на душевную смерть. У крестьян была такая же богатая культура, как и у дворян, частично они перетекали друг в друга, никто не жил только в дикости и душевной праздности, в дикости и праздности можно было лишь спать или умереть, даже мотыльки перед заходом солнца вдруг затевают хоровод, кричат и кружатся птицы, укладываясь на покой, шумят деревья при заходе солнца, и само солнце вдруг окрашивает небосвод в многоцветье красок.

Я был огорчен, думая, что почти ни на один вопрос бытия не сумел полно ответить, и вдруг понимаю, что это еще не беда. Я вовремя спохватился, у меня еще есть время, я успею ответить на всё. К тому же я не один, и тем более мы ответим на вызовы нашего времени сообща. Кстати, я понял, что значит *вызовы времени*: закачивается зима, скоро я поеду на огород, надо его очистить от мусора, вскопать и засеять. Вот так с приходом деятельной эпохи после полосы безвременья – а мы доживаем одну из самых страшных безвременных полос – нас ждет прохудившийся и засоренный мир, уставший от зимы и холода, ждет крестьянина с мотыгой в руке, философа, поэта, музыканта, математика (не обязательно с формулами, но с умением мыслить, которое дается преимущественно математикой).

* * *

Так ли уж я умен и знающ, чтобы дерзать разгадывать загадки, которые загадало нам наше время, а тем более дерзать учить других? Ну и что? Так ли я умею и силен, чтобы вскопать огород – а я его вскапываю! Я даже построил в деревне баню на краю огорода – **один**, безо всякой помощи. И баня пышет жаром и благоуханна. А в нашем журнале я не один, вместе мы объясним все, что нужно, чтобы Россия по крайней мере преодолела свое падение на скользкой и изрытой минами дороге, смогла встать и пойти дальше. И дальше мы пойдем вместе с нею.

Хорошо или плохо, но я буду вести эти заметки сумбурно, перетекая от одного сюжета к другому, надо успеть сказать нечто главное. Предположим, я учитель (пусть не литературы, так хотя бы математики), следовательно, я должен направлять все то, что происходит в классе, смотреть на доску и в тетради, делать замечания – при этом я допускаю, и даже надеюсь, что ученики окажутся в том или ином и смысленной меня – но все же негоже забиваться мне в угол. И вот я пишу свои замечания – после всех. Кое что я знал и продумал заранее, но иное вызвано тем, что написали на этих страницах другие – и мне, как редактору, теперь все виднее как целое, несмотря на разнородность. И вот я пишу – не поучения, не критику, не исправления ошибок в диктанте, а вытекающие из всего сказанного рассуждения (которые во многом будут свойственны и всем читателям сего **поучительного** журнала). Без уже сказанного мне даже было бы почти и нечего говорить, я ваше продолжение и ваше альтер-эго вместе, я – вывод, уже присутствующий во всех текстах, но кристаллизация которого уместна **после них**.

Пушкин

Очередная годовщина пушкинской дуэли и смерти, более того, 180 лет, уместно о Пушкине поговорить – хотя о нем говорить и его вспоминать уместно всегда, хотя бы выглянув в окно и посмотрев на снег и двор.

В статье о Пушкине высказывается важная мысль, что мы вылепили в советскую эпоху однобокого глиняного истукана, атеиста-революционера, якобинца-декабриста, наследника Пугачева и Радищева, Вольтера и Екатерины Великой, а в действительности же он был другой, синтез эдакого самозабвенного Аракчеева, сидящего на столпе Серафима Саровского, в крайнем случае преподобного Игнатия, вкупе с портретами царя и Уварова... (?)

Да тем более что хотя и назвали позже его эпоху *Пушкинской*, но справедливее ее название было до этого – *Николаевская* (как и железная дорога, построенная при нем, была *Николаевской*), ибо Николай Павлович оказал на жизнь страны и общества гораздо более влияния, нежели Пушкин, и это поэт зависел от царя, а не царь от поэта.

И вот перед всеми нами стоит снова важный вопрос: если Пушкин не был вольтерьянцем, якобинцем-декабристом, в крайнем случае революционным демократом, то был ли он коленопреклоненным верноподданным придворным (дворовым человеком царя), елейным богобоязненным законопослушным лицемерным «очи долу и только душу горé»? Если не был учеником Вольтера и Дидро, то был ли хотя бы правочерным христианином? Молился, крестился при всяком удобном и неудобном случае (как Гумилев в пику большевикам на каждый храм, попадающий ему по дороге), выстаивал службы и по праздникам и по будням, постился, принимал "и среду и пятницу", как Константин Леонтьев, перепугавшийся на всю оставшуюся жизнь после приступа тяжелой болезни, и "на ночь со слезой читал Игнатия Брянчанинова – или хотя бы блаженного Иеронима "О девстве" или блаженного Августина наставление о том, какие движения следует совершать в постели?) Был ли гражданином? И в замечательной статье о Пушкине показано, что был и серьезным и деятельным служащим Министерства иностранных дел и не напрасно окончил Лицей (как и я был блестящим преподавателем математики и не напрасно окончил Матмех, притом его астрономическое отделение – хотя и ненавидел родину Троцкого-Ленина-Сталина-Брежнева-Горбачева)?

Был злобным по отношению к России европеистом или пил квас по утрам и мазал сапоги дегтем? Учеником Радищева и Чаадаева или "преданным без лести"? Да и эпоха – была ли она все-таки Пушкинской или Николаевской? Тем более что император определял ее собою еще двадцать лет после Пушкина?

Следуя Сократу, следует всмотреться философу в самого себя, там и находятся правильные ответы. Пушкин был в тесных или в значительных отношениях почти со всеми значительными лицами Российской империи, дружил с Чаадаевым (и потому уже не мог его патриотизм быть только Уваровским, хотя и написал Пушкин «Клеветникам России» и знаменитое письмо Чаадаеву, в котором он защищал Россию от его нападков – но заметьте, безо всякой грубости, почти полусоглашаясь, но в то же время твердо глядя на отношения к России по другому) – ибо дружил Пушкин и с Жуковским, близким ко двору и во всяком случае человеком благонамеренным и патристичным. Но НЕ дружил Пушкин с Дубельтом, Бенкендорфом и Аракчеевым, хотя значительные государственные люди относились к нему с любовью или уважением, как Каподистрия, генерал Инзов и сам император. Но каково было тогдашнее общество, с которым со всем Пушкин был в свойстве? Были ли декабристы в нем изгоями? НЕТ! И мы, каждый из нас, будучи русскими, а не масонами и не Пятой колонной, день начинали с самых насмешливых анекдотов о нашей власти и заканчивали ими же – и как оказалось, Агентом Запада и Пятой колонной оказалась Советская ВЛАСТЬ, ее правители и ее пламенные комсомольцы, сколько бы они не клялись сегодня в православных храмах слушаться во всем батюшек. Это я, противник

марксизма и коммунистических бредней, РУССКИЙ националист-народник (даже в конце концов и патриот, хотя русское слово народник мне ближе), "*русский из русских*", но ни марксизм ("пролетарии всех стран соединяйтесь" с его **интернационал-социализмом**), ни христианство ("отныне несть ни эллина ни иудея", но ни в одном тексте Священного писания нет необходимости или даже позволительности любви к своему отечеству, своей родине – да и **родины** нет и не может быть, ибо рождение детей *проклято*, как о том пишет Розанов – и хотя рождение детей есть главный долг женщины перед родиной и государством – у мужчины более важные долги в защите отечества и пропитании его – но долг этот и сознание его не обусловлены новым Заветом) основанием народничества быть не могут.

Итак, несомненно, что Пушкин – и **великий русский поэт** и **русский человек** (который, по Гоголю, во всей полноте явится, может быть, только через двести лет – кстати, вот я и явился!) И определяющим для всех дальнейших рассуждений является вывод о приоритетности того или иного: первично ли отношение к царю, власти и государству, отношение к богу и церкви, принятие определенной идеологии или отрицание ее или критическое к ней отношение – или род и народ и культура (то есть **великий русский поэт** и **русский человек**)? ПУШКИН как поэт – первично, а вся сложность его взаимоотношений с обществом, царем, церковью, семьей, друзьями, читателями – вторично. Его близость и дружба и с Вяземским, и с Дельвигом, и с Пушиным, и с Жуковским, и с Чаадаевым и десятками других, его вращание во всю русскую культуру и во все русское общество (да, в конце концов, это Пушкина сочинения читали и любили дети царя, но не реляции своего августейшего папы, это Жуковский, друг Пушкина, воспитывал наследника царя, но не верноподданные, "жадную толпой стоящие у трона", это "Ревизора" Гоголя (пушкинского ученика) в театре смотрел с восхищением царь, а не его речам внимали восхищенные писатели и поэты! Эпоха, в которую жил Пушкин, которую он не просто отобразил отчасти в своих сочинениях, но которую он ими пропитал – безусловно Пушкинская, но не Николаевская. И даже до сих пор эпохи, через которые мы на коленях сквозь мерзость и грязь продираемся, но хотя бы в синеве неба, лучах солнца, блеске луны, шуме ветра и когда даже "буря мглою небо кроет" – еще Пушкинские, но не казенно-патриотические государственников и лукавых новых православных. И посему Пушкин безусловно русский националист-народник, но он не антипод Чаадаеву и не сподвижник Хомякова и братьев Аксаковых, он **любит отчизну, но странно любовью** (какою все эти любить не умеют).

Ответы на все вопросы о Пушкине находятся в его литературном наследии (гармоничном и понятном, хотя и поднимающемся до горних высот) и в его жизни в целом (многое в которой мне непонятно или чуждо. Как жил Пушкин? Как гениальный поэт (может быть, и писавший иногда слабые строки, но возвращающийся к ним и доводящий и их до совершенства) и как частный человек, который вернуться ко многому в своей жизни уже не успел ("и с отворачиванием читая жизнь мою... *но строк печальных не стираю!*") Чтобы понять до конца, всмотримся и в самих себя (не из самознания, а потому что читатель и критик являются зеркалом, вот в зеркало они и должны

смотреться). Что-то и в моей жизни вызывает у меня сожаление, кажется, бывали причины и для отвращения, но это видится смутно, вероятно, я был осторожнее или менее горделив? Мне повезло с рождением, родители мои любили друг друга и были безупречны, к тому же они происходили из крестьян и жили только за счет своего труда, живущие же за счет преимущественно чужого, крестьянского, труда не могут быть безупречны и не могут называть себя христианами – или вы никогда не читали евангелий, господи?) Пушкин не был христианином при жизни, ибо юноше, пожелавшему обрести жизнь вечную, «Иисус сказал: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и *приходи и следуй за Мною.*» Так что мало было раздать нищим имущество, надо было потом еще последовать за Христом. Были и такие, остальные же – не христиане. Но достаточно ли, впрочем, было раздавания имущества? **Что означало *последовать за Христом***? Надо было еще не прикасаться к женщине и не рождать детей (то есть, не исполнить свой долг перед Родиной, как не исполнил его и Христос, который, впрочем, ссылаясь на Отца Небесного – а как же мать? А как же его собственные слова, что **он пришел спасти только свой народ?** (впрочем, пусть об этом скажут христиане, а мы, жизнь которых определяется взаимоотношениями с народом, обществом, культурой, любовью между мужчиной и женщиной, не можем претендовать на знание их дел).

Пушкин играл в карты, участвовал в дуэлях, писал любовные стихи (что порицается церковью), движим бывал тщеславием (по крайней мере в своих усилиях приблизиться к великосветской жизни), жил не по средствам – сравнивая наши слабости, я вижу свое преимущество, но ведь я и родился крестьянином, а не дворянином, что погружало человека в грех несправедливости (и немало было тех, кто это сознавал и деятельно помогал другим, а царь Александр, возможно, даже отрекся от своей венценосности и ушел в странствие вместо своей ложной кончины). (И Толстой обо всем этом немало думал, и ушел таки из Ясной Поляны, хотя и в "девятый день" – но в молодости отцовское поместье проиграть все же успел в эти проклятые карты ... зато я после женитьбы поклялся к ним не прикасаться и не прикасался, и за счет чужого труда не жил, именно поэтому и имею право судить о них всех свысока – **не как поэт**, а как частное лицо, у которого слабостей оказывается меньше, чем у них. Впрочем, я бывал малодушнее Пушкина... ..)

Что христианского содержится в творческом наследии великого поэта? Оно точно таково, как и у Вяземского (не по уровню, в чем мы все уступаем Пушкину, кроме Лермонтова, а по содержанию). Культура и не может быть христианской, как не бывают социалистическими Таблицы логарифмов (вопреки желанию академика Глазенапа), но часто она дополняет церковное убранство и церковную службу (несмотря на многовековую ненависть церкви и ее Богословия к Культуре) – однако, Пушкинские стихи и драмы не звучат даже в лютеранском соборе Петра и Павла (хотя лютеране и пытались преодолеть противостояние христианства культуре).

Пушкин не был православным поэтом (как бывают православные писатели, например, Нилус), не был и православным редактором (как Конст. Леонтьев стал православным публицистом, а Вл. Соловьев – христианским

философом). Вглядываясь в Пушкина, мы, дети только отчасти девятнадцатого столетия, отчасти христианской европейской двухтысячелетней истории, но в значительной мере дети всей античной истории и культуры (языческой), и в еще большей мере дети богоборческого двадцатого столетия, от которого не до конца и не все отрелись, мы видим с ним не только родство, но и почти тождество. Мы никогда не понесем его на помойку, как это иногда делают христиане, и не случайно, после неудачного опыта умирания, я, тогда еще христианин, попросил не Библию, а стихи Пушкина. В Игнатии Брянчанинове я вижу свою противоположность, в Пушкине – нет. Так был ли Пушкин христианином или христианским поэтом? В чем же? В нетерпимости к великосветской черни (после того, как и читатели и критика к Пушкину охладели)? Но является ли нетерпимость достаточным свойством, чтобы считаться уже христианином (хотя более нетерпимы, чем христиане, может быть, только исламисты)?

Итак, я думаю, что вписывать в святцы, как православные, так и революционные, не надо ни Пушкина (ни Лермонтова).

Но **умер ли Пушкин как христианин** (как об этом сказал отпевающий его священник)? Что причастился? Пушкин оставлял свою семью не в самом благополучном положении. Не смирившись с сплетнями в свой адрес (то есть презрев одно из главных христианских требований – смирение), а может быть, не успев смирить горячность своей натуры – и мы тоже часто бросаемся в омут вниз головой – Пушкин показал себя достойнейшим человеком (в общечеловеческом значении, на уровне и девятнадцатого столетия, и на уровне **античности, которая была от него неотделима**), посему велел выплатить все, сколько мог, долги, высказал благородные пожелания семье и друзьям, простился с теми, кто стоял у его одра (вспомнил и тех, кто был "во глубине сибирских руд", ибо он их никогда не забывал – а кстати сказать, их жёны, отказавшиеся от всех прав состояния и следовавшие за мужьями, как и их мужья, принужденные трудом обеспечивать отныне жизнь – не были ли только одни христианами в том обществе, о котором мы сейчас рассуждаем?!) и принял положенный в то время обряд приготовления к смерти. Пушкин, как и Лермонтов, был теистом, он непосредственно ощущал Божественные энергии, проникающие мир, его (мира) неслучайность, обусловленность, но его Бог, как и мой, принимал и математику, и поэзию, и музыку, не опускался до требований униженного подобострастия, не отрицал нашу земную любовь и наше земное естество (которое Он же и создал), не проявлялся только в архаических формах, как проявился диким народам на заре культуры и цивилизации – Пушкин жил разнообразной жизнью, в том числе и достойной порицания то за одно то за другое – но кто из нас без греха, пусть первый бросит в него камень! (хотя бросили в него камни и Толстой и Владимир Соловьев, да и церковь долго не решалась похоронить Пушкина в ограде Святогорского монастыря, и нелепые слова о том, что *умер он как христианин* (указывающие на то, что жил, дескать, не так как надо), унижают гениального поэта, нет, умер он, как должно воину и русскому поэту, как многие умерли после него в нашей часто безжалостной к поэтам России).

Дай Бог и нам умереть от пули супостата!

Только что прочитал, что исламисты взорвали Пальмиру, город античной культуры. Что такое горе? Это уничтожение того, что можно разрушить и уничтожить, например, убийство человека, причинение боли ребенку и всему беззащитному. Часто религиозные люди (святоши) рассуждают о том, что *Бог поругаем не бывает* (как сказал апостол Павел), но его нельзя не только унижить, но и причинить ему вред, взорвать или уничтожить, **бог не умолим и не умаляем**. И всегда, когда фанатики во имя своего Бога воюют против человека и культуры, только человек и культура и терпят ущерб, только они и гибнут, и мы испытываем горе, теряя то, что нам дорого. Разве мы воюем с их богом (зная, что он неуязвим)? Нет, мы пытаемся только защитить наших близких и самих себя, но это удается нам плохо, потому что с ними их всемогущий и грозный и безжалостный Бог, а с нами только любовь и жалость. Сегодня взорвали Пальмиру, а сколько было взорвано или сожжено вчера? И остановить варваров нам никогда не удастся, потому что они не читают наших книг, не хотят смотреть на наши творения в мраморе или в камне, не слушают нашей музыки... И они тоже люди, даже когда они сдирают с нас шкуру, пьют нашу кровь и ранят наши сердца – они тоже люди, но что или кто их может сделать милосерднее? Ибо проповедники, проповедующие им необходимость любви к Богу, только укрепляют их в несокрушимости их веры в непреклонность и справедливость жестокой силы... И все же:

Не так, как надо, живу. Сон
 Прерывист, встаю поздно,
 Не выпался. И дулом в висок
 Чья-то укоризна стучит грозно.
 И только ночью приходят сны,
 А день уныл и от ссадин болен,
 И некого спросить: *Вы не больны
 случайно мною?* Не от вины,
 Не от того, что я без права волен –
 А просто так? Ведь от виска до пят –
 Почти вселенная, грехи и казни,
 Душа и плоть, и возможно, ад...
 Но даже аду бываешь рад,
 Когда не трепетен, безбоязнен,
 Когда живешь просто так, и грех
 Скользит по коже неощутимо, –
 И если брызнет колокольчиком смех,
 То замирает, и пролетает – мимо...
 ... Да, я понял, живу не так,
 Душа безумствует, искушая тело.
 И сон прерывист, и сердце не в такт...
А кто объяснит нам, в чем все-таки дело?

13 декабря 2014

НОВЫЕ ЗАПИСКИ РЕДАКТОРА

16 февраля 2017г. Православные жалуются, что эти нехристи все еще сильны в матушке России, не отдают им то, что им принадлежит по праву, в частности Исаакиевский Собор. Православные писатели жалуются, что государство все еще недооценивает их рвение на службе монархического и православного отечества и мало дает денег на печать их книг и поощрительные премии (хотя в 19-м столетии, когда писатели не бедствовали, царь не давал им из казны ни премий (хотя в исключительных случаях финансировал либо издание Истории Государства Российского Карамзина, либо издание Полного собрания сочинений Пушкина, либо назначал пенсию вдовам погибших поэтов, Рылеева и Пушкина, либо... но премии казной не выписывались), ни предоставлял бесплатно особнячков для их собраний.

Большая часть храмов строилась либо на государственные деньги, либо на вспомоществования народа – вот сегодня мы, граждане Российской Федерации, в лице государства и в лице народа и являемся правопреемниками российского народа и государства, существовавших в 19-м столетии, тем более что государственная власть сегодня несет явные черты монархической власти.

Каковы были взаимоотношения власти и церкви в 18-м – 19-м столетиях? Делаю выписки из «Чтений о русской поэзии Калягина»: Екатерина не погрешала против внешнего благочестия (в отличие от Петра), уважала религиозные чувства простого народа и – также в отличие от Петра – вовсе, кажется, не верила в Бога. Церковная политика Екатерины заключалась в том, чтобы "растворить духовенство в среднем слое людей", отгеснить его на задворки социальной жизни.» Россия не была Ватиканом, не была клерикальным государством по образцу средневековой монархии, власть в России принадлежала царю, аристократии, дворянству, но не церкви и тем более не "батюшкам", и даже высший орган церковной власти, Синод, подчинялся государству, Патриарх же был упразднен еще Петром.

«Верная ученица французских просветителей, Екатерина в 1764 году ... одним росчерком пера уничтожила 754 монастыря. От общего их числа сохранилась после указа только пятая часть.»

Итак, не только храмы, но и монастыри в России принадлежали государству, и царь (или царица) решали, оставить их или упразднить (вместе с патриархом) – так с какой стати нынешние православные требуют вернуть им Исаакиевский собор вместо того чтобы верноподданно просить на коленях разрешить им в нем проводить богослужения?! Да они "бунтовщики хуже Пугачева", как выразилась та же Екатерина!

Как себя ведут "православные" (то есть те, кто себя так назвал, присвоил себе такой сан – вовсе не все батюшки, а только **часть новых**, воинствующих – что не было свойственно русскому духовенству, – особенно же православные писатели, богословы, проповедники, все те, кого церковь вовсе и не уполномочивала на их воинствование, но кто заполонил Интернет-пространство **кликешескими** призывами **распать душу и душевное**, плоть и плотское, подчинить культуру, науку, частную мирскую жизнь идеологии Игнатия Брянчанинова, Нилуса, Блаженного Иеронима, Блаженного Августина, апостола Павла, в ужасе заклинавшего, что улицы Афин уставлены идолами,

этого просвещенного фарисея из рода фарисеев, "еврея из евреев" – по отношению к тем, кого они считают то еретиками, то атеистами, то врагами веры Христовой (а среди их врагов, кстати сказать, ТРИ ЧЕТВЕРТИ христианского населения)? Они ведут себя как обуюнные гордыней владеющих истиной, как обуюнные гордыней уполномоченных самим Христом выступать от Его имени. Он их призывает к кротости, а я даже уже боюсь встретиться с ними в безлюдном месте, тем паче если их будет несколько, пырнут ножом и не заметят, или крестом оглошат по голове.

Государство главенствует сегодня в государственной жизни, как оно главенствовало и при жизни Христа, а Его призыв отдать Кесарю кесарево распространяется не только на налоги и государственное имущество, но и на культуру, образование, театр, на **необходимость жениться и рожать детей**, ибо государству нужны и работники для пропитания и процветания и солдаты для защиты. Но вернусь к писателям – разве устарела метафора Горького об "инженерах человеческих душ"? Разумеется, нет, ибо разве мы, писатели, пестуем тело в человеке, а не душу? Но дерзостно и кощунственно все эти новые христиане возомнили, что в основании их личности и их творчества уже не культура, **душа**, образование, воспитание, вдохновение, но **дух** – не тот ли святой ДУХ, который излился на апостолов в день пятидесятницы? И который пребывает в храме при богослужении, хотя и витает и во всем нашем грешном мире, но о котором слишком самонительно кому-то из самодовольных своим благочестием и владением истиной христиан гордиться (перечитайте-ка и апостола Павла, который был осторожен в своих утверждениях, что он не наместник ли Христа на земле, и не от его ли имени проповедует? Кстати, сколько тоже сильных проповедников было позже сожжено? И кстати, поучительна изложенная у Калягина история Новгородского монаха, будущего епископа, которому вдруг была дана благодать пророчествовать и проповедовать Библию, а после оказалось, что был он ведом бесом). Писатель обращается к **душе** читателя, открывая перед ним и свою душу или души своих героев, которых он также почерпает как бы отчасти в себе, отчасти во внешнем мире и в совокупном мирском опыте жизни. Может ли кто-то из них утверждать, более дерзновенно, чем апостол Павел (проповедовавший в смирении и в самоумалении), что через него и его произведения с читателями говорит **Дух**, что через стихи и романы на читателей изливается **духовность**? Внушена ли Поэзия (и культура в целом) Богом или демонами? И божественная или демоническая природа поэтического вдохновения? Откроем «Чтения о Русской поэзии» Н. И. Калягина:

«"Божественное вдохновение" поэтов-язычников имело совершенно недвусмысленную демоническую природу. И существует подозрение, что **другого источника у древнего искусства поэзии нет** – даже и в настоящее время. Прославленный Ориген, размышляя "о силах, враждующих с родом человеческим", задумался однажды и о таких силах, которые имеют прямое отношение к теме нашего разговора. В третьей книге своего трактата "О началах" Ориген пишет: "Существуют еще некоторые энергии мира сего, т. е., некоторые духовные силы, имеющие определенную деятельность, выполнение которой они выбрали себе сами, по свободе своего произволения.

... так что, например, существует некоторая особая энергия и сила, которая внушает поэзию, есть другая [сила, внушающая] геометрию, – и так каждое искусство и каждую науку этого рода сообщает особая сила. Очень многие из греков думали, что поэтическое искусство [даже] не может существовать без иступления ума...

... мнение Оригена о **демонической природе поэтического искусства** Церковью никогда не осуждалось. Новое время перестало бояться падших духов. Гете хладнокровно отчеканивает в одном из своих разговоров с Эккерманом: "*Поэзии, бессорно, присуще демоническое начало*". Александр Николаевич Афанасьев, помещая поэтическое творчество среди дарований, издавна "присвоившихся ведунам и ведьмам" ("Поэтические воззрения славян на природу", т. III), вовсе не думал этим набросить какую-то тень на поэтическое творчество.» Калягин так заключает свои размышления о взаимоотношениях церкви и культуры: «*Мечты отдельных философов и богословов о каком-то грядущем "священни и христианском преобразении" светской культуры (Зеньковский) не имеют серьезных догматических оснований*»).

Недавнее обсуждение монографии «Духовные традиции русской литературы» показало, что книга сия не прошла через цензурный духовный комитет, во-первых, и что обыватель заворожён словами **дух** и **духовное**, отождествляя их с божественным и забывая, что бесы и демоны тоже духи и есть повеление в Св.Писании «*не всякому же духу верьте, но прежде испытывайте духов*», во-вторых. Возможно, большинство тех, кто нам вещает от истины, заворожённый блеском духовности, как новгородский монах, подпавший под власть демона, вещает именно ложную духовность.

Во времена большевистского господства церковь была гонима, сегодня она «в силах», властвует. Правда, в Священном Писании ясно сказано, что "Христос в силах", торжествующий Христос, явится только в конце света, перед страшным судом, и несмотря на бредни Достоевского, никаких явлений Христа в Севилье в 16-м веке или сегодня не было и быть не может: было Первое явление Христа, когда **мы его судили** и Он был распят (и нельзя, кощунственно объяснять это так, что судили его только евреи, ибо власть была римская, и Пилат римлянин, и солдаты, и стражники, и символически в Иерусалиме распятие Христа свершилось как произведенное грешным падшим миром во искупление падшести всего мира – мир принес в жертву Богу совершенного человека для своего искупления) и будет Второе пришествие, когда **Он будет нас судить**. И церковь существует в падшем мире, находящемся под властью дьявола, князя мира сего, и ее поведение, как церкви торжествующей, тождественно поведению человека, обуюнного гордыней. И вот причина всех исторических бедствий в христианском мире: самомнение и гордыня христианской церкви, присвоившей себе власть кесаря, присвоившей Христа и истину. Папа и патриарх примеривали на себя не только скипетр царя, но прямо скипетр Князя мира сего, и все костры, которые горели в Европе во славу церкви, на которых сжигали Жанну и Джордано, Сервета и рядовых ведьм, зывают к нашим душам, и *пенел Клааса стучит в моем сердце*, и пока христианская церковь не покается в этих кострах, мне в ней нечего делать, и пока христианин не обратится ко мне не свысока и злобно, как к

еретику, по нерадивости еще не сожженному, но мягко и сочувственно, как я обращаюсь ко всякому, наследник Гомера и Евклида, Пушкина и даже отчасти Маяковского, но еще словно бы и Арины Родионовны, кроткой и незлобивой, русский из русских и крестьянин из крестьян (но отчасти всяческий человек, не тождественный ни Иерониму блаженному, безумному монаху, ни преподобному Игнатию, тщеславному святоше, предавшему свой дар математика – а разве таланты нам даны не от Бога? – и вот, как всяческий человек, я, подобно Пушкину, отчасти и Дон-Кихот, отчасти и Дон-Жуан – еще вчера "приставал" к достойной правнучке Евы – отчасти и Поэт – ну, пусть как Вяземский, которого я люблю – но я еще сын своего отца, доблестного защитника отечества, и своей матери, трудолюбивой и заботливой крестьянки, вырастившей пятерых детей)... И вот, под духовными и всякими иными (но светлыми) традициями русской литературы – ибо она была всегда достойной – я понимаю только традиции великого русского языка, его защиты и умения убедительно и чисто говорить на нем и писать, традиции критического но вместе великодушного отношения к родине, которую надо беречь и возвышать... традиции труда и творчества, любви и сочувствия к людям и природе... (А какая родина у **духовного человека**, у христианина? Его родина в боге и в небе, ибо для него не должно быть ни еллина ни иудея, моя – в России и в земле. Его родина, в лучшем случае, в Библии и только в Библии и в молитве, моя – во всей европейской культуре, особенно в русской. Да христианин и не имеет права быть поэтом. Да христианин и не имеет права быть русским! Вы забыли, каков рефрен ваших славянофильских учителей, что без православия русский человек омерзителен?)

Прав ли был Гоголь, выбросивший Пушкина на помойку? Да, прав. Прав ли сказавший в 18-м году христианский монах, что нельзя на одной полке держать **духовные книги** с Пушкиным? Да, прав. Писатель, поэт, математик совершенны или посредственны вне зависимости от православности, и Филарет и Толстой, учившие Пушкина правильно писать, просто производят впечатление весьма глупых людей, возомнивших себя редакторами. Литературоведение уже несколько столетий исследует взаимовлияния в поэзии и литературе, и традиции в ней существуют, и Державинская, и традиция Жуковского, и Пушкинско-Лермонтовская – но нет в ней традиции Филарета.

Но хватит. Разговор, который я начал, надо, необходимо продолжить, надо поговорить и о партийности литературы – это ленинское почти то же, что необходимость духовных традиций, это разговор о привнесении идеологии в литературу и о духовной или советской цензуре – но должны заговорить писатели и критики, прямо, резко, сильно и убедительно. Для того я и даю им Топор (на обложке журнала).

14-46. Много еще не сказано. Пообедать сначала или продолжить разговор до конца, а потом уж пообедать, как настаивал Белинский?

С духовными традициями и партийностью в литературе связаны взаимоотношения девятнадцатого и двадцатого столетий, православных и большевиков. Я их и соединял в нечто целое как две секты строителей *царствия божия*, на небе или на земле, секты, которым одинаково был чужд действительный человек, грешный, по мнению одних, и "не сознательный", не

достаточно прогрессивный по мнению других: грешников лучше было бы сжечь, несознательных – расстрелять. Такому соединению почти все возражали. Но времена изменились, теперь утверждается, что и христиане отчасти социалисты и большевики (существует даже множество христианско-социалистических партий), и они "за народ", и большевики исполняют заветы Христа, а Сталин даже возглавил светлое воинство против сил Ада (точно то же самое, что у Блока: "в белом венчике из роз впереди Иисус Христос").

Но существует уже множество исследований о двойничестве и двойственности, о раздвоенности и растроенности, а то и расчетверенности не только обывателей (некоторые из которых пребывают в желтых домах), но и писателей и политических деятелей, и даже отвлеченных идей.

Не отделимы от **двойничества и подмены**.

Образ Двойника преследовал Достоевского, и вот я пришел к определенному выводу, что Ф. М. – характернейший писатель раздвоения и подмены, эстафету сию подхватили у него Розанов и Владимир Соловьев, затем Александр Блок и вся поэзия "Серебряного века".

Я даже прихожу к выводу, что не только Пушкин не был христианином (несомненно, что в творчестве, не менее несомненно, что в жизни, но также ясно, что и в смерти, неизмеримо менее христианин, чем Розанов, который метался между христианством и иудаизмом), но не был христианином и Достоевский (как не был им Александр Блок, который об этом писал прямо в своих письмах, в то время как Достоевский своим друзьям и Победоносцеву писал нечто противоположное – ну, я на следствии в 70-м году тоже говорил, что знаете ли, я уже начинаю колебаться, что вот уже пересматриваю многие свои воззрения, и если бы меня не арестовали.. да, я был малодушен... Но Достоевский не был Герценом – и по воззрениям не совсем с ним совпадал, и беден был, нечем было бы жить за границей, да к тому же он был великим писателем, ему нужна была русская публика, и он понял, что можно оставаться писателем в двойничестве и подмене. И вот у него Идиот – это "образ прекрасного человека, прямо Христа" (так примерно он говорил о нем в своих черновых тетрадах), и "красота спасет мир" (что в общественное сознание позже было введено по мотивам Достоевского Владимиром Соловьевым) – нет ничего более противоположного учению апостолов с их **"похотью плоти, похотью очей"**. Как Достоевский подменяет Христа вначале князем Мышкиным, затем Алешей Карамазовым (а сам при этом соединяет в себе, по мнению самых беззастенчивых исследователей) все Карамазовское семейство, так Александр Блок в своей поэзии, *почти во всей*, выдвигает постоянно мотив *другого*, двойника и антипода, – и вот: кто же идет впереди пьяных матросов? Если это Христос, то надо скорее сжечь и поэму Блока и кости самого поэта (в истории Инквизиции говорится, что это было обычное правило для инквизиционных судов – судить и сжигать и посмертно, и за неимением костей, сжигали чучело!). Так Христос ли? Нет, это или его двойник, или антипод, то есть Антихрист. И так же светлое воинство, противостоящее германскому нашествию, возглавил ли Христос-Сталин? Или двойник? Или они все вместе? Разве не очевидно, что история человечества так запутана, что прямолинейное сравнение всех полководцев и воинов и даже

простых поэтов (а тем более непростых) с Христом, антихристом, правоверным православным или еретиком заведет нас в такие бездны, что и на страшном суде мы не отмоемся. Да надо ли сравнивать, полезно ли? Полезно ли даже вот в данный момент, как меня читает православный читатель, задаваться ему вопросом, православный ли я (а я и не православный, хотя и не иудей, каковым бывал Розанов, но и не марксист, не сторонник большевизма, не монархист... но с Пушкиным отчасти склоняюсь к конституционной монархии... *я русский поэт*, отчасти анархист, поклонник красивых женщин и сторонник образованных и умных мужчин – независимо от их взглядов на мир, только бы они на меня **хорошо** смотрели... или бы по крайней мере как культурный человек, который приемлет и людей с иными взглядами).

Читатель прежде всего должен думать о себе, какой он православный, а лучше, хороший ли он человек или нет: а я стою с умными и хорошими людьми и красивыми женщинами... а этим я разрешаю быть даже стервами по отношению к себе – ничего, стерплю. Хуже, если они будут ко мне равнодушны. (Видите, какое простое и ясное у меня мировоззрение?)

Пожалуй, теперь вообще сформулирую всё о себе в целостности:

Русский, крестьянин, поэт, способный к состраданию и заботе, математик, редактор (преподаватель), пью уже очень мало, обладаю почти безупречным вкусом, тщеславен и честолюбив, но не завистлив, все еще ищу Истину, не стремлюсь ни к славе ни к богатству, но стремлюсь к совершенству...

Кажется, я уже вмещен, можно выносить Приговор.

Вернемся к Достоевскому и Александру Блоку. Всё ли карамазовское семейство вмещал великий писатель? Смущает меня то, что написал Страхов о нем Толстому, а письмо это было найдено после смерти Толстого и опубликовано. Достоевский и Страхов дружили, так что последнему вдова поручила привести после смерти Федора Михайловича его бумаги в порядок, он и привел, написал прекрасный некролог, никому ничего никогда не говорил о Достоевском плохого, пожаловался только Толстому на то, как грубо и несправедливо в дневнике писал о нем Достоевский ...

А вмещал ли в себя карамазовское семейство великий поэт (Блок)? Смущают меня его отношения с женой, какая-то чертовщина, пропитывающая его стихи, его неперестанное внимание к **другой, другим** – *другой богоматери*, по мотивам пророчеств ветхого Завета, другому Христу (мессии, о котором говорят ветхозаветные пророки, те, на которых ссылается постоянно апостол Павел, но не Христу евангелий), внимание и вовсе к *тому*, кто Христом не был, но о ком Христос предупреждал, что явятся перед концом света лжепророки и будут выдавать себя за него, и совершать чудеса, даже пушье... Русская революция была таким «концом света», явились "многие", даже их победа была, по существу, чудом – но кто они были? Кто был тот, *в венчике из роз*? И кто был возглавивший воинство, борющееся против сил ада? Другой Христос – это *антихрист* – так кем же был Сталин? Не тем же ли, кем предводитель революционных матросов? (И уж тогда, молящиеся перед иконой Сталина, спросите себя, кем был подлинный Христос? Но я молчу, пора все же пообедать, "караул проголодался"...

17-36. Большевики поставили перед собою задачу искоренить православие, даже с священниками и их детьми, монастыри были закрыты, храмы на три четверти уничтожены, или превращены в соляные склады, когда не хуже, а в лучшем случае в Дома культуры. Христиане и христианство наконец стали гонимы и в самом деле, а не легендарно (ибо Римская империя была и вообще терпима к чужим верованиям, да и очень рано императорская власть поняла преимущества нового учения в усмирении несмиранных и гордых).

От робких возражений большевистскому государству в 22 году церковь перешла к полному ему подчинению, и эту новую, покорную церковь возглавил Сергей Страгородский, тот самый, который в девятисотых годах председательствовал на собраниях религиозно-философского общества Мережковского, по его имени церковь позже назвали Сергианской, в противовес Зарубежной церкви, которая и объявила себя преемницей бывшей общей православной церкви Российской империи. Является ли таким образом наша нынешняя церковь подлинной преемницей Православной церкви империи, сомнительно, тем более что религиозно-философское общество Мережковского современное богословие всячески уничтожает, а за восхваление знаменитого писателя ряд наших авторов подвергся даже уголовному преследованию нынешней власти.

Таким образом, как современная церковь может требовать возвращения в свою собственность всего того, что, быть может, ей не полностью принадлежало и сто лет назад?

Итак, литература (шире – культура), церковь, современная жизнь, кризис, в котором находится общество, народ, Россия, вымирание русского народа – вот основные **вызовы современности**. Я представляю себя бредущим в февральскую метель по пустынной дороге с ребенком на руках (вот, например, с моим трехлетним внуком Пашей) или с чужим даже ребенком, ибо я забочусь и о чужих детях тоже – Господи, не дай замерзнуть, умереть, пока я не донесу его до добрых людей, до крова, тепла и пищи – вот моя молитва. О спасении своей души, воскресении и райской жизни думать оскорбительно, сосредоточившему последние силы на спасении невинного младенца. Дитя или бог – я выбираю дитя, бог подождет. Бог или Россия – я выбираю Россию, бог и без меня не пропадет, а о России заботиться некому. Задача литературы – человек и его Родина, семья, народ, близкие. Если Бог есть, то о своей церкви он позаботится сам, если ему безразлична моя судьба, мой народ.

Возлюби Бога – это самая первая, самая высокая заповедь, говорит Христос, то есть Спаситель. А не могу я хотя бы попросить его возлюбить человека, гораздо более несчастного, нежели Бог, более беззащитного? Не могу ли я попросить его помочь моим близким, всему тому, что мне дорого – или то, что дорого мне, для него мерзость? Вот почему меня любят дети – я не унижаю того, чем они дорожат. Вот почему я с детьми, а не с ненавистниками детей.

Всё не так, и ни там и ни здесь. Мокрый снег или мутная взвесь... Но и в горечи истины нет. Даст Господь хлеб насыщенный нам днесь, Так как солнце – тепло или свет?

Я в пустыне, один, все ушли. Все сгорело, мосты, корабли. Нет народа, друзей, нет мечты. Бога нет, да и дьявола нет, И от солнца лишь пепельный свет, Только кладбище, рай и кресты...

19 февраля 2017г., десять часов утра. Спал, разумеется плохо, поэтому встал сравнительно рано (учитывая воскресный день). Но спешил возвратиться от ночи к дню не из-за плохоты телесной, а чтобы успеть (по мысли Белинского) до завтрака выяснить, есть ли Бог. Вот и продолжаю сие выяснять. Статья моя призвана была стать основанием для журнала, задать ему направление, я же ее располагаю сзади, чтобы читатель успел без принуждения и редакторских окриков поговорить с нашей современной мыслью интеллигенцией, и той прежней, советской, и новой, православной, и привычной в литературном отношении старой русской интеллигенцией, представленной пусть не нынешними авторами, так теми, на которых мы все ссылаемся, от Державина до Розанова – а я бы и еще расширил на неистового Аввакума и Солженицына с Варламом Шаламовым (чем не современный Аввакум?) – так что было бы два замыкающих и наш Круглый стол включал бы подлинно всю русскую литературу, от Аввакума до Варлама.

Пишу я не Книгу, а статью, как вместить в нее ВСЁ море споров, сомнений, размышлений и выводов? А надо вместить всё, хотя бы в символической форме, надо, сажая новое "Древо познания добра и зла", посадить семя цельное и полное, так чтобы и Древо вновь вмещало не один только Рай, как в воображаемом Золотом веке и в *действительной* истории, которая через костры, распри, войны строила царствие божие то на небе, то на земле через такие бесконечные реки слез и крови, что я не хочу, чтобы в эти царствия спровадили вы моего внука Павлика; и вмещало бы это Древо не один только Ад, который был исторической *реальностью* (по моей схеме бытия и истории, которая представляет дело так, что *действительность* – это *духовная* сторона бытия – орел на монете в руках Христа, а *реальность* – сторона вещественная, мирская, плоть жизни – решка на монете в руках Кесаря... – или даже, может быть, и наоборот, трудно сказать...) Пусть это дерево хотя бы вмещает и Рай и Ад вместе, как это и было в Райском саду, где Адам и Ева были еще наги, но Змий вольно ходил меж деревьев.

Чтобы этот номер журнала вместил в себя все противостояния эпохи в не принужденной форме, я высказываюсь последним – но высказаться и я должен свободно и на равных. Сели мирно за стол те, кто никогда не мог разговаривать мирно, кроме как за столом в религиозно-философском обществе Мережковского, а то либо волочился с веревкой на шее к костру Инквизиции или к православному костру, как великий Аввакум, то ожидал крика «пли» на краю рвов, в которые была изрыта Россия большевиками, так что ТРИ ЧЕТВЕРТИ священников были либо расстреляны, либо зарыты живьем в землю (и это не *исторические* факты, а *житейские*, как смерть моего отца на Безымянной высоте, как смерть деда моего товарища, зарытого вместе с двенадцатью других на Смоленском кладбище, так что его бабушка потом его тайком ночью мертвого уже и отрывала, чтобы похоронить в могиле, а не в яме, а бабушки – тоже житейский факт, и его бабушка, и моя, они прожили длинную мученическую жизнь и всё сохранили в своей памяти, так что моя бабушка молилась перед сном перед иконою Божьей матери со слезами, чтобы та не допустила, чтобы этим диким ефиопам было еще хуже чем нам – а это я ей сказал, что негры в Америке сильно страдают; и даже прабабушка–

житейский факт, ибо в 37-м злополучном году, как раз в пору расцвета духовных традиций в инобытийной форме, и расстреляли прадедушку моей подруги, создавшего студенческое религиозное общество, почти как Мережковский.) Кстати сказать, одного из тех, кто сегодня с нами за столом прений, уже привлекли к суду за хвалебную статью о Мережковском и вот-вот повлекут не то к большевистскому рву не то к костру инквизиции.

Как вместить всё?

Есть единственный способ, коим и пользуется литература, даже и не доказывая, что «человек – мера вещей» – художественный образ или даже личность писателя, вмещающего в себя образы живых людей – это вселенная, в которой все солнца и все земли, боги, демоны, падшие девы и стойкие герои. Как в точке разрыва (и в поведении функции возле точки разрыва) вмещены все свойства и особенности функции, так в жизни писателя (или поэта) вмещена подлинная всеобщая человеческая жизнь, достаточно только, чтобы автор был одновременно писателем и математиком, как я. Возможно, я недостаточно всеобъемлющий писатель – не беда – Пушкин меня заменяет в идеальной форме, я только зеркало (хотя бы в той степени, в которой всякий вдумчивый и глубокий читатель – но этого достаточно), и мне видно все, о чем мы спорим, в этом зеркале, в котором отражается Пушкин... не достаточно одного моего зеркала, вот еще и зеркало всеобщего Розанова, которое я временами не могу отличить от своего, так мы похожи (я не имею в виду глубину видения или силу изобразительности, достаточно, что я смотрю не только моими очами, но и очами Пушкина или его выдающегося читателя).

Самое удивительное и непостижимое состоит в том, что я не редактор и не составитель журнала, я только исполняю точно высшую волю, некие силы уже составили план его и передают мне статьи и исследования. Всё здесь на равных, представим для простоты и ясности, что я представляю а-теизм (или безбожие) – хотя, по моему мнению, я больше представляю Ивана Карамазова и смятенного юного Алешу и такого же неуспокоенного самого Достоевского, представляю Блока, отчасти Мережковского, отчасти Розанова – разве они такие уж явные атеисты? – или такие уж несомненные православные? (спросите об этом у Константина Леонтьева, ему виднее, он-то точно православный, причем мракобес, по мнению, кажется, Лосского). Но пусть для простоты я а-теист (не бывший даже комсомольцем и венчавшийся в храме, когда мои противники, нынешние оголтелые православные, обходили этот храм за тысячу километров), пусть также для простоты и они подлинны православные – но ведь высшие силы пытаются нас не посорить, а если не примирить, то хотя бы усадить за стол диалога, за стол общего чаепития, а может быть и привести на огород, на котором мы должны насадить эдемский сад новой России – возможно ли нам быть вместе, или по духу и букве исторического христианства мы все, несогласные именно с такими буквами, должны быть сожжены всеродне, вместе с нашими внуками и правнуками? Или также, по духу и букве исторического большевизма, они все, несогласные с теми, кто пришел наконец этот мир **разрушить до оснований** (а ведь и Христос отверг этот мир беспощадно, у него нет компромиссов, или мир – или Я, сказал Он) – тоже должны быть закопаны живьем в землю? Вот так-то, не так уж и просто.

Но высшим силам виднее, они нас наконец усадили, впервые в истории.

Не будем оскорблять друг друга. Будем слушать, сажать деревья, обмениваться мнениями. Тем более что в статье Г. Н. Ионина, посвященной русской культуре, предложен план – соединить в общей симфонии и мотивы религиозные (или духовные... хотя духовны и бесы, не надо забывать, перечтите апостола Павла, оглянитесь на историю церкви – разве не с духами – бесами – и не с Дьяволом, князем не только бесов, но и всего мира, в котором живем мы все, и все обыденные люди, включая меня, и все верующие, включая апостола Павла, она боролась?) и мотивы общекультурные, относящиеся к науке, философии, литературе, искусству, то есть ко всему тому, что вдохновлено бесами, по утверждению апостола Павла, Оригена, Гете. Чтобы мы разговаривали на паритетных началах (как на этом настаивает Ионин), надо, чтобы ни та ни другая сторона не настаивала высокомерно на том, что именно ей принадлежит вся полнота истины, и все мы инспирированы бесами (или духами, или демонами), у меня в друзьях бес Вяземского, демон Лермонтова, в подругах ведьмы, вдохновлявшие Жанну Д*Арк, которых она выдавала за святых Екатерину и Елизавету, и даже время от времени еще звонит Мария Магдалина (та, которую она была до просветления), ибо все другие подруги меня отвергли, ибо или уже родились прсветленными, или сразу же после знакомства со мной и влюбленья в меня покаяться и просветлились.

И вот окончательно – **все узлы**, которые призвана пытаться развязать литература, **завязаны в моей жизни**, их же я вижу и в судьбе Пушкина (почему и судьба его и его литература и поэзия так мне понятны).

(И вот почему я успокаиваюсь, размышляя о горестной судьбе русской культуры – разучиться читать, перестать жить в страсти и заблуждении – а когда свет истины заполняет все и вся, жизнь заканчивается и начинается только житие – превратиться в невежд, в недочеловеков не так просто, одною водкою не может быть жив никакой человек, даже одним "баблом", властью и телками, это мы, писатели, стали одномерными, разучились или не умели, пали или не поднимались, пресыщены или даже не насыщались – это мы всё еще ничтожны и нам нечего сказать скорбящему и униженному современному человеку в России, вот почему он идет на бульвар за обрывками глянцевого журналов или приникает к дьявольскому экрану для забвения, потому что и водки ему уже столько не выпить, чтобы примириться с пошлой жизнью – и поэтому у нас еще все впереди, надо подняться хотя бы немного выше грязи, в которой мы все оказались).

Но состоится ли чаепитие, диалог, общая работа по устройению сада, определяется тоже символически: вот, например, идет спор о судьбе Исаакиевского собора, который построила Российская империя на казенные деньги – для православных или не православных, не в этом суть, для комсомольцев или не комсомольцев, тоже и не в этом – строил его мой собственный народ, русский, каменщики из Псковской губернии, литейщики с Урала, зодчие и из Европы (позже все ставшие русскими) и из Москвы и Петербурга – а я ли не наследник их всех? Тем более что я не был, единственный, комсомольцем, и мои родичи не ломали храмов, и я жалел **гонимую** церковь?!

Но потомки тех, кто ее гнал, стараются отобрать только себе то, что принадлежит всему русскому народу, среди которого активных то верующих хорошо если четверть. Так возможен ли согласный разговор о судьбе России – не о судьбе церкви, православия, с ними все более или менее благополучно – но о судьбе русской земли, о судьбе русского народа, который грозит сократиться через двадцать лет на сорок миллионов (а когда один писатель из трехсот об этом сказал на собрании, на него зашикали, дескать, какое это имеет отношение к литературе?) – так о чем мне разговаривать с теми, кто словно бы печется о судьбе духовных традиций в **русской** литературе, если им безразлично именно это, самое главное слово в нашем **русском** языке, без существования которого и разговаривать мне невозможно, ибо я другого языка не знаю, на котором мог бы говорить в толпе или в пустыне, никакой другой народ мне так не интересен, как **русский** (хотя и нет у меня вражды к другим, как и у Пушкина). Кстати, и большевики меня когда-то давно посадили за рукопись статьи, которая называлась «Духовное освобождение и Русь» – может быть, эта статья еще лежит в сейфе ФСБ?

Итак, если нет общей обеспокоенности судьбой России, то у нас нет общей темы для разговора, так как теистам не интересна или ненавистна культура, а-теистам менее интересен Бог (хотя а-теизм, в отличие от большевистского богоборчества, не борется ни с какими богами).

Но еще важнее: можем ли мы разговаривать как равные? Мы ли школьники перед лицом грозного учителя, который самодовольно усмехается на несмышленных, не освещенных светом истины, пребывающих в мраке заблуждения, осужденных еще до Страшного суда? Если вы пришли к нам с набором аксиом, унижающих все то, что дорого нам, если ни один религиозный проповедник или богослов ни разу не признал равенства нашего Пушкина или Толстого или Лермонтова или Есенина или Даниила Андреева или по крайней мере Вернадского, Ухтомского, Павлова (не в том, что и они посещали храм, а в том, что созидали не только науку, но и плодотворно и глубоко размышляли о жизни и мире), если ваши святые, из которых иные прославились только тем, что не прикасались к женщине или перестали прикасаться к мужчине, неизмеримо более вами прославляемы, нежели наши русские полководцы, воины, путешественники, все вместе создавшие Россию, солдаты Отечественных войн, положившие жизнь для защиты отечества, как мой отец, оставшийся один на Безымянной высоте, чтобы прикрыть отход своего взвода (во исполнение приказа об отходе)?

Если по мнению С. Н. Дурылина «Нельзя на одной полке держать Пушкина и Макария Великого», то можем ли мы разговаривать с христианами не как покающаяся блудница перед Христом, который и может сказать «иди с миром и не грехи более», но не может принять нашу мирскую жизнь вместе и с любовными «стишками»? Или нам только стоять в углу на вытяжку а то и на коленях перед грозными следователями ЧК, НКВД, КГБ (как теисты когда-то стояли, по крайней мере *Азь грешный?*)

«Библия одна заменяет все сочинения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого!» – так зачем их вообще держать на какой-либо полке?

В Библии вся истина! – так зачем культура?

Вот господа, очень непростой вопрос, без разрешения которого диалог между жизнью и Учением о жизни после смерти невозможен.

И невозможно понять, почему сразу же после вознесения Христа не случился Конец света, а произошли еще и какие-то глухие века первого тысячелетия христианской эры, затем Средневековье, Возрождение, Просвещение, Новое время и, наконец, Новейшее...

Да, зачем культура и жизнь?

Я ведь хорошо помню **НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ** удушающего духовного рабства, в котором мы жили, рабство это состояло в одном даже утверждении, что марксизм-ленинизм по существу объяснил и мир и историю и если только какие-нибудь мелкие детали осталось до-объяснять... Если математика закончена, то математику нечего исследовать. Если в сфере мысли все объяснено, то мыслить не о чем. **Вот это «больше НЕ О ЧЕМ» и было сущностью господства марксизма в России!** Но точно такое же господство закончившейся духовной истории насадило и христианство, и человек не окончательно задохнулся только потому, что начались разногласия и расколы, на самой железобетонной почве христианства поползли трещины, невзирая на костры, явились еретики и целые еретические церкви, учения, направления, секты множилось, катары и альбигойцы, лютеране и кальвинисты, англикане и баптисты и «легионы иных *бесовских расколов*» – по мнению "упертых православных" – как мы сможем разговаривать, если православные не разговаривают с «истинно православными», то есть ревнителями старшей веры, не говоря о католиках? Если только Герман Николаевич нас усадит вместе, хорошо, хотя бы посижу чинно и послушаю (надеясь, что в меня не будут бросать камнями, я же ко всем отношусь не только с уважением, но даже с симпатией – именно потому, что я не христианин и верю в то, что «человек – мера вещей», по Протагору. Но разговор только начался, завтрак давно позади, бесов вокруг полно, требуют своего разговора и поклонники **нарратива**.

Духовное, душевное, плотское.

Светский человек или человек околбогословский встает в тупик в сообственности при требовании четких дефиниций (определений) *духовного* и *душевного*, при их разделении. Плотское более понятно, как вещественное, материальное, телесное, однако, если принимать во внимание понятие *плотского человека*, противопоставление плотских потребностей, вожделений и потребностей духовным, и учение физиологии о чувствах и ощущениях, о мыслительной деятельности человека, то становится ясно, что само по себе тело, телесное, отдельно от центральной нервной системы, не мыслит и не чувствует во-первых, а во-вторых, бесосновательно одни из чувств и побуждений, потребностей и "помыслов" противопоставлять другим как низшие высшим, как низкое и низменное высокому. Низменны ли голод и жажда, хотя и справедливо, что "не хлебом единым жив человек" – но чем же он еще жив кроме хлеба? И сказано далее, что «всяким словом, исходящим из уст Божиих.»

Но так как "Бога никто не видел", то «слово, исходящее из уст Божиих» – это метафора, имеется в виду Священное Писание, прежде всего Новый Завет –

несомненно, важная книга в духовном наследии европейского человека, и тем более важная, если верить, что она **богодуховенна**, то есть превосходит и Гомера, и Евклида, и Эхила, и эллинских и римских отцов философии, математики, географии, медицины, драмы, поэзии, истории, права, живописи, ваяния, зодчества... если забыть и Цезаря, и Цицерона, Плутарха и Геродота.. – но разве не они и создали современного человека, умеющего мыслить, то есть рассуждать и создавать новые формы, делать открытия в **области духовного творчества и материальной культуры**, – а все они были еще до Рождества Христова?! И если Бог вылепил человека из праха земного в начале времен, и дал ему язык и способность мыслить, то разве не сам человек – пусть и при посредстве Бога – создал все то, что мы называем культурой, и прежде всего две самые удивительные ее области: математику и поэзию? Именно математика, с ее способом мыслить – не с формулами и теоремами, хотя и они важны – но с ее **способом мыслить и проверять истину, исследовать понятия и отношения между ними** – и создает мыслителя; поэзия дает крылья.

Математику ясно, как и поэту, что духовная жажда и ее плоды – это то, что сопровождает путь художника и ученого, поэтому математик не противопоставляет душу и плоть, он знает, что они соединены в личности так же, как рациональные числа и иррациональные в полноте вещественных чисел.

Если недостаточно для полноценной жизни одного только хлеба, то так же недостаточно даже Библии в целом; Есенину недостаточно было рая, и всякому подлинному поэту недостаточно всей письменности, из которой изъяты стихи. Но спор не принесет нужных плодов, есть люди, которые не нуждаются в музыке, не нуждались и не слышали ее Достоевский и Толстой, но иные и от рождения не слышат, другие не видят, мы не должны их порицать, они не хуже нас, но судьба ограничила их восприятие мира, хотя бывают "слепые музыканты" (Короленко), бывают даже музыканты глухие, я знал выдающегося музыканта, слепого от рождения. Математик для обозначения полноты человека привлекает понятие n-мерности пространства, в природе можно *дорогу* уподобить пространству одномерному (как и дерево), а *огород*, пашню, луг уподобить двумерному пространству, но мир в целом, в котором мы живем, трехмерен. Большинство людей живут как деревья, и хотя нельзя этим человека корить, но лучше все же быть разносторонним. Почему лучше? Боюсь, что у меня «не хватает бумаги» и всех черновиков всех великих поэтов, чтобы ответить на столь как будто простой вопрос, почему лучше быть цветущим садом с деревьями и полянами, нежели одним ввысь растущим деревом, почему еще лучше включить в себя не только то, что сбоку, но и что вверху и внизу. Вот также нельзя доказать, что апостол Павел, великий учитель христианского мира, как и другие апостолы, лишенный благодати божественной мира, не зная музыки, не зная волнений любовной страсти, "похоти плоти и похоти очей", великолепные античные скульптуры, которыми гордятся все, кто не лишен зрения, назвавший *идолами*, быть может, и *блажен*, как и другие *нищие духом* (ибо "блаженны нищие духом"), но он нищ духом в буквальном смысле этого слова, и он несчастен.

Но спор между поэтом и христианином невозможен, невозможен спор

между Пушкиным и митрополитом Филаретом, но невозможен и спор и между всяким мирским человеком, живущим в мире и для мира, и христианином, живущим в мире аки уже на небе (в духовном воображении) и живущим не для семьи, друзей, культуры, родины и труда, но *для Бога*. Спор невозможен не по нашей вине. Когда священник, отпустивший последние минуты умирающего Пушкина, сказал, что *Пушкин умер как христианин*, он обозначил пропасть, нас разделяющую. Человек может стремиться стать поэтом, ученым, возлюбленным, музыкантом, гением, он может стремиться просто стать хорошим человеком или преодолеть нечто пагубное, например, трусость, малодушие, не всегда и не всем удается достигнуть того, к чему они стремятся, но как прекрасно звучат слова, обращенные к солдату, что он умер героем, или к матери, что она умерла, оплакиваемая своими любящими детьми, или к отступнику, что он умер, будучи прощенным, или к отвергнутому или непризнанному гению, что он умер, преодолев наконец малодушие и глухоту черни! А как умерла знаменитая ведьма Жанна Д*Арк, умерла ли она как христианка? Кто-нибудь из тех, кто провожал ее в последний путь, ликуя ее смерти, сказал, что она умерла христианкой?

Вот если при кончине кого-либо из тех, личность которых исчерпывалась сим понятием «христианин», будет когда-либо сказано, что он умер не как христианин, но как ученый, или как верный муж, или как просто достойный человек, или как человек бескорыстный, вечный труженик... если о христианине скажут, что он наконец-то, хотя и на смертном одре, стал поэтом, то этим будет приравнено звание поэта к званию христианина и тогда я признаю, что между христианами и не христианами возможен небесполезный разговор на равных. Но боюсь, что не только метафизическая пропасть нас разделяет, но и партийная мелочность. Стать мастером, подняться в литературном мастерстве пусть не вровень с Пушкиным, но в те же заоблачные выси – мечта всякого поэта или прозаика, сравняться в **понимании** хотя бы с Розановым, в художественности с Пришвиным или Буниным – разве не цель совершенствования? Но христиане, потаенно желающие Пушкина унижить и сегодня, Пушкина, который всегда был недосыгаем для них, упиваются тем, что он только в смерти с ними сравнялся: **они то всегда владели всей истиной, он приблизился к ней только с последним дыханием.**

О чем же нам разговаривать?

Когда-то, в школьные годы, я с удивлением читал о всяком русском классике науки и литературы, особенно о тех, кто явно "не боролся с царизмом и не выступал против христианства", что все же к концу жизни он осознал свою отсталость, а если не успел осознать, то собирался, но смерть помешала... Не то же ли и о Пушкине? Советские зачислили его в декабристы и революционеры, в жертвы кровавого царизма (повесившего за весь девятнадцатый век пятерых), антисоветские – в того, кто при последнем вздохе вошел в церковь. (Хорошо хоть, не говорится это о его друге Вяземском).

Я не надеюсь на то, что разговор между монахом и поэтом о судьбе России и о предназначении поэзии возможен, пока современные богословы плюют даже на сочинения философов Религиозно-философского общества, пока поэты хотя читают монахов (как Пушкин читал их), но не читают поэтов

монахи. (Правда, наше время вносит сумятицу даже в неколебимые умы, уже и монахи сочиняют стихи, пока только божественные, и монашки поют романсы, тоже божественные, но если я в своем журнале Мъра печатал когда-то стихи *церомонаха Романа* и статьи богословов, то вдруг и в Вестнике патриархии напечатают мои стихи о несчастной любви?)

Никак не успеть сказать всё ... Обществу навязано убеждение, что как служители церкви составляют *духовенство*, то так и мысли и чувства верующих, сочинения их – это область *духовного* (не говоря уж о Библии), а литература и музыка – это либо терзания плоти, либо терзания падшей души, духовного в романах и полонезах нет, тем более в стихах, тем более в стихах и романсах, посвященных любви, а следовательно, земная любовь – исключительно *недуховна!* Так неужто нет духовного в мире и в жизни и жизнь только матерьяльна? И те чувства, которые испытывает влюбленный, неизмеримо ниже тех чувств, которые потом, затворившись в монастыре под именем, скажем, Игнатия, и проклиная неверную возлюбленную, испытывает монах? И ниже чувств его, умершего для мира, любовь матери к своему ребенку? Или Мария, родившая младенца Иисуса в Вифлееме, испытывала не те же чувства, что Мария, родившая младенца в России (о, не вознегодуют ли правоверные на безмерное богохульство такого сопоставления?!). Но разве та Мария уже не оставалась человеком? И разве Мария, родившая человека, а не Бога, не испытывала скорби, когда ее сына посадили в тюрьму и в сумасшедший дом, и не было уверенности, что оттуда возможно вернуться? И разве не похоронила она перед тем сначала брата, потом мужа, а в конце жизни мать и отца и младшего сына? Но по исторической привычке *духовны* только «лица "духовного" звания» или те, кто не рождал детей и не хоронил их, не целовался с женщинами, не строил баррикады и не писал крамольных стихов, не вставал на царя и не сомневался в существовании Бога.

Наши руки пахнут землей и порохом, мы воины и земледельцы; наши руки пахнут женскими духами, но чаще потом от тяжелого труда, а то и пеленками, ибо нам надо восполнять и хранить наш народ – так одинаковы ли *духовные традиции* у нас и у христиан? (Но поелику мы не сомневаемся, что и наша жизнь не менее в духе, чем у лиц духовного звания, то надо ли сверять наши усилия ума и души, да и телесные усилия, надо ли сверять **познание, творчество и труд** – любящее и трудное преобразование мира – с **верой**?).

Мы насадили огород и сад мира, и хотя алчные его истоптали и изломали в своем низком старании захватить плоды нашего труда только себе, но ветви яблонь и слив свешиваются за изгородь, которою они огородились, и *нам передают крошки со стола, который мы и накрыли...* И хотя мы ропщем вполголоса, но еще живы, и то слава Богу...

Но еще скажу о нравственности применительно к вере, и пора замолчать.

Итак, многие полагают, что религия является основанием нравственности, и вот Лев Толстой пишет нравоучительный роман о воскресении *падшей* по проповеди покаявшегося князя, вычитанной им из евангелий.

Достоевский пишет роман о воскресении *разбойника* – но кажется, что хотя и призывает блудница, его подруга, на помощь его воскресению евангелия, но воскрешает его не небесная проповедь, а самая земная любовь.

Последний же роман о воскресении заблудших братьев Карамазовых Достоевский дописать не успел, но по замыслу его Алеша должен был из монастыря уйти прямо в народовольцы и бросить бомбу в царя... жаль, не узнаем, успеет ли он перед смертью, покаившись, вернуться в монастырь, и потому не узнаем, ушел ли и сам Достоевский из народовольцев в монахи. Многие мне в нем подозрительно, как и в Толстом. Дело в том – о, дело вовсе не в том, из чего бьют масло в ступе своих рассуждений критики, философы и историки литературы, но в том все дело, что родились эти два великих писателя слепыми и глухими, только что говорящими, не слышали они даже ту музыку, которую слышал глухой Бетховен, не видел Достоевский за тесными дворами чиновничьего Петербурга роскошь его дворцов и соборов, не увидел и Толстой всей глубины любящего женского сердца – вот Розанов в статье о Пушкине покаялся за них за всех пред несчастною оставленною Пушкинскою Наташей, хотя сам не сумел увидеть... что-то и он не увидел в Полине, лучше она и глубже, чем им всем представилась, а именно христианство отвратило их от женских мечтаний, замкнуло слух, зрение, сердце.

Но является ли Новый Завет основанием нравственности, которую искали Толстой и Достоевский (а почему-то у Пушкина никто по нему не живет, и хотя прошептала Татьяна «я буду век ему верна» после того как «я **другому отдана**» – но этому другому ее отдавал не апостол Павел и не Христос, а родители (согласно еще Аввакумовскому Домострою).

Сведущий в Священном Писании возражает на страницах первого номера: «нет, религия – это **не** нравственность, это **Горение духа**... Да уж какая там нравственность! (на которой почему-то **не** настаивает **ни один** из образованных богословов, только батюшки в храмах, поющие службу по установленному канону). Мы строили (кроме меня) коммунизм, царствие божие на земле, не достроили и бросили по дороге, сектанты христианской церкви, как она – секта церкви иудейской; они, христиане, строили царствие божие на небе ("уже близ, при дверях" – две тысячи лет уже близ, правда я и не тороплю)... и вот спорят, и я ввязываюсь в этот спор, а о главном не говорят, о катакомбах убитых при их строительстве... Какая, действительно, уж тут нравственность?! Одно воистину горение духа! И я не могу, как Рахиль, забыть и утешиться, ибо "пепел Клааса стучит в моем сердце", и я верю, что еще спрошу, не за чужую ли жестокость и вопиющую безнравственность и смердение духа погиб мой отец. Я знаю, что еще научусь говорить и писать, зря ли мне дано видеть и слышать, чуть ли не единственному уже в России, кто читает книги, а не только их пишет, кто еще слушает музыку, видит дворцы и храмы и смотрит на закат, копает землю и кормится от пота трудов своих. **Молитва крестьянина – это его труд, и я все еще молящийся.**

Но вот уже меня спрашивают, договорились ли мы, есть ли Бог, и вправду ли я а-теист? Представим себе, что я невеста, ожидающая жениха, и стою в ожидании, и вижу... Верю ли я, что женихи существуют? Да, верю, и я их видел. Но не за всякого жениха я пойду под венец, и тому, кому отдан **насильно**, я верен не буду. Я не сомневаюсь, что Бог существует – мой собственный Бог. Но все же мы не должны торжествовать в утверждении своего личного Бога – ибо и бесы знают, что Бог есть, знают, но трепещут.

Да, теперь мне пора замолчать. Но, может быть, христиане согласны поговорить с теми из нас, кто призывает их говорить на равных, пусть они с их **Книгой** в руках, как мы с нашими **Книгами стихов и теорем**?

А я поговорю уже не о духе, а о **культуре**, в частности, о литературе – и если даже **литература** – это **Плоть**, но не иное что, как **Плоть Духа**. По отношению к духу это **плоть**, по отношению к человеку это **дух**. А тот беспредметный (бесплотный) **дух**, который насаждается чрез теизм, даже если это запах цветка, то запах, у которого нет самого тела цветка, его очарования; музыка, не производимая инструментами, а словно бы слышимая во сне; любовь, которою томится подросток – но разрешится ли это томление в блаженство благодати или, напротив, в похоть плоти, еще неизвестно (что же, по велению Святого ли Духа маслом мазали монахи бенедиктинцы отводимых к костру еретиков?)

НАРРАТИВ.

Слово дурное, не выговорить и не понять.

По происхождению оно означает *повествование*, но в философии постмодерна это значение переименовано, как и в каком направлении, объяснить можно только при помощи математики (увы, приходится верить алгеброй философию, да и невозможна философия вовсе без алгебры).

В математике есть *понятия, утверждения, определения и доказательства* – это ее способ бытия и осуществления. Каждый термин из приведенных обозначает именно то, что обозначает (как и все другие слова в языке... но: даже и то, что не совсем так, обозначает также именно то, что обозначает. Можно сказать, что то, что я теперь пишу, есть следствие **закона тождества**, который можно было бы и не высказывать, он интуитивно подразумевается всяким мыслящим во всяком акте сознания, или же мы стремимся к тому, чтобы установить тождество: так, встречая человека на улице, который нам радостно начинает улыбаться, мы либо узнаём его, либо делаем усилие, чтобы узнать, либо в крайнем случае спрашиваем, кто он такой.

А есть А – вот смысл тождества (или алгебраически: $A = A$).

В математике нет времени и поэтому каждое **A** то же самое, что и во времена Евклида и Лобачевского. Но жизнь – *длится*, и никакое явление жизни не остается неизменным, и о любви, которую, как я думал, испытывала ко мне **N**, я теперь думаю, что она далека от любви – но и это есть именно то, что есть, и каждому, кому это интересно, я мог бы объяснить, что это значит (если только каждый уже не знает этого сам еще более, чем $a = a$).

Определения, в соответствии с законом тождества, объясняют значения новых понятий так, чтобы они были неизменны всегда и везде и у всех, даже и в сумасшедшем доме, даже в СССР, чтобы Таблицы логарифмов не становились ни буржуазными ни социалистическими, и философия оставалась философией, но не была ни православной ни "философией пятой колонны".

То же самое справедливо относительно теорем и их доказательств, так что и китаец знал, что в треугольнике с длинами сторон 3, 4, 5 между сторонами 3 и 4 угол прямой, а не *кому что нравится*, как полагал Лев Толстой относительно красоты.

Чтобы понять смысл *нарратива*, спросим сначала, что же такое художественное произведение, письмо, послание, сообщение, телеграмма? Очевидно, что пишутся они обдуманно, как мы строим дом из кирпичей или бревен, как я строил сарай из досок, как построил я новую баню из "макулатурных листов" старой бани – но построил я именно баню, а не *нарратив*. И если текст не найден в бутылке, брошенной в океан, так что отдельные слова стерлись, то смысл его всем понятен. Относительно же *нарратива* словари объясняют, что это текст, повествование, последовательность слов, подобно тому как стихотворение – «соединение слов в наилучшем порядке...», причем «соединение слов наилучших по смыслу и звуку...» Это не совсем точно, но эта метафора во всяком случае поясняет, что не любой «нарратив» является стихом, и также, что не все наши разговоры, письма, телеграммы, стихи и романы поднимаются до *нарратива*, тем более до *симфонического нарратива*, как у Пелевина (о чем пишет Т.М. – и я благодарен ей за статью, теперь мне не надо читать его симфонию. Правда, чтобы я не читал романа Леонова «Пирамида», В. Овсянников не писал о нем даже статьи, он только сказал мне, что читать его не надо, и вот зато у меня есть время на объяснение, что стоит читать, а что нет. Статью Т.М. прочитайте, а Пелевина читать не надо, как и советских газет, как, может быть, и анти-советских, как и всяких, как не надо смотреть телевидение, особенно сериалы, даже те, где играет А.Т. Все, что вам надо, вы можете найти в интернете, и то, что не надо, тоже, смотрите на детей, от них хуже не станет. (Розанов пишет, что в христианстве нет улыбки ребенка, что это философия умирания, – но в христианстве нет и детей, некому улыбаться, Спаситель, даже ребенок – маленький старичок – пишет Розанов).

Но пора объяснить происхождение *нарратива*. В семидесятом году из советского общества, которое, по тогдашнему мнению А. Зиновьева, было сумасшедшим домом, меня посадили в тюрьму, оттуда перевели в психушку, так что круг замкнулся. Утром мы клеили из бумаги коробочки, днем гуляли по коридору, выводили нас и во двор на прогулку, после обеда мы шили мужские трусы, женские шить нам не доверяли. Потом я работал дворником, и свободно разгуливал по двору и даже приставал к лицам женского пола, потом меня определили в библиотеку к Марине (а там была шикарная до-революционная библиотека – сумасшедшие водились еще и в царской России, например, Чаадаев. Я, конечно, хотел, чтобы меня у нее оставили, но через три года меня из сумасшедшего дома выгнали за *нестандартное* поведение). Так вот, один знакомый шизофреник собирал клочки бумаги с обрывками на них текста, он находил их в коридоре и во дворе, и складывал последовательно, по мере того как собирал. И я теперь понимаю, что каждый отдельный клочок – простой нарратив, все вместе – *нарратив симфонический*. Иногда автор нарратива эти обрывки фраз и слов сочиняет, однако старается предвзятость максимально убрать, чтобы читатель додумывал сам все то, что ему надо. Идеальный нарратив – переписка двух на китайском и французском, высший пилотаж – когда они оба не знают ни того ни другого.

Ну и хватит с них! (У меня была подруга в деревне, трех лет от роду, мы с ней прогуливались, держась за руки, когда я ей надоедал, она убирала руку и говорила гордо: *Ну и хватит с тебя!*)

Заключение. 20 февр., 15-49. Многие из нас несчастны, то читателей нет, то денег, то несчастная любовь, то нет даже работы (к счастью, в апреле я уеду в деревню, там работы мне хватит надолго). Работа, впрочем, особенно без оплаты, есть всегда даже в городе, надо, кстати, вымыть пол...

16-49. Вымыл пол и сходил в банк, отослал тысячу рублей той глупой девочке, которую десять лет назад в октябре я нашел у околицы села в галошах на босу ногу, и вот у нее уже ребенку скоро три года, и хотя она устроилась на работу, но деньги ей обещают только к восьмому марта, а ребенка надо кормить; а глупая она потому, что и у ее мамы третьему ребенку скоро три года, и этого тоже надо кормить... нет, не поэтому она глупая, а что угораздило ее родиться у такой мамы... да и не в том тоже дело, мне и маму ее жалко тоже, не хуже она других, но жизнь у нее складывается неудачно... А пишу я об этом свой "нарратив" не чтобы похвастаться, а чтобы показать, что люди, не занимающиеся "спасением своей души", хотя бы спасают чужую голодную падшую плоть. Вероятно, вы догадались, что и со мной что-то не так, тон нарратива тоскливый, но это у меня "кризис среднего возраста", он уже начал проходить, в пятницу я иду в баню к товарищу, бывшему ученому, который работает истопником, топит дровами для олигархов, вот в олигархической бане я и пропарюсь. А в субботу пойду в театр. И хотя меня и N и A.T. отвергли, но зато отнесу я книги о несчастной любви еще к третьей, эта меня *пожалеет* (и те две прекрасны и изумительны, я их не укоряю, так уж сложилась и их и моя жизнь – и мне не вместить все жизни в одну, и им не вместить меня). Третья же меня *пожалеет*, потому что и в прошлый раз (после тюрьмы, 12 лет назад), когда она увидела вдруг меня сидящего в первом ряду у сцены (а она уже спряталась в бутафорской светлице, где было такое бутафорское окошечко), то она выглянула в него, не веря. А после спектакля, когда мы держались за руки, она вдруг заплакала. Потому что мы с ней дружили, а дружба жалостливей любви.

После заключения.

Но чтобы я был понятней читателю, сознаюсь ему, что все это лишь часть правды. И помимо бани я счастлив. Я хожу в театр и филармонию и на концерты, и на заседания Философского общества, там мы пьем прекрасное вино. У меня много всяких курток и разных ботинок, и хотя они протекают, но нынче вода в ботинках почему то теплая и мне не холодно. Картошка у меня растет в огороде, да и тыквы я еще съел не все, хотя их и раздаиваю друзьям и голодающим несчастным девицам. Володя А., который думал, что я написал 28 гениальных страниц, к несчастью умер, но В.А. тоже меня иногда хвалит, хотя Ю. не хочет читать. *И другая тоже...* Но не думайте, что мне так важна литературная слава, я раздосадован и несчастлив только судьбой России. Только из-за нее я боюсь умереть раньше времени. И хотя вся моя уже не такая короткая жизнь была привязана к женщинам, и их внимание и дружба наполняли мою жизнь блаженством (способность с ними дружить – моя самая счастливая способность, еще больше стихов) – но ведь и Россия – женщина! И я несчастлив больше всего ее судьбой. Друзья мои и родные тоже несчастливы – но блаженны. Что тогда нам всем еще надо?

Редактор

26 февраля 2017, воскресенье. **Сущее** – это то сложное, что УЖЕ существует, состоя из нескольких более простых сущностей. Но **Бытие** включает в себя и *протекающее* (как ветер и метель в феврале) и *становящееся*. В сущем мы обнаруживаем соединение **логического** (порядка, сообразности, целесообразности, критерия правильности и верности, Меры); **эстетического** (*красоты, гармонии, порядка, правильности, ...*); этического (нравственности, должного, понятия о добре и зле, любви и сострадании, *заботы*). Бытие, становление, жизнь – понятия одного порядка. В становлении фиксируется направление бытия, цель его и целесообразность, совершенствование. Бытие обозначает существующее как таковое, почти отвлеченное от времени и смысла, но не тождественное сущему как застывшей форме бытия. Жизнь – более точное, более богатое наименование того что есть, протекает, становится, но включает в себя чрезмерно много явленного, происшествий, деталей, хаоса. Да, есть еще и **судьба**, и как нерв жизни, ось ее, и как сама жизнь в ее подлинности, осмысленности, очищенности от мелкого, незначительного...

Итак, художник, философ, ученый, деятель – Творец – имеет дело с материалом, которым является либо жизнь и существование, либо одна из сторон ее, например, материя мира, вещество, плоть – мрамор, гипс, картон, дерево, бронза, камень, снег и лед... глина, пластилин, резина, фарфор, фаянс, воск... и немало еще плотного... Писатель имеет дело с материей жизни в форме суммы происшествий, связывая их в целое, пишет роман... Живописец воспроизводит на холсте, бумаге и дереве зрительные формы, на глине, фарфоре, резине, камне и т.д.

Но я не занят ответом на вопрос, что такое литература и искусство, это у меня краткий очерк того, чем занят Я, о чем я размышляю, чем озабочен. Взаимозависимы ли культура и жизнь? Жизнь отображается в культуре, копируется ею, но часто входит в культуру в преображенной форме. Но культура и сама является частью жизни, самостоятельна в своей причине, назначении и осуществлении. Житейские происшествия НЕ содержат в себе понятия о числе, не содержат **количества**. Количество – это способ восприятия и способ созидания. Например, дом может быть построен из кирпичей и бревен, даже из снега и земли, но нельзя сказать, что бревна – это то, из чего строится дом, что логическое – это то, что связывает явления. Соединение логического, эстетического и этического созидает мир, но они независимы от мира. Они не умозрительное следствие мира, а причина его. Они появляются не ПОТОМ в мире, когда человек, появившись, начинает рассуждать, а изначально. Так и тяготение не возникает вследствие материи... Но так и **любовь**?!

Культура и мир (бытие, существование, становление) подобны, они являются синтезом этического, эстетического, логического.

Развитие идет двумя путями, один из них – **совершенствование**, восхождение. В искусстве слова, живописи, танце, пении это очевидно, помимо вдохновения необходимо умение, оно усиливается при многократных повторениях, в этом суть ремесла. *Мастер и умеет и вдохновлен.*

Но громадное значение и в жизни и в творчестве имеет **преодоление**.

Болезнь – это разрушение и нарушение правильного движения сущего, здоровье – это и исходная норма, предшествующая разрушению, и преодоление порчи, разрухи, искажения, дисгармонии. Болезнь – это и нарушение логики, красоты (гармонии), нравственности.

Но этим не исчерпывается понимание отношений между нормой, здоровьем – и патологией (дисгармонией, болезнью). В мире понятий, ставшего, застывшего, осуществленного – все именно так, но в меняющемся мире все сложнее, развитие и рост включают в себя и норму и разрушение нормы, здоровье и болезнь. Рост и развитие связаны с разрушением, даже безобразное может оказаться следствием развития, примеры может найти каждый и в растительном мире и в человеческом...

Развитие культуры и преодоление старых форм, поставление на место классической гармонии **авангарда**.

Что такое Авангард и чем он вызван? Ну, как и рост, развитие, возрастание – не обязательно искать некий осмысленный набор слов, который бы словно отвечал на мой риторический вопрос. Тяготение – способ существования материи (вещества). И этих слов достаточно. **Развитие**, как и всякое изменение, что-то улучшает, что-то портит, не зря говорят, что три переезда равны одному пожару. *Развитие* (нейтральнее говоря – *изменение*) сопряжено и с совершенствованием и с разрушением гармонии и формы, с восполнением здоровья, увеличением жизнеспособности и силы – и болезнью (даже говорят: *болезни роста*; таково часто отрочество, иногда юность... такова и старость – если считать и ее развитием...)

Почему и зачем? Как и с тяготением, как и с любовью (всемирным притяжением полов), можно не искать объяснений, а ответить так: живое существо содержит в себе причину, необходимость и цель ее, и план изменения, *роста* (нагляднее всего это у растения). Вначале это *сила произрастания*, заключенная в существе, затем – *сила увядания* (внутри него или во вне?)

Помимо врожденной идеи изменения (инстинкта) в человеке есть еще воля. Любовь – это синтез полового инстинкта и воли, встроенного в плоть бытия биологического механизма и духовной идеи, включающей в себя почти всё (красоту и стремление к ней, жажду творчества, сострадание, страх смерти, жажду заботы... и многое другое... бесконечность...) (Глупость – это односторонность, одномерность и человека и его способа мыслить, чувствовать, жить, стремиться...)

Итак, благополучное **детство** с его прекрасными порывами и возвышенной жадной красоты, дружбы, заботы, сострадания, сочувствия, игры и творчества, *познания*, с его соразмерной силой самоутверждения и общения и сочувствия – например, в игре, товариществе, в семье, в любви к родителям – начинает рушиться и заменяется отрочеством и юностью, в которых самоутверждение и жажда обладания начинают преобладать, и **пол** как всеобщее свойство заменяется на пол как индивидуальное. Литература начинает преобладать над строительством и зодчеством. Не выделяя многие частные формы, от детства и отрочества переходим к **Юности** – поре отрицания и разрушения целого.

Юность подобна эпохе **авангарда**.

Каковы его характерные особенности?

Во-первых, **алогизм**.

Многомерный языческий мир неожиданно заменяется (грубо, насильственно, разрушительно) миром *одномерным*. **Добродетель** и **Долг** (а они понимаются как мера отношения к другому человеку и человеческому обществу, и даже к богам как к абстрактной форме человеческих отношений).

Алогизм – самая характерная особенность и христианства и авангарда (как формы культуры). В общественном движении христианству подобны Революции, в частности, марксизм и большевизм. Логика словно бы поднимается к своей вершине, вырабатывает понятие Предела, совершенства, независимости от собственных законов и ограничений, человека заменяет сверхсуществом, Богом, порядок вещей, их обусловленность, зависимость, подчиненность «законам природы и математике заменяет чудом, которому закон не писан, в котором желаемое преобладает над действительным».

Возможно, предлагается в мировоззрении компромисс: источником чуда является сверхсущество (Бог), но и Сын Божий, Богочеловек Иисус Христос, причем способность чуда может дароваться и избранным людям (апостолам и святым). Далее, источником чуда является и Проти́воБог, Дьявол, Антихрист, и способностью к чуду наделяются «все кому не лень»: *«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных»*. (От Матф., гл 22, 24).

В основе большевизма также упование на **чудо**, упование на то, что «разрушив мир насилия до основанья», перебив всеродне образованных и талантливых, да и всяких умников, мы построим царствие божие на земле (но и христианство обличало *книжников* и сожигало *умников*).

Разрушив логику и поставив в основание мировоззрения *алогизм*, христианство взялось за разрушение **эстетики**, красота подверглась поруганию и поношению (*"улицы Афин уставлены идолами"*), тяготение к красоте оскорблялось как *"похоть плоти и похоть очей"*. Чем похваляется апостол Павел, к чему стремится христианский фанатик? Похваляется немощами, стремится к язвам, стигматам, бичует и истребляет плоть, посыпает голову пеплом, античную физическую культуру истребляет и запрещает, тело скрывает как нечто постыдное и мерзкое, прославляет безобразное. (И в маоистском Китае преследовалась женская красота.) [Странен Российский 19-й век. Игнатий Брянчанинов проклинает притяжение любви к женщине, но вся русская поэзия (особенно Романс ее прославляет. Честь и гордость в христианстве подвергаются поношению, но русские гении даже рискуют жизнью, восставая на их защиту. Красота низводится до похоти плоти, а Достоевский устами князя Мышкина (которого изображал как якобы Иисуса Христа) говорит, что *красота спасет мир* и сие подхватывает Вл. Соловьев, который, правда, зато пошло и отвратительно обвиняет в грехе гордыни и не-смирения Пушкина. Монашество заботится о послушании, русские философы прославляют свободу, которую, якобы, ниспослал Христос...]

Но дальше... Нравственность и **добродетель** низвергаются, вместо них поставляется вера, в основании мировоззрения – антигуманизм (ибо человек – источник всей пагубы, и первородного греха, и тления, и гордыни, и конца

света, и смерти, и скверной жизни...) Поиски смысла жизни и ее содержания отвергаются, *жить следует как умереть*, мир не исправлять, он уже пал невосвратно, человека не исправлять, не учить, культура и науки внушены бесами (особенно искусство и математика, и поэзия... и все остальное...) Вот почему начинаются бесчисленные преследования человека и целых народов, но так как преподобный Игнатий готов спуститься в ад за разбойником, на челе которого светится образ божий, то монахи-доминиканцы помазывают темя еретиков маслицем, когда влекут их связанными на костер).

Христианство без-нравственно (вне... над...)

Итак, отвергнуты логика, этика, эстетика, поиски смысла жизни (смысл жизни в смерти и последующем воскресении в новую сверх-жизнь).

Но и в большевизме то же. Авангард разрушает старую эстетику, логику, этику (но и их влекут на костер, и даже не мажут маслицем. Перечитываю о злочлечениях Стерлигова со товарищи: словно в гигантскую бочку набивали миллионы людей, почти и всю интеллигенцию, неисчислимо поэтов, ученых, художников, писателей – и в Северный Казахстан, на Колыму, во льды, в землю... Смотрю и вижу, как Сталин и Гитлер истребляли мой народ – но вижу и современную любовь к Сталину. Так возможен ли диалог и с кем? Увы, понимания, нет, даже *сеятель очей* бесполезен, пустыня и мрак!

Всякое вселенское отрицание новой веры было подобно тому, что почва на огороде снималась всецело и куда-то ее выбрасывали, то в иные страны, то в монастыри, на Колыму, во рвы и в костер, и возвещалось Новое небо. *Отныне*, говорили, *все новое!* И наступал плач и скрежет зубовный, пока сквозь камни не прорастала отвергнутая культура... Горение ль духа? Или серное пламя? Правда или лицемерие, **кабала святош!**

... но... продолжаю. Появится и надежда, если не только ждать и надеяться, но и вскапывать огород...

Преодоление. В детстве и отрочестве я болел много и сильно, так сказать, во всю *силу произрастания*. Разразилась чахотка и никак не поддавалась лекарствам. Проболел я три года, в 14 лет она стала усиливаться, я понял, что надо преодолевать не только болезнь, но и логику, и однажды солнечным днем возгласил: *отныне не буду ни болеть ни лечиться!*

На рубеже веков история повторилась, я лежал в больнице в ожидании смерти, но еще не были написаны ни «Призвание литературы» ни «Любовь как всемирное притяжение». Встав с одра, я подошел к окну, сие пугешествие заняло полтора часа. Глядя в звездное небо, я сказал себе, что сегодня ночью поправлюсь. И словно от звезд протянулось ко мне тепло неба. (И теперь только «страдания юного Вертера» омрачают мне жизнь.)

Но, разумеется, болезни, страх смерти, страх жизни, сомнение в своем творчестве, малодушие, усталость, иссякание силы произрастания, тьма внешняя и тьма внутренняя мучают меня по-прежнему.

И вот я начал искать новое небо и новую землю не через преодоление, а принимая как должное бедствия.

Сначала смирился с болезнью. Ночью, когда мне плохо, я просыпаюсь, делаю зарядку и сажусь за компьютер. Днем, если не могу, иду за хлебом,

говорю комплименты прохожим девушкам, читаю стихи и «тексты». Вечером хожу в театр и в гости. И что-нибудь, по мере сил, стараюсь сделать хорошего тем, кому еще хуже. Впрочем, иногда и тем, кому хорошо, им тоже приятно столкнуться с добром в суете бега, тем паче что об добро нельзя ушибиться. Болезнь помогает сосредоточиться, она подобна тому, как я сидел в тюрьме 13 лет назад. Разве я на ту тюрьму сетую? Да это была еще одна школа в дополнение к прежним!

Кстати, иных из нас мучает страх оказаться в тюрьме. Лучшее средство от этого страха – воистину в тюрьме оказаться. Тогда страх исчезает, появляется надежда и ожидание. И действительно, когда-то заканчивается срок заключения и тогда наступает блаженство свободы (как и выздоровление после болезни). Но что существеннее всего помогает преодолению невзгод? Уподобление себя другому, близкому, родственному, даже более того – *отождествление*. Ощущаешь себя частью рода, народа, родины, ее живой культуры и личности. Любовь к детям и детству подобна тому возвышению, которое испытываешь во вдохновении творчества, во вдохновении любви к женщине. Но, скажут мне, не то же ли в монастырской жизни, в *растворении в Боге для спасения своей души*? Нет, противоположно. Забота о человеке, особенно о ребенке, умиление прелестью детства наполняет радостью, а не самопоруганием. Восхищение теми талантами, тем словно парением детских душ, которое в их пении, танцах, игре, памяти, ловкости, умениях, наполняет гордостью за человека, а не презрением к нему, не злобой и ненавистью. *Человек омерзителен* – вот в чем символ христианской веры. Учитесь самопожертвованию у матери, а не у монаха, у дитяти, у влюбленного, а не у фанатика, учитесь и любви к другим, а не к себе, не к своей душе, спасению которой посвящена часто никчемная жизнь верующего.

О смерти говорить не буду, я еще к ней не готов, но будем брать пример с наших гениев, которые ее преодолели.

Поэт часто сетует на течение времени, на быстротечность расцвета. Но почему я не страдаю от того, что «не буду больше молодым»? Я всегда любил осень, и раздолье ее, но и сдержанность в проявлении чувств, старался ли я преодолевать время? Уходит молодость, красота и сила – но страдает самовлюбленный, живущий для себя, щедрая Природа не замечает увядания, переливаясь в плодоношение осени. **Жизнь для других** – вот в чем истинное преодоление небытийного холода. Подлинная религия крестьянина состоит в любви, труде и творчестве, переливаясь в детей и внуков, в свой род и народ, мать и бабушка не успеют заметить смерти.

Покаяние. Но, может быть, и впрямь страшно перечитывать "свою жизнь"? Да, глупостей и у меня было много, хотя раскаиваться в прошлом не смею, оно было все удивительно, воистину я – баловень судьбы! Да, бывал неосторожен, заносило меня на поворотах судьбы, мало заботился о других – но осью моих влюбленностей была «похоть очей», в ней я раскаиваться не буду, и жажда милосердия. Да, бывал неосторожен, два года назад выронил дар, которого я и не был достоин, – но тогда я надеялся, что можно любить почти бесплотно, мы позволили себе смотреть друг на друга влюбленно, но не

смели поцеловаться... Да, наши *влюбленные взгляды* огорчили бы наших близких, если бы они их увидели, но... в ангела превращаться я еще был не готов. И поэтому не стираю ни одной строки своих прошлых романов, ни с N, в которую я влюбился как в ученицу и дочь (и мне всё хотелось носить ее на руках) или даже как в птичку, выпавшую из гнезда (она была несчастна, чувствовала себя несчастной, мне ее было мучительно жаль и я хотел помочь ей, и подумал, что, влюбившись, помогу ей действеннее). Ну а раскаиваться в том, что я влюбился в Анну, очаровавшись и умилаясь ее совершенству, ее детской прелести (хотя она была не ребенком) нельзя и потому, что я в нее НЕ влюбился, я сразу же ее успокоил, сказав, что влюбляться в нее не буду, а ей показалось на минуту, что *«вокруг меня одни чудеса»*, как она сказала... Христиане к тому, о чем я пишу, относятся, конечно, плохо, они стремятся к бесстрастности и бесчувственности – нет, я не хочу быть ни деревом в Эдемском саду, ни листком на Древе Господнем. Возможно, не надо об этом и писать – но у меня еще продолжается спор, который во мне ведет мой девятнадцатый классический век и моя античность с европейским Средневековьем, и со всеми своими глупостями и слабостями я – лучше его!

Роман о Христе. Взаимопроникновение литературы и жизни гораздо больше, чем обычно думают, почти каждый пишет о себе роман, а жизнь его редактирует. Жизнь Иисуса Христа представлена в Новом Завете и в бесчисленном количестве книг, но поучительно сравнение Сверхсущества и частного обиденного человека. Мы и все отчасти друг на друга похожи, и литературный Герой, является ли он героем Священного Писания, «Богодухновенной книги» (по мнению верующих) или «Боговдохновенной книги», то есть написанной людьми, но по вдохновению от духа Святого, или же написанной так, как и наши все романы, то есть по вдохновению, ниспосылаемому музами поэтам или богами пророкам – является для нас эталоном, как Дон-Жуан, Дон-Кихот или Настасья Филипповна... Поучительно сравнение каждого из нас с обиденными или сакральными героями светской или сакральной литературы... тем более что в юности девушки любили меня сравнивать то с князем Мышкиным, то с Дон-Кихотом, то и с Христом (на которого, по моему мнению, я совсем не похож).

Прелести мира для меня были сосредоточены в девушках, в культуре, в природе, равновероятно меня можно было встретить гуляющим по городу или в Летнем саду, сидящим в театре или на скамеечке около прелестницы.

Да, сидели или гуляли мы немного не как другие, вместо объятий и поцелуев нас связывали вдохновенные речи, взгляды и восхищения. Я восхищался ее красотой, она восхищалась моим красноречием. Но это и была та самая любовь, о которой говорят поговорки, что женщина любит ушами... ну а я ее любил очами.

Что же тут общего с Христом? Я сочинял стихи, в юности совсем неважные, потом лучше, но, кажется, и теперь не лучше других современных поэтов – увы, увы...

Чудеса я совершать не умел, поэтому логику и не пытался преодолеть, изучал математику, преподавал ее и даже написал Учебник математики. Так

как я стремился к тому, чтобы обучать и изменять сначала человека, а потом и даже те книги, которые он пишет, то можно сказать так, что я стремился к тому, чтобы стать Редактором во всеобъемлющем значении этого слова, то есть мечтал в конце концов начать **редактировать мироздание** – вот поэтому я и спорю и с христианством и с марксизмом и с буржуазным обществом потребления. Недавно я понял, что психологически я отчасти подросток, отчасти ребенок. В последнее время я пристрастился к представлениям, в которых участвуют необыкновенные дети, которые считают, поют, танцуют, декламируют стихи и делают это настолько самозабвенно, что сердце мое улетает вслед за ними. И их разговоры о жизни удивительны и прекрасны. Вот одна девчужка лет пяти меня покорила, она хочет ходить по следу за преступниками, и как его найдет и изловит, будет *сажать его в клеть!* А это как раз и есть то самое, о чем я мечтаю. Я хочу научиться писать превосходные стихи и статьи, и надеюсь превзойти в этом отношении многих прославленных писателей и философов – но с огорчением и восторгом увидел, что наши теперешние дети так превосходны, что мне уж превзойти их не удастся. Ну, что ж, не всем играть на сцене, кто-то должен сидеть в зрительном зале и плакать от восторга. *Вот я сижу и плачу...*

Да, кстати, немного добавлю о своем учительстве. Домашние задания я не задавал, я не хотел воровать у детей их свободное время, на уроке надо было усвоить весь материал, с теми, кто не успел что-то понять, я оставался после уроков. Однажды в пятом классе я своей подруге (ну, мы как-то вдруг вдружились друг в друга) предложил проводить уроки вместо меня, она дома изучала параграфы, прошлый и следующий, затем на уроке вызывала к доске, ставила даже двойки (а я сам даже тройки не ставил, боялся обидеть), объясняла новое – лучше меня! На уроке математики мы говорили обо всем, читали стихи, спорили о смысле жизни, о любви. Математика позволяет уплотнить свое содержание, вообще в школе надо и можно (со всеми учениками) пройти весь университетский курс математики (может быть, для этого достаточно даже года).

Пушкин, Пиковая Дама. Ночью ко мне приходят то волхвы, то музы, но утром я почти все забываю, десятую долю только успеваю записать. Иногда записываю ночью, но теряю сон. Пушкин своего рода водораздел, любя Пушкина, невозможно восхвалять рабство, смирение, самоумаление, **в нем воплощена идея человеческого совершенства**, но и многое из того, что я теперь воспринимаю как суетное, то есть тщеславие, честолюбие (но это во мне пока не пропало), сомнение, стремление к успеху, к славе, к богатству, к победе (непреренно к завоеванию женских сердец, к карточному выигрышу, к карьере). Правда, я часто нравился девушкам, но когда не нравился, то отходил в сторону, обращал внимание на другую, в карты только проигрывал, наконец, женившись, тут же поклялся больше не играть и не играл, к успеху по службе не стремился, но, впрочем, и знал, что общество инстинктивно настроено против меня (при том, что меня многие любили и защищали). Вот, например, ни одного разу ни одно Российское издательство не напечатало и не предложило напечатать из меня ни одной странички, а за границу я и не посылал. Я печатал себя только сам, заказывая в печатне за свои деньги.

Я – мистик, верю в судьбу, в предназначение, в некий Замысел, который есть у Высших сил и в отношении меня самого, и в отношении русского народа и России. Что именно я так в них ценю? Русский язык, богатство пословиц и поговорок, оттенков, мелодий, обертонов чувства и смысла, трудолюбие, милосердие, женскую нежность и материнскую любовь, мужскую верность в дружбе, *сосстрадание к тем, кому плохо*.

Я мистик, именно поэтому все еще мое «*сердце будущим живет*», хотя настоящее часто уныло. От будущего – чего я жду? Жду многого – но не для себя, хотя не исключаю какое-то изменение отношения мира к себе. Ну вот, например, Розанова не читали сто лет, наконец наступила его эпоха.

Ах, ушел я от Пушкина – в нем водораздел в мировоззрении, в нем отсутствует коленопреклоненные патриотизм и религиозность, Пушкин – гений человечности, певец человека, а не бога, какие глупости говорить о нем, что он умер как христианин? Он погиб в бою, на дуэли, вот как он умер – на поле брани! Он умер от пули Дантеса, а не в постели, он умер, лежа раненый на земле, приподнявшись на локте и выстрелив во врага. Почему Вл. Соловьев так оскорбляет русского гения, говоря о его несмирении, тщеславии, гордыне? Это христианство устами христианского философа оскорбляет гениальность, которая *не совместна с злодейством!* И то же самое в Гоголе и в Толстом: если бы они, отрекаясь от Пушкина, не отрелись вначале от собственного творчества, я бы на них рассердился, а так им я сочувствую. И от меня отрелись милых две женщины, но я даже думаю, что это справедливо. Надеюсь, что они меня позабыли.

Но вернемся к Пиковой Даме, хотя я и позабыл, что о ней хотел написать. Однородная вода одновременно собрание капель, в каждой из них и вся вода, и в каждой отражается солнце. Классическое искусство многомерно, оно противостоит одномерной истине идеологии, оно и всеобще и элитарно, оно редко осуждает, чаще вызывает к сочувствию. Человек несчастен... Поэма, пьеса, роман, соната не говорят, что он виноват во всем сам, они вызывают к нему сочувствие, а следовательно оправдывают. В судьбе отдельного сосредоточена и открывается судьба мира, в гармонии открывается математика – не только в сальеревском смысле этого слова, когда вдохновение заменяется расчетом (хотя и это может сопрягаться с творчеством), но в непредугаданном, непредсказуемом, нерассчитанном. Так три карты, *тройка, семерка, туз* (3, 7, 11), символизируют начало особого ряда чисел, которые я назвал *ведьминскими*, их особенность состоит в том, что они задают параллелипеды с целочисленными диагоналями и длинами ребер: $3^2 = 1^2 + 2^2 + 2^2$; $7^2 = 2^2 + 3^2 + 6^2$; $11^2 =$ (догадайся, читатель, сам. И ряд продолжается в бесконечность).

Число и Мера, разумеется, входят в живопись, музыку, зодчество, авангард придает алгебре и геометрии большое значение, основной труд Корбюзье называется Прямая линия, Малевич декларировал *нуль* как начало новых форм.

"Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски, - утверждал Казимир Малевич. - Снимайте же скорее с себя огрубевшую кожу столетий, чтобы вам легче было догнать нас. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Вы в сетях горизонта, как рабы! Мы, супрематисты, бросаем вам дорогу. Спешите! Ибо завтра не узнаете нас".

ИЗБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ О ТОПОРЕ

Ноябрь 2016 г. Дорогой Василий Иванович!

Прочитал первый раз подаренный Вами сборник. Получился мощным. И слишком объемным. Я думаю, что и половины было бы много. Лучше было бы разбить на два сборника.

Поначалу отвлекали опечатки. Начал составлять для Вас список, чтобы в следующем издании их убрать.

Но потом подумал: нужно ли это Вам? В принципе, и так читается. Но начало этого списка все-таки отсылаю.

И поля слева, где склеиваются листы, надо сделать чуть больше, и посоветовал бы не играть со шрифтами в заголовках, а то отвлекает.

И все-таки, хоть на время, но нужно найти хорошего технического редактора. Внимательного.

Мы, конечно, много беднее либералов, у них вон какие журналы, но мне кажется, что нужно стараться это не показывать.

Статья Марины Павловны очень содержательна и для меня интересна не только из-за исторического аспекта, но и сама по себе.

Но я ее прочитал только два раза, и мне нужно еще почитать ее с карандашом.

Очень много интересных статей, рассуждений, оценок. Я чувствую, что в вашей секции союза Писателей совсем не глупые люди работают.

Короче говоря, сборник безусловно удался! Успех!

Ваш А.В.

Русский ли журнал ???

Все основные грехи (из 10) эквивалентны и среди них есть один малоприметный – использование

Имени Господа всуе. Мы все страдаем этим грехом, поэтому так часто бьем себя в грудь и произносим «правда», «свобода», «красота» и т. п. Нужно обязательно назвать журнал «русским»? Мы заслужили такое право?

Но грех – лазейка для чертей. Они лезут тут же, не откладывая в долгий ящик.

Фауст

Ты испугался пентаграммы?

Каким же образом тогда

Вошел ты чрез порог сюда?

Как оплошал такой пройдоха?

Мефистофель

Всмотритесь. Этот знак начертан плохо.

Наружный угол вытянут в длину

И оставляет ход, загнүвшись с края.

Очень интересно оформление журнала. Особенно фотография американского топора на русской березе. Очень характерно, актуально и своевременно. Потрясающая аналогия. Гениальная.

Уважаемый Александр Васильевич!

Я думаю, что американо-масонский топор подсунил не только черт, это мощная провокация, заставляющая задуматься о многом. Источник топора в журнале Мера, который я издавал в 90-е годы, в одном из номеров была напечатана статья Биллингтона, написавшего книгу "Икона и топор", о России (директор Библиотеки Конгресса США, он приходил в наш офис и потом даже пригласил меня в гости, но я успел разориться. Обо всем этом надо будет написать в объяснение топора на обложке...)



Дорогой В.И.! Большое спасибо за ответ! Вроде бы Вы прояснили ситуацию, но теперь мне стало еще интереснее. Я помню книгу Биллингтона, но в свое время почти не обратил на нее внимания. Решил, что она несерьезная. Действительно, в разделе «икона и топор» (на 56 странице) он пишет, что топор и икона традиционно висели рядом в красном углу любой крестьянской избы.

Я подумал: что за вздор! Никогда топор не висел рядом с иконой. Ничего подобного не видел. И только теперь начинаю понимать, что это масонская игра. Аллегория. Русские такие. То считают себя божьим народом, то к топору зовут Русь. Надо перечитать эту книгу. Не все так просто.

Но я все равно не понял, как появился именно американский топорик. Русские никогда не были такими. И ручки у них другие, и все остальное.

Биллингтон вспоминает топорик Андрея Боголюбского, но он тоже совсем другой. («Этимология» этого топорика тоже интересна).

Причем это не просто американский топор! Этот топор сделан в округе Колумбия, с той самой символикой, которую можно найти в масонском музее-памятнике, посвященном Вашингтону, и находящемся в том же округе.

И березовое полено – не менее мощный символ. Правда, береза не масонское понятие.

Они стоят, дороги отороча,
И ткут и ткут навес над тишью рек.
О, Русь моя! Березовая роща,
Которую не вырубить во век...

.....
Люблю березку русскую, То светлую, то грустную,
В белом сарафанчике, С платочками в карманчиках,
С красивыми застёжками, С зелеными сережками.

Февраль 2017 г. При подготовке второго номера «Журнала с топором» необходимо объяснить обстоятельнее о тех причинах и тех случайностях, которые привели нас к такой жизни. Нулевой, пробный номер журнала Критики родился 9 мая 2016 года, но объявление о выходе нового журнала с изображением первой страницы обложки было напечатано в "номере одиннадцать с половиной" альманаха «Русские страницы», вышедшем накануне, в апреле 16 года., там был помещен рисунок Топора – но это был топор не масонский! Как масоны смогли подменить заявленный топор – уму не постижимо!!!



Но случайна ли подмена топора, случайно ли появление именно этого образа на обложке?

В поисках обложки нового Журнала Критики, я просмотрел номера журнала Мера, который выходил в 93-97 годы под моей редакцией.

17 февраля. Определенно, с топором связан масонский заговор, пропал номер журнала, в котором были напечатаны речи Биллингтона и Солженицына о будущем России. Неужели это означает, что у России нет будущего?

19 февраля. Ночью во сне я увидел, где находится спрятанный масонами журнал, теперь он снова у меня. Прочитал эти две речи, которые сегодня кажутся уже наивными, возможно, в следующем номере я напечатаю из них отрывки, а также критическое исследование, посвященное книге Биллингтона. Возможно, тогда мы узнаем, как проникают в Россию масонские топоры.

Но кое что я добавлю уже сегодня. В 96 году меня пригласил в США профессор Забелин, председатель Русского кадетского общества, кадет последнего выпуска 1940 года. Я тогда загорелся идеей издания "Энциклопедии русских православных зарубежных храмов", предполагалось, что я проеду по городкам Западных провинций США с лекциями и встречами с русскими эмигрантскими обществами; нужна была только виза и разрешение на платные лекции, и я обратился к влиятельным лицам Государственной Думы с просьбой о помощи. **«Как, ты поедешь в США за деньгами, русский патриот? Позор!»** - закричали они.

«Так, может быть, вы мне можете?»

«Нет, построй сначала храм в своей душе!»

Так вот я и строю с тех пор храм в своей душе, собственный, уже не православный, а православную энциклопедию, конечно, никто не издал.

Наш разговор заставил меня окунуться в прошлое, когда я издавал журнал «МЪра», я перелистал пыльные номера его, лежащие за пианино в углу, и мне стало и грустно и радостно, я увидел, что мы жили, стараясь способствовать возрождению русской культуры после семидесятилетнего «стояния ее в углу», некоторые статьи из журнала можно даже заново помещать в разделе «Публикаций»; сегодня они могут стать более актуальными, например, статьи Евг. Ковтуна о русском Авангарде «первой волны», о Малевиче, Филонове и др. Правда, в последнем декабре *почил в бозе* и второй мой журнал, «Русские страницы», коего вышло, как и первого, 12 с половиной номеров, но, надеюсь, у Нового русского журнала еще все впереди. Но о топоре добавлю несколько слов, которые можно рассматривать как Заявление прокурору (учитывая последние повестки в суд писателям, пишущим о Мережковском): «Уважаемый господин прокурор! Наш топор предназначен лишь для домашнего употребления, "мы мирные люди и у нас даже нет бронепоезда". В предыдущем номере я сам воспрепятствовал его применению, встав на защиту двух поэтесс, топор хранится в недоступном месте и никто не сможет размахивать им зря – мы им будем только устрашать писателей, чтобы они боялись и "ловили мышей". В последнее время я всему лучшему учусь у детей, одна из героинь телевизионной детской передачи призвала на днях **сажать преступников в клеть!** *Обещая, что эту уже узаконенную меру я превысить не буду.* Остаюсь с почтением... и т.д. ...»

Еще несколько слов. Хотя мир движется сумасшедшими (и мне удалось издать величайший памятник русской письменности «Радзивилловскую летопись», и хотя за это мне и впаляли пять лет, но общество, и в том числе судебное общество Петербурга, встало на мою защиту, и просидел я не долго) – но иногда трезвость чиновничьего патриотизма обуздывает даже сумасшедших романтиков. К странной истории с топором прибавлю свои воспоминания о моей предполагаемой поездке в США по приглашению Биллингтона.

Российские лицемеры и западные патриоты – или почему не напечатана энциклопедия Православных храмов

С. Н. Забелину

Уважаемый Святослав Николаевич!

..... Директор библиотеки конгресса США господин Биллингтон прислал письмо, в котором вновь подтвердил свою готовность всемерно способствовать успеху моей поездки, ...

Председатель Совета Федерации России г-н Строев по-прежнему готов оказывать поддержку Фонду в виде рекомендательных писем к влиятельным лицам. На следующей неделе состоится моя встреча с руководством Аэрофлота и депутатами Парламента, проявившими интерес к Проекту. ...

Директору Библиотеки Конгресса США г-ну Джеймсу Биллингтону

Уважаемый г-н Биллингтон!

В 1994 году я имел удовольствие познакомиться с Вами и даже получить от Вас статью для ж-ла МЕРА "Христианство и преобразование в России".

Поскольку Пути Господни неисповедимы, несколько месяцев назад имел честь познакомиться с Вашим учеником г-ном Джоном Брауном.

В настоящее время я пытаюсь воплотить в жизнь следующие проекты :

1. Издание иллюстрированной **энциклопедической серии** о Храмах всех вероисповеданий на территории России, существовавших к 1917 году, и издание в ее рамках ряда томов по миссионерской православной деятельности на Аляске и Тихоокеанском побережье США в 17-19-ом веках, а также о религиозной деятельности в США Российской диаспоры в 20-ом веке.

Энциклопедия будет издаваться на русском и английском языках.

К настоящему времени издан том "Храмы Петербурга", подготовлен к изданию ряд других томов. Идут переговоры о предоставлении данной программе патронажа ЮНЕСКО,Имеется поддержка МИД, представителей отечественной диаспоры, российской общественности.

Мы готовы привезти выставку наших изданий (около 60-ти книг) и наших друзей, в том числе книги в ручных переплетах. По окончании поездки мы готовы эту выставку преподнести в дар Библиотеке конгресса США. Не исключена встреча с известным американским писателем, автором книг "КГБ" и "КГБ СЕГОДНЯ", в которых ряд страниц посвящен моей скромной персоне, и вручение "Радзивиловской летописи" представителям рода Кеннеди - потомкам рода Радзивила.

Возможна ли помощь и участие с Вашей стороны в данной программе?

Уважаемый г-н Биллингтон!

С большим удовлетворением получил Ваше письмо в ответ на мое пожелание приехать в США для встречи с представителями Российской диаспоры, чтобы получить от них моральную и материальную поддержку проекта издания энциклопедии "Храмы России".

Я привезу выставку изданий Фонда, в том числе "Радзивиловскую летопись", с тем, чтобы по окончании поездки мы преподнесли эти книги в дар Библиотеке Конгресса США. Я был бы признателен, если бы Вы помогли встрече с автором книг "КГБ" и "КГБ СЕГОДНЯ" Джоном Барроном, в которых ряд страниц посвящен моей скромной персоне, и представителями рода Кеннеди - потомкам рода Радзивилов, которым я так же готов вручить "Радзивиловскую летопись".

Возможна ли помощь и участие с Вашей стороны в данной программе, в частности, протекция с Вашей стороны и рекомендации, которые Вы могли бы дать мне для представителей благотворительных организаций и деловых кругов США, а так же прессе и телевидению?

Дорогой Джеймс!

Я буду признателен за высылку приглашения для оформления рабочей визы в США с мая 2000г.

С уважением, Василий Иванович Чернышев

Ю. А. Медведев

**РАССКАЗЫ
СТИХИ**



ВОСПОМИНАНИЯ
о В. В. Алексееве



(Ю.А. Медведев. Портрет В. В. Алексеева, великого русского писателя)

НА ВЫСТАВКЕ Ю. А. МЕДВЕДЕВА



ВИНТИКИ

*

– Прекрати матаситься! Шаркаешь и шаркаешь кавалерийской походкой передо мной! Не собираться на работу... И мысль теряю...

– Да, ноги кривоваты, но сам-то я прям...

Жена собиралась на работу, и Исидор Поликарпыч вполне понимал текущий момент.

– Я пошла! – помахала рукой Лизавета Петровна. – Не подступайся, прическу растреплешь, оставь эти поцелуи при себе.

Лизавета Петровна, женщина традиционного сложения, с достаточной ногой под собой, зелеными глазами.

Ей требовалось пространство.

Теперь и Исидору Поликарпычу освободилось место в их совмещенном туалете квартиры – «раскладушки» «хрущобного» дома. И он мог побриться и помыться. Поесть, прогулять собачонку он успел до того, надо было ретироваться в «присутствие» – так он называл место своей работы в проектном институте.

*

– Пиши объяснительную! – подступился заместитель мастера. Каждый день опаздываешь, Сидр.

– В обстоятельства вникните, Фома Фомич!

– Выходи раньше. Вот лишу тебя квартальной премии, что скажешь, любезник мой?

Не я глава стаи, фоксик мой.

*

– Сидрик! – послышался шопот соседа по рабочему месту. – Глянь в окно... Видишь, дождик прошел, пригрело, червячки из норок высунулись... Чего шепчут? Пойдем, попьем пивка.

.....

.....

Ниже представлена критическая статья на рассказ, с которым читатель не знаком (№7 альманаха «Русские страницы»), но я рискнул ее представить...

ВИНТИКИ ПОД ТОПОРОМ (Олег К. сент. 2013. СПб)

Рассказ Ю.Медведева «Винтики» (2012 г.)

Десять страниц формата А4 с авторской правкой.

Тридцать шесть главок, пять из них – стихотворения.

Главки разделены знаком звездочки. Место действия – Ленинград.

Основной объем текста – это, как пишут в газетах, трудовые будни архитектурной мастерской, и если попользоваться еще одним штампом, например: «архитектура – это застывшая музыка», то главное назначение «винтиков», которые и есть эта мастерская, – сочинение музыки. Застывая, музыка превращалась в кварталы Купчина, Гражданки или проспекта Наставников. И гляючи, ну, как «душистою веткою машучи, впивая впотьмах это благо, бежала из чашечки в чашечку, грозой одуренная влага», но нет, нет, все же *глядя* на унылые эти курятники, мы интуитивно чувствуем потребность в какой-то другой, трудно уловимой, но необходимой материи, и нужное словцо таки нехотя сказал, вернее, «буркнул» один неглавный герой: «Красота нужна!». Правда, в пространстве мастерской явно обнаружить эту материю, существующую вне предмета и глагола, не удастся, и о красоте в рассказе больше ни слова.

Но по страницам уверенно порхает слово «птичка», то предметно воплощаясь в перьях, то истаявая в воздухе звуком райского пенья или сжимаясь до ротика-«клювика», и уменьшительный суффикс «к» из сувенирного ряда нас не раздражает – мы понимаем, что это она, птица Сирия из райского сада, она же Алконост и Феникс, воскресла и существует в тексте, как символ счастья: «Птица счастья, выбери меня, выбери меня, выбери меня!» – задорно пел для винтиков модный тогда певец... И скучный канцелярский ряд занятий волшебным образом преобразуется: в трудовых буднях появляется сказочная птица, и нет винтиков и пыли, есть «винтики и птица счастья», «винтики и надежда»; возникает классическая тема русской литературы: маленький человек и судьба. И прочитанный так рассказ вроде бы встает в этот ряд. «Как бы» встает.

Но потянем другую нитку. Вот имена героев: Исидор Поликарпович, Никандр Петрович, Сан Осаныч, Фома Фомич, Ксенофонт Шаламович, Нил Сомыч, Сим Сомыч.

«Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдовался...» Но вообще-то, место действия – Ленинград, и время – «перестройка», и героям – чуть меньше тридцати, чуть больше тридцати, одному сорок... М.б., все из староверов)? И что? все, как один, оттуда?...

Исидор – главный герой, а лучший друг героя – Никандр. Исидор рисует, т.е., пишет, т.е., «красит», поэтому ряд достраивается именами знаменитых художников Макса Бекмана, Поля Дельво, Сальватора Дали, и даже, наверное, для онтологической убедительности, древнего философа

Зенона и поэта Витеслава Незвала. Женские имена скромнее и вполне классические: Лизавета и Светка, хотя могли быть, например, Матильдой и Олеандрой, но Исидор и Светка – тоже хорошо... Французское с нижегородским... Ну, и еще есть Тома-секретарша в мастерской и безымянная красавица там, где Исидор в гостях у Никандра.

Но вот вспомнив старика Ромуальдыча, вспоминаешь и фигуру тощего насмешника Александра Иванова из телевизора, да и сиятельного графа Хвостова Дмитрия Ивановича, наконец, и тогда картинка, создаваемая рассказом, начинает дрожать, расплываться. И переходит, в качестве иллюстрации, в другой раздел литературы.

Но поговорим о хорошем.

Спелая Лизавета – жена Исидора, а сублильная Светка, чья задница в «трусах лимонного цвета» должна напоминать Исидору, через стихи Незвала, полную луну – стринги, оставляющие нежные женские полушария открытыми, еще не были изобретены, или, м.б. еще не были ввезены к нам из Лондона,.. так вот, сублильная Светка – коллега Исидора и безответно любит его. Света – райская птичка в пыльном царстве мастерской, но, увы, если Маша любит Ваню, то из этого совершенно не следует, что Ваня любит Машу, хотя, конечно, у Исидора могут, как сказано в рассказе, зашевелиться «неясные мечтания», если Света вдруг принимает позу «пьющая у ручья», что, как мы понимаем, иногда случается.

Лизавета тоже удалась: «традиционного сложения, нога под ней достаточная,.. фигура податливая,.. шея стройная,.. передник \удачно лежит\ на красивых очертаниях тела», она, должно быть, прекрасна на ощупь и потому, когда смотрит на себя в зеркало, возникают у нее, да и читателя тоже, те самые неясные мечтания,.. но голос ее тверд, глаголы выразительны, хотя и могут быть сопровождаемы пометками «устар.» или «обл.», а существительные скорее просты: пельмени, кофточка, трусы... правда выскочили однажды чужие «базис и тарифы» – строй речи чисто конкретен, напоминает знаменитый мем, где «Глокая куздра ... кудрячит бокренка», и мы ее совершенно понимаем, хотя и не знаем, что это такое по действию: «матаситься» или «смекать»... академик Щерба Лев Владимирович порадовался бы мастерству речи и молочно-восковой спелости прекрасной Лизаветы. «Фантастические создания» – говорит о женщинах автор и, мне кажется, этот восторг дает ему силу писать свои буйные стихи, составляющие здесь отдельные главки.

Снова – деловая жизнь мастерской. Диалоги, где «процентки, квартал, задание, расчеты, цикл и дефицит металла, подача энергии...» и словарный запас в минимальном наборе и унылая длительность, в которой «котлованы и кварталы» могут заполнить пространство листа, но не смысла, и передача такого функционального общения дает какой-то необходимый объем рассказа и, конечно, не просто дает, но и исчерпывает героев, существуя как необходимый элемент рассказа, и казалось бы да, создана атмосфера, несчастные винтики, цветы запоздалые, почти Антон Павлович)... но даже в девятнадцатом веке герои Чехова не говорили

«изволь лепота ретирадное место вестимо приспело ...» и, читая это в одном ряду с «замонолитить», вспомнишь желчного Чацкого: «французское с нижегородским», – сказанное почти двести лет назад, ... и снова – рассказ исчезает. «Эмоция не освободилась», как говорит Исидор. А птичка, да, летает.

Еще о структуре рассказа: восемнадцать главок – деловые будни, четыре – дом Исидора, шесть – всякая всячина: забегаловки и рюмочные, где архитекторы «освежаются» в обеденный перерыв, прогулки со Светкой, Пушкинская 10, авария, больница, заграничное путешествие ... Светка упоминается в восьми, Лизавета – в шести. Есть и Черный Человек. Он появляется в тексте равномерно: «человек в черном», «длинный в черном», «этот тип» – но, как мы узнаем в конце, оказывается пустым ничто, ревнивцем и карточным шулером, мужем Светки. Вместе с ним, тоже равномерно, летает птичка. Вообще-то, такая вот интонация, работающая на снижение, сообщает нам необходимую легкость чтения, чтобы не замечать эффектных сочетаний вроде «снедь и выпивка».

Пять раз, репликами и сниженным, но пафосным, бормотаньем – замечания Исидора о живописи. Пафос чуть замаскирован под абсурдную искусствоведческую лексику, но иронии здесь нет: Исидор, на манер птички и вроде ненароком, оставляет всюду реплики-метки затаенной мечты: «просветление облика», «исторжение рыданий» или «освобождение эмоций»...

И девять раз по десяти страницам рассказа проходит «шаркающей кавалерийской походкой». Ну, как пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат, всадник Золотое Копье по крытой колоннаде дворца Ирода Великого в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

В авторе угадывается истовый человек. Слова легко высказывают, и так же легко заполняют необходимое пустое место. Штампы – очень мощная вещь, они сообщают гладкость хода всей этой машине. Которая называется художественным произведением.

Вообще их много: и птичка высокого полета, и дали неизвестные, и просторы бескрайние, и звон бокалов, и звон голосов, и наливать пиво, и... много-много чего еще, вроде «брать на себя ответственность, согласовывать задания, подавать энергию...».

А вот импровизация Исидора на тему, заданную Светочкой в двадцать первой главке:

Как карандашик в кармане сопрелом,
Весь исписавшись, мне скажет: «Прости».
Подумаю: Может быть, пыльные трели
И мне напевают летательный стих.

Очень хочется написать что-то подобное. Есть какое-то очарование и тепло в таких стихах. Как это у Пушкина? «Его сиятельству графу Хвостову Дмитрию Ивановичу ...» А сам Дмитрий Иванович писал:

Изволил с радостью прийти в сераль
И беспрепятственно пленил один всех краль.

гр. Хвостов, о петухе.

Карамзин замечательно написал в письме Дмитриеву о графе: «Вот любовь \к поэзии\, достойная таланта! Он заслуживает иметь его, если и не имеет...» Графоманов очень любил Иосиф Бродский, сам, отчасти ... И вообще, замечательная тема: штампы и графоманы.

Про стихи ЮМ лучше бы сказать отдельно. Они напоминают мне живопись автора рассказа, где всюду плотно, как у Макса Бекмана, и иррационально, как у графа Хвостова Д. И... какой ряд!: гр. Хвостов, капитан Лебядкин, Н. Заболоцкий, Ю. Медведев. Но об этом – в следующий раз.

Когда читаешь патетическое у ЮМ: «За сдержанностью в проявлениях чувств билось трепетное и чуткое сердце» \это он про Лизавету\, то сразу вспоминаешь неистового Виссариона: «под этой толстой солдатской шинелью билось сердце страстное...». \В. Г.Белинский. Герой нашего времени\.

Под чем только не билось это сердце... Очень много уменьшительно-ласкательных суффиксов ...бутылочка, донце, бокальчики, анекдотик... Профессионалы \как говорится, в редакции есть фамилии\ утверждают, что это характерный признак женской речи... Вот в стихотворении, где густо так патетики и воспарения и русского космизма, первая строфа:

Цели те и расчеты вслепую,
 Все метания срезаны в нуль.
 Темпераментный крик вхолостую
 Заморожен на ликах кастрюлю.

Напор и абсурд! И вдруг в последнем четверостишье – «слезинка»... Так ведь сказал уже все про слезинку Федор Михайлович, ну ладно бы остановиться, так автор еще поддает: «слезинка-простуля закипает на донцах кастрюль!» Наверное, крик разморозился... Уууу... Закутываешь голову и как из парной – на воздух. Хотя намерения мы вполне понимаем: это – слеза художника.

Ну, и, конечно, Юрий Александрович – патриот: бесчисленные мыслёнки, резонить, приспело время, шибко, лепота и снеть... А какие имена! Но вот у В.Астафьева:

– А я еще вот че, мужики, спросить хочу: ланиты – это титьки, што ль?
 – Ш-шоки, дура!
 – О-ой, о-ой, не могу! Ты б ишшо ниже мыслей опустил-а!

Тяжело стучат колеса в предпоследней, тридцать пятой главе: Елизавета едет думать \А что случилось-то, Лизавета?\, а в заключительной, тридцать шестой, стихотворной, Исидор пишет натюрморт «Кухня» с невидимой миру слезой на дне кастрюли. Архитектурная мастерская и весь мир проваливаются, художник возносится.

Автор серьезен, искренен, совершенно уверен в себе, и чувствуется, что он еще напишет нам стихов, хотя рассказ о жизни, скорее всего, первый и последний. Пожелаем ему успехов.

Всех благ читающим.

Мария Амфилохиева

1. ЭХО ОНЕМЕЛОГО СОЛНЦА

(О книге стихов Маргариты Токажевской
«Лучи онемелого солнца»)

2. СТИХИ не "последних ли дней"? Пушкин – наша всегдашняя радость и боль



Написать о книге с таким названием – бесполезное и невозможное желание. Нужно самой уподобиться солнцу, онемевшему до того, что лучи его упали за пределами видимого нами спектра. Учитесь у бабочек, пчёл, у лягушек и змей замечать их. Может быть, именно поэтому змея – древний символ мудрости, лягушка научилась превращаться в царевну, бабочка бесстрашно тянется к сжигающему крылья огню, а пчёлы, как и муравьи, – инопланетяне, невесть откуда пришедшие на Землю и сохранившие свою инаковидность в ульях и муравейниках.

Откуда прилетела Маргарита, не нуждающаяся в волшебной мази Азazelло? Отчего проявляется мгновениями её неясная ипостась то в замкнутых двориках древнего Кракова, то под фиолетовой сиренью каменного Петербурга, то в вечных степях неведомого Казахстана, возле тополя, который неслучайно оказывается в роли священного Индразиля – только оттого, что она ощутила ладонью гладкость его коры?

Она не права лишь когда говорит: «Все забывают обо мне, как только я скрываюсь за поворотом». Можно ли забыть цветные сны, увиденные наяву? Можно ли утратить дуновение ветра, устремленного к горизонту, или не искать унесенного гусями-лебедями Иванушку своей души?

Другим дарят пластилиновые розы, тающие под пальцами напряженной чувствительности. Ей нечего дарить, ведь она всё изначально вобрала в себя. Разве что эхо своего мира в раковине беззвездного неба... Но это только если свой мир у вас есть и если где-нибудь удастся найти беззвездное небо, чтобы начертить на нём цветными мелками своих ощущений созвездия искажений несущественных для неё истин.

Мы идём по разным сторонам ленты Мёбиуса, чтобы сойтись там, где сотканная из капелек радуги дорожка растает, уступая место всеобъемлющей беспредельности яростного счастья, пропахшего полынной горечью ультрафиолетовых грёз. Но это случится лишь в конце начал, если сумеем удержаться на скользкой середине вращающегося колеса, не соскальзывая по обычной колее, устремлённой к началу окончаний.

Ах, прелесть префикса, перетекающего в область корней, задерживающих наше сознание в ветвистой своей неквадратности! Отсюда, вместе с весенними соками, можно подняться в завлекающе звенящую синеву смыслов, чтобы слететь нежелтеющим листом тополя в руки маленькой женщине, прозревающей инородность звуков и красок в мире слов, запечатанных окончаниями на страницах книги Инобытия.

Я не знаю, что добавить к невысказанному выше. Разве что пейзаж одинокого острова, где Робинзон прогуливается по картинной галерее книги, занесённой к нему сбрендившим с пути солёным воздушным течением, и за очередным поворотом уводящего в неизвестность лабиринта вдруг видит мост, соединяющий остров с его родиной. Робинзон берется за скрипучий рычаг и навсегда разводит пролёты моста, превращающиеся в крылья отлетающей чайки. Он машет рукой ей вслед и возвращается в лабиринт, чтобы снова и снова угадывать на его причудливых сводах иероглифы собственного имени, которое он пока не в силах расшифровать.

А может, надо добавить нотную запись стука ноябрьского дождя, разучившегося быть снегом, в подоконники дома, окна которого выходят на лестницу, ведущую в зеркальные бездны «вверх» и «вниз», переворачивающиеся, когда песок наших судеб слишком утяжелит один из сообщающихся сосудов. И – одним взмахом – мир переворачивается, а мы, вместе с дождём, продолжаем падать вниз. Ведь только снежинки на узорчатых крыльях, рождающихся в точке болевого замерзания, могут взмывать, нарушая законы человеческого тяготения.

Но если песочные часы мира переворачиваются, значит, снег где-то есть, невидимый нами. И Маргарита знает о нём и, читая мои бессвязные заметки, лукаво улыбается. Она не просто знает о снеге, она сама вяжет озябшими пальцами всё новые и новые снежинки из лунного света и не может остановиться, потому что никогда не повторяет один и тот же узор и снежные порхающие звёзды никогда не превратятся в полосу орнамента под крышей домика, стоящего на лесной опушке около бегущей подо льдом реки. Ведь в доме есть тёплая печка, которая согреет руки мастера, но растопит ледяной вязальный крючок, подаренный когда-то дикой степной девочке Снежной Королевой, с детства мечтавшей стать доброй рождественской феей.

И ещё. Если «смешать две-три звезды с глубокой водой», получится светящееся облако. Оно отделяется от песка, бывшего дном ночного моря, и медленно отлетает в тёмные пространства Вселенной, образуя там звёздную туманность Маргариты. Посмотрите назад из этих далей. Если глаза подведут, вам позволительно воспользоваться телескопом. И вы увидите затвердевшую впадину кратера. Так образуются луны. И бог весть, когда снова заплещет в этих мёртвых впадинах вода, отражающая свет новых звёзд...

Но это уже выскальзывает за рамки некритического эха не своей книги и начинает напоминать свою, ненаписанную.

[Примечание Редактора. Разумеется, я ничего не понял – возможно, потому, что как математик я занимался дифференциальными уравнениями и имел дело с действительными числами, а женская поэзия, соединенная с женской критикой, да еще в преддверии восьмого марта, не вписывается в строгие математические конструкции. К счастью, автор (авторша) протягивает мне руку, она говорит: «где-то есть снег, невидимый нами. И Маргарита знает о нём и, читая *мои бессвязные заметки*, лукаво улыбается...» Возможно, она лукаво улыбнется *и на мои бессвязные дополнения к статье...* Тем более, что я сегодня смутил и свой математический ум. Закончив правку и верстку журнала и отпечатав уже четыре экземпляра, на предложение В. О. заменить его эссе на новый вариант, я воскликнул: "Хватит! Я минимизирую хаос, живу строго, не пью, не ем, в баню не хожу, экономлю время для новых свершений" – и вот, в уже опечатанном журнале появляются новые стихи, статьи, новые варианты эссе... вероятно, придется в дополнение к старым обетам еще и не спать! Но к чему я это пишу? А вот к чему: В программу своей жизни я включил главное требование – понять все неправильности мира! И теперь думаю: но, может быть, не надо стремиться понять ВСЁ? Разве поэзия и женщина втиснутся в ПОНИМАНИЕ?!]

На Мойке

1.

Идём мы вдоль Мойки, вдоль Мойки...
Смеёшься: опять плагиат!
Здесь зданья старинной постройки
Равняют по-прежнему ряд
Над речкой в узорной решётке,
Под небом в сплошных облаках,
Где голуби серые кротки
И стёкла дрожат на ветрах.

Пусть академический Кушнер
В подробностях Мойку воспел,
Мы к дому 12, где Пушкин,
Спешим, бросив тысячу дел,
Не ради заученных строчек,
Чью лёгкость не всякий поймёт.
Белеет над крышами росчерк –
Автографа вольный полёт.

Пойдём же вдоль Мойки, вдоль Мойки
Сквозь годы к сплетению бед.
Быть может, в несчастьях стойкий,
И нам улыбнётся поэт.

2.

Всего лишь несколько шагов
От Мойки, где разгульный ветер,
Под арочный тяжёлый кров –
И всё предстанет в новом свете.

Уютен тихий старый двор,
Не дрогнут ветки у сирени.
По кругу всё обшарил взор:
Бульжник, стены и ступени,

Поэта стройный силуэт...
Стоит с отсутствующим видом,
Как будто здесь его и нет,
Назло сладкоголосым гидам.

Сюда пришли с тобою зря –
Не здесь живёт душа поэта.
Нам в спины фонари горят
Заменой истинного света.

Самсон

На маленькой станции Выра
Привычная служба строга.
Весною и осенью сыро,
Зимой заматают снега.

Но грозы страшней, чем метели:
Проезжий торопится в путь,
Когда в денниках не успели
Лошадки ещё отдохнуть,
Когда ямщика нездоровье
Свалило – сгорает в жару...
Проезжий зло дёргает бровью,
И сердце листом на ветру
Дрожит, выбивает чечётку...
Хотя голова и седа,
Да нрав у зрителя кроткий,
А должность такая – беда!

Дождёшься – и палкою сунет
Проезжий тебе вдоль спины...
Ах, где же ты, милая Дуня? –
Отцу не спечёшь ты блины...

Зимнее яблоко от Пушкина

Снег курчавится на аллее,
В полусвете шаги тихи.
Я хочу, но еще не смею
Вслух твои прочитать стихи.

Донесется эхо ответа,
Ты подхватишь строку – и вот
Как подарок былого лета,
Ляжет в руку тяжелый плод.

Кожа тонкая чуть в морщинках,
Темно-красный круглится бок.
То причастие – не поминки.
Говорю: веди, колобок,

Через льдистых времен заставы,
Через впадины черных рек
Нас туда, где ликуют травы,
Где еще не окончен век

Золотой, огневой, куражный,
Получивший имя твоё.
Мы потом перейдем отважно
В непростое житьё-бытьё,

Где в музее хранят портреты,
Обдувая седую пыль.
Я ведь знаю: тебя там нет и
Все рассказы о смерти – гиль,

Потому что стихов свобода
Вновь кружит над метелью лет,
И на красном боку холодном
От надкуса остался след.

Аллея Керн

Здесь Пушкин с Керн бродил. И ветер,
Впитавший давний жар любви,
В далёком расплескался лете,
Ты в нашем, тоже ярком свете
Его узнай и улови.

Пусть эти липы не видали
Поэта тень и Анны след,
Мне в этом нет большой печали.
Гляжу на Сороть – ясны дали,
И в выдумке неправды нет.

Сожжён войной, но вновь отстроен
Дом Пушкиных – приветный вид.
Летит, на памяти настоян,
Вечерний ветер, и спокоен
У Лукоморья дуб стоит.

В раздумье помолчу у дуба,
Здесь ветерок как будто стих.
Мне всё придуманное любо
И всё разрушенное грубо –
Ведь сохранён и дух, и стих.

Отбрось ненужные сомненья.
Где есть любовь – смолкает стыд.
Нас сохраняет провиденье,
И наше чудное мгновенье
Звездой полуночной горит.

Уехать в тихую обитель –
И там писать и видеть сны,
Быть в обаянии Зимы,
Её сугробов пухлых зритель...

Когда в полях гудит метель,
Мне странно ветра завыванья
Навеют не воспоминанья –
Покажут смертную постель.

И я уже ловлю впотьмах
Все отголоски старой драмы.
О чём таком лепечут дамы,
Срезая сплетней правды страх?

Узнать поныне не дано,
Какие волны омывали
Стан юной Пушкиной Натальи –
Яд в них, елей или вино?

Касалась – видя или нет? –
Своим косящим беглым взглядом
Того, кто бел и чист нарядом,
Но чей губителен привет.

Поэт сражён не на авось
И на земле уже не житель.
Уехать в тихую обитель –
Увы! – вдвоём не удалось.

Оставил, словно на войну
Уйдя (рыдает горько вьюга),
Не мудро преданного друга –
Неосторожную жену.

Ушёл от всяческих морок,
Весь город смертью огороша,
И не спасёт уже морошка,
Когда судьбы закончен срок.

**Летние размышленья о зимней дуэли
(монолог Онегина)**

Зачем дуэль, когда светлы стога
У Сороти в сверкающем июле?
И, если жизнь тебе не дорога,
Не лучше ли искать смертельной пули
В других краях, где притаился враг?
Не за капризы, а за честь России
Жизнь положить, уйдя в подземный мрак,
А может, в мир блистательных валькирий...

Зачем нам эта глупая дуэль?
Ведь друг – не враг... Неужто только толков
Презрительных боязнь? Забыть картель
И с секундантом выпить втихомолку?

Но тризну жизни празднует мороз.
Стога укрыты тучными снегами,
Лёд на реке – в безбытность прочный мост,
Куда ушёл неслышными шагами
Мальчишка, друг, мечтатель молодой.
Утопан снег. А тело бездыханно.
«Ты выпил... без меня?» Прости! Постой!
Я пошутил!

Как страшно всё. Как странно...

Няне

Бездомна няня. Каждый домик лжёт!
Врёт Кобринo с Михайловским на пару,
Обман взметнёт над группою флажок,
Надбавив цену ветхому товару.

А дом сгорел. Войною был сожжён.
Стоит творенье бойкой мысли гида,
Где вымысел в фундамент заложен,
Но фетиш непригляден даже с вида.

Бездомна – в дым! Изъяли господа
Из жизни, из реальности, из дому.
Не сказочница? Тоже не беда –
В истории напишут по-другому.

Но вечное жужжит веретено.
Ночь. Ветхая лачужка. Небо кроет
Метельной мглой. В кружке есть вино.
А значит, ложь чего-то тоже стоит.

Племя молодое

Как педантичен сосен умный вид,
А молоды – почти до неприличья!
И каждая как будто норовит
Вас огорошить безусловной дичью.
Мол, это я – потомок тех племён
Младых, что заприметил Пушкин.
Вот здесь, гуляя, вывел он закон
О смене поколений. Не игрушки
Такое создавать. А гений рос
Средь нас, средь нас – простых колючих сосен.
Мы рады экскурсантам на вопрос
Ответить. Погостить подольше просим.
Тригорский дом – здесь фабрика была.
Вы, может быть, про это не читали?
Дорога под луной его звала,
И нам поэт поведал все печали...

Под ветром чуть шевелятся стволы,
Кликушески протягивая ветки...
И только дали призрачно светлы
Да тучки, чуть подтаявшие, редки.

Коня – и в путь! Безветрие с утра.
На Сороти две утки. Чуть лениво
Уплыли в камыши. Вода бодря,
И клонится верхушкой тонкой ива
Под сброшенной рубашкой. Гладь реки
Разбило рук отважное движенье.
Кувшинки раскрывают лепестки,
Рябит весёлой дрожью отраженье...

Теперь – домой. Не стоит унимать
Волненья, что спроста зовётся зудом...
(Да, творческим!) Оно – отец и мать
Тому, что неподвластно пересудам.
Над немощной тоской седых Алин,
Над Анною, что бабочкой – на свечку,
Бьёт чудный миг, – по счастью, не один, –
Струится и звенит, вливаясь в речку.

Куда ж нам плыть...

Куда ж нам плыть?
Навязанный вопрос!
Ах, Александр Сергеич, неужели
Вы думали, что жизненный наш кросс
Преследует намеченные цели?!

Куда ж нам плыть?
Да так, по воле волн,
По воле ветра сорванным листочком.
Хоть человек всегда желаний полн,
Судьба за восклицаньем многогочье
Поставит – и сорвётся листопад,
Вдаль уносясь теченьем неизвестным.
А между тем, иной для нас расклад
Кому-то показаться может пресным.

И мы плывём... туда, куда несёт,
К попутчикам испытывая жалость,
Пока не вмёрзнем в толстый серый лёд,
С листьями добрых книг перемежаясь.

РУССКИЙ ЖУРНАЛ

Литературный Альманах

№ 2

Подписано в печать 8 марта 2017
Отпечатано 29 февраля 2017 г., до полуночи

Формат 60x90 1/16 20,25 п. л. = **324 с.**
Тираж - **печать книг по требованию.**

Отпечатано с готового оригинал-макета,
предоставленного редактором журнала,

СПб
2017